НОВЫЙ ЖУРНАЛ

VIII

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

RUSSIAN QUARTERLY

под редакціей

М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

VIII

НЬЮ-ЙОРК

1944

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.

ОГЛАВЛЕНІЕ

М. А. Чехов. — Жизнь и встрѣчи 5

М. А. Алданов. — Истоки 52

Г. Д. Гребенщиков. — В гостях у Полуяровых 154

Е. Ф. Рубисова. — Бѣлая республика 175

Н. С. Гумилев. — Неизданные стихи (с предисловіем Г. П. Струве) **186**

СТИХИ :

Ю. Карелина (П. Гарви), Леонида Опалова, Зинаиды Шаховской **195**

ВОПРОСЫ ДНЯ :

Г. П. Федотов. — Рожденіе свободы 198

С. М. Шварц. — Демографическое лицо Россіи 219

РОССІЯ И ВОЙНА :

Н. С. Тимашев. — Перестройка Совѣтскаго Союза 238

М. В. Вишняк. — О совѣтской цивилизаціи 252

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО :

В. А. Александрова. — Историческій роман в Россіи 275

В. М. Зензинов. — По совѣтским журналам 287

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ :

Гр. П. Н. Игнатьев. — Из воспоминаній 300

А. В. Баулер. — Воспоминанія о Драгомановѣ (с предисловіем проф. **Г. В. Вернадскаго**) 321

Г. К. Гинс. — Россія и Америка 334

Б. И. Николаевскій. — Революція в Китаѣ, Японія и Сталин 346

Б. И. Николаевскій. — Ст. Иванович, П. А. Гарви 384

КОММЕНТАРІИ :

М. К. — Заключительный період войны 385

М. Ц. — Власть и война 390

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ :

М. Ц., Z., М. А. Алданова, М. М. Карповича, В. И. Коварской 402

Обложка работы ху д. **А. Н. Прегель.**

Статьи Б. И. Николаевскаго и проф. Ижболдина о недавно скончавшемся П. Б. Струве, а также рецензіи проф. Вернадскаго, М. В. Вишняка, М. І. І. были доставлены редакціи слишком поздно. Онѣ появятся в слѣдующей книгѣ «Новаго Журнала».

Начиная с девятой книги, присылаемыя в редакцію статьи будут печататься по старой или по новой орфографіи, в зависимости от того, по какой орфографіи онѣ написаны.

ЖИЗНЬ И ВСТРѢЧИ

8.

Я давно уже был снова во власти моих трех «наставников». Спасаясь от возраставшаго чувства тоскливаго одиночества, я все с большим усердіем изучал их писанія. К ним присоединились Маркс, Энгельс, Каутскій (поверхностно мною прочитанные), Ницше, Гартман и др. Но Шопенгауэр, по прежнему, доминировал над всѣми. Теперь я достаточно «созрѣл», чтобы выразить ему свою благодарность. «Если ты, дѣйствительно, ставишь жизнь ни во что — сказал я себѣ, — «соверши, сознательно, неразумный поступок, который отразился бы на всей твоей жизни». Я стал думать. Не плохо было бы жениться; и неразумно и обременительно. Мысль эта понравилась мнѣ. Но на ком жениться? У О. Л. Книппер-Чеховой гостили двѣ ея племянницы и я рѣшил жениться на одной из них. Не надѣясь получить согласія ея родителей на брак, я задумал похищеніе и однажды, ранним утром, в далекой загородной церкви, подкупив священника, обвѣнчался без документов и формальностей. Свою молодую красавицу жену я скоро горячо полюбил и привязался к ней. Со свойственным ей чутьем, она угадывала в какой душевной неправдѣ я жил, старалась помочь мнѣ, но все же тоска и одиночество не оставляли меня. В моем письменном столѣ лежал заряженный браунинг и я с трудом боролся с соблазнительным желаніем.

Скоро в мои «философскія» мысли стали вплетаться картины и образы, группировавшіяся вокруг двух центров. Одним из них была идея: так как Бога нѣт, то все, что мы называем

Copyright 1944 by the New Review («Новый Журнал»). All rights reserved.

жизнью, личной, соціальной и исторической — все это есть только сложная комбинація случайностей. Я мог доказать это логически. Человѣчество находится в опасности. Катастрофа, неожиданная и неизбѣжная (она-то и являлась моему воображенію), может разразиться в каждое данное мгновеніе. Когда же я думал, что все таки, может быть, существует разумная Міровая Душа, какой-то голос говорил мнѣ: «а ты увѣрен, что Міровая Душа не сошла с ума»?

Вторым центром, вокруг котораго группировались возникавшіе образы, была моя мать. Теперь я уже был увѣрен, что неминуемая опасность нависла над ней. Увидѣв, однажды, как горько и тихо плакала она, сидя в своей полутемной спальнѣ, я вдруг «увидѣл» ее в момент самоубійства и с тѣх пор стал слѣдить за ней, чтобы успѣть предотвратить несчастье.

Скоро к навязчивым образам присоединились и звуки. Я стал различать, правда, еще слабо, как бы отдаленные стоны, плач и крики страдающих от боли людей и животных. Животных я любил всегда и их крики особенно волновали меня.

Ища освобожденія от внутренняго хаоса, я обратился к проф. психологіи Челпанову (с его трудами я был давно знаком) и просил его составить мнѣ программу систематических занятій по философіи и психологіи. Он ласково принял меня, выслушал, внимательно посмотрѣл на меня и сказал:

— Я совѣтовал бы вам заняться вопросами религіи и отложить философію и психологію.

Его отвѣт разочаровал меня и я снова погрузился в хаос мыслей и чувств.

В минуты, когда я сознавал, каким в дѣйствительности было мое душевное состояніе, мнѣ становилось тяжело от мысли, что я не успѣю осуществить своей мечты, не успѣю сыграть или поставить на сценѣ любимые мною образы Дон Кихота, Короля Лира и Вѣчнаго Жида. Мнѣ хотѣлось проникнуть в их тайны и передать их со сцены другим.

Я смотрѣл на Кихота и видѣл: он — Ангел. Смѣшной, печальный, незадачливый Ангел, с тазом цырульника на го-

ловѣ. Он из свиты самого Люцифера. Его прекрасный, но лживый властитель, вложил в его сердце Любовь, но скрыл от него то царство, гдѣ можно и нужно любить: земля с ея простотой не видна гордому Ангелу в заржавленных латах. Но Любовь в его сердцѣ, Любовь все же вела его вниз, через красивую ложь Люцифера, через видѣнья, мечты, идеалы, вниз, вниз к землѣ — привела и сказала: «ты — Человѣк, ты — добрый идальго Кихано». Ангел снял таз и стал для нас милым, как Ангел.

Путь Лира иной. Жестокій тиран, земной полу-бог, всей своей царственной волей, всѣм существом привязан к землѣ. Его царство — он сам. Как в сказочном замкѣ, как в башнѣ, он заключен в своем собственном «Я». Все земное подвластно ему, но душа его жаждет иного: любви человѣка. Тиран просить не умѣет, искать не привык, ждать не хочет и совершает проступок: Он дает повелѣнье: любить! Но кого же? Его самого! И снова, как в сказкѣ, рушится царство и сам он в ужасѣ мечется в подземных глубинах бывших владѣній своих. И там, послѣ проклятій, мук, слез, послѣ молитв и безумья он все же находит Любовь. Но гдѣ? Не во внѣ, а внутри, в своем собственном сердцѣ. И эта Любовь ведет его снова на землю. Но теперь Лир другой. Он не требует, он дарует любовь. Здѣсь он равен Кихоту. Но Судьба ведет его дальше. Вернувшись на землю, он находит Корделію и снова теряет ее. На землѣ Корделіи нѣт. И Лир, вслѣд за ней, переходит в иной мір. Занавѣс падает, дѣйствіе кончено, не видно героев, не слышно их слов, но жизнь Лира не кончена: кто захочет послѣдовать с Лиром в тот мір, гдѣ он и Корделія находят друг друга — тот сможет увидѣть и тот эпилог, ради котораго создана вся трагедія. Здѣсь Лир выше Кихота. Его путь был сложнѣе, его просвѣтленіе глубже.

Еще сложнѣе путь Агасфера. Нѣт такой муки душевной, нѣт такой боли, нѣт катастрофы, которыя не стали-б удѣлом Вѣчнаго Странника. Кихот — полу Ангел, Лир — полу бог, но Агасфер — человѣк: вы, я, он, всѣ мы... Отвергнув Христа,

он (незримо ведомый Христом-же), приходит к познанію: не в ученьи Христа, не в словах Его суть христіанства, но в Нем Самом, в Существѣ, в «Я» Христовом. Агасфер познает, что сліянье с Христом, с космическим «Я», есть цѣль и вѣнец христіанства; что всѣ разногласія, искаженія, слабость, всѣ разсужденья: «по поводу» и вся кровь пролитая «во имя Христа» — были и будут до тѣх пор, пока «Я» Христово не станет «Я» вашим, моим, Агасфера; пока каждый из нас не сольется с Христом интимнѣй и проще, чѣм с другом, чѣм с братом, с отцом или с матерью, пока: «не я, но Христос во мнѣ» не станет реальностью. Путь Агасфера есть: во-ображенная мука рожденія в мір Христіанства. Но Агасфер заключает в себѣ и проблему всего іудейства. Как еврей, он связан с Христом сильнѣй, чѣм аріец: его кровь отрицает Христа и, через страсть непріятія, он, всѣм существом своим, прикован к Христу, он созерцает Его непрестанно. Но, как человѣк — он любит Христа и стремится к Нему. Отверженіе и пріятіе, ужас и любовь — вот душа Агасфера. Но Агасфер все еще странствует. В тысячелѣтіях, в будущем достигнет он цѣли. Двѣ тысячи лѣт нашей эры — только начальная стадія, только первый день Христіанства. Образ Странника нужен каждой душѣ, Агасфер-человѣк: вы, я, он, всѣ мы... Поэтому мнѣ так хотѣлось сыграть его. Но сыграть не пришлось ни его, ни Кихота, ни Лира. Все-же образы эти и сейчас иногда посѣщают меня, раскрывая мнѣ свои тайны.

Актерская жизнь моя все еще шла параллельно с другой. Но вот, постепенно, «слух» мой стал обостряться. Я мог, по желанію, «слышать» на любом разстояніи. Сидя в своем кабинетѣ, я ходил (вѣрнѣе метался) по улицам, площадям и переулкам Москвы. Куда бы я ни направил свое вниманіе, всюду я «слышал» звуки и по ним составлял себѣ представленіе о том, что тут или там происходит. Желаніе играть постепенно угасло и я оставил театр (тайком убѣжав со спектакля, во время антракта, в костюмѣ и гримѣ). В теченіе цѣлаго года я не выходил из дома и даже старался не покидать своей ком-

наты: «образы» подступали вплотную к дверям и ждали меня за порогом. Отношеніе мое к людям измѣнилось. Не надо было «видѣть» и «слышать» (как это, по-неволѣ, приходилось дѣлать мнѣ), для того, чтобы понять, что мір есть возникшая в безпредѣльности потенціальная катастрофа. Элементарная истина эта открывалась простому логическому мышленію, — так разсуждал я, — но люди не хотѣли мыслить и я жалѣл их, возмущался ими и втайнѣ не считал их нормальными. Приходилось быть осторожным и внимательным в общеніи с ними, вести себя просто, как со здоровыми, и умѣть молчать, когда это было нужно.

По настоянію Станиславскаго я согласился на консиліум московских психіатров. Три или четыре знаменитости пришли ко мнѣ в дом и ласковыми, спокойными голосами, «как со здоровым», начали разговаривать со мной и задавать мнѣ вопросы. Я принял их любезно и в свою очередь старался отнестись к ним, как к здоровым.

— Что вы читаете? — спросил один из них.

Я отвѣтил.

— Но, вѣдь, Шопенгауэр, — замѣтил психіатр, — не знал как слѣдует даже физіологіи и всѣ его разсужденія не имѣют особой цѣны.

Такой отзыв о моем любимом философѣ вызвал во мнѣ сожалѣніе к моим собесѣдникам. Захотѣлось как-нибудь оправдать их, в их ложном положеніи. Почти против своей воли я, из жалости к ним, стал, еле замѣтно, «играть» то, что могло показаться им симптомами душевной болѣзни. Между нами установились тонкія, до крайности деликатныя отношенія. Я был доволен. Мысленно поставив за них діагноз, на основаніи моей «игры», я терпѣливо ждал их ухода. Но вот один из моих гостей, неожиданно и без всякой надобности, жестоко обидѣл меня: он попросил меня пролѣзть между стѣной и спинкой дивана! Это было грубо и унизительно! Мое сочувствіе к нему и к его коллегам пропало. Я перестал «играть» для них симптомы болѣзни и предоставил им самим искать выхода из их неловкаго положенія. Но я насторожился,

когда один из них предложил мнѣ одѣться и выйти с ним на улицу. Если выходка с диваном была не умна, то прогулка — внушала опасенія. Я уже не был увѣрен в них. Что они затѣвали? Я заупрямился. Они деликатно настаивали. Но я уже не вѣрил в их деликатность. Вдруг мнѣ пришла в голову мысль! Внимательно и быстро осмотрѣв их, я увидѣл, что один из них был худ и мал ростом. Я без труда мог справиться с ним физически. Кромѣ того, я знал, что если я захочу, я могу увеличить свою физическую силу до очень большой степени. Я согласился выйти на нѣсколько минут с моим слабым гостем. Гуляя, я слѣдил за каждым его движеніем и готов был броситься на него каждую минуту. Физическая сила моя возросла до предѣла, я чувствовал себя непобѣдимым и рѣшил щадить моего спутника до послѣдней минуты. Непріятная прогулка скоро окончилась, но консиліум продолжался еще долго. Я потерял всякое уваженіе и жалость к моим непрошенным посѣтителям, хотѣл остаться один и с трудом переносил их присутствіе. По их уходѣ мнѣ было сказано, что врачи доложат о своих наблюденіях самому Станиславскому. Мнѣніе их меня мало интересовало, я устал и был рад их исчезновенію. Встрѣча с учеными знаменитостями (которых я уважал до сих пор) теперь еще больше разочаровала меня в людях.

Два обстоятельства ухудшили мое положеніе за этот год. Послѣ 4-лѣтняго замужества, жена моя Ольга ушла от меня с человѣком, о котором я хочу сказать нѣсколько слов. Это был авантюрист того типа, о которых мнѣ, так много и занимательно, разсказывал мой отец. Изящный, красивый, обаятельный и талантливый, человѣк этот обладал большой внутренней силой, неотразимо вліявшей на людей. Он безошибочно достигал всѣх своих цѣлей, но цѣли эти всегда были темны и аморальны. Он выдавал себя за писателя и часто увлекательно излагал нам темы своих будущих разсказов. Одна из первых же тем, разсказанных им, была мнѣ давно извѣстна. Он разсказал мнѣ, что силы своей над людьми он достигает путем ненависти, которую он может вызвать в себѣ по жела-

нію. Однажды я просил его продемонстрировать мнѣ свою силу. Под его вліяніем я должен был выполнить опредѣленное дѣйствіе. С полминуты он сидѣл неподвижно, опустив глаза. Я видѣл, как лицо, шея и уши его краснѣли, наливаясь кровью. Наконец, он взглянул на меня. Выраженіе глаз его было отвратительно! Под его взглдом, полным ненависти, я выполнил то, что он хотѣл. Эксперимент этот доставил мнѣ мало удовольствія — я предпочел бы не видѣть его, искаженнаго злобой, лица. Прошло еще полминуты и его лицо приняло обычное, веселое выраженіе и стало обаятельным, как всегда. Когда на улицах Москвы еще шли бои, когда, через нѣсколько домов от нас, артиллерія разстрѣливала зданіе, в котором засѣли юнкера, когда свист пуль слышался не переставая днем и ночью, и стекла в окнах были выбиты и заложены извнутри подушками — авантюрист, о котором я говорю, свободно ходил по улицам, ежедневно посѣщая нас, был весел и очарователен, как всегда. Смѣясь, он говорил, что его не могут убить.

— Если ты умѣешь презирать жизнь до конца, — говорил он, — она внѣ опасности.

Под его вліяніем Ольга ушла от меня.

Помню, как, уходя, уже одѣтая, она, видя, как тяжело я переживаю разлуку, приласкала меня и сказала:

— Какой ты некрасивый. Ну, прощай. Скоро забудешь. И, поцѣловав меня дружески, — ушла.

Вторым обстоятельством, ухудшившим мое душевное состояніе, было то, что двоюродный брат мой, Володя, застрѣлился, похитив браунинг из моего письменнаго стола.

Я поѣхал проститься с тѣлом брата наканунѣ его похорон. Три момента запечатлѣлись в моей памяти. И. П. Чехов (отец Володи), неподвижно и молча, стоит в дверях дальней комнаты, прямой, худой, с вытянутой шеей, с высоко поднятыми бровями, как бы вглядываясь в даль или прислушиваясь к неясному звуку. Нос его заострился. Костюм висит, как с чужого плеча, и складки брюк внизу падают так, что он кажется, прикрѣпленной к полу, деревянной фигуркой. На мой

поклон он не отвѣчает. Мать Володи сидит в креслѣ со спокойным, почти улыбающимся лицом. Я никогда не видѣл ее такой нѣжной и простой. Но я с трудом узнаю ея лицо. Тѣ же знакомыя мнѣ черты, но за ними — другое, новое, совсѣм незнакомое мнѣ существо.

— Поди к нему, Миша, — шепчет она, — но, пожалуйста, голубчик, не кричи.

Вижу лицо Володи в гробу. Он не измѣнился. Таким я знал его, когда он бывал весел. Часто мы оба мазали себѣ лица красками или жженой пробкой, изображая клоунов или играя в шарады. И теперь лицо его покрыто, как бы в шутку, черно-синими пятнами. На головѣ повязка, как будто он изображает смѣшного турка в чалмѣ. Я не могу ощутить смерти и это особенно тяжело мнѣ.

В теченіе года моей болѣзни я, чтобы обезпечить себѣ существованіе в будущем, начал давать уроки драматическаго искусства. Постепенно образовалась «Чеховская Студія» и Наркомпрос утвердил ее в правах, послѣ показа одного из толстовских разсказов, передѣланных мною в небольшую пьесу. Среди учеников студіи была жена, извѣстнаго тогда в Москвѣ, врача-гипнотизера, Каптерева. (Тогда я еще не знал, что близкіе мои отвергли предложеніе консиліума помѣстить меня в психіатрическую лѣчебницу и искали другого способа помочь мнѣ). Меня убѣдили, в видѣ пробы, подвергнуться нѣскольким сеансам гипноза. Несмотря на мой скептицизм, Каптереву удалось в пять сеансов освободить меня от всѣх моих навязчивых идей и видѣній. Когда, послѣ пятаго сеанса, я встал с дивана, я, прежде всего, почувствовал физическое облегченіе. Тѣло мое и особенно плечи стали легкими. Мнѣ было пріятно двигаться, ходить, я почувствовал себя моложе и выше ростом. Душевную перемѣну в себѣ я замѣтил позднѣе и как то нечаянно: время, напримѣр, казалось мнѣ, шло медленнѣе и вызывало необыкновенно пріятное чувство отдыха. То, что я двигался и ходил по своей волѣ, было тоже новым и пріятным переживаніем. Я почувствовал теперь, что раньше меня, как будто, кто-то куда-то гнал,

туда, гдѣ я не хотѣл быть, куда не хотѣл итти. Я сказал себѣ, что я здоров и начал опять играть.

С Каптеревым мы подружились и он стал посѣщать Чеховскую Студію. Интересовался репетиціями, читал нам занимательныя лекціи о гипнозѣ, показывал опыты, часто веселился с учениками, шалил, танцевал и был другом каждаго из нас. Но мы скоро потеряли его — он умер внезапно, будучи еще очень молодым.

В голодные годы заболѣла моя мать. Она лежала в холодной, нетопленной комнатѣ и тихо стонала днем и ночью. За ней нужен был умѣлый и сложный уход и мнѣ с трудом удалось устроить ее в больницу. Разсудок ея слабѣл и она стала заговариваться. Видя, как она угасает, и не будучи в силах помочь ей, я почувствовал, что и мое душевное равновѣсіе снова начинает страдать. Мать умерла без меня. Ее вынесли в морг и я с трудом нашел ея тѣло. В Москвѣ свирѣпствовала эпидемія сыпного тифа, и умерших едва успѣвали хоронить. Я нашел ее среди множества трупов, лежавших на столах, на полу, под скамьями, в причудливых позах, не то отталкивая, не то привлекая друг друга. Их опускали в большія могилы, попарно привязывая к доскам и бревнам. Священник, механически бормоча слова молитвы, быстро переходил от одной могилы к другой, принимая, на ходу, деньги от тѣх, кто хотѣл заплатить ему. Мнѣ вдруг стало безразлично, все, что я видѣл, что умерла моя мать, и похоронив ее, я на долго погрузился в тупое равнодушіе к жизни.

9.

Спасаясь от голода, Студія МХТ. выѣхала с гастрольными спектаклями на юг и Кавказ. Но голод гнал не только нас. Сотни крестьян, баб и мужиков, пробирались на юг, в хлѣбныя губерніи. Они осаждали поѣзда, прячась в ящиках около рессор, вися на буферах и на ступеньках площадок. и гибли под колесами вагонов, сваливаясь от изнеможенія на полотно желѣзной дороги. Солдаты, по распоряженію из

центра, вели с ними ожесточенную борьбу, но голод, все же, гнал их вперед. Иногда, на остановках, когда солдаты приближались к ним, они хватали камни и, удерживая солдат на разстояніи, ждали, когда снова тронется поѣзд.

В душѣ моей росло и крѣпло сознаніе незначительности и ненужности того, что дѣлаем мы, актеры. Наши репетиціи и спектакли, всегда такіе чистенькіе и аккуратные — какое значеніе имѣют они в наши дни? Даже репетиціи Вахтангова, цѣльныя, художественно завершенныя и волнующія — вызывали во мнѣ легкое подозрѣніе и стыд. Полная любви, атмосфера «Сверчка на печи», юмор «Потопа» — что дают они голодным, дичающим людям? Не абстрактное, ничего не чувствующее «человѣчество» историков и политических дѣятелей занимало меня, но тѣ конкретные, живые люди, которые сейчас, в эту минуту, висят под вагонами поѣзда. Не проходим ли мы мимо дѣйствительности, с нашим утонченным искусством? — спрашивал я себя. И все же, по мѣрѣ продвиженія вперед, все пережитое становилось для нас только воспоминаніем и сама голодная Москва тускнѣла и уходила из наших умов и сердец. Все, что мы видѣли в ней, трупы лошадей, окруженные стаями голодных собак, изможденныя, злыя лица горожан, изыскивающих пропитаніе, грязныя безпризорныя дѣти, все это было почти забыто, когда мы, выѣхав из голоднаго района, со свойственным человѣку эгоизмом, набросились на хлѣб и бѣлыя булки.

Потому ли, что окружающая жизнь показывала мнѣ мое безсиліе или по другим, неясным мнѣ самому причинам, но проблема силы стала серьезно занимать меня. Как-то, в разговорѣ с Вахтанговым, мы оба должны были признаться друг другу, что нам знакома, возникающая в нас, временами, непонятная нам сила. У меня — во время игры на сценѣ, у него — в повседневной жизни. Сила эта давала мнѣ — власть над публикой, ему — над людьми, окружавшими его. И хотя мы оба условились признать эту силу отрицательной, все же, в теченіе нѣкотораго времени, мы позволяли себѣ кокетничать с нею: Вахтангов достиг однажды, намѣченной им (безобид-

ной), цѣли путем концентраціи на желаемом, я же удовлетворился нѣсколькими, удавшимися мнѣ, опытами гипноза. Еще без всякаго религіознаго чувства, я стал читать одну за другой книги о іогах и их способах внутренняго развитія. Новая тема (о силѣ) скоро увлекла меня и я проводил за книгами все свободное время.

В поѣздках Вахтангов и я жили вмѣстѣ и скоро я стал с огорченіем замѣчать, что его раздражает мое новое, страстное увлеченіе. Но когда я подобрал на улицѣ больную, бродячую собаку и помѣстил ее в нашей комнатѣ, Вахтангов не выдержал іогов, Шопенгауэра и собаки и отношенія наши стали портиться. Раздраженіе его передалось и мнѣ. Внѣшне сохраняя дружескія отношенія (мы даже продолжали играть дуэты на мандолинах), — мы все же искали случая разрядить атмосферу. И вот, сама собой, у нас образовалась игра в «Ученую обезьяну». «Обезьяна» должна была вставать по утрам раньше «Хозяина», варить кофе, двигаться с обезьяньими ужимками и безропотно сносить всѣ хозяйскія прихоти. На другое утро, когда роли мѣнялись, вчерашняя «Обезьяна» могла отомстить за всѣ перенесенныя обиды. Однажды «Ученая обезьяна» взбунтовалась и между ней и «Хозяином» завязался жестокій бой. Вахтангов и я подрались не на шутку. Подрались, но не поссорились. Послѣ «боя», мы заботливо ухаживали друг за другом, залечивая нанесенныя раны, и наши добрыя отношенія установились навсегда. Вахтангов даже стал интересоваться іогами и простил мнѣ собаку.

Мы всегда любили подшутить друг над другом и Вахтангов часто говорил мнѣ:

— Если бы у тебя не было знаменитаго дяди, ты никогда бы не сдѣлал себѣ карьеры в театрѣ.

Он знал, что эта тема нѣсколько раздражала меня и поэтому любил ее особенно. Он пришел в большой восторг, когда узнал, что послѣ одного из спектаклей «Вишневого сада», гдѣ я играл Епиходова, какой-то гражданин из публики, указал на меня пальцем и прокричал:

— Вот он! Вы подумайте: сам же пишеть и сам же играеть!

Однажды, отстав от труппы, я догонял ее в одном из южных городов. На вокзалѣ, взяв извозчика, я сказал ему адрес гостинницы, гдѣ остановились наши актеры.

— Вы не племянник Антона Павловича Чехова будете? — спросил меня извозчик.

С изумленіем я отвѣтил ему утвердительно . Под'ѣхав к гостинницѣ, я собирался заплатить ему, но он сказал, что с племянника Антона Павловича Чехова он денег не возьмет.

— Вы не племянник Антона Павловича Чехова? — спросил меня швейцар гостинницы, едва я успѣл сойти с извозчика.

— Я!...

— Пожалуйте-с!

На лѣстницѣ стоял улыбающійся лакей. И он задал мнѣ тот же вопрос, как только я поравнялся с ним. Он почтительно провел меня в лучшій номер гостинницы. Там сидѣл Вахтангов и хохотал. Шутка его удалась.

Нерѣдко Вахтангов и я проводили свободные от спектаклей вечера, импровизируя сценки и образы. Вахтангов дѣлал это с особенным мастерством. Часто он начинал свою импровизацію без предварительнаго плана. Первое, случайное дѣйствіе давало импульс его фантазіи. Он видѣл, напримѣр, на столѣ карандаш, брал его в руку и то, к а к он дѣлал это, становилось для него первым звеном в цѣпи послѣдующих моментов. Рука его н е у к л ю ж е берет карандаш и немедленно лицо его и вся фигура измѣняются: передо мной стоит простоватый парень. Он смущенно глядит на свою руку, на карандаш, медленно садится к столу и выводит карандашом иниціалы... е я имени. Простоватый парень влюблен! На лицѣ его появляется румянец, он конфузливо глядит на иниціалы и снова и снова обводит их карандашом, пока иниціалы не превращаются в черные, безформенные кружки с завитками. Глаза парня полны слез, он любит, он счастлив, он

тоскует о ней. Карандаш ставит большую точку и парень идет к зеркалу, висящему на стѣнѣ. Гамма чувств проходит в его душѣ и отражается в глазах, в губах, в каждой чертѣ лица, во всей фигурѣ... он любит, он сомнѣвается, надѣется, он хочет выглядѣть лучше, красивѣе, еще красивѣе... слезы текут по его щекам, лицо приближается к зеркалу, он уже не видит себя, он видит е е, только е е одну и парень в зеркалѣ получает горячій поцѣлуй от парня перед зеркалом...

Так импровизирует Вахтангов дальше и дальше, пока это забавляет его. Иногда он берет опредѣленную задачу. Пьяный пытается надѣть галоши, опустить спичку в бутылку с узеньким горлышком, закурить папиросу или надѣть пальто, с вывернутым на изнанку рукавом и т. п. Изобрѣтательности и юмору Вахтангова в таких шутках нѣт предѣла. И не только он, изображающій пьянаго, смѣшен, но и сами предметы, с которыми он играет, спичка, папироса, галоши, пальто — становятся смѣшными, оживают в его руках и пріобрѣтают что-то вродѣ индивидуальности. И еще много дней спустя, юмор Вахтангова остается на предметах, оживленных им, и при взглядѣ на них становится смѣшно.

Вахтангов, неутомимый работник, дни проводил в Студіи МХТ, ночи — в своей (3-ей) Студіи. По возвращеніи в Москву, несмотря на развивавшуюся болѣзнь, он удвоил свою энергію. Я убѣжден, что, чувствуя безсознательно приближеніе смерти, он спѣшил сдѣлать, как можно больше. Он упорно убѣждал себя, что страдает язвой желудка и, несмотря на всѣ очевидные признаки, н е х о т ѣ л д о г а д а т ь с я, что погибает от рака.

— Как мнѣ хочется жить! — говорил он. — Посмотри, вот камни, растенія, я чувствую их по новому, по особенному. Я хочу быть среди них, хочу трогать их руками!

Даже послѣ операціи, когда раковая опухоль снова и быстро стала расти, он брал иногда мою руку, клал на опухоль и говорил:

— Чувствуешь возвышеніе? Это шрам, оставшійся послѣ операціи. Так бывает. Вѣдь бывает?

Или, подходя к зеркалу, он долго и упорно смотрѣл в него, своими большими, медленно мигавшими глазами и говорил:

— Смотри, каким сильным я выгляжу! Руки, мышцы! А ноги какія сильныя, видишь?

Смотрѣл и не видѣл, как пожелтѣло и осунулось его лицо, как похудѣли руки и ноги, как заострились плечи. Физическую боль он игнорировал и не соглашался ни на отдых, ни даже на уменьшеніе часов работы. В Студіи МХТ. он ставил «Эрика 14-го» и сам собирался играть его в очередь со мной. Но все же, временами, слабость и боль заставляли его пропускать репетиціи и он назначил себѣ со-режиссера.

Параллельно с Эриком, я, под режиссерством Станиславскаго, репетировал Хлестакова в МХТ. Репетицій было много и большая часть из них была до крайности мучительна. Станиславскій был требовательный режиссер. Иногда он не различал режиссуры от педагогики и относился к актерам, как к плохим ученикам. Для него не существовало авторитета, даже таких артистов, как Москвин, Качалов, Книппер, Грибунин — он на всѣх покрикивал и многих возстановил против себя.

Помню, Москвин, Книппер и я слегка перепутали текст нашей, уже много раз репетировавшейся, сцены и из зрительнаго зала услышали холодный и строгій голос:

— Стоп! Тринадцать раз извольте повторить текст!

Мы, как школьники, стали вслух повторять наш текст. Станиславскій с упорством, громко считал до 13-ти, отстукивая пальцем по столу.

Но все же его любили и боялись всѣ, кромѣ Л. М. Леонидова. Со свойственным ему бѣшенным темпераментом и несдержанностью, Леонидов приводил в ужас Станиславскаго.

Одна из трудных сторон работы со Станиславским была еще и та, что, создавая свою «Систему», он часто мѣнял ее, забывая о том, что говорил вчера.

— Какой дурак сказал вам это? — спрашивал он иногда с негодованіем о том, что сам же преподал нам еще наканунѣ.

Очарователен был Станиславскій, когда он показывал актерам, как надо играть. Тут он давал свободу своему таланту. Правда, фантазія его иногда, незамѣтно для него самого, уводила его далеко от темы и он начинал показывать сцены, вовсе несуществующія в пьесѣ, но все это было так хорошо и талантливо, что его никогда не останавливали и не возвращали к темѣ.

Постановка «Ревизора» удалась, имѣла успѣх и он сам любил смотрѣть этот спектакль. Он громко смѣялся, сидя в зрительном залѣ. То смѣх его слышался раньше, чѣм слѣдует (он, вѣдь, знал, что сейчас будет), — то запаздывал, выжидая реакціи публики. Иногда он смѣялся один на мелкія детали, выдуманныя им во время репетицій и не доходившія до сознанія публики.

Из педагогических соображеній, послѣ каждаго акта он заходил ко мнѣ в уборную и если я играл хорошо, говорил:

— Ужасно! Никому не нужно! Три копѣйки! Надо все сначала репетировать.

Или, когда я плохо играл, он входил ко мнѣ с неестественной улыбкой и, не глядя в глаза, говорил:

— Очень хорошо. Просто хорошо. Роль растет. Поздравляю.

В первом случаѣ он боялся, чтобы я «не зазнался», во втором, чтобы «не упал духом».

Однажды (в частной жизни), желая удержать меня от неправильнаго поступка, он сказал мнѣ нѣсколько сердечных слов о Богѣ. Я отвѣтил ему какой-то атеистической пошлостью и он с сожалѣніем и легким презрѣніем взглянул на меня. Этого взгляда я не забыл еще и сейчас. В другой раз он передал мнѣ поклон от того психіатра, который на консиліумѣ неуважительно отозвался о Шопенгауерѣ. Я сказал, что профессор этот глуп и что я не люблю его. Станиславскій вдруг, со злобой, которой я раньше не видал у него, рѣзко сказал:

— А кого вы любите? — и отвернулся от меня.

О Хлестаковѣ и об Эрикѣ много писали и говорили. Мнѣ часто приходилось слышать на улицах разговоры о себѣ.

— Если Чехов будет так же играть и дальше, — услышал я однажды, — то он непремѣнно сойдет с ума.

Эта фраза врѣзалась в мое сознаніе, я почувствовал, что теряю душевное равновѣсіе, и стал бороться с этой фразой, как с живым существом. Через нѣкоторое время, под вліяніем возвратившихся болѣзненных ощущеній, я стал заикаться. Придя к Станиславскому, я сказал ему, что играть, по всей вѣроятности, больше не смогу. Выслушав меня, он встал и сказал:

— В тот момент, когда я открою окно — вы перестанете заикаться.

Так оно и случилось. Я продолжал играть.

10.

Я по прежнему интересовался іогами, но однажды, проходя мимо витрины «Книжной Лавки Писателей», мой взгляд случайно упал на названіе книги: «Как достигнуть познанія высших міров», Рудольфа Штейнера. Я усмѣхнулся. «Если бы можно было дѣйствительно знать, к а к достигнуть этого познанія, то, навѣрное, оно было бы уже достигнуто и автору не имѣло бы смысла выпускать свою книгу». Однако, книгу эту, с ея интригующим названіем, я все же купил, прочел и хотя отложил ее в сторону, но уже без ироніи. Имя автора мнѣ ничего не говорило. Однажды только Станиславскій упомянул мимоходом имя Рудольфа Штейнера (невѣрно изложив его ученіе о рѣчи), и это было все, что я знал о нем.

Іоги, постепенно, подвели меня к ученію теософов и я познакомился с нѣкоторыми членами этого общества. Мои новые знакомые (по большей части пожилыя дамы), бесѣдуя со мной, нѣсколько затемняли для меня теософскую доктрину, вплетая в описаніе об'ективных фактов разсказы о своих личных чувствах. Но я глубоко благодарен этим людям, так терпѣливо переносившим всѣ мои наивные, преждевременные и «послѣдніе» вопросы. Как и всякій новичок, я начинал с конца. Что дѣлал Бог до сотворенія мира? — спрашивал я их.

Почему Бог создал зло, если Он добрый? Докажите, что духовный мір существует, и т. п. Как начинающій я даже не подозрѣвал, что если бы и получил отвѣты на свои вопросы, то не понял бы их. Искусству своевременной и правильной постановки вопросов я научился только много лѣт спустя, послѣ работы в области Антропософіи Р. Штейнера.

Читая теософскую литературу, я заинтересовался вопросом ясновидѣнія. Не порывая связи с моими новыми друзьями, я искал и других мистических теченій. «Тайных» обществ в Москвѣ оказалось больше, чѣм можно было предположить. Я стал посѣщать нѣкоторыя из них и увидѣл, как легко люди, соблазненные эгоистической радостью пассивнаго пребыванія в «мистическом туманѣ», ослѣпляются и теряют способность критическаго отношенія к окружающему. Умные, образованные, уважаемые люди, часто с громкими именами, собираются в группы, совершают ритуалы и искренне вѣрят, что они истинные хранители тайн и традицій Розенкрейцеров, Темпліеров и других славных своих предшественников. И все это ради «мистическаго тумана». Встрѣчал я и индивидуальных мистиков, идущих собственным путем. Были среди них интересные умы. По большей части это были заблуждавшіеся, но честные люди, по своему искавшіе правды. Но попадались мнѣ и шарлатаны, так сказать: «клоуны от мистики». Вот нѣкоторые из них.

«Учитель», в черных очках, с длинными волосами. Он не ходит, а бѣгает, не говорит, а выкрикивает или шепчет. Посадив «учеников» в кружок, он обходит их и каждому шепчет в ухо: «миииlый, миииlый»! «И-и-и-» он тянет так долго, что оно превращается в «хххь»! В ухѣ становится горячо и сыро, лицо щекотят его длинные волосы и край очков нажимает на глаз.

— Зачѣм вы всегда носите черные очки, учитель? — спрашивают его.

— Аа! — кричит он, отбѣгая в другой конец комнаты, — Затѣм, дѣтки мои, чтобы не смущать незнающих, чтобы не

показывать им радости моей, когда я гляжу на умершаго, когда смѣюсь на похоронах!

«Учитель» приходит в экстаз:

— Сосите Бога, — кричит он, — сосите Его, как коньячок, капля по каплѣ, глоток за глотком!

Другой «учитель», похожій на моржа, живет в грязной комнатѣ, с грязной, неопрятной женой. Когда приходит посѣтитель, «учитель» встает, закрывает глаза и басом ведет длинный разсказ о том, кѣм был его посѣтитель в прошлом своем воплощеніи. Я оказался англійским придворным вельможей, был казнен королем, вслѣдствіе чего так чувствителен теперь к физической боли (?).

Полная недурненькая дамочка, с потусторонним взглядом. Духи посѣщают ее, портреты умерших говорят с ней, она находится в непрестанном общеніи с иными мірами. Она уговаривает меня пойти с ней на спиритическій сеанс. Медіум, «Дядя Миша» (деревенскій мужичок с хитрыми глазками), сажает нас вокруг маленькаго столика и полная дамочка садится рядом со мной. Свѣт погашен и столик шатается с такой силой, что дамочка прижимается ко мнѣ и в таком положеніи остается до конца сеанса. «Дядя Миша» не дает говорить духам и непрестанно выкрикивает:

— Не надо этого! Не надо стола! Явися свѣтовым, али глуховым способом! Вот он! Глядите! В углу! Сгущенным мраком явился!

У меня были основанія подозрѣвать мою дамочку в общеніи с ГПУ. Там стали уже интересоваться моими «мистическими похожденіями». От дамочки я отдѣлался с трудом.

Явилась и пожилая дама. Она требовала, чтобы я называл ее не ея настоящим, но другим именем. В полутрансѣ она передавала мнѣ то, что духи говорили ей для меня. Во время сеансов она плакала с закрытыми глазами.

Были и другіе представители потусторонняго міра, в этом же родѣ, но останавливаться на них не стоит.

Я довольно основательно изучил теософскую литературу и был смущен чрезмѣрным ея оріентализмом. Хотя я и не

был знаком тогда с эзотерической стороной христіанства, мнѣ все же казалось, что значеніе Христа и Мистеріи Голгофы недооцѣнивается Теософіей. Была ли Индія послѣдней и высшей ступенью в духовном развитіи человѣчества? Был ли Христос одним из Учителей, как Будда, Заратустра, Гермес и не больше? Я стал искать отвѣтов на множество вопросов, интересовавших меня в связи с Христіанством.

Жил в это время в Москвѣ священник о. Алексѣй, глубокій старик, с сыном своим, тоже священником-монахом, о. Сергіем. Старик был болен и слаб и увидѣть его было трудно, но я все же добился свиданія с ним. Придя в его бѣдную квартирку и ожидая его появленія, я старался представить себѣ этого больного, стараго человѣка и как можно яснѣе и короче сформулировать свои вопросы, чтобы не утомлять его. За дверью послышались быстрые, бодрые шаги и в комнату вошел маленькій человѣк. Он энергично взял меня за плечи, сильным движеніем подвел к окну и поставил лицом к свѣту. Громко, четко и ясно спросил он меня, что я хочу от него. Неужели это был он? Приготовленная мною нѣжная и мягкая рѣчь к больному, слабому старику исчезла и я стал, сам не ожидая того, рапортовать о. Алексѣю свои вопросы и сомнѣнія. Скоро я замѣтил, что он не слушает меня, но разсматривает мое лицо, волосы и даже всматривается во что-то над моей головой. Я успѣл разглядѣть, что он, дѣйствительно был очень стар. Глаза его, как и каждая складка, тонкой, почти прозрачной кожи его, выражали страданіе и боль. Вдруг он прервал меня и, странно поморщившись, рѣшительно и сильно отчеканил:

— Эх, батюшка, хаос у вас в головѣ! — и, к удивленію моему, он слегка указал рукой на что-то вокруг моей головы. — Вы лучше подите к о. Сергію, он с вами поговорит! Скажу ему о вас!

И вышел.

Несмотря на огорченіе от приговора, произнесеннаго о. Алексѣем, я цѣликом повѣрил его словам и пошел к о. Сергію.

О. Сергій был молод, высок ростом, красив, с большими,

черными, как на старинных иконах, глазами. Мнѣ нравилось, что глаза эти были так серьезны, что временами казались гнѣвными. Я до ужаса боялся христіанских лиц с улыбками и никогда не вѣрил, чтобы лицо Іисуса было сентиментальным. О. Сергій принял меня, как знакомаго, и бесѣды его о Христіанствѣ и Церкви дали мнѣ много. Я всегда буду благодарен этому умному и духовно-сильному человѣку. Однако, абсолютная преданность о. Сергія православной догмѣ оставила нѣкоторые мои вопросы неотвѣченными.

Я вспомнил о книгѣ Рудольфа Штейнера и снова прочел ее. Тон, которым автор говорил о Существах и процессах духовнаго міра, на этот раз, особенно поразил меня. Никакой «тайны», никакой «мистики», или желанія произвести впечатлѣніе, не было в его изложеніи. Простой, ясный, научный стиль дѣлал простыми и ясными и тѣ факты, которые были предметом изложенія автора. Недоступное чувственному воспріятію становилось доступным разуму. Я прочел цѣлый ряд книг Р. Штейнера и внимательное чтеніе это дало мнѣ отвѣты на волновавшіе меня тогда вопросы. Я узнал, напримѣр, что духовный мір с его Существами развивается и мѣняется так же, как и мір физическій, с его существами. И с т о р і я совершается не только на землѣ. Духовный мір, во времена древней Индіи, был иным, чѣм теперь, и держаться за старое, боязливо закрывая глаза на то новое, что приходит из духовнаго міра, значит обрекать себя на духовный атавизм. Узнал я также, что истинной духовной наукѣ нѣт надобности отрицать матерьялизма, поскольку он держится в предѣлах той области, куда он д ѣ й с т в и т е л ь н о относится, и не претендует на право быть у н и в е р с а л ь н ы м и е д и н с т в е н н о - в о з м о ж н ы м міровоззрѣніем. Узнал я также, что Антропософія внесла много новаго (как в смыслѣ метода, так и содержанія) в различныя области науки и искусства. Уже до первой міровой войны и в особенности послѣ нея Антропософія начала получать все большее распространеніе и признаніе. Школы, больницы, учрежденія для дефективных дѣтей, лабораторіи, біологическіе и другіе естественно-науч-

ные институты, агрикультурные и артистическіе центры, стали возникать в Европѣ, Англіи и Соединенных Штатах. Позднѣе, посѣщая нѣкоторые из них, я имѣл возможность убѣдиться, как практичны принципы Антропософіи, как прочно стоит эта наука на землѣ и как тѣсно связана она с нашей культурой. Безпочвенная фантастика чужда Антропософіи. Ничего не слѣдует принимать безконтрольно из того, что дается духовной наукой, — говорит Р. Штейнер. М ы с л и т ь должен антропософ, а не в ѣ р и т ь. Авторитет в Антропософіи не играет никакой роли. Тѣм, кто хочет развить в себѣ высшіе органы воспріятія, — даются соотвѣтствующія упражненія и к а ж д ы й, сам, может пережить в духовном мірѣ то, о чем говорит ему Антропософія. Духовный мір есть «тайна» только для того, кто н е х о ч е т приложить достаточное усиліе, чтобы проникнуть в него. Первое и основное упражненіе, предлагаемое Р. Штейнером, ведет к способности логически-яснаго, активнаго мышленія. Без этой способности начинающій ясновидец может стать жертвой иллюзій и вмѣсто духовнаго міра погрузиться в область фантастики и самообмана.

Но главным и рѣшающим для меня узнаніем было то, что Христос стоит в центрѣ всего, о чем говорит Р. Штейнер. Антропософія открылась мнѣ, как современная форма Христіанства.

Эта «встрѣча» моя с Антропософіей была самым счастливым періодом моей жизни.

Однако, я забѣгаю вперед. Возвращаюсь, чтобы сказать нѣсколько слов о Станиславском, Сулержицком и Вахтанговѣ.

11.

Несмотря на то, что сам Станиславскій поощрял нас, молодых актеров, к созданію первых спектаклей Студіи и сам принимал близкое участіе в нашей работѣ, скоро стало замѣтным его отчужденіе от нас. Ревновал ли он нас к нашей самостоятельности или был не согласен с направленіем, в котором вел нас Вахтангов, судить не берусь, но он, а за ним и всѣ

«старики» МХТ, отстранялись от нас все больше и больше. Вахтангов, отчасти под вліяніем Мейерхольда, отчасти в силу наклонностей своего собственнаго таланта, все больше отходил от натурализма. Он вел нас сначала через «стилизацію», как напримѣр, в «Эрикѣ 14-ом», потом заражал нас «театральностью», выявленной им ярче всего в его блестящей постановкѣ «Принцессы Турандот» (показанной в его Студіи). Я склонялся к направленію Вахтангова. Станиславскому это не нравилось и он нѣсколько раз вызывал меня на бесѣды с ним, о «направленіи», увлекавшем меня. (Его неудовольствіе по отношенію ко мнѣ, выразилось в том, что он стал называть меня не Мишей, как прежде, но Михаилом Александровичем). Оффиціально признавая такія постановки Вахтангова, как «Дибук» и «Турандот», он, в частных бесѣдах, все же критиковал их. Ту правду, которую Станиславскій привил русскому театру, правду, которую так полюбили и оцѣнили вся русская публика и актеры — он называл натурализмом и, как мнѣ казалось, не отличал от реализма. Реализм так же правдив, как и натурализм, с той только разницей, что реальным может быть всякій фантастическій образ, ситуація или психологія. Баба Яга, Иван Царевич, Змѣй о 12-ти головах, из русской сказки, или Архангелы в прологѣ гетевскаго «Фауста» могут быть правдивы и реальны на сценѣ, но они не подходят под опредѣленіе натуральнаго. Все, что сдѣлал Вахтангов в «Принцессѣ Турандот» и в «Дибуке», было не натурально, но реально и правдиво. Это было «театрально», по опредѣленію Вахтангова. Станиславскій поставил, с одной стороны, «Синюю Птицу», с другой, «Бронепоѣзд». Сценическая правда дѣлала для него обѣ эти постановки художественно равноцѣнными и он не замѣчал, что «Бронепоѣзд», по сравненію с живой фантастикой «Синей Птицы», был не больше, как фотографическим повтореніем событій 1918—1920 годов. Это была натура, т. е. то, что уже существовало, независимо от театра, независимо от искусства вообще. Недостаток перспективы во времени дѣлал эти событія на сценѣ нехудожественными, лишенными элемента

фантастики. Когда в первые мѣсяцы Октябрьской Революціи В. И. Немировича-Данченко спросили, не правда ли, что наше время дает богатый матерьял для созданія трагедій в стилѣ и масштабѣ Шекспира, он отвѣтил:

— Это станет правдой через шестьдесят лѣт.

Когда, в 1928 году, уже заграницей, Станиславскій вызвал меня на бесѣду о его «Системѣ» (это была послѣдняя наша встрѣча), мы договорились (хотя и не согласились), относительно двух пунктов, вызывавших разногласіе. Первым из них был вопрос об «аффективных воспоминаніях». Станиславскій находил, что воспоминанія из личной, интимной жизни актера, если сосредоточиться на них, приведут к живым, творческим чувствам, нужным актеру на сценѣ. Я же позволял себѣ возражать ему, что истинно творческія чувства достигаются через фантазію. По моим понятіям, чѣм меньше актер затрагивает свои личныя переживанія, тѣм больше он творит. Он пользуется при этом очищенными от всего личнаго, творческими чувствами. Душа его забывает личныя переживанія, перерабатывает их в своих подсознательных глубинах и претворяет их в художественныя. Пріем же «аффективных воспоминаній» Станиславскаго не позволяет душѣ забыть личныя переживанія. Мое мнѣніе подтверждалось для меня еще и тѣм, что «аффективныя воспоминанія» часто приводили актеров (преимущественно актрис) в нервное и даже истерическое состояніе.

В связи с этим первым пунктом находился и второй. Он касался того, как актер должен фантазировать, или, по выраженію Станиславскаго, «мечтать» об образѣ своей роли. Если актер играет, напримѣр, Отелло, то он должен вообразить себя в обстоятельствах Отелло. Это вызовет в нем чувства, нужныя ему для исполненія роли Отелло, утверждал Станиславскій. Мое возраженіе заключалось в слѣдующем. Актер должен забыть себя и представить в своей фантазіи Отелло, окруженнаго соотвѣтствующими обстоятельствами. Наблюдая Отелло (но не себя самого), в своем воображеніи, как бы со стороны, актер почувствует то, что

чувствует Отелло, и чувства его, в этом случаѣ, будут чистыми, претворенными и не будут втягивать его в его собственную личность. Образ Отелло, увидѣнный в фантазіи, воспламенит в актерѣ тѣ таинственныя, творческія чувства, которыя, обычно, называются «вдохновеніем».

Оба пункта нашей бесѣды, в сущности, являются одним: надо ли устранять или привлекать к творческой работѣ личныя, непроработанныя чувства актера? Бесѣда эта, так много выяснившая для меня, происходила в берлинском кафэ, на Курфюрстендамм. Мы встрѣтились около 9 часов вечера и разошлись в 5 часов утра.

Я с признательностью вспоминаю эти часы, подаренные мнѣ Станиславским.

На 3-ем этажѣ Студіи МХТ. была небольшая, узкая и длинная комната, с одним окном и скудной мебелью. В этой комнатѣ работал и по долгу жил истинный вдохновитель и творец Студіи, Леопольд Антонович Сулержицкій. Много передумал он в этой комнатѣ, стараясь наилучшим образом сорганизовать совмѣстную жизнь студійцев. Его фантазія подсказывала ему все новыя формы управленія Студіей, гдѣ каждый из нас мог бы получить наибольшую радость, как в часы работы, так и отдыха. Он часто совѣтовался об этом со своим учеником и другом Вахтанговым.

Для каждаго из нас было радостью войти в комнату Сулержицкаго. Несмотря на ея неприглядную внѣшность, она была полна теплой, дружеской атмосферы и производила впечатлѣніе уютной и даже неплохо обставленной комнаты.

Почему мнѣ казалось всегда, что живет в ней не один Сулер (так называли Леопольда Антоновича), а два? Не потому ли, что слишком богата была его внутренняя жизнь, что за словами, поступками и настроеніями его всегда чудилось что-то больше того, что можно было видѣть и слышать в обычном смыслѣ?

Я гляжу на него в образѣ моих воспоминаній и вижу: маленькій, подвижной человѣчек, с бородкой, глазки смѣются,

брови печальны. Казалось, войдет он в комнату и не замѣтят его. Но Сулер входил и всѣ, кто знали и не знали его, всѣ оборачивались, всѣ глядѣли на Сулера, не то ожидая чего-то, не то удивляясь чему-то. И чѣм скромнѣе он был, тѣм пытливѣе дѣлались взгляды. И мнѣ казалось: вот Сулер маленькій, скромный, а вот Сулер большой, удивляющій, значительный и даже (нехотя) имѣющій власть над людьми. И ходили и двигались эти два Сулера различно. Маленькій, с бородкой — кривился на бок, покачивался конфузливо, втягивал кисти рук в длинные рукава и слегка дурачился, слегка представлял простака (чтобы спрятаться). Другой, большой Сулер, держал голову гордо (при этом большой лоб его становился замѣтен), кисти рук появлялись из под рукавов и жесты их становились завершенными, красивыми и имѣли всегда один и тот же, опредѣленный характер... как бы выразить это... они были м о р а л ь н ы. Взгляните на жесты человѣка, когда он говорит. Отвлекитесь от смысла слов его и попробуйте сами подобрать слова к его ж е с т а м. Много неожиданнаго «услышите» вы от человѣка, через язык его жестов. Пусть он перед вами, в прекрасных словах развивает свои идеалы, а посмотрите на руки, на жесты его и вы, быть может, увидите, как он угрожает вам, оскорбляет, толкает вас. Язык жестов правдивѣе слов. Так и у Сулера. Он или не дѣлал жестов совсѣм, или жесты его говорили о любви, человѣчности, нѣжности, чистотѣ, словом — были м о р а л ь н ы. Случалось, что Сулер сердился, кричал, угрожал, а жесты выдавали его, говоря: всѣ вы мнѣ милы, я люблю вас, не бойтесь.

Любил Сулер дѣтей и особенно младенцев в люльках. Часами просиживал он над люлькой своего младшаго сына и хохотал над чѣм-то, до слез, безудержно и до усталости. А когда, среди взрослых, он бывал весел и смѣялся, его жесты были — жестами младенца, в люлькѣ: ладони раскрыты, руки безпредметно двигаются в воздухѣ, вверх, вниз, кругами, словом, как в люлькѣ.

Часто Сулер тосковал. По своему, по особенному. Я видѣл его в его комнатѣ на третьем этажѣ, когда он тосковал.

Вот он стоит у стѣны, плотно прижавшись к ней боком и лбом. Глаза закрыты. Он слегка, еле слышно, напѣвает неизвѣстный, вѣроятно, им самим сочиненный, мотив, а рука легко отбивает такты и ритмы по той же стѣнѣ. Ритмы мѣняются, «слышны» тоскливыя ноты, фермато, вот стоккато, легато, вот пауза, долгая, грустная, вот темпо растет и видно: Сулер несется куда-то, под тоскливое мурлыканье пѣсенки. Я знаю, он часами простаивал так у стѣны. Или он тосковал улыбаясь какой-то особенной, доброй улыбкой, прищурив глаза и двигаясь медленно, нехотя. Днями не сходила эта улыбка с его лица и мы знали: Сулер тоскует. Но когда он был весел — сколько строгости он умѣл напустить на себя! Он был страшен, — так думал он, — и это забавляло его (да и нас).

Завел Сулер в Студіи книгу, куда каждый из нас мог записывать мысли об искусствѣ вообще и о наших текущих спектаклях. Книгѣ этой Сулер придавал большое значеніе. Она лежала на особо устроенной, наклонной полочкѣ, как Евангеліе на аналоѣ, около двери его кабинета, на 3-ем этажѣ. Он часто заглядывал в нее и хотя знал наизусть все, что в ней было, все же читал ее сосредоточенно и серьезно. Однажды, зайдя наверх, я открыл эту книгу и нарисовал в ней каррикатуры на Сулера, Вахтангова и на себя самого. Нарисовал и побѣжал вниз. Почти сейчас же сверху раздался крик:

— Кто это сдѣлал? Кто осмѣлился? Господи, что ж это такое!

В залѣ внизу шла репетиція. Всѣ пріостановились и стали прислушиваться. Голос Сулера приближался. Послышались его быстрые шаги по лѣстницѣ. Он кричал все грознѣе и страшнѣе. Через сосѣднюю залу он уже бѣжал. Распахнув двери, запыхавшійся и блѣдный от бѣга, он прокричал:

— Я должен знать немедленно, сейчас же, кто позволил себѣ нарисовать что-то там такое, в книгѣ? Говорите, сейчас же, кто?

Я встал.

— Это я, Леопольд Антонович.

— Ну так что же, что вы, — выговорил он не задумыва-

ясь и все еще тяжело дыша, — ну, хоть бы и нарисовали, так что ж тут такого! — он широко разставил руки. Подумаешь, какое преступленіе! Как идет репетиція? А ну, покажите-ка мнѣ!

И через минуту он уже был весь поглощен работой.

Иногда Сулер брал метлу и в залѣ, гдѣ было больше студійцев, начинал подметать. Это означало, что не хорошо чувствовать себя господами, что всякій труд достоин уваженія и что если мы дѣйствительно любим свою Студію, то и пол самим подмести не мѣшает.

Однажды, во время гастрольной поѣздки, Сулер об'явил нам, студійцам, что сегодня, послѣ спектакля мы всѣ должны собраться у него в номерѣ. Он имѣет сказать нам что-то очень важное. Весь день Сулер имѣл сосредоточенный вид и мы были встревожены предстоящим разговором. Вечером, окончив спектакль, мы быстро разгримировались и отправились в гостиницу Сулера. Там, около дверей его номера, уже ждали наши товарищи, не участвовавшіе в сегодняшнем спектаклѣ. Дверь в комнату Сулера была заперта. Мы ждали, когда он выйдет и впустит нас к себѣ. Но дверь не открывалась. Прождав довольно долго, мы рѣшились постучать. Отвѣта не послѣдовало. Мы тихонько отворили дверь. В номерѣ было темно. Очевидно, Сулера не было дома. Мы тихонько вошли в номер и зажгли свѣт.

— Кто там? — раздался вдруг испуганный крик.

Мы обернулись и увидѣли Сулера. Он раздѣтый сидѣл на кровати, кутаясь в одѣяло. Вид у него был испуганный, заспанный.

— Кто это? Что надо? — кричал он на нас.

— Мы к вам, Леопольд Антонович.

— Зачѣм? Что случилось?

— Вы вызывали нас...

— Когда? — Сулер протер глаза и вдруг захохотал. — Голубчики мои, забыл! Ей Богу забыл! Идите домой! В другой раз!

Уходя мы слышали, как Сулер заливался хохотом.

Во время работы над«Сверчком на печи», Сулер (как художественный руководитель, он принимал участіе во всѣх постановках), раскрыл для нас душу этого произведенія Диккенса. Как он сдѣлал это? Не рѣчами, не об'ясненіями, не трактовкой пьесы, но тѣм, что сам, на время работы, превратился в диккенсовскій тип, собственно в Калеба Племмера, игрушечнаго мастера. Не думаю, чтобы он сознавал эту перемѣну в себѣ. Она произошла в нем сама собой, правдиво и естественно, как и все хорошее, что дѣлал он. Его присутствіе на репетиціях создавало ту атмосферу, которая так сильно передавалась потом публикѣ и в значительной мѣрѣ содѣйствовала успѣху спектакля. Вот он сидит на низеньком, трехногом стульчикѣ, перед своей слѣпой дочерью Бертой и поет ей веселую пѣсенку. Слеза бѣжит по его щекѣ. Рука сжимает кисть с красной, веселой краской, спина согнулась, шея вытянулась, как у испуганнаго цыпленка. Пѣсенка кончена, слѣпая Берта смѣется, смѣется и Сулер-Калеб, украдкой вытирает мокрую щеку. На щекѣ остается большое пятно от тряпки, пропитанной красками. Я смотрю на Сулера и в душѣ моей растет и крѣпнет то, что нельзя выразить никакими словами — я знаю, что сыграю Калеба, я уже люблю его (и Сулера) всѣм существом, всѣм сердцем. Вот Сулер-Текльтон. Он входит на сцену, с прищуренным глазом, злой, мрачный, жестокій, сухой. Произносит двѣ-три фразы и... вдруг слышит сдержанный смѣх... Он останавливается, ищет глазами смѣющагося и находит Вахтангова. Виновато прижимая руки к сердцу, Вахтангов, сквозь смѣх, старается оправдаться перед Сулером, об'яснить ему что-то. Но Сулеру не нужно об'ясненій, он и сам хохочет, долго, закатисто и, как всегда, до слез. Он не может изображать злых и отрицательных людей без того, чтобы они не были смѣшны. Зло, котораго Сулер сам никогда не боялся, всегда было смѣшным в его изображеніи. Текльтон Сулера смѣшен в его злобности, но Вахтангов играет Текльтона без юмора. Он дѣйствительно зол и жесток. И Джона, и малютку, и дѣвочку Тилли изображает Сулер и все,

что он дѣлает, и вся репетиція проникнуты атмосферой диккенсовской любви, уюта и юмора.

Сулер кончает репетицію, надо уходить, но уйти невозможно. Уже поздно, но Сулер предлагает устроить чаепитіе. Завтра рано вставать, но этот ночной чай, эта атмосфера Сулера-Диккенса зачаровывает всѣх нас, участников «Сверчка» и мы сидим, сидим... Я остаюсь позже всѣх. Я привык не спать по ночам, люблю ночные часы и, когда всѣ расходятся, Сулер и я идем в декоративную мастерскую и вырѣзываем, клеим, красим игрушки для калебовской бѣдной комнаты. Сулер разложил на полу мѣшок и старательно выписывает сѣрой краской: "Glass" на шершавой поверхности будущаго пальто стараго Калеба. "Glass" придется, как раз, на спинѣ, как это сказано у Диккенса. Пальто должно быть старым и грязным. Сулер разводит жидкій кофе и «рисует грязь». Он зѣвает, трет глаза кулаками, и снова рисует или дѣлает куклу с удивленными глазами или паяца, такого «страшнаго», что сам, глядя на него, начинает хохотать.

— Знаете, Миша, что мнѣ хочется нарисовать? — говорит он, щурясь на куклу. (Сулер не плохо рисовал).

— Что?

— То, что не видно.

Я не понял его.

— Когда смотришь на что-нибудь, — раз'ясняет он, — то видишь ясно и опредѣленно, а чѣм дальше в стороны, тѣм хуже видишь. А гдѣ граница, когда хуже видишь? Вот мнѣ и хочется нарисовать, как ты перестаешь видѣть. А? Ну, спать, Миша, спать, — говорит он не убѣдительно и принимается за новую игрушку...

Совсѣм иным, чѣм в період «Сверчка», был Сулер во время работы над «Праздником мира» Гауптмана. Острый, нервный, проницательный, он, вмѣстѣ с Вахтанговым, разбирал запутанную психологію «больных людей», вводя нас в атмосферу пьесы. И другим был он во время постановки «Потопа». «Потоп» репетировался долго и не легко нам давался. Пьеса не имѣла ясно выраженнаго стиля и не выявляла

индивидуальности автора. Мы не знали, слѣдует ли ее играть как драму или как комедію. И то и другое было возможно. Рѣшили играть, как комедію. Но юмор скоро изсяк и репетиціи проходили блѣдно, безрадостно. Пришел Сулер и сказал:

— «Потоп» есть трагедія. Со всей искренностью и серьезностью мы будем репетировать каждый момент, как глубоко трагическій.

Через полчаса хохот стоял на сценѣ. «Потоп», как трагедія оказался невѣроятно смѣшен. Сулер торжествовал — он вернул нам юмор «Потопа». Скоро пьеса была показана публикѣ.

Станиславскій глубоко цѣнил Сулер, как художника, и искренне любил его, как человѣка. Когда Станиславскій был опасно болен — Сулер ночи просиживал около его постели. Он никогда не щадил себя, если его помощь нужна была другим.

Во время войны, я, в качествѣ призывного, отправлялся на медицинское освидѣтельствованіе. Выходя на разсвѣтѣ из ворот моего дома, к удивленію моему, я увидѣл Сулера. Он ждал меня, чтобы проводить до призывного пункта. В грязных, холодных казармах, я, голый, простоял весь день. Сквозь окна было видно, как проливной дождь мочил толпу женщин, старых и молодых, ожидавших своих братьев, мужей и сыновей. Я был освидѣтельствован только поздно вечером. Когда я вышел, было уже совсѣм темно.

— Ну, как? — услышал я тихій, ласковый голос. Я обернулся. Около меня стоял Сулер, промокшій от проливного дождя. Он весь день не отходил от призывного пункта, ожидая меня.

Сулержицкого называли толстовцем, но если это и было так, то он был толстовец особеннаго типа. Ни слѣда фанатизма или сектантства не было в нем. Все, что он дѣлал добраго и хорошаго, исходило от н е г о с а м о г о, было органически ему свойственно и идеи Толстого не наложили на него внѣшняго отпечатка. Извѣстно, что Толстой любил его и, может быть, именно за то, к а к он воплощал его идеи.

Все, что Сулержицкій усваивал со стороны, было ли это ученіе Толстого или «Система» Станиславскаго, все он перерабатывал в себѣ и дѣлал своим, никому не подражал, был во всем оригинален и своеобразен. В его разсужденіях о жизни, добрѣ, морали и Богѣ, мы никогда не слышали шаблонных мыслей и фраз, вродѣ: «каждый вѣрует по-своему», «исторія повторяется», «добро понятіе относительное», «человѣк — есть всегда человѣк», «истина проста», «живем мы однажды» и т. п. Такія фразы (для многих замѣняющія мышленіе) были не нужны Сулержицкому.

Незадолго до смерти Сулержицкаго, мы замѣтили в нем безпокойство и возбужденность, которыя вскорѣ смѣнились упадком сил. Он стал ко многому равнодушен. Казалось, он погрузился в какія-то новыя мысли и чувства и не хотѣл повѣдать о них окружающим. В таком состояніи он, однажды ночью, пришел ко мнѣ. Выйдя к нему навстрѣчу, я увидѣл перед собой странную фигуру. Плечи его были опущены, рукава совершенно закрывали руки и шапка была надвинута на глаза. Он глядѣл на меня молча улыбаясь. Во всей его фигурѣ была необыкновенная доброта. Я предложил ему раздѣться, но он не трогался с мѣста. Я снял с него пальто, шапку, мягкія рукавицы и провел его в комнату.

— У меня есть овощи. Хотите, Леопольд Антонович? (Сулержицкій не ѣл мяса).

Он почти не понял моего вопроса и вдруг, невнятно, но радостно, начал разсказывать что-то, чего я не понял. Удалось уловить только радость, волновавшую его во время разсказа. Затѣм он умолк. Просидѣв у меня около часа, он ушел, попрежнему свѣтло и загадочно улыбаясь.

Когда Сулержицкій умер, гроб с его тѣлом стоял в нашей Студіи.

Послѣ похорон, на гражданской панихидѣ, среди говоривших о нем, выступил и Станиславскій. Он был блѣден и губы его дрожали. Рѣчи своей он не кончил и, сдерживая рыданія, ушел за кулисы нашей маленькой сцены.

Будучи сравнительно молод, живя постоянно в творче-

ских эмоціях, окруженный образами своей фантазіи, Вахтангов был естественно склонен к романтизму. Его ум никогда не был абстрактным и сухим. Мысли его всегда исходили из сердца. Жизнь его была полна и он долго оставался равнодушным к тому, что принесла с собой Октябрьская Революція. Но скоро чутье стало подсказывать ему, что он, хотя и живет полной жизнью, но, все же, как-то обособленно и внѣ настоящаго. Он стал приглядываться, читать, наблюдать и почувствовал, что за всѣм тѣм, что совершалось вокруг, было или, по крайней мѣрѣ, должно было быть что-то стройное и цѣльное. И вот, перед его умом раскрылось міровоззрѣніе. Он увидѣл, как дѣятели революціи систематически прививали сознанію русскаго человѣка это міровоззрѣніе и что оно-то и было реальностью сегодняшняго дня. Со свойственным ему дарованіем, Вахтангов стал поэтизировать эту реальность, дѣлая, таким образом, матеріалистическую концепцію пріемлемой для себя. Законченнаго міровоззрѣнія он еще не имѣл и душа его, свободная от всякой догмы, сохранила свою гибкость. По природѣ крайній индивидуалист, свободолюбивый человѣк и художник, Вахтангов, естественно, предполагал, что то, что дѣлалось в его собственной душѣ, дѣлалось также и в душѣ каждаго русскаго человѣка. Было странно (но и трогательно) видѣть, как Вахтангов, благодаря своему индивидуализму, проглядѣл ту часть общественных явленій, которая базировалась на массовой психологіи. Сам он не поддавался массовому гипнозу и эта сторона жизни мало интересовала его. Помню, как весело он разсмѣялся, когда, играя на одном из подмосковных заводов, прочел большой плакат: «КООПЕРАЦІЯ — УСПѢХ ЗАЛОГА СОВѢТСКАГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Даже за этим фактом он не увидѣл, что люди с индивидуальным сознаніем едва ли могли писать этот пяти-саженный плакат, едва ли могли вѣшать его во всю длину стѣны своего клуба и потом день за днем читать его, не доводя до своего сознанія смысла читаемых слов. Он проглядѣл характерную черту перваго періода Октябрьской Революціи: собиранія толпы. Ячейки, клубы, коми-

теты, с одной стороны, громкоговорители, ораторы, система плакатов на улицах, с другой, все это были пріемы собиранія толпы и воздѣйствія на нее. Индивидуальный человѣк тогда не принимался во вниманіе. Но Вахтангов не замѣнил в своей собственной душѣ слова: «Я» словом: «МЫ» (в смыслѣ толпы), и продолжал разсматривать новыя «МЫ» — событія со старой «Я» — точки зрѣнія.

Боюсь, что нѣкоторые, писавшіе о Вахтанговѣ послѣ его смерти, не учли психологіи этого человѣка и поспѣшили сдѣлать из него законченнаго и убѣжденнаго послѣдователя историческаго матерьялизма. Мы, право же, не знаем, каково было бы отношеніе к нему Вахтангова, если бы он успѣл изжить вполнѣ стадію романтическаго индивидуализма.

Болѣзнь Вахтангова быстро развивалась.

В Студіи шел «Потоп» и Вахтангов захотѣл, внѣ очереди, сыграть Фрезера. Игра его была больше, чѣм великолѣпна. Всѣ его партнеры, буквально, любовались им, но всѣ знали, что это послѣдній спектакль Вахтангова. Почему он играл так прекрасно в этот вечер? Не потому ли, что он отстаивал свою жизнь? Повышенное чувство жизни вызвало в нем творческое состояніе.

К Вахтангову был приглашен консиліум. Послѣ совѣщанія профессоров, я вошел к ним в комнату и... понял все.

— Как опредѣляете вы срок? — спросил я их.

— Четыре, пять мѣсяцев, — отвѣтили мнѣ.

Вахтангов ждал меня внизу. Я вышел к нему и, может быть, в первый раз солгал перед ним. Он обрадовался и повеселѣл. Но скоро он слег совсѣм и больше уже не вставал. Интерес его к жизни Студіи повысился чрезвычайно. Готовилась заграничная гастрольная поѣздка. Вахтангов не допускал и мысли о том, что он может не быть участником в ней. Он пригласил к себѣ фотографа, встал с постели и снялся, желая имѣть фотографическія карточки для заграничнаго паспорта. Фотографія жестоко и неприкрыто отразила близкую смерть, но Вахтангов и на этот раз не увидѣл ее.

Он скончался в тяжелых мученіях.

12.

Года за два до от'ѣзда из Россіи, судьба подарила меня встрѣчей, о которой нужно сказать нѣсколько слов.

В Оптиной Пустыни доживал свой вѣк послѣдній русскій Старец. Звали его Нектаріем. Когда из разоренных монастырей изгонялись монахи, был изгнан и Старец Нектарій. Слабаго физически, семидесятилѣтняго старика по снѣгу и льду гнали в мѣсто его заточенія. Там его помѣстили в избѣ крестьянина, поручив ему строгій надзор за изгнанным схимником. Крестьянин оказался религіозным и старался сдѣлать все, чтобы облегчить, сколько возможно, пребываніе у него Старца. Не смотря на слѣжку, установленную за ним, до самой смерти его посѣщали ученики, знавшіе его еще в Оптиной Пустыни, и не было ни одного несчастнаго случая с людьми, пріѣзжавшими к нему. Правда, он сам назначал день и час прибытія и отбытія. Всѣ точно слѣдовали указаніям прозорливца и никогда никто не встрѣчал затрудненій. Дорога к нему шла через густые лѣса. От маленькой станціи желѣзной дороги до первой деревни было 25 верст. Крестьяне довозили посѣтителя до этой деревни и там, в одной из хат, держали его до темноты. Оставшіяся нѣсколько верст пути проѣзжали уже ближе к ночи.

Попал и я к Старцу и вот как это случилось.

Русская поэтесса Н., находясь в общеніи с ним, сказала мнѣ однажды, что во время ея послѣдняго посѣщенія Старец увидѣл у нея мой портрет в роли Гамлета. Посмотрѣв на портрет, он сказал:

— Вижу проявленіе духа. Привези его ко мнѣ.

Тогда же благодаря Н. я впервые и узнал о существованіи Старца Нектарія и, собравшись, поѣхал к нему.

Ночью поѣзд подошел к маленькой, темной станціи, гдѣ уже ждали крестьянскія розвальни, чуть прикрытые соломой и запряженные тощей, старенькой лошаденкой. Стояли жестокіе морозы. Дорога была долгая и трудная. Послѣ пяти-

часового пути, уже на разсвѣтѣ, в первой деревнѣ меня ввели в избу и, до темноты, велѣли лежать на печи. В избу же Старца я прибыл только к ночи и на слѣдующее утро был принят им.

Он жил в маленькой комнаткѣ за перегородкой. Не без волненія вошел я в комнатку, ожидая его появленія. Ко мнѣ вышел монах, в черном одѣяніи. Он был мал ростом и согнут в поясницѣ. Лица его я не мог разобрать сразу, уж очень вся фигурка Старца была пригнута к землѣ.

— Здравствуйте, Михаил Александрович, — сказал он, кланяясь мнѣ.

Меня поразило обращеніе на «вы» и по имени-отчеству.

Он сѣл и я увидѣл свѣтлые, радостные, голубые глаза его, рѣденькую, сѣдую бородку и правильной формы нос. Видимо, о. Нектарій был красив в дни своей молодости. Прежде, чѣм я успѣл понять, как мнѣ слѣдует держать себя, он весело улыбнулся и сказал:

— «Да, много есть на свѣтѣ, друг Горацій, что и во снѣ не снилось вашим мудрецам». — Затѣм, помолчав, прибавил:

— Я, вѣдь, тоже приникаю к научности. Слѣжу за ней. А вѣстно ли вам, Михаил Александрович, когда была представлена первая трагедія? — спросил он, лукаво глядя на меня.

Я должен был сознаться, что не знаю.

— Когда прародители наши, Адам и Ева, появились на сценѣ!

Он весело засмѣялся и продолжал:

— Когда я был еще мальчиком, в деревню к нам заѣхал такой ловкій фокусник — ходит по канату, а сам шапку подкидывает да ловит!

Так занимал меня Старец театральными разговорами. Он быстро снял с меня тот, ненужный ни ему ни мнѣ, налет «мистицизма», который я привез с собой. Он встал и, еле передвигая больными ногами, ушел за перегородку. Оттуда он вынес коробку с конфектами и положил одну из конфект мнѣ в рот. Все, что ему приносили его посѣтители, он раздавал

им же самим, или угощал вновь пріѣзжающих. Затѣм он сразу перемѣнил тон и начал серьезный разговор со мной. Разговор имѣл личный характер. Окончив его, Старец благословил меня и отпустил от себя, сказав, что позовет в другой раз вечером. Послѣ меня к нему вошли один за другим еще нѣсколько посѣтителей. Когда стемнѣло, он опять прислал за мной.

— Вы не безпокойтесь о вашей супругѣ, — сказал он вдруг, — она здорова и дома у вас все благополучно.

Я, дѣйствительно, уже начал сильно волноваться о том, что дѣлается дома, в Москвѣ. Сыщики, всегда и всюду слѣдовавшіе за мной, не могли не знать, казалось мнѣ, о моей поѣздкѣ к Старцу и могли явиться в мою квартиру без меня. Я еще утром увидѣл его прозорливость и знал, что он говорит правду.

На этот раз разговор зашел о Рудольфѣ Штейнерѣ. Монах, схимник, сорок лѣт проведшій в постѣ и молитвѣ, прямой послѣдователь школы старых подвижников, человѣк, имѣвшій свои откровенія, свое переживаніе евангельских истин, слѣдовавшій традиціям, в которых не упоминалось ни о перевоплощеніи человѣческаго духа, ни о законах судьбы (Кармы), этот человѣк, без колебаній и сомнѣній заговорил о Рудольфѣ Штейнерѣ и его ученіи, как об истинном и правдивом. Он нѣсколько раз возвращался к этой темѣ и всегда говорил положительно, за исключеніем одного только раза, когда он выразился так:

— То, что говорит Доктор Штейнер, есть как бы букет цвѣтов, — и подумав мгновеніе, добавил, — но попадаются и плевелы.

Если это все, что русскій подвижник захотѣл сказать п р о т и в европейскаго оккультиста, то, право же, стоит задуматься над этим фактом, как нам, антропософам, так и вѣрующим христіанам, боязливо отрицающим науку о духовных мірах.

Не раз приходилось мнѣ и другим слышать из уст Старца тѣ же истины, что дает и Антропософія, только развѣ в иных

выраженіях. Женѣ моей, напримѣр, упомянувшей о моей раздражительности, Старец сказал:

— Это, вѣдь, понятно. Художника окружают Духи Воздуха и часто воспламеняют его. Это ничего.

Так говорит и Антропософія, называя этих духов люциферическими. Они инспирируют творчество, вдохновляя художника.

Что, в самом дѣлѣ, удерживает вѣрующаго христіанина от принятія духовно-научных познаній? Почему всевѣдѣніе Божіе должно исключать научное знаніе? Не погрѣшает ли вѣрующій, отбрасывая науку в сферу матеріализма? Как бы мог русскій подвижник «приникать к научности», если бы в ней не было мѣста Христу? Как бы мог Рудольф Штейнер, безупречный христіанин, обогатить науку, как в смыслѣ метода, так и в смыслѣ содержанія, если бы она не могла быть служительницей христіанства? Наука и научное мышленіе, по существу своему, не матеріалистичны. Все зависит от того, какое примѣненіе им дается.

— Прошу я вас, Михаил Александрович, — сказал однажды о. Нектарій, — привезите мнѣ, пожалуйста, нѣсколько книжечек Доктора Штейнера.

И когда книги Штейнера были у него, он давал своим ученикам списывать их страницами.

— Самая свѣтлая точка в Россіи для оккультнаго взгляда, — сказал однажды Рудольф Штейнер, — это мѣсто, гдѣ подвизался Серафим Саровскій.

Если бы я не знал об'ективности духовно-научных изслѣдованій Рудольфа Штейнера и его личной безпристрастности, его любви ко всѣм существам, ко всѣм національностям, я бы впал в соблазн сказать, что он с особым чувством относился к славянской расѣ и спеціально к русскому народу. Говоря о послѣдовательно смѣняющих друг друга культурах, начиная с древне-индусской, возникшей непосредственно послѣ атлантической катастрофы (библейскаго Потопа), через древнеперсидскую, египетскую, греко-римскую и нашу современную, он приходит к шестой по счету культурѣ, которая идет на смѣну

европейской. Он говорит о ней, как о высокой всемірнаго значенія, культурѣ, гдѣ наука, искусство и религія (в смыслѣ конкретнаго знанія духовнаго міра) будут снова об'единены. Сознаніе отдѣльнаго человѣка, в этой культурѣ, будет охватывать физич. и духовн. міры одновременно. Любовь, не расовая или кровная, но свободная, от человѣка к человѣку, будет отличительным признаком этой шестой культуры. Она возникнет, говорит Руд. Штейнер, в славянских странах и, главным образом, в русском народѣ. Еще за долго до расцвѣта этой культуры, проснется в народѣ тоска по высшему знанію, уже будет смутно переживаться людьми, начиная с дѣтскаго возраста, чувство: во мнѣ есть нѣчто высшее, что было до того, как я родился и будет послѣ моей смерти, что это высшее не в первый раз пришло на землю и не в послѣдній раз оно здѣсь. Принципы и методы воспитанія того времени будут считаться с этими и подобными им смутными чувствами и будут бережно растить и развивать их. И хотя культура эта еще только в зародышѣ (около трех тысяч лѣт требует каждая культура на свое развитіе, расцвѣт и увяданіе), все же и сейчас видны ея предродовыя муки. Уже и сейчас мы являемся свидѣтелями дѣйствія сил, возстающих против грядущей культуры и хотящих задержать ея наступленіе. Символично и симптоматично то, что дѣлается, как раз, в области воспитанія в наше время. Два примѣра:

— Я не обязана уважать вас, — говорит дѣвочка своим родителям, возвращаясь из школы, — я родилась у вас случайно, что вы мнѣ такое!

Или діалог учителя со своим воспитанником:

— Вот, ты придешь сейчас домой, — говорит учитель,— тебѣ захочется ѣсть, ты сядешь за стол и родители твои дадут тебѣ пустую тарелку и скажут, что это суп. Будешь ты сыт этим, невидимым, супом?

— Нѣт, не буду, — отвѣчает воспитанник.

— А почему суп этот невидим?

— Потому что его нѣт.

— Правильно. Вот и про Бога родители твои говорят тебѣ, что он невидим. А почему? Потому, что его нѣт.

Конечно, матеріализм, столь чуждый русскому духу, завезенный в Россію в запломбированном вагонѣ, должен разсматриваться, как болѣзнь, но все же болѣзнь эта «не к смерти, но к славѣ Божіей». В нем, как и во всякой болѣзни, есть смысл. Он выковывает крѣпкую личную волю, способность самостоятельно (хотя пока что и ложно) мыслить и развивает самосознаніе человѣка. Правда, все это проявляется, в період матеріализма, в низшей, не достойной человѣка формѣ, но, все же, служит фундаментом для будущаго просвѣтленнаго «Я», способнаго мыслить и хотѣть в высшем смыслѣ. Цѣною страданій и заблужденій, зло матеріализма, все же, будет превращено человѣком в добро. И теперь человѣк может обезвредить матеріализм, удерживая его в сферѣ ему принадлежащей. В предѣлах ему положенных, он имѣет такое же право на существованіе, как и всякое другое міровоззрѣніе. Нельзя построить моста или желѣзной дороги на основах идеалистическаго міровоззрѣнія, как нельзя создать истинной психологіи, или пневматологіи, исходя из матеріализма. Да и русскій матеріализм, бурей налетѣвшій на Россію, не тот, что западный. В Россіи он — временное философское заблужденіе, на Западѣ же — образ жизни, повседневность, натура человѣка. Русскій человѣк индивидуальный мыслитель, на Западѣ же и мысль все больше становится массовой продукціей. Русскій человѣк первый поймет эти и другія истины и первый вступит на путь к оздоровленію.

Нѣсколько раз удалось мнѣ посѣтить Старца Нектарія. Всегда он был весел, смѣялся, шутил и дѣлал счастливыми всѣх, кто входил к нему и проводил с ним хотя бы всего нѣсколько минут. Он конкретно брал на себя грѣхи, тяжести и страданія других — это чувствовали всѣ, соприкасавшіеся с ним, как почувствовал это и я. Когда его спросили об этой способности его давать облегченіе приходившим к нему, он, отвѣчая, сказал:

— Когда наберется много тяжести на спинѣ моей, то

приходит Благодать Божія и, как сухіе листья, разметывает ее и опять легко.

С особой силой испытал я эту легкость послѣ исповѣди у Старца Нектарія. Мнѣ тогда же вспомнилось чувство физическаго облегченія, испытаннаго мною послѣ сеансов д-ра Каптерева. Теперь же это было чисто душевно-духовное освобожденіе, неизмѣримо превышавшее по силѣ то, физическое. Мой друг, посѣтившій Старца вмѣстѣ со мною и менѣе восторженно относившійся к старчеству вообще, исповѣдывавшись у о. Нектарія, с удивленіем признал это новое, еще не испытанное им ранѣе, чувство освобожденія и легкости.

Два или три раза, уже послѣ смерти Старца, я видѣл его во снѣ и каждый раз он давал мнѣ совѣты, выводившіе меня из душевных трудностей, из которых я не мог выйти своими силами.

Однажды, когда я ночевал в избѣ Старца, меня положили довольно близко к той перегородкѣ, за которой спал он сам. И я слышал, как горько плакал он ночью. На утро же был весел и радостен, как всегда.

— Наш путь, — сказал он как-то о старчествѣ, — как и у канатоходцев: дойдешь — хорошо, а свалишься на полпути — вот будут смѣяться!

Уѣзжая в послѣдній раз, я ждал разрѣшенія и благословенія Старца на от'ѣзд. Запряженныя дровни уже стояли на дворѣ. Времени до отхода поѣзда оставалось мало и я, признаюсь, стал уже нервничать, боясь опоздать. Двадцать пять верст, ночь, мороз, худая деревенская лошаденка — скоро ли довезет она! Но Старец медлил. Я попросил хозяина напомнить ему о моем от'ѣздѣ, но крестьянин с укоризной взглянул на меня, маловѣрнаго, усомнившагося. Старец тут же сидѣл у стола и как бы разсматривал будильник, стоявшій перед ним. Я понял, что успѣть на поѣзд уже невозможно и думал с неудовольствіем о тѣх послѣдствіях, которыя может вызвать в Москвѣ мое опозданіе. Время все шло. Вдруг Старец взглянул на меня и ясно, твердо, как бы отвѣчая на мои безпокойныя мысли, сказал:

— Даю вам Ангела в сопровожденіе. Ни о чем не безпокойтесь.

Время ли растянулось, дорога ли сократилась, но, к великому моему удивленію (и стыду!), на поѣзд я не опоздал.

Старца я больше не видѣл. Он умер незадолго до моего от'ѣзда заграницу. Женѣ моей удалось еще послать гроб для его тѣла и немного денег на похороны.

Нам, русским, слѣдовало бы видѣть в старчествѣ как бы символ Народнаго Духа. Если вчера этот Дух проявлялся в образѣ Старца, то завтра мы встрѣтим его в университетѣ, в парламентѣ, на заводѣ, в лабораторіи ученаго, в мастерской художника. И не прав был тот священник, который сказал мнѣ:

— Что вы все оглядываетесь на Запад? Что вы ищете Бога там, а у нас, в Россіи, не видите Его!

Не Бога ищу я на Западѣ, а точнаго знанія о Богѣ, котораго еще нѣт в Россіи.

«Я приникаю к научности», — сказал послѣдній русскій подвижник и пожелал имѣть при себѣ книги Рудольфа Штейнера. То, что как бы символично произошло в глухой русской деревнѣ, произойдет и со всѣм русским народом, когда настанет время.

13.

Поскольку позволяли дѣла театра, я ѣздил на гастроли в Петербург и по провинціи, с ролью Хлестакова. В Петербургѣ я играл в Александринском Театрѣ, на той, дорогой мнѣ, сценѣ, гдѣ я видѣл когда-то Варламова, Давыдова, Савину, Стрѣльскую, Далматова. Я горячо любил не только Александринскій Театр, но и Петербург, гдѣ я родился и жил до поступленія в МХТ. Удивительно, как сохранилась для меня вся сказочность и нереальность Петербурга, воображенныя и нафантазированныя в дѣтствѣ. Пожарная каланча на Невском Проспектѣ, не каланча, а замок, полный тайн, то необитаемый, то скрывающій, за красными своими стѣнами, сонмы странных

существ, по временам вырывающихся на свободу, со звоном, с шумом и грохотом. Паровичок, ходившій к Александро-Невской Лаврѣ, оживал и дѣлался опасным и недобрым, когда близко подходил к троттуару, а потом снился часто, гоняясь за мной по каменным лѣстницам дома, из перваго этажа во второй, из второго в третій, пока я не захлопывал перед ним дверь и потом слышал, как, недовольный, он, погромыхивая, катился вниз. Невскій Проспект не имѣл ни начала, ни конца и тянулся через весь мір. Откуда-то шли и ѣхали люди и, не останавливаясь, куда-то исчезали — из вѣчности в вѣчность. Пять Углов представлялись мнѣ, как неразрѣшимая задача, и люди там казались заблудившимися, потерявшими направленіе. И теперь, гуляя по улицам Петербурга, я чувствовал их нереальнось и на душѣ становилось волнительно-пріятно.

Репетиція. Я знакомлюсь с режиссером Е. П. Карповым и с труппой Театра. Ко мнѣ подходит старушка актриса и дружески пожимает руку. Это Домашова. Хочется сказать ей, как много лѣт назад я восторгался ея игрой, как учился, глядя на нее, но я сдерживаю свои восторги: вспоминать пришлось бы о молодой, очаровательной дѣвушкѣ, передо мной же стояла старушка. Но зачѣм она здѣсь, на репетиціи «Ревизора»? Кого может она играть в этой пьесѣ? Для маленькой роли Пошлепкиной, она слишком почтенная, слишком знаменитая актриса, а других старушек в пьесѣ я не знаю. Я спросил режиссера. Он отвѣтил: ея роль в «Ревизорѣ» — Марья Антоновна, дочь Городничаго. Барышня, лѣт шестнадцати, почти дѣвочка! Домашовой же было тогда за шестьдесят! «Что же будет с моим темпом?» — пронеслось у меня в головѣ. — «Пропала сцена! А публика? Вѣдь будут смѣяться!» Я скрыл свой испуг. Репетировать начали со второго акта, с выхода Хлестакова. Репетиція с гастролером — явленіе особаго порядка. Предполагается, во-первых, что гастролер не нуждается в репетиціи: он все знает. Единственно, что ему нужно, это удобныя для него мизансцены партнеров. Эти мизансцены он и должен им указать. Во-вторых, он получает состав, уже игравшій пьесу, в которой выступает гастролер.

Репетиція поэтому бывает, обычно, одна и походит она больше на урок танцев, чѣм на репетицію: всѣ всѣм кланяются, всѣ вѣжливо и легко скользят по полу в pas chassé, всѣ улыбаются, всѣх все устраивает. «Могли бы вы, если это вам не совсѣм неудобно, на шаг отступить»... «О, с восторгом! Вот так?» «Прекрасно, прекрасно»! «Очень рад». «Могу я просить вас привстать и слегка поклониться, когда я»... «Ага! Я понимаю вашу идею! Так? Выше? Ниже»! «О, так, совершенно так, как вы это сдѣлали! Чудесно! Мерси»! «Рад служить»! Режиссеру на таких репетиціях дѣла не много. Он вѣжливо присутствует и одобрительно кивает головой, встрѣчая чей-нибудь взгляд. Так прошла и сцена с Домашовой. Слова бормотали или шептали, дѣлая неопредѣленные жесты (намѣчая!) и только внезапно ударяя на репликах для вступленія партнеров.

Мы быстро дошли до четвертаго акта. Перед сценой Растаковскаго я замѣтил замѣшательство среди актеров. Сцены этой в МХТ я не играл, в составѣ же Александринскаго Театра, почтенный, старый, заслуженный артист К. всегда играл роль Растаковскаго и был знаменит в Петербургѣ в этой роли. Прежде, чѣм я понял в чем дѣло, я увидѣл умоляющіе глаза моих коллег. Они страдали за своего старшаго товарища, но и не рѣшались просить меня сыграть эту сцену экспромтом. В глубинѣ сцены я увидѣл самого К. Высокій старик, с сѣдой головой, был мрачен и обижен. Постояв, с минуту или двѣ, он печально покачал головой и медленно направился к выходу. В это время я уже успѣл понять в чем дѣло и, бросившись к нему, просил его оказать мнѣ честь сыграть со мной сцену Растаковскаго. Он показал мнѣ свои мизансцены, я обѣщал ему выучить слова Хлестакова к завтрашнему спектаклю и он, довольный, раскланялся и удалился. Труппа была тоже довольна и благодарила меня.

Наступил спектакль. В первом актѣ я встал за кулисы, чтобы посмотрѣть, что будет дѣлать шестидесятилѣтняя Домашова. Когда на сцену выбѣжала Марья Антоновна, я с облегченіем понял, что Домашову удалось замѣнить молодой

актрисой. Марья Антоновна была прелестна! Ея молодость, несомнѣнный талант, ея чудный звонкій голос, обаяніе, все поразило меня. Стоя за кулисами я, как это бывало в молодости, с молніеносной быстротой влюбился и в Марью Антоновну и в актрису, игравшую ее. Я впился в нее глазами, слѣдя за ея граціозными и, вмѣстѣ с тѣм, провинціально-смѣшными движеніями. Какой талант! И вдруг... или это только показалось мнѣ?... я увидѣл Домашову! Да, это была она! Очаровательная Марья Антоновна была — Домашова! Влюбленность моя смѣнилась благоговѣніем перед ея талантом, перед тѣм поразительным чудом, которое совершилось с ея тѣлом, голосом, со всѣм ея существом. Мнѣ захотѣлось играть и я был счастлив в теченіе всего спектакля. Сцена Марьи Антоновны прошла под гром апплодисментов. Акт кончился. Я быстро разгримировался и уже хотѣл спуститься вниз, смотрѣть игру Домашовой в послѣднем актѣ, как дверь тихо отворилась. На порогѣ стоял К. еще в гримѣ и в военном мундирѣ Растоковскаго.

— Можно? — загадочно спросил он.

— Пожалуйста! — Я вскочил и подал ему стул. Он сдѣлал мнѣ знак рукой: молчать, тихо и осторожно закрыл дверь и, близко подсѣв ко мнѣ со своим стулом, стал шептать:

— Михаил Александрович, вы, я знаю, вращаетесь в Москвѣ в высших сферах. Я имѣю к вам просьбу. Вот видите, у нас в театрѣ, увы... — он развел руками и опустил свою старую голову, — увы, увы, слишком много контр-революціоннаго элемента. Его надо искоренить. Когда вернетесь в Москву, не откажите в любезности донести кому слѣдует, там, на Лубянкѣ. Вот имена: (он назвал мнѣ почти весь мужской состав труппы). Премного обяжете. (Он встал и кланяясь, точь в точь, как в сценѣ Растаковскаго с Хлестаковым, задом стал удаляться к двери). Пусть их всѣх ликвидируют. Я надѣюсь, я вѣрю вы исполните мою просьбу. Честь имѣю кланяться. (И он исчез).

Совсѣм иными были мои провинціальныя впечатлѣнія. То, с чѣм мог столкнуться гастролер того времени в провин-

ціи, было скрыто от взоров других. Помню, в одном из больших украинских городов, послѣ репетиціи «Ревизора», труппа окружила меня. Вперед выступил старый актер, игравшій Городничаго. Он выдержал паузу и начал волнуясь и запинаясь:

— Позвольте поблагодарить вас, господин Чехов... от имени всей нашей труппы...

Я поклонился, ожидая, обычных для гастролера, вѣжливых похвал, но актер продолжал:

— ...поблагодарить вас за то, что вы... — он проглотил слезы. Взглянув на других актеров я увидѣл, что и они были смущены и взволнованы не меньше старика. — За то, что вы нас не били.

Я не понял. Старик переглянулся с актерами.

— Случается, — сказал он, — не часто, но случается. Большой художник горяч. Иной раз не сразу поймешь, чего он хочет и бывает... Еще недавно пріѣзжал к нам господин Ц. (он назвал имя довольно извѣстнаго актера). Какой темперамент! Не помнит себя. Словом, позвольте пожать вашу руку.

В другом, тоже украинском городѣ, перед началом четвертаго акта «Ревизора», в дверь моей уборной просунулся человѣк с черной, вз'ерошенной головой.

— Получили?

— Что?

— Деньги.

— Какія?

— За гастроли?

— Нѣт.

— Не выходите на сцену!

Вз'ерошенный человѣк вбѣжал, схватил меня за плечи и прижал к спинкѣ стула.

— Оставайтесь здѣсь и требуйте деньги!

— Да зачѣм же? Вѣдь я еще не доиграл.

— И не доигрывайте! — сдавленным шепотом прокричал он. — Деньги на бочку! Я скажу им, что вы не позволяете начинать.

— Что вы, развѣ так можно! Я лучше доиграю.

Отступив к двери, черноволосый человѣк стал тяжело дышать, руки его сжались в кулаки и глаза безпокойно забѣгали. Я догадался, что это был мѣстный трагик.

— Пропали деньги! — сказал он и выбѣжал из уборной.

По окончаніи спектакля, один из антрепренеров (их было два) вошел в уборную, притворил за собой дверь и, не глядя на меня, тяжело опустился на стул. Воротник его пальто был поднят и пальцы нервно застегивали и растегивали пуговицы. Он натер до красна свои маленькіе глазки и умоляюще взглянул на меня.

— Арестована, — прошептал он.

— Кто?

— Касса.

Он отер пот с сухого лба и, мигая, наивно уставился на меня. Изображая страдальца, он больше походил на больного с высокой температурой.

— И надо же было случиться несчастью, — плаксиво проговорил он, — как раз, когда вы, вы, наш любимый артист, наш дорогой гость (публика в восторгѣ!), пріѣхали к нам...

Голос страдальца задрожал. Это и натертые докрасна глазки вдохновили его к слезам. Я по опыту знал, как трудно на сценѣ плакать и говорить одновременно, и с любопытством ждал, как выйдет страдалец из технических затрудненій рѣчи. Неосторожно всхлипнув, он, дѣйствительно, скоро запутался в слезах и уже не мог больше произнести ни слова. Нужна была помощь. Дверь распахнулась и второй антрепренер, бодро, увѣренно, с цвѣтком в петлицѣ влетѣл в уборную. Бросив укоризненный взгляд на компаньона, он схватил меня за руки.

— Боже ты мой, Боже великій! Слышали? Чорт его знает, вѣдь надо же было случиться такому несчастью. Но, родной вы мой, какой вы артист! Дайте я вас поцѣлую. Искра божія, чорт вас возьми! — сыпал он, не давая мнѣ вставить слова. — Талант, талантище, Бог вас возьми совсѣм!

Он отступил, разсматривая меня на разстояніи, как картину. Я хотѣл было заговорить, но он бросился ко мнѣ и стал быстро крестить меня, приговаривая:

— Христос вас храни, да будут силы небесныя над вами. Идите, выспитесь хорошенько и помните: у вас нѣт лучшаго друга, чѣм я. Увидимся завтра на вокзалѣ. Спать, спать! — и, вытолкнув за дверь страдальца, скрылся.

В уборную ворвался трагик. Разставив широко ноги, прищуренными глазами он долго и молча смотрѣл на меня. Потом расхохотался, не разжимая губ, постоял еще, раздул ноздри и не без эффекта вышел из уборной. (Отелло, догадался я).

На другое утро, на вокзалѣ, перед самым отходом поѣзда, в концѣ платформы я увидѣл обоих моих антрепренеров. Широко раскрыв об'ятія и перегоняя страдальца, приближался мой новый друг. Подбѣжав ко мнѣ, он обнял меня, трижды, по-русски, поцѣловал в обѣ щеки и сказал:

— В вагон, в вагон, сейчас тронется. Храни вас Царица Небесная!

Он впихнул меня в вагон. Высунувшись из окна, я увидѣл, что он достает из кармана конверт. «Принес», — подумал я с облегченіем, — «все таки славный народ».

— Милый мальчик, — сказал он, передавая мнѣ конверт, — Чудный, славный мальчик! — в глазах его блеснули слезы. «Мальчик? Уж не слишком ли это фамильярно?», — подумал я и хотѣл было обидѣться, но сдержался: подтянувшись к окну, друг мой, с рвеніем, снова крестил меня, шепча слова молитвы. Легкими движеніями головы, он давал мнѣ понять, что его нельзя перебивать. Он молился, пока не тронулся поѣзд.

— Нну, теперь с Богом!!!

Страдалец, стоя рядом с ним, кланялся и махал шапочкой. Войдя в купэ, я раскрыл конверт, чтобы убѣдиться, всю ли сумму выплатил мнѣ мой друг. В конвертѣ я нашел портрет мальчика, лѣт шести, с надписью: «Нашему любимому, гордости русской сцены, М.А.Ч. от отца и сына». Портрет «милаго мальчика» я привез домой и в рамкѣ поставил на письменный стол.

Мих. Чехов.

ИСТОКИ*)

VI.

Разсыльный принес коробку от костюмера. Николай Сергѣевич не нашел у себя в карманѣ мелочи и дал на чай полталера. Остолбенѣвшій на мгновенье разсыльный поблагодарил и торопливо ушел, опасаясь, что сумасшедшій иностранец спохватится и потребует сдачи. «Глупо... глупо все, что я в послѣднее время дѣлаю!.. А потом удивляюсь, что так много уходит денег», — сердито подумал Мамонтов. Мысли о том, что его состояніе тает с необыкновенной быстротой, были еще не самыя непріятныя из его мыслей, но онѣ отнимали много времени. Он находил, что думает о деньгах и производит подсчеты слишком часто. «Это портит характер, если есть еще чему портиться. Вдобавок, от подсчетов денежныя дѣла не поправляются».

Николай Сергѣевич перенес коробку на свой маленькій письменный стол, принялся развязывать шнурки и потянул не за тот конец. Образовался глухой узел. Гдѣ-то были ножницы. Он стал их разыскивать под бумагами, папками, книгами. Попадались перья, карандаши, пепельница, песочница, ножниц не было. Книги с грохотом повалились на пол, листы статьи разлетѣлись. У него от раздраженья затряслись руки. Он разорвал шнурок, на пальцах остался слѣд, стѣнки коробки вдавились. Ножницы тотчас нашлись: онѣ были за лампой, на видном мѣстѣ.

В коробкѣ лежали шпага, длинные красные чулки, красная шляпа, под ними красный кафтан. «Некрасивое слово

---

*) См. 4-ую, 6-ую и 7-ую книги «Новаго Журнала».

«кафтан», что-то с ним связывается широкое, приземистое. И еще что-то касающееся табака, что бы такое?... «При шпагѣ я и шляпа с пером»... Мефистофельскіе штаны непремѣнно на мнѣ лопнут, что тогда?»... Он надѣл шляпу и подошел к зеркалу в золоченой рамѣ, новенькому как все в этой гостинницѣ. Николаю Сергѣевичу стало и смѣшно, и совѣстно. «Пошел четвертый десяток, мысли одна хуже и мрачнѣе другой, но сколько еще осталось глупой, чисто-телячьей жизнерадостности! Правда, гораздо меньше, чѣм было прежде... Как же пройти по вестибюлю гостинницы, если из под пальто будут торчать красные чулки? Меня примут за сумасшедшаго и будут совершенно правы... Уж лучше было выбрать костюм Валленштейна или маркиза Позы. У этого «гофлифераита» был весь Шиллеровскій гардероб... Да, Герцен так восхищается Шиллером и уж ему-то это никак не идет: в Герценовскій «идеализм» я повѣрю только тогда, когда повѣрю в свой собственный. Его «идеалистическія» страницы производят такое впечатлѣніе, будто тут по ошибкѣ пропущены кавычки или будто ему под идеалистическим соусом почему-то удобнѣе высмѣять еще кого-либо из добрых знакомых, особенно из бѣдных эмигрантов. Так он и «благословлял» Шиллера... Гдѣ это я читал, что Шиллер был лицом и фигурой необыкновенно похож на верблюда?...»

У Мамонтова был мучительный день, — день тѣх мыслей, которыя он называл удобными. Обычно это бывало при неудачах. Жизнь его не налаживалась, работа шла нехорошо, дѣло с Софьей Яковлевной не подвигалось. «Собственно и дѣла никакого нѣт... Да, об'ясняй жизнь и дѣйствія людей в худшую сторону, — об'ясняется, если не все, то по крайней мѣрѣ девяносто процентов. А будешь об'яснять иначе, не об'яснишь почти ничего»... Он приписывал свои новыя настроенія зрѣлищу Берлинскаго Конгресса, постоянному общенію с журналистами и особенно «атмосферѣ Кайзергофа». Николай Сергѣевич на каждом новом мѣстѣ пытался уловить то, что называл атмосферой. В этой огромной роскошной гостинницѣ никто никого не знал и никто никѣм не интересовался, незнакомые

люди, садясь рядом в кофейнѣ или в салонѣ, вѣжливо говорили «Mahlzeit» или «Tn' Abend», охотно помогали другъ другу зажечь сигару, пили хорошіе ликеры, слушали прекрасную музыку, иногда обмѣнивались соображеніями о погодѣ, о наружности проходивших дам, о «Тристанѣ» или даже о князѣ Бисмаркѣ (тут и в этом не могло быть больших разногласій). Что-то еще добавляло обиліе иностранцев, слышавшаяся вездѣ французская и англійская рѣчь, безпрестанно вносившіеся в холл превосходные чемоданы, даже уходившая медленно вверх под'емная машина, в которую еще не без опаски входили иные из вновь прибывших гостей. Здѣсь стыдно было только одно: не имѣть денег. Николаю Сергѣевичу казалось, что каждому из живущих в «Кайзергофѣ» людей было бы непріятно оказаться в обществѣ нуждающагося человѣка, — никак не потому, что перед ним было бы совѣстно (такое чувство он иногда замѣчал у богатых русских), а именно непріятно, как человѣку высокой касты в Индіи мучительно находиться по близости от паріев. Атмосфера «Кайзергофа» говорила, что жизнь во всѣх отношеніях прекрасна, что здѣсь для каждаго будет сдѣлано рѣшительно все, что нужно только каждую недѣлю, или за полчаса до от'ѣзда, платить по счету, который подавался на тарелочкѣ почтительным человѣком в новеньком мундирѣ с натертыми до блеска пуговицами, — «столько пріятнаго за одну непріятную минуту». Порою Николай Сергѣевич, преодолѣвая смущенье, отвѣчал атмосферѣ «Кайзергофа», что через год-другой ему, вѣроятно, будет нечѣм платить по этим бѣленьким бумажкам с красивой печатью и с росчерком. Но это было возраженіе изнутри. — «Разумѣется, это ваше дѣло, сударь», — учтиво говорила атмосфера, — «но вы как-нибудь устройтесь, достаньте, а мы всегда будем вам чрезвычайно рады». Иногда же Николай Сергѣевич возражал атмосферѣ извнѣ: — — «Все это, конечно, так, но вот в Парижѣ, лѣт семь тому назад люди ѣли крыс, даже в «Гранд-Отелѣ». — «Ах, в «Гранд-Отелѣ» едва ли ѣли крыс, едва ли», — недовѣрчиво вставляла атмосфера «Кайзергофа». — «Теперь только что кончилась

другая кровавая война»... — «Да вѣдь Бог знает гдѣ, на какихто Балканах!» — «В Россіи начинается кровавая революція». — «Неужели? Как это непріятно! Но не у нас... Да что же хваленая русская полиція унд ди Козакен? Мы очень, очень надѣемся, что и в Россіи ничего такого не будет»...

«Будет, ох, будет», — и теперь подумал Николай Сергѣевич. — «Не может быть, чтобы тѣ еще долго все это терпѣли, когда их в тысячу раз больше, чѣм этих Кайзергофских»... И сразу он почувствовал, что именно здѣсь, а не в мыслях о Катѣ, о Софьѣ Яковлевнѣ, о предстоящем разореніи, было самое важное, даже самое тревожное. «В Россіи начинается кровавая революція, которая, быть может, распространится на весь мір. И не может быть ничего глупѣе и постыднѣе, чѣм заниматься вздором, писать картинки, ѣздить по балам в такое страшное и отвѣтственное время... Но опять-таки что здѣсь «об'ективная правда», и что суб'ективное вранье любующагося собой — без всякаго основанія — человѣка? Собственно... Меня губит слово «собственно»... Собственно, всякое время в исторіи было страшное и отвѣтственное, и вѣрно ни в какое время никакіе ужасы, происходившіе на разстояніи пятисот верст, никому не мѣшали веселиться, дурачиться, жить так, точно нигдѣ ничего не происходит»...

В отдаленіи часы пробили пять. Николай Сергѣевич никак не мог выяснить, гдѣ именно находятся эти часы, в безсонныя ночи нагонявшія на него тоску. Он жил в Берлинѣ уже нѣсколько недѣль, из них почти мѣсяц жил один: Катя была на морѣ. Она поставила себѣ цѣлью потерять десять фунтов в вѣсѣ. Алексѣй Иванович прямо ей заявил: либо похудѣть, либо бросить цирк. Об измѣнѣ цирку Катя не хотѣла слышать. По ея требованію, Николай Сергѣевич вел переговоры с труппами Ренца и Саломонскаго. Впрочем, он надѣялся, что из дѣла ничего не выйдет: пушечный выстрѣл вышел из моды, — «временно», — говорили довольно холодно антрепренеры; им не нравилось, что об артисткѣ ведет переговоры очевидный покровитель: в циркѣ этого не любили. Кромѣ выстрѣла Катя ничего не знала. Послѣ первой недѣли в Герингс-

дорфѣ от нея пришло восторженное письмо: потеряла три фунта. Затѣм начальный восторг худѣнія у нея ослабѣл. Вторая недѣля дала фунт, — Катя об'ясняла это происками рыжей вѣдьмы, хозяйки пансіона, которая кормила их не тѣм, чѣм слѣдует (на полях была приписка Рыжкова: «все неправда, она жрет пирожныя, хоть бы вы повліяли, Николай Сергѣевич!»). Катя скрывала от Мамонтова, что, под руководством Алексѣя Ивановича, изучает новый цирковой номер. Это был сюрприз.

В концѣ іюня Николай Сергѣевич навѣстил их в Герингсдорфѣ, не предупредив о своем пріѣздѣ. С вокзала он отправился в пансіон, оставил там, к неудовольствію и удивленію хозяйки, свой чемодан и пошел на берег их разыскивать. Еще издали он услышал восторженный звонкій смѣх Кати. «Прежде этот смѣх, как говорится, сводил меня с ума... Нѣт, я и теперь люблю его, он меня раздражает только, когда я и без того раздражен», — подумал Николай Сергѣевич, тут же себя выругавшій: мѣсто и время были неподходящія для самоанализа. Катя издали его увидѣла. В первую секунду она остолбенѣла. Потом начались восторженный визг, хохот, вопросы, заботы, негодованье, — он вечером хотѣл уѣхать. В видѣ вознагражденія Катя потребовала, чтобы он тут же раздобыл костюм и пошел с ней купаться. «Да я сам об этом мечтал всю дорогу!» — сказал весело Мамонтов, глядя на нее и держа ее обѣими руками за руки. Он не видал ее в купальном костюмѣ.

— ...Они дают напрокат, и всего за ихній четвертак... И чистый костюм, совсѣм не противно. Я тоже в первый день взяла напрокат, мы тут встрѣтили одного русскаго, старичка, и он для меня купил этот. Тебѣ нравится? Правда, очень красивый?... Ах, как жаль, что здѣсь нельзя цѣловаться!... Мы прямо отсюда пойдем домой... Ты знаешь, мы теперь не завтракаем, а рано пьем чай! Я чтоб похудѣть, а Алешенька за компанію. Сами чай варим, покупаем ветчину, колбасу, яйца. Ветчина здѣсь чудная! Хотя у нас лучше, если от Елисѣева... Иногда я и варенье ѣм, но рѣдко и немного, боюсь Алешеньки.

Нѣт, ты не смѣешь сегодня уѣзжать, это просто безобразіе, я тебя не отпущу! — говорила она. — Просто возьму и не отпущу!

— Катенька, что дѣлать, этот конгресс. Завтра очень важное засѣданіе, я и то едва мог уѣхать.

— Проклятый конгресс! Но как же было с рыжей вѣдьмой? Ты ей все сказал?

— То есть, что же я должен был сказать? Какое «все»?... Догадалась ли? Может быть, и догадалась, не знаю. Я просил поставить мой чемодан у Алексѣя Ивановича. Его комната далеко от твоей?

— На другом концѣ корридора! — радостным шопотом сообщила Катя. — Ты знаешь, у него позавчера опять был припадок сумасшествія!

— Что?... Ах, да, — вспомнил Николай Сергѣевич. Ему было извѣстно, что с давних времен, раза два в год, солидный, разсудительный, ласковый Алексѣй Иванович жестоко обижался, без понятной причины, из-за какого-либо пустяка, на самых близких ему людей, — при жизни Карло обычно на него. В этих случаях Рыжков дрожащим голосом, но стараясь быть совершенно спокойным, об'являл, что навсегда покидает их семью и начинал чрезвычайно дѣловито обсуждать денежную сторону разрыва. Никаких договоров у них никогда не было. Алексѣй Иванович «принимал на себя всю вину», требовал, чтобы весь матеріальный ущерб был отнесен на его долю, и даже предлагал «заплатить неустойку». Карло слушал его очень хладнокровно, не спорил, не возражал, соглашался и на возмѣщеніе ущерба, и на неустойку, и на все, что угодно, зная, что к вечеру сумасшедшій русскій успокоится. Договорившись обо всем, Алексѣй Николаевич уходил к себѣ и начинал укладывать вещи, обливаясь слезами от горя и обиды. Затѣм к нему приходила Катя и шопотом сообщала, что Карло «внѣ себя», что она за него очень боится: — «Еще может покончить самоубійством!» — говорила Катя, широко раскрыв глаза. Касалась она происшествія и по существу и доказывала Рыжкову, что никто его не обижал, а, напротив, он сам жесто-

ко обидѣл их обоих. Еще немного позднѣе появлялся Карло и происходило взаимное об'ясненіе в любви. Эти періодическія происшествія Катя и называла припадками сумасшествія Алексѣя Ивановича. Николай Сергѣевич, сам их нѣсколько раз наблюдавшій, говорил, что тут «общечеловѣческая настоятельная физіологическая потребность обижаться». На Катю Алексѣй Иванович обижался рѣже, но тоже періодически. В таких случаях примирителем бывал Мамонтов. Теперь они, очевидно, помирились и без него.

— Да, да, был припадок и очень долгій! Можешь себѣ представить, он к рыжей вѣдьмѣ пошел и начал ей знаками об'яснять, что уѣзжает! Хорошо, что она не понимает ни одного слова. Что ж ты думаешь, он позвал старичка для перевода! Но тот до вечера не мог прійти, а мы до того помирились! Такого припадка у Алешеньки не было с Нью-Іорка! — испуганно говорила Катя, совершенно как о падучей болѣзни.

— Из-за чего же это вышло?

— Из-за того, что я его не послушалась и купила себѣ сладкій пирог... Один раз и совсѣм маленькій! А кромѣ того, из за тебя! — сказала она и опять залилась смѣхом. — Он требует, чтобы я уговорила тебя жениться на мнѣ! Такой глупый!... Ты не озяб? Сегодня вода холодная, вчера был первый холодный день, а то просто рай земной. Просто возвращаться жаль!

— Катенька, да сиди здѣсь сколько захочешь! Вѣдь ты говоришь, что тебѣ надо похудѣть.

— А развѣ я не похудѣла? — возмущенно спросила она. — Вот ты увидишь!

К чаю они вышли в четвертом часу. Алексѣй Иванович, раскладывавшій пасьянс, как будто и не замѣтил их отсутствія. «Кажется, к вечеру будет дождь», — сказал он (всегда вѣрно угадывал, какая будет погода), — «садитесь, Николай Сергѣевич, гостем будете». В послѣднее время Мамонтову бывало с ним неловко, хотя он был так же благодушен, как прежде. Алексѣй Иванович нѣсколько сдал послѣ несчастья с Карло. У него появились морщины. Он усиленно тренировался в своем дѣлѣ. — «Надо, надо работать, Катенька!» — бодро говорил

он, — «чтоб нам с тобой не остаться без куска хлѣба». — «Что вы, что вы, Алешенька, я вас всю жизнь буду кормить, а вы только живите до ста лѣт», — отвѣчала Катя взволнованно, хоть и без всякой тревоги. «Ты прокормишь!» — говорил он, смѣясь уже почти по-стариковски, — «за тобой не пропадешь». Рѣчь и манеры у Алексѣя Ивановича становились все болѣе степенными. Ничего особенно умнаго или интереснаго он не говорил, но Мамонтову прежде бывало пріятно его слушать. Что-то необыкновенно успокоительное всегда было в его разсудительных словах. Николай Сергѣевич не знал (все забывал спросить), откуда родом Рыжков; ему почему-то казалось, что вѣрно Алексѣй Иванович родился гдѣ-нибудь в Костромской Ипатьевской слободѣ или в какой-либо избѣ рыбака на берегу Камы.

Через полчаса все было сказано о циркѣ, о погодѣ, о температурѣ воды в морѣ, о Герингсдорфских ресторанах и о худѣніи Кати. Николай Сергѣевич даже заговорил о политических событіях. Больше от скуки он стал развивать свои республиканскіе взгляды. Катя его не слушала. Алексѣй Иванович слушал, разинув рот, и смотрѣл на Мамонтова так, как, вѣроятно, Инка Орехон смотрѣл на высадившагося с невиданнаго корабля бѣлолицаго Пизарро, когда тот ему об'явил, что пріѣхал из невѣдомой страны и намѣрен обратить перуанцев в свою вѣру.

— Да как же можно без царя, Николай Сергѣевич?

— Вы видѣли, как. Живут же в Америкѣ люди без царя и лучше живут, чѣм мы.

— Так то в Америкѣ!

— У нас ѣда гораздо лучше, чѣм в Америкѣ, — сказала Катя, украдкой добавляя себѣ варенья (Алексѣй Иванович смотрѣл на Мамонтова). Из-за худѣнія у нея мысли были особенно заняты ѣдой. — У них даже нѣт селянки на сковородѣ! Я больше всего люблю селянку на сковородѣ... Нѣт, поросенка с хрѣном и со сметаной, пожалуй, не меньше люблю. А больше всего на свѣтѣ Гурьевскую кашу... Да, больше всего на свѣтѣ! — подтвердила она, немного подумав, — И ничего

этого у них нѣт, а еще говорят, будто они все выдумали! И нѣмец тоже никакой обезьяны не выдумал. У них только колбаса хорошая, это правда. Да еще мнѣ нравится, что они к мясу подают компот, а больше, ей Богу, ничего здѣсь нѣт.

— Да чего же и требовать от Сельдяной Деревни?, — сказал Алексѣй Иванович, которому русскій знакомый перевел слово «Герингсдорф». Мамонтов перестал говорить о политикѣ. Он недолюбливал то, что называл Елисѣевскими разговорами русских заграницей; но от Алексѣя Ивановича и при этих разговорах, как всегда, вѣяло пріятной успокоительной скукой. «Может быть, и им со мной скучновато», — подумал Мамонтов.

Послѣ второго купанья в морѣ и ужина, он простился с ними на вокзалѣ, — они с Катей давно цѣловались при Алексѣѣ Ивановичѣ, который, впрочем, отворачивался. Продѣланы были всѣ формальности, вплоть до маханья платочками и шапочками послѣ отхода поѣзда. Отойдя от окна вагона, Мамонтов вздохнул. Ему бывало скучно разговаривать с Катей и грустно с ней разставаться. Вдобавок, дѣйствительно пошел дождь. «Будут, бѣдные, весь вечер сидѣть на балконѣ у «рыжей вѣдьмы». Впрочем, они, когда вдвоем, навѣрное не скучают», — успокоил себя он и не без удовольствія подумал о возвращеніи к свободной холостой жизни.

В Берлинѣ он проводил время недурно. Журналистам было нечего дѣлать на Конгрессѣ: их приглашали только на нѣкоторые торжественные пріемы. Николай Сергѣевич успѣл написать нѣсколько газетных статей о Германіи. Он писал их подозрительно легко: обзавелся даже полосками бумаги, на которых число букв соотвѣтствовало газетной строкѣ; такими полосками пользовались в редакціи, в которой он побывал в послѣдній свой пріѣзд в Петербург. Теперь Мамонтов работал над серьезной статьей, предназначавшейся для толстаго журнала. Она называлась «Князь Бисмарк и граф Биконсфильд, опыт сравнительной характеристики». Продолжал он заниматься живописью, — но не слишком себя утомлял. Вставал довольно поздно и работал только «если работалось» (это было очень удобное правило). В четыре часа дня он в кофей-

нѣ узнавал новости от журналистов. Иногда, по приглашенію, «подсаживался» к столику Софьи Яковлевны с ея неизмѣнной Эллой. В номер Дюммлеров он почти никогда не заходил, так как не бывал у них при Юріи Павловичѣ; горничныя отличались любопытством. Николай Сергѣевич, вначалѣ возлагавшій надежды на переѣзд Дюммлера в лечебницу, убѣдился, что его дѣло почти не подвинулось и послѣ того, хоть теперь он встрѣчал Софью Яковлевну чаще. Она бывала с ним то очень любезна, то очень холодна, и он никак не мог понять, чѣм об'ясняются перемѣны.

Для своих газетных статей Мамонтов изучал Берлин, посѣщал музеи, концерты, театры. Как всегда, в Германіи происходила художественная революція, — в музыкѣ самобытная и глубокая, в других искусствах срочно привезенная из Парижа (революціи русскаго, американскаго, скандинавскаго происхожденія еще были впереди). Послѣ рано оканчивавшихся спектаклей Николай Сергѣевич, из-за нестерпимой жары, стоявшей в Берлинѣ во все время Конгресса, всегда заходил в биргартены и пил превосходное баварское пиво, вступившее, по заключеніи таможеннаго союза, в гражданскую войну с вѣковой берлинской «Кюлэ Блондэ». Оркестрики играли Schlacht Musik. Николай Сергѣевич читал и слышал, что в Германіи идет «серьезное внутреннее броженіе на почвѣ широкаго недовольства рабочих масс». Он даже сам как-то написал что-то такое в статьѣ. Однако, никакого «броженія» он не замѣчал. Напротив, всѣ в Берлинѣ были, повидимому, чрезвычайно довольны жизнью, пивом и побѣдой над французами. Несмотря на то, что послѣ побѣды прошло восемь лѣт, Германія дышала радостью, благоденствіем и благодушным снисхожденіем к менѣе одаренным и менѣе храбрым народам. Правда, канцлер начинал гоненія на соціалистов, которых его печать, послѣ покушенія Нобилинга, сравнивала с «петролейщиками» Парижской Коммуны. Но это никого особенно не интересовало; всѣ знали, что нѣмецкіе соціалисты ничего не жгут, и что лучше всѣх это знает сам Бисмарк. Впрочем, в радикальных Биргартенах с эстрады пѣлись враждебные пра-

вительству куплеты, и публика прокуренными, пропитанными пивом, но вѣрными голосами, точно послѣ нѣсколькихъ репетицій, подтягивала на извѣстный мотивъ изъ «Мадам Анго»: «Hier Petroleum, da Petroleum, — Petroleum um und um. — Lass die Humpen frisch voll pumpen,—Dreimal Hoch Petroleum!...» Но и пѣніе было до изумленія нестрашнымъ. В нем нутряное удовольствіе по поводу «ум-ум-ум» совершенно заглушало все остальное. Побѣдой надъ Франціей были очень горды даже Фрейденмэдхен-ы, съ любопытствомъ разспрашивавшія Николая Сергѣевича о красотахъ и ужасахъ «П-пульмиша». Были у него и случайныя похожденія, послѣ которыхъ онъ терзался раскаяньемъ и страхомъ.

В магазинахъ на Фридрихштрассе все пріятно радовало глазъ дешевизной. Нельзя было воздержаться отъ покупки, когда въ витринѣ за четыре марки девяносто пять пфеннигов предлагали письменный приборъ — «эхт» что-то такое («Эхт-дрянь», — потомъ съ досадой говорилъ онъ себѣ) — или шеститомное «полное собраніе» въ новенькихъ, чистенькихъ, дешево и мило раззолоченныхъ переплетахъ. Книги онъ теперь пріобрѣтал съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ лѣт десять тому назадъ покупалъ галстухи. Мамонтовъ и не думалъ, что покупка книгъ доставляетъ столько радости. «Правда, некуда ихъ сейчасъ дѣть, но не всегда же я буду жить кочевой жизнью»... Почему-то слова «Sämmtliche Werke» увеличивали добротность пріобрѣтаемаго добра, хотя у Николая Сергѣевича мелькали сомнѣнія, такъ ли уж ему необходимо «полное собраніе» Лессинга и заглянетъ ли онъ когда-нибудь въ «Минну фонъ Барнгельмъ» или въ «Эмилію Галотти». Однажды, вблизи Кранцлера, онъ наткнулся на магазинъ, продававшій изданія, «строжайше **запрещенныя в** Россіи». Николай Сергѣевичъ не безъ неловкаго чувства купилъ какія-то Enthüllungen, касавшіеся царей и Достоевскаго, купилъ старые выпуски «Набата», «Общаго Дѣла», «Полярной Звѣзды». Рядомъ съ этими необыкновенно сѣрыми, запыленными, потертыми изданіями «полныя собранія» особенно сверкали золотомъ переплетовъ. Мамонтовъ съ наслажденіемъ прочелъ Герцена

и без наслажденія все остальное. Увидѣв имя Бакунина, он только вздохнул.

С Бакуниным ему так больше и не пришлось встрѣтиться. В Америкѣ Николай Сергѣевич нерѣдко думал, что слѣдовало бы, очень слѣдовало, написать Бакунину, но не написал. Затѣм случайно, из письма кого-то к кому-то, узнал об его кончинѣ и почувствовал душевную боль, точно навсегда упустил что-то важное. «Сколько мог от него услышать! Мог написать его портрет!» Бакунин скончался в одиночествѣ, почти в нищетѣ. Знакомый знакомаго сообщал подробность: швейцарскія власти не знали, как обозначить в погребальных записях профессію скончавшагося революціонера, неудобную для оффиціальных бумаг. Кто-то вспомнил, что за Бакуниным значилась вилла Бароната, — никогда ему не принадлежавшая. Власти записали: «Michel Bakounine, rentier».

Иногда Николай Сергѣевич говорил себѣ, что есть какая-то поэзія в его безтолковой жизни, при чем почти безсознательно включал в поэзію радости «Кайзергофа» и дорогих ресторанов. Несмотря на приближавшуюся бѣдность, он широко тратил деньги: просто не мог жить иначе, пока что-то еще оставалось. Утѣшал он себя также тѣм, что никому не дѣлает зла, что работает, много читает. Читал он, дѣйствительно, очень много, все что попадалось под руку, от Платона до Варфоломея Зайцева. Но «запойным» его чтеніе никогда не было, — впрочем, он и в безпрерывном чтеніи не находил ни малѣйшаго сходства с запоем. Казалось ему иногда, что думает он значительно меньше, чѣм читает. Умственный аппарат, по его мнѣнію, у него работал недурно, но приводил он в движеніе этот аппарат недостаточно часто: настолько проще и пріятнѣе было жить без этого, — без этого можно было и читать книги, и даже заниматься искусством. Думать о себѣ всегда бывало тяжело: ему казалось, что он запутался во всем: в жизни, в любви, во взглядах, в карьерѣ. Николай Сергѣевич все чаще думал, что он вышел неудачником и что репутація даровитаго неудачника за ним мало-по-малу укрѣпляется. Нѣкоторым, хоть небольшим, утѣшеніем было то, что и его

сверстники старились вмѣстѣ с ним, міра также не перевернули и большой извѣстности не пріобрѣли. В послѣднія же недѣли он все чего-то ждал и сам не знал, чего именно: конца ли Конгресса, из-за котораго он будто бы жил в Берлинѣ, возвращенія ли Кати — или смерти Юрія Павловича.

В этот день было написано всего двѣ с половиной страницы статьи для толстаго журнала. Онѣ были, пожалуй, недурны. С должной скромностью, Николай Сергѣевич признавал, что в журналах нерѣдко печатались статьи ничуть не лучше, иногда подписанныя очень извѣстными именами. Правда, его «опыт сравнительной характеристики» походил на всѣ статьи с «желѣзным канцлером» и с «Сент-Джемским кабинетом». Быть может, не вполнѣ ясно было также, почему о Бисмаркѣ и Дизраэли надо было говорить параллельно и в чем между ними сходство. Но Николай Сергѣевич знал, что в концѣ, как всегда, идея появится непремѣнно. «Что-ж, моей послѣдней статьей они были очень довольны... Кажется, редакторы бывают двух родов: одни боятся испортить сотрудников похвалами и потому никогда их не хвалят, другіе, напротив, половину гонорара платят комплиментами. Мой теперешній, кажется, второго разряда, а уж лучше ругался бы, но платил, как слѣдует», — подумал Мамонтов не совсѣм искренне: из перваго журнала он ушел именно из за какого-то колкаго замѣчанія редакціи, да еще из за произведенных в его статьѣ сокращеній и добавленій: редакція нагло называла добавленія «необходимыми связующими фразами».

Николай Сергѣевич не знал, полезны ли его статьи читателям, но чувствовал, что онѣ очень нужны ему самому: именно при работѣ над ними приходилось н а п р а в л я т ь умственный аппарат. «Міровоззрѣніе! Вот книжное слово, вдобавок всегда чисто-политическое, — особенно тогда, когда оно выдает себя за философское, — книжное слово, вытаскиваемое на свѣт Божій лишь по большим оказіям, совершенно необходимое только за письменным столом. И какое несчастье, что оно т а к зависит от требованій публики, моды, редакцій! Я

пишу тѣм увѣреннѣе, чѣм меньше вѣрю в то, что пишу, я на каждый свой довод имѣю доводы противные, а когда читаю полемическія статьи, обычно соглашаюсь с обоими переругивающимися авторами, частью по принципу «тот болван, и этот тоже болван», частью потому, что «нѣкоторая доля правды» есть у обоих. Это несчастная порода людей: тѣ кто интересуются «долей правды» у противника. А кромѣ мыслей, нужных лишь тогда, когда садишься писать статью, вѣдь должны быть г л а в н ы я мысли, мысли о жизни и смерти, о том, для чего жить, как жить, за что умереть, и именно этим главным мыслям люди отводят всего меньше времени, за письменным столом — потому, что это «старо», это «само собой», а не за письменным столом потому, что просто некогда: «когда-нибудь позже». Не оттого ли люди цѣпляются за соломинку безсмертія души, что безсмертная душа все потом на досугѣ разберет, en pleine connaissance de cause? И развѣ у одного человѣка из ста бывает то повышеніе в человѣческом чинѣ, которое называется «душевным кризисом». Да может быть, и сам этот душевный кризис иногда лишь один из способов человѣческаго самоутѣшенія, если не самолюбованія? И не связаны ли иныя формы вѣрности правдѣ вообще с тайной безсознательной склонностью говорить непріятности людям, с желаніем говорить их не просто, а по принципу?... У меня же періодическій «цинизм» бывает просто удобным выходом из неудобных положеній, линіей наименьшаго сопротивленія, ключем, который, как отмычка в руках вора, открывает в практической жизни все — кромѣ того, чего он н е открывает. Я в погонѣ за глубокомысліем рискую превратиться в Кифу Мокіевича», — с усмѣшкой думал он. — «Боюсь, что перемѣна профессіи оказалась ни к чему».

Перемѣна произошла года два тому назад и вначалѣ никаких сомненій у него не вызывала. Ему стало ясно, что его занятія живописью были ошибкой, что он создан для работы журналиста. Первая напечатанная в каком-то петербургском изданіи статья доставила ему одну из лучших радостей в жизни. Он перечитал ее раз десять, и, еслиб не двѣ ужасныя, позорныя

опечатки, был бы счастливым человѣком. За первой статьей послѣдовали другія, — радость уже была меньше. Теперь ему хотѣлось вернуться к живописи. «Это малоспособные или косные люди выдумали, будто у человѣка должна быть непремѣнно одна спеціальность. Человѣк средних способностей («смиреніе паче гордости»), имѣющій хорошее общее образованіе, может в год-другой изучить любую спеціальность, и перемѣна работы превосходная школа», — неувѣренно думал он. — «Правда, за двумя зайцами погонишься... Во всяком случаѣ я пишу не хуже Варфоломея Зайцева»... У него в сознаніи еще промелькнула Варфоломеевская ночь; н а п р а в и т ь мысленный аппарат не удалось, и он почувствовал желаніе заняться картиной сейчас, сію минуту.

Эту внезапную жажду труда, вообще мало ему свойственную, Николай Сергѣевич полуиронически называл «вдохновеніем». Он положил костюм в коробку. Разумѣется, крышка, очень легко снимавшаяся, теперь не надвигалась на борты. «Катя разсердилась бы, что я порвал шнурок, она обожает всякія коробочки с тесемочками... Кто это у них все так аккуратно складывает, завертывает, завязывает? Отчего у меня в жизни все так неаккуратно и нескладно?» Он достал мольберт, кисти, недоконченную картину, изображавшую смерть Карло. Эту картину он писал уже полгода, запираясь на ключ, тайком от Кати.

С вдохновеніем у него мысленно связывалось черное кофе. Мамонтов дернул звонок два раза, хотя надпись у звонка об'ясняла, что два раза надо звонить горничной, а лакею только раз. Пришел все-таки лакей, давно знавшій, что горничную мужчины часто вызывают по ошибкѣ. Мамонтов заказал цѣлый кофейник и смутно подумал о чем-то, бывшем давно, в Петербургѣ. «Да, звонок, горничная, синій халат... «Таков ли был я?»... Сегодня тоже будет Патти... Нѣт, тогда я уже не р а с ц в ѣ т а л . . . Вѣдь я в тот день, кажется, подумал, что она — «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Но это неправда! Она во многом на меня похожа, она так же любит жизнь, еще больше любит «поэзію удобной жизни», — сказал

он себѣ, думая уже о Софьѣ Яковлевнѣ. «Да, да, вы спрашиваете, чего я хочу? Так вот, сейчас я всего больше хочу е е!» — неизвѣстно кому отвѣтил он злобно. — «Да, да, а тогда, четыре года тому назад, больше всего хотѣл любви Кати, только тогда шансов было больше и дѣло легче, и я не виноват, что говорю, думаю, чувствую по м ѣ щ а н с к и, и что любить сразу двух противорѣчит лучшим завѣтам русской интеллигенціи и что мнѣ противно стало рѣшительно все, кромѣ правды, которая не противна даже тогда, когда она противна... И пускай Кифа Мокіевич!»

Лакей принес кофе. Николай Сергѣевич налил себѣ чашку, отпил, взглянул на картину. «Положительно недурно, хоть немного под Гойа». Он стал работать с увлеченіем. Свѣта в іюльскій день было в седьмом часу достаточно. «Все было вздор! Главное, чтобы шла работа!»... Работа шла хорошо: что-то исчезло, что-то на картинѣ стало гораздо лучше, что-то совсѣм ожило. Часа через два он положил кисти. «Если никуда не уѣду и если буду один, к концу іюля, быть может, кончу... Потом можно будет недѣльки на двѣ уѣхать к Катѣ. Можно, впрочем, и не уѣзжать. Ну, это будет видно. А в сентябрѣ вернемся в Россію»... В ту же секунду он опять вспомнил т о, самое тревожное. «Если вернусь в Россію, то надо будет войти в революціонное движеніе»...

Революціонное движеніе разросталось. В январѣ Вѣра Засулич ранила генерала Трепова. В Одессѣ революціонеры оказали вооруженное сопротивленіе полиціи. В Кіевѣ было произведено покушеніе на прокурора Котляревскаго. В Кіевѣ же совсѣм недавно был убит барон Гейкинг. «Странная фамилія Гейкинг... Англичанин, что ли?» — думал Николай Сергѣевич. — «Не стоило же ему или его предкам переѣзжать в Россію. И уж будто так необходимо было убивать какого-то Гейкинга? Что, если правы люди, вѣрящіе в мирный освободительный труд, вѣрящіе в реформы, в школы, в больницы — и как вѣрящіе! Вѣдь у того земца были слезы на глазах, когда он говорил обо всем этом: о недооцѣнкѣ молодежью культурнаго прогресса и их работы! А кромѣ того... Ну, хорошо, правдивость

с собой, тогда уж полная, совсѣм полная правдивость! Чего же я хочу? Я знаю, что жизнь очень тяжела для обездоленных, для низших классов, и я искренне, всей душой, хочу улучшенія их участи. Но я безстыдно солгал бы, еслиб сказал, что без этого не могу жить, что ради этого с радостью отдам жизнь. Быть может, и отдам, но лишь обманув других и себя... Я вижу, я чувствую, что еще никогда в исторіи не было такого счастливаго и прекраснаго времени, как нынѣшнее. Никогда не было такой свободы, какая есть в мірѣ теперь. И никогда в исторіи люди так заслуженно не любили жизнь, не получали от нея так много, никогда так бодро не работали над ея улучшеніем, никогда так не вѣрили в успѣх своего труда. Как же я уйду из этого міра в темный мір бомб и висѣлиц? И если кому-то нужно туда идти, то почему же именно мнѣ? Почему именно я должен за что-то отдать жизнь? И если уже говорить себѣ в с ю правду, то развѣ мнѣ моя нынѣшняя бытовая свобода не дороже всякой другой, какой угодно другой? Пусть я «мѣщанин», но Герцен, так страстно обличавшій то, что он назвал этим удобным словом, ни для чего не пожертвовал своей бытовой свободой, покоившейся на его богатствѣ. Я в свободных Соединенных Штатах только и думал, что о возвращеніи в Россію, которую принято называть рабской, хотя у нас крѣпостные были освобождены раньше, чѣм в Америкѣ рабы. Почему же я мечтал о возвращеніи? Да, я обожаю Россію, но дѣло было не только в тоскѣ по родинѣ. Я могу представить себѣ такія условія жизни, при которых человѣк о возвращеніи на родину не мечтает. И не доказывает ли это еще и то, что людям политическая свобода не так уж необходима? Люди вполнѣ уживаются с неполной свободой, с половинкой свободы, с ея четвертушкой. Для них невыносимо лишь настоящее рабство, в особенности же бытовое... А кромѣ того, развѣ была духовная свобода в том радикальном міркѣ, который я видѣл в Парижѣ, в Нью-Іоркѣ? Там были чиновники от соціализма, спасавшіе человѣчество по профессіи, со входящими и исходящими статейками, вмѣсто входящих и исходящих бумаг. Да и нельзя требовать ничего другого от людей, сдѣлавших из

гуманитарнаго энтузіазма профессію: развѣ можно по настоящему волноваться из за каждой входящей и исходящей?... Развѣ они не ненавидѣли друг друга гораздо сильнѣе, чѣм ненавидѣли свои правительства? Если же эти мои сомнѣнія в сущности просто означают нежеланіе жертвовать собой, то и в этом не моя вина. Я не виноват в том, что так жадно люблю жизнь, что люблю э т у жизнь, пусть безнравственную, но вольную, разнообразную, ничѣм не связанную. Я не виноват, что, по моим наблюденіям, «беззавѣтная любовь к народу» — вѣдь любовь к народу всегда «беззавѣтная» — у девяти революціонеров из десяти пустая фраза, а «больше той любви никто же имат» — или как-то так — просто литературная цитата, очень удобная для некрологов в революціонных журналах, гдѣ она звучит так, точно ножом по стеклу дерут. Я не виноват, что во мнѣ сознаніе долга (да, да, оно во мнѣ есть) сочетается с невѣріем в себя и в других, что любовь к Россіи, очень горячая, хоть я о ней не кричу как многіе другіе, у меня сочетается со страхом перед бѣдностью, что я одновременно и люблю людей и прежде всего вижу в них вѣчный обман или самообман. Я не виноват, что родился со способностью к самоанализу, менѣе робкой, чѣм у других, не виноват и в том, что во мнѣ один человѣк кое-как живет, а другой зачѣм-то всегда волнуется, достаточно ли им любуются. Я состою из слоев, тѣсно примыкающих один к другому, эти слои образованы и чертами характера и занятіями, — быть может, есть и слой журналистики, и слой живописи, — но самый глубокій основной слой это честолюбіе, скорѣе даже тщеславіе... Вѣроятно, я дурной человѣк, моя жизнь пока — пока — рѣшительно никому не нужна, но м н ѣ она очень нужна, и я не могу отдавать ее без глубокаго, совершено искренняго убѣжденія в том, что нужно убивать ротмистров Гейкингов, что я пришел в мір для убійства ротмистра Гейкинга... Собственно (опять «собственно») в политикѣ нѣт и не может быть ничего совершенно вѣрнаго. Кажется, это Свифт требовал, чтобы каждый политическій дѣятель был по закону обязан очень подробно излагать в парламентѣ свое

мнѣніе, защищать его всѣми доводами, а затѣм обязан был голосовать за мнѣніе прямо противоположное: тогда дѣла будут идти гораздо лучше. И развѣ обман и «мѣщанство» не заключались бы скорѣе в том, чтобы уйти в революцію при таком настроеніи, о т такого настроенія? Через Рубикон переходят, а не переползают! И уж лучше оставаться на безопасном — да, непріятно, но на безопасном — берегу Рубикона, чѣм обманывать себя и других» ...

Мысли эти все же его смущали. Он потянулся, допил кофе, занес для статьи в карманную тетрадь: «переп. чер. Руб.». «Что-ж, надо пойти пообѣдать. Затѣм, пожалуй, пора будет одѣваться. В Берлинѣ все начинается рано». В этот вечер он был приглашен на Gesindeball к восточному принцу, с кото-рым его четыре года тому назад в Петербургѣ познакомила Софья Яковлевна.

VII.

.....

VIII.

Юрій Павлович в срединѣ іюня был перевезен из «Кай-зергофа» в лечебницу. Врачи не знали, какая у него болѣзнь. Каждый извѣстный профессор имѣл свои предположенія и свои способы леченія. Друзья Дюммлеров рекомендовали каждый свою знаменитость и с особенным удовольствіем разсказывали о неправильных діагнозах, ошибках и недостатках других врачей. Перепробовано было как будто все, однако больной чувствовал себя плохо. На подозрѣніи были дыхательные пути, печень, почки, желудок, кишечник, желчный пузырь. Счита-лась вѣроятным сочетаніе двух или трех болѣзней, и спор был отчасти о том, какая болѣзнь должна считаться главной. В концѣ концов Дюммлеры сконфуженно вернулись к первому профессору. Как умный человѣк, он сдѣлал вид, будто ничего не знает об их обращеніи к другим; предложить ему конси-

ліум, при его европейской извѣстности, было бы невозможно. Профессор рѣшил посадить больного на строгій режим. Так как гостинница для этого не годилась, он перевез Дюммлера в свою лечебницу. Там Юрій Павлович сначала почувствовал себя лучше и повеселѣл. Потом боли возобновились. Ему было трудно лежать, все хотѣлось сѣсть, возможно ниже опустить голову, так и сидѣть скрюченным. Между тѣм врачи и сидѣлки требовали, чтобы больной лежал, как всѣ больные. Он дѣлал вывод, что они его болѣзни не понимают.

В первую ночь послѣ возобновленія болей Дюммлер подумал, что теперь прежде всего нужно было бы подать в отставку. «Этого требует элементарная честность. Министры должны подавать примѣр»... Но Юрій Павлович не чувствовал себя в силах навсегда бросить то, что, послѣ жены, было ему дороже всего на свѣтѣ. Только в лечебницѣ мысль о смерти представилась ему со своей звѣрской ясностью; в пору своей болѣзни в Петербургѣ он все-же т а к о ней не думал. Очень легко было отвѣтить «всегда готов», «не все ли равно, немного раньше, немного позже», или что-либо в таком родѣ. Но теперь он видѣл, что не готов, никогда готов не будет, что к этому не бывает готов никто, кромѣ развѣ каких-либо отшельников, ведущих такую жизнь, о какой и жалѣть не стоит. По матеріалистическому міропониманію Дюммлера, все было ясно: «умрешь — лопух выростет». В свое время, читая Тургенева, он соглашался с Базаровым почти во всем, кромѣ тона и политических идей, — правда, это было очень большое «кромѣ». Теперь лопух несомнѣнно приближался. Безсмертія души, по взглядам Юрія Павловича, не было и не могло быть. Химическое же безсмертіе, прежде, за чтеніем ученых книг, очень его удовлетворявшее, больше никакого успокоенія ему не давало. В эту первую ночь он тайком от сестры принял снотворное. Мысли его смѣшались не сразу. Лопух, о котором он в былыя времена думал раза два в год, обычно послѣ чьих-либо похорон, теперь не выходил у него из головы.

Хотя Юрій Павлович был человѣк далеко не трусливый, не очень помогало ему и то, что называлось мужественным

подходом к смерти. Мужество тут заключалось в спокойном выполненіи послѣдних дѣл. Обычныя приготовленія у Дюммлера были не вполнѣ закончены. Он давно составил завѣщаніе, но хотѣл его измѣнить. Надо было разобрать кое-какія бумаги, кое-что дополнить в мемуарах. Юрій Павлович оставлял десять тысяч рублей в Государственном Банкѣ с тѣм, чтобы через пятьдесят лѣт, в 1928 году, этот капитал со сложными процентами пошел на составленіе и изданіе подробной біографіи графа Егора Францевича Канкрина, бывшаго министра финансов и его перваго руководителя по службѣ. В послѣдніе годы Дюммлер стал еще нѣсколько богаче и хотѣл увеличить эту сумму до пятнадцати тысяч. Он оставлял также пожертвованья геральдическому обществу и разным русским благотворительным организаціям. Юрій Павлович нисколько не презирал и не ненавидѣл Россію, как в этом принято было обвинять русских нѣмцев. Он лишь стоял за то, чтобы основныя правительственныя идеи приходили в Петербург из Берлина: оттуда ничего дурного прійти не могло, тогда как Лондон и особенно Париж всегда вызывали у него сомнѣнія. В пору, когда в Европѣ владычествовал Николай I, в Германіи граф Вильгельм Редерн во всѣх трудных обстоятельствах знал только один выход: «Надо спросить русскаго императора. Сдѣлаем так, как скажет русскій императоръ». У Юрія Павловича был сходный основной принцип: надо спросить Бисмарка. Мысль о необходимости вѣчнаго русско-германскаго союза он подробно раз'яснял в своих мемуарах, которые тоже должны были появиться через пятьдесят лѣт. Их послѣднія главы (часть пятая, 1874—1878) еще не были написаны. «Вот и надо закончить... Да, правильнѣе было бы подать в отставку, — думал он, стараясь силой воли превозмочь боль (это не выходило: воля тут была ни при чем). — «Ну, что-ж, пора и честь знать». Его карьера была, если не ослѣпительной, то во всяком случаѣ блестящей. «В сущности, в смыслѣ всѣх этих внѣшних знаков успѣха остается желать .очень мало. Владимір I степени? Об Андреѣ нѣт рѣчи... Чин дѣйствительнаго тайнаго совѣтника? Переход в первые чины двора?» — разсѣянно спраши-

вал себя он и отвѣчал себѣ, что это было ему совершенно не нужно: всѣ свои чины и ордена он теперь, не задумываясь ни на минуту, отдал бы за то, чтобы прошла давящая боль в животѣ. Дюммлер был высокопревосходительством по должности; еслиб он вышел в отставку, не получив чина дѣйствительнаго тайнаго совѣтника («хотя, вѣроятно, государь император при отставкѣ пожалует»), он стал бы снова превосходительством. Теперь ему и это было почти безразлично. — «А вот мои реформы, коренныя преобразованія, которыя я произвел в своем вѣдомствѣ, их люди забудут не скоро. В нѣкоторых отношеніях, скажу смѣло, их можно считать образцовыми. Ими интересовались и в Германіи», — говорил он себѣ. Юрія Павловича не успокоили и мысли об его преобразованіях. Зато подѣйствовало снотворное; через час он задремал. «К несчастью, приходится быть матеріалистом», — думал он, засыпая. — «Какая-то крошечная пилюля дает то, чего не дают всѣ эти Эпиктеты»...

Софья Яковлевна пріѣзжала к мужу ежедневно по утрам и оставалась от одиннадцати до двѣнадцати. В лечебницѣ были и другіе часы пріема, но профессор, хорошо знавшій людей, как всѣ выдающіеся врачи, попросил Софью Яковлевну пріѣзжать только раз в день и оставаться не болѣе часа. Она протестовала, он поставил на своем, ссылаясь на усталость больного.

В вестибюлѣ, с навощенным скользким паркетом, по углам стояли пальмы, на стѣнах висѣли «Урок анатоміи» и «Дѣти Эдуарда IV в Тауерѣ». Над лѣстницей тянулись портреты знаменитых врачей, от Гиппократа до Бильрода. В корридорѣ стоял легкій запах карболоваго тумана, вызывавшій у Софьи Яковлевны острую тоску. Неслышно скользили сидѣлки в бѣлых халатах и туфлях. Полуодѣтых людей несли на носилках или передвигали в креслах. Комната Юрія Павловича находилась в самом концѣ длиннаго корридора. Почти всѣ выходившія в корридор двери были отворены. Из комнат на Софью Яковлевну всякій раз, с недоброжелательным, как ей казалось, любопытством, смотрѣли лежавшіе на кроватях больные с

блѣдными, измученными, худыми лицами. Она понимала, что появленіе незнакомых людей здѣсь единственное развлеченіе. По другую сторону корридора была операціонная, склад бѣлья, что-то еще. Здѣсь почти всегда стоял другой, легкій, сладковатый запах. Софья Яковлевна в этом мѣстѣ корридора всякій раз ускоряла шаги.

В послѣднее время ей было все тяжелѣе с мужем. В этом году они для леченія Юрія Павловича выѣхали из Петербурга ранней весной. Теперь Софьѣ Яковлевнѣ стало уж совершенно ясно, что их добрая семейная жизнь держалась отчасти на Колѣ, еще больше на том, что в Петербургѣ Юрій Павлович цѣлый день проводил на службѣ, а по вечерам они бывали в обществѣ. С болѣзнью Дюммлера сразу отпало все. Не было надежды на то, чтобы «в обозримом будущем», как говорил профессор, Юрій Павлович мог вернуться на службу. У Дюммлеров были в Берлинѣ добрые знакомые, но с ними ей было скучно из-за отсутствія общаго языка — больше в переносном, отчасти же и в прямом смыслѣ: она по-нѣмецки говорила не свободно. Их берлинское общество было по рангу значительно ниже того, в котором она жила в Петербургѣ; она с трудом от себя скрывала, что это также имѣло для нея нѣкоторое значеніе: точно она сама понизилась рангом. Всего же тяжелѣе для Софьи Яковлевны была разлука с сыном. Коля остался из-за гимназіи в Петербургѣ и писал два раза в недѣлю письма, казавшіяся ей холодными, написанныя разгонистым почерком, с широко разставленными строчками, точно он ставил себѣ задачей возможно скорѣе и легче заполнять обѣ стороны большого листа синеватой бумаги, в огромном количествѣ оставленной Юріем Павловичем в кабинетѣ их петербургскаго дома.

В это утро письмо пришло из Сестрорѣцка. Коля, по своему обычаю, подтверждал полученіе послѣдняго письма матери, в фо́рмѣ «ты пишешь, что» излагал его содержаніе и выражал радость по случаю улучшенія в здоровьи отца. О себѣ он сообщал мало, говорил, что купается в морѣ, что у них хорошій пансіон, и что дядя Миша Сестрорѣцком очень

доволен. По настоянію Софьи Яковлевны, брат, на попеченіи котораго был оставлен Коля, писал ей отдѣльно. Таким образом, она имѣла извѣстія четыре раза в недѣлю. Заставить самого Колю писать чаще было невозможно. Сначала предполагалось, что Михаил Яковлевич и Коля лѣтом пріѣдут к ним заграницу. Но от этого плана пришлось отказаться, когда выяснилось, что Дюммлерам придется провести весь іюль в душном Берлинѣ.

В тѣ дни, когда приходили письма Коли, свиданія с Юріем Павловичем бывали легче: минут пятнадцать из обязательнаго часа уходило на чтеніе и обсужденіе письма. Все-же оставалось сорок пять минут. Софья Яковлевна каждый день привозила мужу нѣмецкія газеты. Но однажды, к своему удивленію, она увидѣла их на столикѣ неразвернутыми. Из всего это было едва ли не самым тревожным симптомом: Юрій Павлович не читает газет, да еще нѣмецких, да еще в пору Конгресса! Дюммлер смущенно об'яснил, что наканунѣ чувствовал себя очень усталым. В слѣдующіе дни он развертывал газеты и просматривал заголовки. Но она видѣла, что он это дѣлает ради нея, для отвода глаз, видѣла, что человѣк, еще недавно всѣм интересовавшійся, теперь думает только о своей болѣзни и, вѣроятно, о близящейся смерти.

Недалеко от дверей операціонной главный хирург разговаривал со своим ассистентом, — Софья Яковлевна теперь знала в лицо весь персонал лечебницы. Они были так увлечены разговором, что не обратили на нее вниманія (это всегда чуть-чуть ее задѣвало). «...Разумѣется, еслиб не это, он остался бы жив», — сказал хирург, оправляя воротник на халатѣ своего собесѣдника. Ассистент что-то отвѣтил и оба они негромко засмѣялись. «Да, кладбищенскаго попа слезами не удивишь», — подумала Софья Яковлевна и сама удивилась: прежде ей едва ли пришла бы в голову столь вульгарная поговорка.

Сидѣлки в комнатѣ не было, — Софья Яковлевна почти безсознательно об этом пожалѣла: при посторонних людях всегда бывало немного легче.

Первые вопросы были каждый раз одни и тѣ же: как он провел ночь? была ли боль? что подали к ужину? принял ли он уже лекарство? Юрій Павлович отвѣчал усталым голосом, с усиліем, точно не сразу мог вспомнить. Но лицо его, как всегда, просвѣтлѣло при ея появленіи. Узнав, что боль была только вечером, что температура нормальная, что за ужином он с'ѣл полную тарелку супа из овощей и полсухаря, Софья Яковлевна выразила удовлетвореніе, как будто лучше ничего и нельзя было желать.

— ...И вид у тебя свѣжѣе, значительно свѣжѣе... Сильная была боль? (О боли надо было высказаться раньше, чѣм об обѣдѣ).

— Нѣт, не очень. Средней силы, — отвѣтил Юрій Павлович с подобіем улыбки.

— Да, разумѣется, сразу это пройти не может. Этого никто из них и не ожидал. Нужно время и время!... Но отчего же только полсухаря? Право, так нельзя, я ей это скажу.

— Она, бѣдная, не виновата, она очень старается. И всѣ тут... Что же дѣлать, не было аппетита.

— Ну, а я тебѣ принесла письмо Коли. И представь, пришло на третій день! Прочесть тебѣ?

Софья Яковлевна прочла письмо. Ей показалось, что оно не интересует Юрія Павловича. Желая скрыть недостаточно нѣжный тон сына, она при чтеніи что-то вставила от себя: так, вмѣсто «я очень рад, что папа чувствует себя лучше», прочла: «я очень, очень рад». Но добавочное «очень» оказалось ненужным. Юрій Павлович слушал разсѣянно, быть может даже вовсе не слушал.

— Ну, а ты что? Как провела вчерашній день? — в свою очередь задал он тоже никогда не мѣнявшійся вопрос. Она отвѣтила очень подробно: выигрывалось пять минут. Софья Яковлевна не сказала, что наканунѣ днем пила кофе с Эллой и Мамонтовым. «Почему-то Юрій Павлович его не взлюбил. И незачѣм, конечно, раздражать»...

— Я так рад, что ты не скучаешь.

— Напротив, мнѣ без тебя страшно скучно и тоскливо, отвѣтила она, чувствуя, что ея «страшно» было вродѣ дополнительнаго «очень» в письмѣ Коли. Но по тому, как опять просвѣтлѣло лицо Юрія Павловича, Софьѣ Яковлевнѣ стало ясно, что, несмотря на искренность его слов, он именно ждал опроверженія. Они немного помолчали. Было только двадцать минут двѣнадцатаго. Разговор вернулся к тому, с чего начался: к профессору, к лекарствам, к вчерашнему обѣду в лечебницѣ, к отправленіям желудка (о них теперь говорилось без стѣсненій).

— Все-таки досадно, что сегодня он уѣхал так рано, — сказала Софья Яковлевна, разумѣя профессора. В дѣйствительности, немного опоздала она сама, и Юрій Павлович это замѣтил. — Завтра я приду раньше, непремѣнно хочу еще раз с ним поговорить.

— Совсѣм это не нужно, — медленно, точно нерѣшительно, сказал Юрій Павлович. — Он пока сам ничего не знает. Необходимо, как он и говорит, продолжительное наблюденіе... Что такое продолжительное наблюденіе?— спросил он и, немного помолчав, добавил: — А если это очень серьезно, то он, вѣрно, и тебѣ правды не скажет.

— Это не только не «очень серьезно», но и не серьезно-просто! Фрерих давно сказал совершенно ясно, что...

— Может, Фрерих и соврал, — сказал Дюммлер со слабой улыбкой.

— Какой вздор! Повѣрь, он так не говорил бы, еслиб была малѣйшая опасность («я сказал «серьезно», а не «опасно», — с тревогой отмѣтил он). — И потом ты же сам говоришь, что боли стали меньше? — спросила она, подавляя в себѣ тоску. Юрій Павлович не говорил теперь о своем завѣщаніи, не дѣлал распоряженій о том, чтобы его похоронили рядом с Канкриным, и именно это ей показывало, что он не как прежде, а по-настоящему думает о смерти.

— Да, боли меньше... Может быть, в самом дѣлѣ все окажется пустяками... Ну, поговорим о чем-нибудь другом, — сказал он, взглянув на стѣнные часы. Она тоже украдкой бро-

сала на часы взгляды. — Так ты была в банкѣ и получила деньги? Не забудь кстати, что надо заплатить извозчику за карету.

Когда часовыя стрѣлки слились, Софья Яковлевна выразила желаніе посидѣть еще, а он попросил ее уйти и погулять перед завтраком. Так бывало каждый раз.

— Значит, завтра я буду без четверти одиннадцать. Ах, как жаль, что ничего нельзя тебѣ приносить. Ну, что-ж дѣлать, потерпи еще немного на этих кашках. Вот мы скоро возвращаемся в Петербург, Семен для тебя постарается. Для Миши и Коли, я думаю, он старался не слишком. Хотя Миша знает толк в ѣдѣ...

— Кланяйся ему, пожалуйста. И Колю поцѣлуй письменно, — улыбаясь, сказал Юрій Павлович и вдруг добавил. — Ну, а этот, как его? Первой гильдіи купеческій сын? Все еще живет в «Кайзергофѣ»? — Ей показалось, что в его глазах мелькнула тревожная злоба. Улыбка на его лицѣ исчезла непріятно-быстро.

— Кто это? Мамонтов? — весело спросила она. — Я знаю, ты его терпѣть не можешь, кажется, оттого, что он в Эмсѣ пришел к нам как раз в тот день, когда у тебя начались боли? Не понимаю, как с твоими матеріалистическими взглядами ты можешь быть суевѣрен?... Да, он еще в «Кайзергофѣ». По крайней мѣрѣ, я вчера издали его видѣла в «Винер Кафе». Ты знаешь, я теперь ежедневно в четыре бываю в кофейнѣ. У них очень недурное кофе, хотя, говорят, в Отель де Ром еще лучше...

— Ты бываешь в кофейнѣ одна? — изумленно спросил Юрій Павлович.

— По твоим понятіям это, разумѣется, послѣдній предѣл человѣческаго паденія. Не было бы ничего страннаго, еслиб я бывала и одна, в Берлинѣ это очень принято, но мнѣ слишком скучно одной, без тебя. Нѣт, Элла так мила, что ежедневно за мной заходит. С'ѣдает по два Apfelkuchen mit Schlagsahne и, кажется, очень рада, что ей не надо платить, — смѣясь, сказала она и вспомнила, что ея муж не любит шуток о нѣм-

цах. — Как ты знаешь, мы иногда с ней выходим и по вечерам. Слушали Вагнера, он теперь самый модный человѣк в Германіи, о нем говорят больше, чѣм о Бисмаркѣ. — Софьѣ Яковлевнѣ было рѣшительно все равно, о чем говорить, лишь бы не о желчном пузырѣ и не о желудкѣ. Юрій Павлович поднял брови. Все-таки было не совсѣм прилично сравнивать с Бисмарком какого-то музыканта. «Сказать, что иду на Gesindeball? Нѣт, не надо, он будет очень недоволен».

— Я помню этого Вагнера... Я его видѣл у покойной великой княгини Елены Павловны. Он тогда пріѣзжал в Петербург. Великая княгиня была к нему очень милостива и дала ему много денег. Потом он уже из заграницы писал ей и просил еще. Как это у людей нѣт достоинства?

— Артистам все можно. Меценаты для того и созданы, чтобы им помогать.

— Может быть, но я просто не мог бы, — сказал Дюммлер. Софья Яковлевна знала, что это правда: Юрій Павлович дѣйствительно был бы не в состояніи просить не только о подаркѣ, но даже о займѣ. — Он тогда играл у великой княгини и, как потом говорили, очень плохо играл. Помнится, наши меломаны очень его чествовали.

— Здѣсь меломаны, кажется, раздѣлились на двѣ партіи: одни за него, другіе за Брамса. Муж Эллы за Брамса, а она за Вагнера... Кстати, мы с ним теперь говорим только по-нѣмецки... Не с Вагнером, а с мужем Эллы. И я сдѣлала громадные успѣхи, так, по крайней мѣрѣ, они говорят.

— Пожалуйста, очень поблагодари их от моего имени за вниманіе к тебѣ, — сказал Юрій Павлович. — Ну, до свиданья, до завтра. И спасибо, моя милая... За в с е, — добавил он и устало закрыл глаза.

Софья Яковлевна вышла в корридор. Ей хотѣлось возможно скорѣе покинуть это чистенькое, так хорошо оборудованное зданье. «Лишь бы не разревѣться здѣсь, лишь бы на свѣжій воздух!...» Она не считала болѣзнь мужа о ч е н ь опасной, но ей было мучительно его жаль. Ей было жаль и самой себя. Теперь, казалось, уже не могло быть сомнѣнія в

том, что ея жизнь кончена. Впереди не было рѣшительно ничего. «Да, быть сидѣлкой при тяжело больном... Колѣ я больше совершенно не нужна», — думала она, с ненавистью глядя на дѣтей Эдуарда IV. «И почему они здѣсь повѣсили эту несчастную картину!»

Вернувшись в «Кайзергоф», она сѣла у отвореннаго окна, долго плакала и курила одну папиросу за другой. Ей казалось, что она и сюда привезла лекарственный запах лечебницы, все время ее преслѣдовавшій. «Господи, что дѣлать? Что же мнѣ дѣлать? Как ему помочь?» Она чувствовала себя виноватой, что не любила мужа, что, не любя, вышла за него замуж, что теперь не имѣла сил всецѣло отдать ему жизнь. «Уж не покраснѣла ли я, когда он спросил о Николаѣ Сергѣевичѣ?» — с негодованіем на себя — и на Мамонтова — подумала она. Краснѣть было не от чего. Но прошлой ночью Николай Сергѣевич ей приснился. Сон был нелѣпый, непонятный, с указаніем на двойную жизнь, как столь многіе сны. Ей снился человѣк, котораго она никогда не видала, он что-то ей о себѣ разсказывал. Потом внезапно оказывалось, что это Мамонтов. Однако, все, что этот человѣк ей до того о себѣ сообщил, очень к Мамонтову и подходило. «Точно какая-то повѣсть, кто-то заранѣе сочинил фабулу и подготовил развязку! Как это происходит? В чем дѣло? Непонятно... И почему он вообще мнѣ снился?... Но мнѣ и Элла снилась, у меня сны обыкновенно бывают самые глупые и прозаическіе, вродѣ того, что я потеряла сумку с нашим паспортом и с двадцатью двумя марками, — именно с двадцатью двумя!»

Скоро она успокоилась и приняла холодную ванну. Тот же профессор, который лечил Юрія Павловича, вскользь, в разговорѣ, ссылаясь на жару, рекомендовал ей холодныя ванны, хотя она ни на что не жаловалась и ни о каком совѣтѣ не просила. Почему-то его совѣт был непріятен Софьѣ Яковлевнѣ. Но послѣ ванн она дѣйствительно чувствовала себя лучше. Одѣваясь, она думала о письмѣ к Колѣ и к брату. «Это хорошо, что Коля стал увлекаться рисованьем. Нельзя ли найти в Сестрорѣцкѣ учителя? Еслиб я была там, я нашла бы»... Не-

ожиданно у нея скользнула мысль, что несчастья имѣют особенность: они всегда приходят необычайно некстати. «То есть главное, конечно, что они — несчастья, но»... Ей, впрочем, было бы нелегко об'яснить, в каком смыслѣ «некстати» случилась болѣзнь Юрія Павловича.

Они были женаты семнадцать лѣт. Софья Яковлевна неохотно вспоминала о том, к а к вышла замуж. Ей, впрочем, казалось, что приблизительно так же находит себѣ женихов большинство дѣвушек, — «иных способов, к сожалѣнію, мало». Она была не хуже других, читала стихи, читала романы, мечтала о всевозможных героях от Манфреда до Дубровскаго, была раз влюблена в одного бѣднаго молодого человѣка. Но молодой человѣк был влюблен в другую, богатую, барышню. Манфреды так и не появились. Когда в поле ея операцій внезапно и случайно попал Дюммлер, дѣло рѣшилось — отчасти потому, что она хотѣла п о к а з а т ь молодому человѣку (с которым, впрочем, больше никогда не встрѣчалась). В ход были пущены всѣ стратегическіе пріемы, кампанія продолжалась не болѣе мѣсяца и кончилась полной ея побѣдой. Дюммлер, точно зачарованный, пошел на мезальліанс, — самая мысль об этом за мѣсяц до того показалась бы ему нелѣпой.

Он нисколько не был противен Софьѣ Яковлевнѣ, — этой формулой «нѣт, он нисколько мнѣ не противен, он не безобразен, в нем есть большія достоинства» она мысленно и пользовалась в пору кампаніи; все-же формула начиналась со слова «нѣт». Софья Яковлевна своего добилась. Правда, для нѣкоторых кругов Петербурга сам Дюммлер был homo novus, а о ней не приходилось говорить. Еще сравнительно недавно какая-то дама, в присутствіи нѣкоторых общих пріятелей, называла ее выскочкой и говорила, что «не пустит ее к себѣ на порог». Это вскорѣ дошло до Софьи Яковлевны, которая весело смѣялась, отлично скрывая злобу. Ей, впрочем, было извѣстно, что кое-кто, тоже с извѣстным правом, считает «выскочкой» эту даму, что равенства нѣт нигдѣ, что его нѣт даже между великокняжескими дворами, так как существуют

великіе князья очень богатые и менѣе богатые, очень близкіе и менѣе близкіе к Зимнему дворцу, вокруг котораго, как планеты вокруг солнца, расположены были их дворцы. Над всѣми, на необычайной высотѣ, находился государь, совершенно не интересовавшійся равенствами и неравенствами. «У меня он был, а у нѣкоторых великих княгинь годами не бывает, у Ростовцевой пробыл чуть не три часа, а у этой дуры не был ни разу», — думала Софья Яковлевна, разумѣя под дурой даму, которая «не пускала ее на порог». «Если бы в Россіи и сейчас, как при Павлѣ, аристократом был лишь тот, с кѣм разговаривает государь и пока он с ним разговаривает, все совершенно спуталось бы. Да он таков и в общеніи с монархами: с Франц-Іосифом холоден и сдержан, а из какого-то захудалаго вюртембергскаго короля чуть не сдѣлал себѣ друга!»

Теперь ея положеніе было прочно, но отчасти держалось на должности Юрія Павловича. Софья Яковлевна не думала о возможной смерти мужа: кто-то в ней об этом думал, — откуда-то всплывали гадкія и страшныя мысли, мгновенно загонявшіяся ею на дно сознанія. «Что тогда?... Стать дамой-патронессой? Совсѣм перейти на положеніе «старухи Дюммлер». Или?»...

Со своим холодным, ясным практическим умом она могла на мгновенье представить себѣ что угодно, могла недолго думать о чем угодно. Так в послѣдніе годы иногда, очень рѣдко, думала, что в восемнадцать лѣт — «самый поэтическій возраст» — ея главной, чуть ли не единственной, цѣлью стало богатство и общество Юрія Павловича. Да и теперь, основным, послѣ Коли, интересом ея жизни были все-таки свѣтскія отношенія, как они ни были ей привычны, часто скучны, а иногда и противны.

Незадолго до болѣзни мужа, у нея возникла мысль о приданіи новаго характера своему салону. Она подумывала о том, чтобы в ея домѣ министры и сановники встрѣчались со «сливками интеллигенціи», — слово интеллигенція уже привилось в Россіи, как позднѣе во всем мірѣ. Софья Яковлевна

не сомнѣвалась, что наиболѣе либеральные из сановников охотно пойдут на это. В Петербургѣ уже раза два бывали періоды паники, когда дарованіе государем конституціи считалось вопросом чуть ли не ближайших недѣль. «Болѣе порядочные будут пріѣзжать безкорыстно, из любопытства, а другіе — с разсчетом, на всякій случай: «сегодня интеллигенція, а завтра кто-нибудь из них да первый министр!» Относительно интеллигенціи она была не совсѣм увѣрена, потому что меньше ее знала и хуже понимала. Михаил Яковлевич, лично знакомый с Тургеневым и Достоевским, пріятель извѣстных либеральных профессоров, как будто принадлежал к ея верхам, но у Софьи Яковлевны были на этот счет сомнѣнія. Она раза два в год считала себя обязанной посѣщать вечеринки Чернякова и незамѣтно при этом настраивалась на какой-то особый, сверхлиберальный и идеалистическій лад. Однако, Софья Яковлевна не была увѣрена, что люди, бывавшіе у ея брата, дѣйствительно составляют сливки интеллигенціи. К ея удивленію, их разговор не так уж блестѣл умом, либерализмом, идеализмом. В общем, он мало отличался от разговоров, к которым она привыкла, и даже сужденія часто бывали сходныя (Черняков, считаясь с возможностью появленія Юрія Павловича, впрочем маловѣроятной, особенно радикальных людей в эти вечера к себѣ не звал). Все-же Софья Яковлевна возлагала на брата большія надежды в дѣлѣ созданія конституціоналистскаго салона. «Говорят, у Новиковой бывает весь Лондон, она дѣлает англійскую политику. А кто такая Новикова!»... Главным препятствіем была политическая репутація Юрія Павловича, — он считался очень консервативным человѣком. Однако, Софья Яковлевна знала, что в случаѣ дарованія конституціи заставит мужа примкнуть к умѣренным конституціоналистам. «Еслиб не этот его пунктик: генеалогія», — думала она. Для Юрія Павловича дѣйствительно существовали дворяне и люди-просто. Против людей-просто он ничего не имѣл, но, несмотря на свои занятія генеалогіей, считал дворянство высшей человѣческой породой, столь же безспорной, как высшія породы лошадей. Между дворянами существовали конечно, подраз-

дѣленія, они его основного взгляда не подрывали: Романовы были дворяне, и он был дворянин. Впрочем, в присутствіи недворян Юрій Павлович о сословіях не говорил. Он был как тот англійскій герцог, который совершенно не помнил о своем происхожденіи — если только о нем не забывали другіе. Несмотря на подробныя об'ясненія мужа, Софья Яковлевна весьма сомнѣвалась в древности и знатности рода Дюммлеров.

Теперь же мысли обо всем этом только мелькнули у Софьи Яковлевны, поразив ее своим ничтожеством. «Неужели я серьезно могла придавать значеніе этому вздору? Да, так бывает постоянно: думаешь о пустяках, пока не свалится несчастье. Господи, как вѣрны всѣ общія мѣста! Дѣйствительно нѣт ничего, что шло бы в сравненіе с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болѣзни, близкой смерти!»...

В час дня лакей принес ей завтрак, — по-берлински обѣд. К неудовольствію прислуги «Кайзергофа», она не спускалась в ресторан; так повелось с той поры, как Юрій Павлович жил в гостинницѣ. Когда лакей постучал в дверь, Софья Яковлевна поспѣшно прикрыла чѣм-то пепельницу с окурками. Она стыдилась того, что курит, и ей было совѣстно даже перед прислугой.

IX.

Вестибюль был полон Фаустов и Маргарит, Гамлетов и Офелій, средневѣковых рыцарей и Валленштейновских ландскнехтов. Было также довольно много лакеев и кухарок; они перебрасывались радостными восклицаніями на простонародном берлинском діалектѣ. Еще на лѣстницѣ Мамонтов услышал и «Knorke!» и «Ach Jott», и что-то такое еще. Николая Сергѣевича раздражало, что вилла, построенная вѣрно Шинкелем или одним из его подражателей, была красива. Нѣчто живописное было даже в маскарадной толпѣ, — к этим крупным тяжелым рубенсовским людям шли латы, мечи и копья. «Да, порода не измѣнилась, они в латах чувствуют себя так хорошо, как их предки». Сверху доносился гул.

Под Gesindeball первоначально разумѣлись именно балы для прислуги. Позднѣе по их образцу стали устраиваться балы в обществѣ; потом они еще как-то измѣнились, превратились в грубовато-веселые маскарады с необязательными масками и вошли в моду. Европейскій секретарь принца, быстро богатѣвшій на своей должности, рискнул на Gesindeball, — этого развлеченія не было ни в Парижѣ, ни в Лондонѣ, — и добавил музыкальное отдѣленіе; Патти как будто не очень подходила, но важно было лишь то, чтобы все было самое лучшее, т. е. самое дорогое.

Секретарь встрѣчал гостей на верхней площадкѣ лѣстницы. Он привѣтливо улыбался, но лицо у него было растерянное. Принц вел себя в Европѣ просто: охотно принимал писателей, актеров, журналистов, не спрашивая об их происхожденіи: всѣ они были нечистыя твари, не лучше и не хуже королевы Викторіи. Зная это, секретарь пригласил множество самых разных людей, — лишь бы было занятнѣе. Однако, гости, очевидно, думали, что в домѣ восточнаго дикаря особенно церемониться нечего. Доносившійся из дальних комнат шум становился неприличным. Гдѣ-то играл оркестр, и казалось, что он нарочно всѣм мѣшает.

Гостинныя шли одна за другой длинным рядом, — их было шесть или семь. В первой из них стоял принц. На нем был его настоящій костюм: длинный, шитый золотом кафтан, с бѣлой лентой через правое плечо, длинныя бѣлыя брюки, бѣлый тюрбан. В лѣвой рукѣ он держал бѣлыя перчатки, а правой опирался на кривую саблю в бѣлых ножнах. Все на принцѣ сверкало драгоцѣнными камнями. Проходившіе гости, независимо от своей воли, больше смотрѣли на его бриллианты и изумруды, чѣм на самого принца. Всѣ знали, что он несмѣтно богат; говорили, что он богаче Ротшильда, богаче Корнелія Вандербильта, богаче русскаго царя. Принц отличался щедростью и соблюдал обычаи своей страны: если гость при нем хвалил какую-либо из его вещей, принц произносил слова: «Думара ке бас хаи» («Пусть же это будет твое») и дарил вещь гостю. Так, впрочем, бывало лишь в первые его пріѣзды

в Европу. С годами он стал благоразумнѣе. Когда кто-то похвалил огромный изумруд на его тюрбанѣ, принц не разслышал похвалы и больше к себѣ этого гостя не звал.

У принца были дома в Парижѣ и Лондонѣ, виллы на модных курортах. В Берлинѣ он ничего не имѣл. Между тѣм в лѣто Конгресса Берлин стал центром Европы и туда без всякой надобности отовсюду направлялись праздные люди. Секретарь снял загородный дом, который считался историческим, так как в нем прожило жизнь нѣсколько поколѣній тупых, невѣжественных, но богатых, титулованных и потому дѣлавших исторію людей.

Несмотря на лѣтнее время, пріемы не прекращались в германской столицѣ. Бережливые берлинцы точно ошалѣли от небывалаго с'ѣзда иностранцев. Самым блестящим праздником был обѣд и бал в домѣ Блейхредера. Банкира посѣтили всѣ члены Конгресса, и по городу ходили почтительные разсказы о том, в какую сумму обошелся Блейхредеру этот пріем. Принц совершенно не гонялся за высокопоставленными людьми и начинал скучать в Берлинѣ. Устроенный секретарем бал ему не понравился и не развеселил его. Вначалѣ принц еще говорил дамам свои сложные цвѣтистые комплименты, теперь только кивал в отвѣт на поклоны. Его приземистая фигура невыгодно выдѣлялась в гостиной. В этой комнатѣ и в слѣдовавшем за ней готическом салонѣ всѣ приглашенные еще вели себя сравнительно прилично, но уже в третьей залѣ, отойдя от хозяина, который все-таки был принц, хотя и несерьезный, совершенно переставали стѣсняться. На Gesindeball они считали себя обязанными изображать шумное веселье.

В готической гостиной поток гостей раздѣлялся: часть их направлялась в параллельную гостиным длинную узкую залу, предназначенную для концерта. Николай Сергѣевич заглянул туда. Софьи Яковлевны в залѣ не было. «Может и лучше, что ея нѣт? Ох, надо бы от нея подальше! Вѣдь это неправда, будто я в нее в л ю б л е н. Еслиб был влюблен, то не видѣл бы морщинки у глаза и не говорил бы себѣ, что она «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Впрочем, я все замѣ-

чал и в восемнадцать лѣт, когда был влюблен по уши... Да, вѣроятно, с ней будет петля. Но вѣдь я как будто поставил себѣ правилом всегда слушать «голос благоразумія» и всегда поступать наоборот... Посмотрим, там будет видно! Во всяком случаѣ я жду от жизни не больше, а меньше того, что она может дать, и уж если она меня покарает, то скорѣе всего за недовѣріе к ней»... Ему было досадно и то, что общія «философскія» мысли лѣзли ему в голову в самое неподходящее время.

Николай Сергѣевич пошел дальше, чуть скользя по паркету. Он с удивленіем замѣтил, что на него как будто подѣйствовал надѣтый им костюм. Теперь в нем уже сидѣло три человѣка: он сам, дешевый бутафорскій Мефистофель и наблюдатель, внимательно слѣдившій за Мефистофелем и за ним. Гостиныя были уставлены всевозможными предметами в стилях Gotik и Spätgotik, Hochrenaissance и Spätrenaissance, Frühbarok, Hochbarok и Spätbarok. По книгам и музеям Мамонтов знал толк в мебели; он видѣл, что в большинствѣ это хорошія, дорогія вещи, — и старательно раздражался. «Вѣрно, тот барон или банкир, которому все это принадлежит, в душѣ любит только добрый честный Бидермейер. Да, есть что-то особенное в этой толпѣ, в этих упитанных перепившихся людях, нисколько не безобразное, — это о них говорят неправду — но вызывающее, почти дерзкое. Им ударили в голову пиво и Седан... Это Іорданс, передѣланный Менцелем... Из дам особенно шумят тѣ, что переодѣлись горничными. Голубушки, вам и играть не надо... Куда же она дѣлась?» — думал Николай Сергѣевич. У входа в пятую или шестую гостиную он столкнулся с другим Мефистофелем. Они криво улыбнулись друг другу.

В послѣдней гостиной было столпотвореніе. «Вот здѣсь уж совсѣм сумасшедшій дом!» — радостно сказал про себя Мамонтов, все тщетно старавшійся опредѣлить а т м о с ф е р у бала. Вдоль стѣн комнаты тянулись столы буфета, но их и разглядѣть было невозможно: так они осаждались гостями, толпившимися в три и даже в четыре ряда. Паладины и ландс-

кнехты шумно пробивались к столам, хватали бокалы, мороженное, бутерброды для себя и для Офелій, которыя, впрочем, сами о себѣ не забывали. В отличіе от лат и мечей, русская икра и французское шампанское были дѣлом настоящим. Николай Сергѣевич сам стал проталкиваться к столу и минуты через три пробился, поработав локтями. Лакеи не успѣвали разливать напитки. Нѣкоторые гости хватали и уносили с собой бутылки. Хотя ему не хотѣлось ѣсть, Мамонтов положил на тарелку огромную порцію паюсной икры, выпил один за другим нѣсколько бокалов шампанскаго и прорвался назад. «Кажется, лучше было не пить так много. Я вѣдь и за обѣдом выпил бутылку вина»... Отойдя от буфета, он стал скользить еще больше, — как Стравинскій в сценѣ с Мартой Швертлейн.

— Арестую вас именем закона! — сказал сзади кто-то, хлопнув его по плечу так сильно, что кусок паюсной икры упал с тарелочки на паркет. Николай Сергѣевич чуть было не схватился за рукоятку шпаги, но тарелочка помѣшала. Перед ним был венгерскій журналист.

— Наконец-то вы! Я вас искал. Вы, кажется, шестой Мефистофель в этом сумасшедшем домѣ.

— Как будто и вы тоже не проявили большой фантазіи.

— Надѣл к фраку черный галстух и стал лакеем. Очень дешево. Этим и об'ясняется успѣх «балов прислуги».

— Да еще тѣм, что этим господам чрезвычайно легко подражать лакеям.

— Что кстати необыкновенно тактично в отношеніи настоящих лакеев. Настоящіе лакеи здѣсь одни и ведут себя достойно. Впрочем, я напрасно вам это говорю. Как всѣ русскіе, вы почему-то привыкли иронизировать над нѣмцами. Но не судите о нѣмцах по сегодняшнему обществу.

— Как же у принца оказалось такое общество?

— Очевидно, вышло какое-то недоразумѣніе. К тому же, всѣ сразу перепились. Я первый. — Он засмѣялся. — Знаете, тут психологія вродѣ Шейлоковской: как же не выпить шампанскаго за счет расточительнаго дикаря? Буфет у него пре-

восходный, я давно такого не видѣл, со времени раута у герцога... Ну, как его?... Отчего вы так рѣдко бываете на Конгрессѣ? Вы, как Феникс, прилетаете раз в пятьсот лѣт.

— Гдѣ это «на Конгрессѣ»? В передней министерства? Там нечего дѣлать.

— Дѣлать там, конечно, нечего, но можно сплетничать, а это величайшая радость в жизни. Если не считать шампанскаго... Впрочем, пить большой грѣх. Египтяне в жертву богу вина приносили только нечистую свинью, — сказал венгр, вѣроятно читавшій в послѣднее время книги о древнем мірѣ. — Слышали, на Конгрессѣ достигнуто полное соглашеніе. Вы получаете Карс, Ардаган и Батум, но отказываетесь от той проклятой долины, дабы Диззи не подвергся личному насилію в Палатѣ. Франц-Іосиф берет себѣ Боснію! Воображаю физіономію бѣдных турок! Сначала Кипр, теперь Боснія! А они были так благодарны своим благодѣтелям! — сказал он, захохотав. — Главное же, Болгарія дѣлится на части. Сѣверная...

Он изложил предположительныя условія договора. Николай Сергѣевич старался слушать, но голова у него немного кружилась. Венгерскій журналист говорил в своем обычном утомительном тонѣ балагура.

— ...Бловиц сегодня уѣзжает. Как вы вѣрно слышали, он добился своего: был принят Бисмарком и даже у него обѣдал. Это геніальный человѣк. Ему уже извѣстны секреты богов. За геній Бловицу можно простить все, хотя бы он утопил не одну жену, а десять. Впрочем, он вѣрно никого никогда не топил. Ох, много стали теперь врать, особенно о знаменитых людях... Диззи готовится тріумфальная встрѣча на Чаринг-Кросском вокзалѣ. Я боюсь, что Гладстон и Горчаков умрут от разрыва сердца... Но что же Pattina mia, как говорил Россини? Вы слышали, секретарь принца перехватил ее по пути не то из Англіи в Италію, не то из Италіи в Англію. У нея, у бѣдненькой, вышла в Лондонѣ большая непріятность: антрепренер тайно повысил гонорар Нильсон до двухсот фунтов за спектакль! Подумайте, какой наглец! Разумѣется, Нильсон позаботилась о том, чтобы это стало извѣстно кому

слѣдует. С Патти сдѣлалась истерика. Она немедленно потребовала, чтобы ей платили по двѣсти гиней.

— Двѣсти гиней это больше, чѣм двѣсти фунтов?

— Больше на пять процентов, но дѣло не в лишнем шиллингѣ. Вы, надѣюсь, понимаете, что Патти д о л ж н а получать больше, чѣм Нильсон, иначе ей остается повѣситься. Антрепренер в отчаяньи. Если он согласится, Нильсон выцарапает ему глаза: вы, надѣюсь, понимаете, что и Нильсон д о л ж н а получать больше, чѣм Патти, иначе ей остается повѣситься.

— Что же будет?

— Повѣсится антрепренер. Впрочем, онѣ очень любят друг друга. Я их слышал вмѣстѣ в Парижѣ в церкви Тринитэ, когда отпѣвали Россини. Патти, Нильсон и Альбани пѣли Stabat Mater, это было божественно и безплатно... Вот ваша знакомая, — многозначительно сказал журналист, показывая в сторону двери. Мамонтов увидѣл Софью Яковлевну. На ней была какая-то мантія, платье цвѣта слоновой кости с голубым поясом, расшитое странными цвѣтами. К ея черным косам было приколото нѣсколько красных роз. Она опиралась на высокую тонкую раззолоченную трость. С ней были Элла в костюмѣ Гретхен и ея муж, плотный краснолицый король Лир. Они тотчас исчезли, король Лир как будто с сожалѣніем. — Какая красавица! Она Клеопатра, что ли?

— Не знаю... Так договор будет скоро опубликован?

— Сегодня ходят глухіе слухи, будто Бловиц у кого-то купил полный текст договора и опубликует его в «Таймс»! Это будет величайшій шедевр репортажа в исторіи... Пойдем выпьем еще шампанскаго за здоровье всѣх жен нашего дорогого хозяина. Не хотите? Ну, как знаете, а я пойду штурмовать буфет. Если шампанское и безплатно, я всегда стервенѣю, — об'яснил венгр и отошел, напѣвая марш Ракоци. «Нѣт, нѣт, я не пьян!» — завѣрил себя Николай Сергѣевич. Он быстро пошел по гостиным, дѣлая граціозные жесты правой рукой и побѣдно улыбаясь дамам. «Все-таки очень странно, что костюм так дѣйствует на человѣка? Особенно эта идіот-

ская шпага!... Кажется, я наговорю глупостей!...» В готической гостиной, в которой по прежнему было сравнительно тихо, в углу за Сакристейшранком, сидѣли Софья Яковлевна и Элла с мужем. На лицѣ короля Лира была легкая тоска. «Не подходить!» — сказал себѣ Мамонтов и скользнул к ним уж совсѣм развязно.

— Вы здѣсь?

Софья Яковлевна как будто неохотно познакомила его с мужем Эллы. Но ея друзья, видимо, ему обрадовались. Король Лир крѣпко пожал руку Мамонтову, пододвинул ему стул, точно опасаясь, как бы он не ушел, и предложил папиросу. Муж Эллы, довольно видный прусскій чиновник, тоже забавлялся тѣм, что говорил на берлинском простонародном нарѣчіи:

— Jott, reservierte Plätze det jibt's ja heute nich, — сказал он о чем-то Софьѣ Яковлевнѣ. Николай Сергѣевич заговорил по-французски. Король Лир наклонил голову, с обычным почтеніем иностранцев к французскому языку.

— Все-таки человѣк должен ѣсть и пить, — тоже по-французски весело сказал он. — Нѣт, здѣсь право очень мило. Элла находит, что дурной тон и похоже на Бедлам, а по-моему просто богема. Пусть молодежь веселится как умѣет... Так я пойду в буфет и все вам принесу. Почему вы ничего не хотите? Берите примѣр с Эллы. Ни шампанскаго, ни портвейна, ни икры?

— Какія волшебныя слова! Я пойду с тобой! — воскликнула, вскакивая, Элла и ударила его по плечу.

— N-na, bisken höflich jejen den ormen König, — сказал король Лир, потирая плечо. Элла подмигнула Софьѣ Яковлевнѣ.

— Поскучайте пока без нас, нам понадобится время, там Бог знает, что творится! — прокричала она уже у двери. «Сейчас будет разговор! Не знаю какой, но такой, какого у нас еще никогда не было», — радостно подумал Мамонтов. «Кажется, у меня заплетается язык!».

— Вы Клеопатра?

— Нѣт, еще глупѣе: я Семирамида... Мнѣ хотѣлось послушать Патти и принц очень просил...

— Платье изумительное и идет к вам необыкновенно, — сказал он, шаря у себя в мозгу, в поисках каких-либо свѣдѣній о Семирамидѣ: «От Семирамиды, кажется, легко перейти к настоящему разговору», — подумал Николай Сергѣевич, едва ли ясно понимая, какой ему нужен «настоящій разговор». «Кажется, была такая ассирійская царица и с кѣм-то воевала... Очень хорошо воевала. Это мнѣ ни к чему... И еще, кажется, там была какая-то голубица? Голубица тоже ни к чему... Постой, дурак!» — радостно сказал он себѣ, — вѣдь у покойной Семирамиды покончил с собой муж? Вот это «к чему»! Хотя почему? Почему — к чему. Я пьян? Если и пьян, то не только от вина, но и «от страсти» — подумал он и в ту же секунду начал трезвѣть. — Я ожидал, что здѣсь сегодня будет «весь Берлин», — сказал Мамонтов.

— Нѣт, императора Вильгельма здѣсь нѣт.

— Благо его подстрѣлили.

— J'aime le «благо». А вы как сюда попали?

— Церемоніймейстер вашего принца пригласил всѣх иностранных журналистов... Я, впрочем, знал, что вы здѣсь будете.

— Я вам сказала? — спросила она, чуть подняв брови. — Все-таки я не думала, что здѣсь будет, как она говорит, Бедлам. Это мнѣ, разумѣется, все равно и даже скорѣе было бы занимательно, но, по-моему, тут просто скучно. И этот унылый оркестр, что-то уж очень плохой для Германіи... Мы собираемся уѣхать послѣ Патти. Впрочем, Элла веселится как ребенок. Они у меня сегодня ужинали и мнго выпили. Вы, кажется, не столуетесь в «Кайзергофѣ»?

— Только завтракаю. Обѣдаю я то у Люттера-Вегенера, то у Хабеля. Сначала меня там приняли не так, чтобы уж очень любезно, но от начаев очень смягчились, — сказал, смѣясь, Николай Сергѣевич, старательно за собой слѣдя. Он было положил руку на рукоятку шпаги и тотчас ее отдернул. «Нѣт, нѣт, я не пьян, но это очень пріятно, когда развязывается язык»... — Хабеля облюбовала прусская аристократія. К

абендброту туда приходит сам Мольтке, ѣст Кальбснирен-братен мит пфлаумен и пьет Мозельское вино с земляникой («ни к чему это»). А вот вчера я попытал счастье в ресторанѣ Золотой Колбасы. Вы не слышали? Этот ресторатор каждый вечер кладет в одно из своих блюд золотую монету. Если она попала в ваш кусок Эрбсвурст гарнирт, ваше счастье. У него каждый вечер сотни нѣмцев с надеждой очень осторожно жуют свою порцію. Геніально, неправда-ли? — спросил Мамонтов, смѣясь веселѣе, чѣм требовал разсказ. Софья Яковлевна улыбнулась, с нѣкоторым удивленіем на него глядя. «Кажется, и он выпил больше, чѣм нужно», — подумала она. — Однако, я вам даю какое-то гастрономическое интервью («еще глупѣе»)... Вы очень много выѣзжаете?

— Выѣзжаю? Напротив, очень мало. Иногда бываю в оперѣ.

— Непремѣнно пойдите на «Militaria». Это прелесть. Изображается вступленіе нѣмецких войск в Эльзас в 1870 году. Курт фон... Забыл какой фон... Курт покоряет сердце юной дочери эльзасскаго мэра, в глубинѣ души, конечно, желающаго побѣды нѣмцам. Но французскіе изверги узнают о тайных симпатіях мэра и уже ведут несчастнаго на разстрѣл. Как раз в ту минуту, когда они наводят на него ружья, на сценѣ появляется отряд прусских егерей. Рев в залѣ невообразимый. Особенный восторг вызывает еврейка-балерина Давид. Она в егерском мундирѣ идет впереди отряда гусиным шагом и поднимает ноги выше головы. Чудесный спектакль! Я давно ничѣм так не восторгался. Все заканчивается Валгаллой нѣмецких героев, с Фридрихом Барбароссой в качествѣ фланговаго гренадера.

— Да, многое у них уморительно, но далеко не все. Есть и прекрасные театры. Шекспира нигдѣ не играют так благоговѣйно как здѣсь.

— Я почему-то увѣрен, что Шекспиром здѣсь восхищаются тѣ же самые люди, которые бѣснуются от восторга при освобожденіи эльзасскаго мэра. Странный народ нѣмцы! Должно быть, у них тоже «особенная стать», как у нас, если

вѣрить Тютчеву («много лучше, — так надо и дальше, но постепенно»). А как здоровье Юрія Павловича? — спросил он и увидѣл, что его связь мыслей ей не понравилась.

— Благодарю вас. Сегодня он чувствовал себя лучше. Юрій Павлович убѣдил меня поѣхать на этот маскарад. — Она почувствовала, что точно оправдывается, да еще во второй раз. — Обыкновенно я по вечерам дома... Очень рано ложусь. Читаю... Сейчас читаю во второй раз «Анну Каренину»... Перечла все, кромѣ того, что о сельском хозяйствѣ: оно меня не интересует, да и сам Левин менѣе интересен, чѣм остальные. Я многому научилась в этой книгѣ. «Вот что мы используем!» — подумал Николай Сергѣевич, — «тут-то и распустить перышки». — По моему, она значительно лучше «Войны и Мира».

— О, не говорите этого! — сказал горячо Мамонтов. Он еще не знал, как перейдет к настоящему разговору, но чувствовал, что и «о!», и горячая интонація были полезны. — Разумѣется, это тот же великій талант... Но ему, повидимому, стало скучно. Я думаю, то, что критики так часто называют упадком таланта, происходит от ослабленія у художника интереса к своему творчеству, — пояснил он, уже не совсѣм зная, имѣет ли он в виду Толстого или себя. — Жег море и не зажег, потерял не только надежду, но и желаніе зажечь. Вся его дьявольская изобразительная сила осталась, но он теперь точно ищет, к чему бы ее приложить. Попадется под руку какой-нибудь ни для чего не нужный Туровцын, дай, опишу хоть Туровцына. Некуда дѣваться Левину и не о чем ему высказываться, — дай, пошлю его на какіе-то дворянскіе выборы в какую-то Кашинскую губернію. Половина романа состоит из геніальных пустяков. А уж турецкую войну сам Бог послал графу Толстому, иначе он совсѣм запутался бы в своих «отмщеніях». Помните, «мнѣ отмщеніе и аз воздам», — сказал он, опять было положил руку на шпагу и опять ее отдернул. Софья Яковлевна замѣтила его движенье, оно ее позабавило. — Очевидно, измѣна Анны старику-мужу кажется

графу Толстому послѣдним предѣлом преступленія и позора! Согласитесь, что это очень наивно. Вы не находите?

— Нѣт, я не нахожу. Так вы такой поклонник графа Толстого? А знаете ли вы, что он обязан своей жизнью государю, котораго вы не любите? Государь сам мнѣ это разсказывал. Он каким-то образом еще в корректурѣ прочел что-то Толстого, да, «Севастопольскіе разсказы», и тоже, как вы, пришел в восторг. Государь справился, кто такой, узнал, что это молодой офицер на Малаховом Курганѣ, и велѣл тотчас перевести его за двадцать верст в тыл. На Малаховом Курганѣ граф Толстой, конечно, погиб бы. Быть может, он и сам этого не знает.

— Так ли это? Каким образом корректура могла попасть к государю?

— Уж я не знаю как, но, повѣрьте, что если я это слышала от государя, то это правда.

— Отдаю должное. За это царю можно многое простить.

— Как вы добры.

По готической гостиной теперь движеніе шло только в одну сторону, к концертному залу; туда входили люди при шпагах или мечах, видимо, много выпившіе и старавшіеся подтянуться перед концертом. Оркестр без причины перестал играть, точно музыканты почувствовали, что они всѣм надоѣли.

— Я кстати замѣчаю, что вы при каждом разговорѣ со мной стараетесь меня обратить в монархическую вѣру или, точнѣе, в вѣру в Александра II, — сказал Мамонтов. Ему было досадно, что она равнодушно отклонила разговор об измѣнѣ Анны мужу. — Скажу вам прямо: это безполезно. — Николай Сергѣевич становился все тверже в выраженіи своих революціонных взглядов, по мѣрѣ того, как они в нем слабѣли.

— А если бы и так? Мнѣ в самом дѣлѣ жаль, что ваши блестящія способности, быть может, пойдут на службу дурному дѣлу. Да и нигдѣ никакой пользы от революцій никогда не было... Вот я на-днях взяла в читальнѣ «Кайзергофа» книгу почти наудачу, было полутемно... Я собственно так всегда читала, наудачу, поэтому и вышла невѣжественная. — Она

часто называла себя невѣжественной, хотя много читала. — Оказалось, воспоминанія Мунго Парка! On n'a pas idée читать воспоминанія Мунго-Парка! — «Кто такой Мунго Парк? Кажется, какой-то путешественник?... Но она нарочно ведет такой разговор!» — подумал Николай Сергѣевич. — Я надѣялась, что засну от скуки, оказалось, что я всю ночь не могла заснуть от волненья. Он описывает, как рабовладѣльцы вывозили негров из Африки. И самое удивительное, что эти рабовладѣльцы были даже не злые люди. А сам Мунго Парк был просто добрый человѣк. Между тѣм разсказывает он об этом, как о самом почтенном дѣлѣ. Это просто нельзя читать: стыдно и страшно за человѣка.

— Так только говорится. «Страшно за человѣка», «ум человѣческій этого не пріемлет», «человѣческая совѣсть с этим не мирится». Все они пріемлют и со всѣм они мирятся, и никому ни за кого не страшно.

Софья Яковлевна на него посмотрѣла, опять чуть приподняв брови.

— Да? Однако, все это понемногу исчезает. То, что описывает Мунго Парк, было еще недавно, но этого уже нѣт и никогда больше не будет. Я и хочу сказать: как ни как, мір и без революцій идет вперед.

— Именно как ни как. Ему, очевидно, не к спѣху.

Она засмѣялась.

— Вы говорите тоном Робеспьера. Я вижу, что заграницей вы жили в соотвѣтствующей средѣ.

— Я не очень поддаюсь вліянію среды, — сказал он сердито, хотя в ея словах не было ничего обиднаго. «Вѣроятно, она хорошей средой считает своего нѣмца и его звѣринец!» И только он опять подумал о путях к настоящему разговору, как, к его изумленію, этот разговор начала она. Для нея это было столь же неожиданно: еще за минуту до того она в мыслях не имѣла говорить с ним об его интимных дѣлах.

— Отчего вы не возвращаетесь в Петербург?

— Вѣдь я два раза туда наѣзжал, но ненадолго, по жур-

нальным дѣлам. Осенью, должно быть, вернусь совсѣм.

— Вот как... А вы теперь один? — спросила она. Хотя она улыбалась так же равнодушно-благожелательно, ему показалось, будто что-то враждебное скользнуло в ея глазах.

— Один.

— Да что вы со мной в прятки играете? Вѣдь я знаю о вашем романѣ. Гдѣ же ваша артистка?

— Моя артистка? — повторил он с восторгом — Моя артистка на морѣ.

— Одна?

— С ней один артист, большой ея друг... Кажется, он ея родственник, — сказал Николай Сергѣевич. Ему самому было бы трудно об'яснить, почему он лжет, называя Рыжкова родственником Кати, и почему так счастлив. — Она стала полнѣть, а в их дѣлѣ это не полагается. Я и послал ее на море. — Он почувствовал, что «послал» прозвучало как «сплавил», что Софья Яковлевна именно так это приняла и что он уже предал Катю.

— Брат говорил мнѣ, что вы страстно влюблены в нее?

— «Страстно»? Может быть... Уж если говорить такія слова. Но умный человѣк был пророк Мормон.

— Какой пророк Мормон?

— Это, кажется, пророк секты многоженцев, — сказал он. Его слова показались ей странными и неостроумными. «Все в нем неестественно, и особенно это желаніе всегда говорить «блестяще». Почему он не может быть простым?... Это глупо «купеческій сын», но в нем дѣйствительно что-то такое есть»... Она вспомнила, что, послѣ первой их встрѣчи в Берлинѣ, Юрій Павлович сказал ей, улыбаясь не совсѣм естественно: «Все-таки тебѣ, быть может, будет пріятно с ним встрѣчаться при отсутствіи интересных знакомств. На безлюдьи и Фома дворянин». «Он и не представлял себѣ, как он был прав!» — теперь подумала она.

— Отчего же не говорить «такія слова»? Нѣт ничего хорошаго в придирчивости к словам.

— Я знаю, что нѣт ничего хорошаго, — сказал он и

вспыхнул, точно угадав ея мысли. — Во мнѣ и вообще нѣт ничего хорошаго. Или, если хотите, есть одно: я очень искренній человѣк. Да и это не вполнѣ вѣрно: я умѣю лгать, но не люблю, терпѣть не могу. Не люблю ни притворяться, ни даже просто скрывать правду... Никакого циника я не изображаю, и мнѣ было бы вообще поздновато забавляться какой бы то ни было ролью: я не юноша... Но если вы думали, что я идеалист с горящими глазами, то вы ошиблись, — все больше раздражаясь, говорил он. — Впрочем, сомнѣваюсь, чтобы вам нравились идеалисты с горящими глазами. По моему...

— Я никогда ничего такого не говорила, и не понимаю, почему вы сердитесь... Брат говорил мнѣ, что у нея был какой-то друг или покровитель, тоже акробат? Впрочем, оставим это, извините меня.

— Ваш брат говорил вам о том, что его совершенно не касалось... Этот акробат погиб вскорѣ послѣ нашего пріѣзда в Соединенные Штаты. Он был замѣчательный человѣк, человѣк тройного сальтомортале... Нѣт, это было бы долго об'яснять, я так опредѣляю одну породу людей. Коротко говоря, акробат был спеціалистом по очень трудному и опасному цирковому фокусу. В Америкѣ он три раза продѣлал фокус удачно, а в четвертый раз — разбился на смерть, на ея и моих глазах

Мамонтов замолчал, вспомнив сцену в Филадельфіи, крик Кати, выдѣлившійся из протяжнаго нараставшаго стона многотысячной толпы, то, что послѣдовало. Ему показалось, что он и теперь чувствует аптекарскій запах. И навсегда в его память, вмѣстѣ с этим отвратительным запахом, врѣзалось то страшное отвратительное чувство, которое он тогда испытал, которое потом наединѣ с собой старался отрицать. «Как не было? Конечно было! Конечно, была радость»... Софья Яковлевна с любопытством на него смотрѣла.

— И послѣ этого вы заняли мѣсто акробата?

— Нѣт, — уж совсѣм грубым тоном отвѣтил он. — Акробат этого мѣста не занимал, он был просто ея другом. — Я был первым человѣком, котораго она полюбила. — Мамонтов

хотѣл сказать, что сошелся с Катей через недѣлю послѣ смерти Карло, но не сказал. «По ея понятіям, это, разумѣется, цинично. И со стороны это дѣйствительно так. Катя и цинизм!»...

— Вот как... Но что же это Элла? — спросила она. Ему показалось, что она краснѣет. Он не сводил с нея глаз.

— Вѣдь вы им сказали, что не хотите шампанскаго. Принести вам?

— Нѣт, я ничего не хочу. Может быть, они прошли прямо в зал... Кстати, эти двери, кажется, затворены не будут. Отсюда все будет слышно. Хотите остаться здѣсь?

Его глаза показали, что об этом не надо спрашивать. Ее вдруг охватила радость, — такая радость, какой она, быть может, никогда не испытывала в жизни. «Что это со мной? С ума сошла, старая дура!»

— Как измѣнились нравы! — сказала она. — Я слышала от старых людей, что еще не так давно в Парижѣ и Лондонѣ, когда Малибран или Рубини или Мошелес выступали в частных домах, то они поднимались по черной лѣстницѣ: им платили, ими даже восторгались, но с ними не общались. Это передѣлали мы, русскіе. У нас этого никогда не было, даже при Николаѣ... То же самое и с так называемыми цвѣтными людьми. Я думаю, в Лондонѣ нашего милаго хозяина все-таки не считают настоящим человѣком... Да вот примѣр. Можете ли вы себѣ представить, что в какой-либо западной странѣ король приблизил к себѣ негра, что сын этого негра породнился со всей знатью страны, а его правнук оказался ея величайшим человѣком. А вѣдь это подлинная исторія Пушкина, — говорила она, меньше всего на свѣтѣ интересуясь сейчас исторіей Пушкина или цвѣтными людьми. Но ей казалось, что надо говорить, что надо говорить без умолку, что нельзя остановиться ни на минуту.

— Послушайте, — сказал он, наклонившись вперед в креслѣ и глядя на нее блестящими глазами. — У нас сегодня вышел с вами странный разговор... Вам не приходило в голову, что надо жить одним днем, нынѣшним днем? Кажется, так

учили какіе-то древніе философы, но все равно! Бог с ними, с философами!... Быть может, я чуть пьян, только не знаю, от вина ли... Одним словом, простите, если я что не так говорю. Но вот я старался говорить умно, и, кажется, вышло глупо. А теперь я хочу говорить глупо, может выйдет умнѣе? Вам не приходило в голову, что можно жить т а к, просто, ни над чѣм не задумываясь: так, чтобы быть счастливым сегодня, а дальше будь что будет!... Одним словом, без Мунго-Парков! И вдруг будет хорошо, будет чудно? — сказал он. Язык у него заплетался и в самом дѣлѣ это было не только от вина. В концертном залѣ раздались рукоплесканья. Еще нѣсколько ландскнехтов на цыпочках пробѣжали через гостиную. — Патти! — с бѣшенством сказал он.

— Я думала, она пройдет через эту комнату. Как жаль! Я люблю смотрѣть, как она ходит. Это цѣлое искусство. Точно плывет богиня!... Жаль, что отсюда ея не видно, но мы потом подойдем к ней. Вѣрно она в этом ожерельѣ Маріи-Антуанетты? Ей нью-іоркскія дамы поднесли ожерелье, принадлежавшее Маріи Антуанеттѣ. Впрочем, у нью-іоркских ювелиров вѣрно, всѣ ожерелья принадлежали Маріи-Антуанеттѣ, если они не принадлежали Маріи Стюарт, — говорила она безостановочно, все больше смущаясь от его взгляда и от чувств «старой дуры». Рукоплесканья в концертной залѣ все росли, стали слабѣть и оборвались. Как всегда, кто-то еше раза два хлопнула отдѣльно, послышалось негодующе «ш-ш-ш-! и рояль заиграл «Серенаду» Шуберта.

— «Lei-se fle-hen mei-ne Lie-der durch die Nacht zu dir», — раздалась первая фраза. Патти выговаривала каждое слово особенно отчетливо, как говорят на мало знакомом языкѣ. Хотя этот голос не дѣйствовал только на глухих, Николай Сергѣевич вначалѣ не слушал. «Да, если она пожелает, я обману Катю! Знаю, что это будет особенно гадко: вѣдь Катю так легко обманывать, знаю, но обману!... Ах, как пошло я говорил, особенно вначалѣ!» — Он с ужасом вспомнил о «Мормонѣ». — Но, может, и она немного ошалѣла от своего костюма, от Семирамиды, от всего этого дома умалишенных...

И развѣ я не вижу, что она в меня не влюблена... Ну и что же? Пусть «голос благоразумія» и несет свой вздор!» Он не сознавал, что уже с полминуты слышит музыку. «Теперь все кончено, все!»...

Музыка доносилась через отворенныя окна в каморку верхняго этажа, в которой лежал больной старик, сопровождавшій принца в его путешествіях. Европейцы, путавшіеся в восточных вѣроученіях, называли его то «великим факиром», то «іогом», то как-то еще. Он считался духовным наставником принца. Семидесятилѣтній, худой как щепка факир почти никогда не выходил из дому, питался овощами, спал на голых досках. В тѣх рѣдких случаях, когда они останавливались в гостинницах, он не впускал к себѣ в комнату никого из прислуги. Лакеи смотрѣли на него испуганно и слова «maboul», «piqué», «marteau» произносили с тѣми смѣшанными чувствами страха, любопытства и насмѣшки, какія у здоровых людей вызывают сумасшедшіе, а у сумасшедших — здоровые. Спал он часа четыре в сутки, а в остальное время размышлял о смыслѣ жизни и о близящейся смерти. Он работал над книгой, не бывшей собственно его сочиненіем: великій факир не отдѣлял своих мыслей от трудов учителей и законодателей: важно было не новое, а мудрое, — и мудраго было много в его книгѣ и в его вѣрѣ. Задачей своей он ставил опредѣленіе чистаго в мірѣ грѣха и зла, — ему удалось кое-что от себя добавить. Чисты были трудящійся во время работы, самка, кормящая дѣтеныша, собака, защищающая хозяина.

Факиру с утра было извѣстно, что вечером весь дом заполнят нечистыя твари, что онѣ будут плясать, пить вино и выть. Под вечер он наглухо затворил двери. Но человѣк его касты, утром принесшій ему на весь день тарелку овощей, нечаянно разбил стекло в окнѣ, и в каморкѣ было слышно все, что происходило внизу.

В этот день великій факир уже без всякаго страха думал о близком концѣ своей земной жизни. Он наканунѣ заснул

незадолго до зари. Ему приснилось, что он умрет здѣсь, на нечистой землѣ, что он уже умирает. Великій факир проснулся, трясясь. Он не прикоснулся к ѣдѣ и под вечер был очень слаб. Лежа на доскахъ, трясясь в лихорадкѣ, он все читал свою рукопись. Ему не хотѣлось ни ѣсть, ни пить, ни спать. Когда стемнѣло, он понял, что не страшно умереть и на нечистой землѣ: значит, и это было нужно. И никогда еще так не рвалась из тѣла душа великаго факира.

Было уж совсѣм темно, когда в окно стали доноситься гул и визг. В этот вечер и нечистыя твари были ему менѣе противны, чѣм обычно. Гул все рос и вдруг оборвался. Настала совершенная тишина, — точно нечистыя твари опомнились и раскаялись. Затѣм послышалась музыка.

Великій факир у себя на родинѣ иногда останавливался, слушая флейту, и этим навлекал на себя гнѣв отшельников. Теперь внизу выла нечистая тварь. Через минуту у факира раскрылся беззубый рот. Он хотѣл было приподняться на доскахъ, но не мог и только повернулся к окну лѣвым ухом, которым слышал лучше. Так он пролежал минуты двѣ. Вдруг ему пришло в голову: что если и э т о чисто? Мысль была странная, неправдоподобная. Но уже не оставалось времени ее обдумать.

X.

В номерѣ «Таймс» от 13 іюля, во второмъ изданіи, появился полный текст Берлинскаго договора, добытый Бловицем при помощи какого-то нераскрытаго воровского пріема. Репутація газеты и короля журналистов, разумѣется, поднялась еще выше, денег они истратили очень много, но едва ли один читатель из ста прочел цѣликом эти 64 параграфа с их безчисленными географическими наименованіями. Публика читала преимущественно передовыя статьи, усваивая из них содержаніе и значеніе договора (громадное большинство газет отзывались о нем лестно, а многія восторженно). Да еще всѣ читали введеніе. Начинался договор так:

Во имя Бога всемогущаго, Его Величество Императоръ Всероссійскій, Его Величество Императоръ Германскій, Король Прусскій, Его Величество Императоръ Австрійскій, Король Богемскій и Апостолическій, Король Венгріи Президентъ Французской Республики, Ея Величество Королева Соединеннаго Королевства Великобританіи и Ирландіи, Императрица Индіи, Его Величество Король Италіи и Его Величество Императоръ Оттоманов, желая разрѣшить в смыслѣ европейскаго порядка, согласно постановленіям Парижскаго трактата 30 марта 1856 года, вопросы, возбужденные на Востокѣ событіями послѣдних лѣт и войною, окончившеюся Сан-Стефанским прелиминарным договором, единодушно были того мнѣнія, что созваніе конгресса представляло бы наилучшій способ для облегченія их соглашенія».

Слѣдовало перечисленіе уполномоченных, с их титулами, чинами и должностями. Это тоже читали всѣ, как читают живописныя придворныя сообщенія. Внѣ Австро-Венгріи никто, напримѣр, не знал, что австрійскій уполномоченный называется «граф Юлій Андраши, Чик-Шент-Кирали и Крашна Горка», и что он испанскій гранд 1-го класса. Всѣ прочли и то, что перечисленные уполномоченные, по предложенію австро-венгерскаго двора и по приглашенію германскаго, собрались в Берлинѣ, что их полномочія оказались составленными в надлежащей формѣ и что вслѣдствіе счастливо установившагося между ними согласія (эти слова читались с улыбкой), уполномоченные выработали нижеслѣдующія условія. Но дальше, со второй статьи, со всевозможными Суджулуками, Белибе, Кемгаликами и Тегенликами, рядовые люди переставали читать. Заглядывали развѣ только в статью 58-ую, из которой слѣдовало, что Алашкертская долина осталась за Турціей: всѣ знали из газет, что с этой долиной связана великая побѣда «высокопочтеннаго Веньямина Дизраэли, графа Биконсфильда, виконта Гюгендена» и «Высокопочтеннаго Роберта Артура Талбота Гаскойна Сесиля, маркиза де Салисбери, графа де Салисбери, виконта Кренборна, барона Сесиля».

В мѣстечко Харден были откомандированы из Честера полицейскіе. Жившій в своем замкѣ Гладстон подвергался в послѣднее время нѣкоторой опасности. Он был главой партіи мира, врагом турок и сторонником соглашенія с Россіей. За нѣсколько мѣсяцев до того, толпа окружила дом Гладстона в Лондонѣ и выбила стекла окон; для охраны бывшаго перваго министра пришлось вызвать большой отряд полиціи. Очень много врагов было у него и в обществѣ. В свое время свѣтскіе хулиганы в Карлтонском клубѣ хотѣли выбросить его из окна. Гладстон ко всему этому относился равнодушно. Он был безстрашен и умѣл не обращать вниманія на пустяки, хотя бы и непріятные.

В маленьком тихом городкѣ его, разумѣется, знали всѣ. Приходившая в Харден корреспонденція почти цѣликом предназначалась для Гладстона; он получал от ста до двухсот писем в день даже тогда, когда не состоял в правительствѣ. Мѣстный почтальон порою с удовольствіем просматривал имена отправителей. Почтальон был тори, но ему было лестно, что каждое утро, разнося почту, он раскланивается с человѣком, которому пишут письма герцоги. Гладстон ежедневно ровно в десять минут девятаго отправлялся из замка в церковь. Он был самым благочестивым прихожанином городка. По воскресеньям пѣл в церкви своим бархатным, проникающим в душу, голосом: "Peace, perfect peace in this dark world of sin..." При этом прекрасные глаза его свѣтились и наполнялись слезами. Из церкви он возвращался в замок, садился за работу и снова выходил лишь через нѣсколько часов.

В этот день он появился на улицѣ мѣстечка в первом часу. Всѣ прохожіе, кромѣ ожесточенных тори, почтительно ему кланялись: он был Джи-О-Эм, — в газетах уже называли Гладстона "Grand Old Man". Обычно он приподнимал шляпу в отвѣт на поклоны самых простых людей, — теперь этого дѣлать не мог, так как в лѣвой рукѣ держал завернутые в газетную бумагу башмаки, а в правой большой топор, — только кивал головой прохожим, благожелательно, даже ласково, но без улыбки; всѣм было ясно, что этому человѣку не

полагается часто улыбаться, как не полагалось бы часто улыбаться римскому папѣ. В лавкѣ сапожника Гладстон оставался минут пять, разспрашивал о цѣнах на кожу и о разных ея сортах. Ему по природѣ было трудно молчать в каком бы то ни было обществѣ. Кромѣ того, сообщенія ремесленников и торговцев могли быть ему полезны. Как люди же, они его интересовали мало: не больше, но и не на много меньше, чѣм герцоги и министры. В Харденѣ к нему относились с уваженіем, однако, почитали его не так, как почитали больших бар. Вдобавок он был не свой: замок был построен предками его жены. Быть может, не способствовала престижу Гладстона именно простота обращенія. Он соблюдал свѣтскій этикет только в отношеніи людей, стоявших выше его по рожденію (по значенію никто не стоял выше его в Англіи).

Отдав в починку башмаки, бывшій первый министр отправился в парк рубить деревья. Спортом он давно не занимался. В молодости, из-за несчастнаго случая на охотѣ, Гладстон лишился пальца на лѣвой рукѣ и носил на ней черную повязку. Рубка деревьев стала его единственным физическим упражненьем. Люди часто приходили в Харденскій парк — посмотрѣть, как рубит деревья Джи-О-Эм (впослѣдствіи туристы пріезжали для этого в Харден издалека). Так и теперь в паркѣ собралось нѣсколько незнакомых людей. Они издали ему поклонились. Гладстон отвѣтил все так же, как умѣл отвѣчать на поклоны он один: ласково и без улыбки.

Не обращая вниманія на зрителей, он снял пиджак, положил его на скамейку, попробовал топор. Подходя к дереву, подумал, что вблизи ствол толще, чѣм казался издалека. «Вот так и политика: пока не возьмешься за дѣло, все представляется легким»... Гладстон рубил деревья хорошо, как хорошо дѣлал все. Мѣстные дровосѣки, тоже иногда приходившіе смотрѣть на его работу, хвалили ее, хотя и с улыбкой. Они переставали улыбаться, когда он начинал с ними разговор, разспрашивал их о деревьях, о пріемах рубки. Простые люди, быть может лучше, чѣм образованные, чувствовали его необыкновенную внутреннюю серьезность.

Поработав с полчаса на жарѣ, Гладстон зашел в гостинницу Glynne Arms Hotel, называвшуюся так в честь предков его жены, прежних владѣльцев замка. Там он выпил стакан холоднаго пива и поговорил с хозяином о политических дѣлах. Он не рисовался своей простотой. В политикѣ Гладстон никого и ничего не считал маловажным: лавочник был избиратель или имѣл друзей-избирателей. Дѣйствительно, владѣльцу и посѣтителям гостинницы, даже врагам либеральной партіи, бывало очень лестно, что они разговаривают с бывшим и будущим первым министром, к которому пріѣзжают в гости члены королевской семьи и который находится в дружбѣ с герцогами Ньюкэстльским, Лейнстерским, Девонширским. Разумѣется, говорил почти исключительно он. Гладстон об'яснял, почему партія приняла то или другое рѣшенье. Хотя о себѣ он упоминал рѣдко и хотя он сложил с себя званіе партійнаго вождя, всѣ понимали, что партія это он.

Семьи его в замкѣ не было. Гладстон пріѣхал в Харден ненадолго. Послѣ легкаго завтрака он прошел в «Храм Мира», — так назывался его кабинет. В этой большой комнатѣ стояли три письменных стола: один предназначался для литературной работы, другой для политической, третій был столом госпожи Гладстон. Перед камином стояли еще четвертый, простой, заваленный журналами стол и два покойных старомодных кресла. Вездѣ были полки с книгами, бюстами, портретами. По углам комнаты лежали на стульях и висѣли на стѣнах топоры, шляпы, палки, зонтики. Ничего роскошнаго в кабинетѣ не было. Но в нем была та самая о р г а н и ч н о с т ь, которая восхищала в Кембриджѣ профессора Муравьева. Харденскій замок был не очень стар, однако, казалось, что он не строился, а вырос из этой земли. Такое же впечатлѣніе производили вещи в кабинетѣ. О р г а н и ч н ѣ е всего был сам хозяин.

В Англіи органично Вестминстерское аббатство и органичен Пикквикскій клуб. Гладстон не принадлежал ни к родовой аристократіи, ни к людям, вышедшим из народа. В девятнадцатом вѣкѣ он, вѣроятно, не сдѣлал бы столь блестя-

щей карьеры, еслиб был сыном лорда, и навѣрное не сдѣлал бы ея, еслиб вышел из низов. Однако, по сочетанію его свойств, карьера Гладстона была тоже совершенно органичной: ея просто не могло не быть.

Люди нерѣдко дѣлали политическую карьеру благодаря осанистой внѣшности или внушавшей довѣріе библейской бородѣ. Гладстон, разумѣется, стал Джи-О-Эм никак не потому, что был «самым величественным стариком Англіи» (как когда-то в школѣ считался «самым красивым воспитанником Итона»). Но это прозвище было бы почти невозможно, еслибы он обладал другой наружностью. Поклонники говорили, что «его взоры мечут молніи», — и поклонники не совсѣм врали. Взгляды и жесты Гладстона чрезвычайно много добавляли к доводам его рѣчей.

Теперь его рѣчи, за рѣдкими исключеньями, так же трудно читать, как романы графа Биконсфильда. Вѣроятно, в чтеніи онѣ очень теряли и в его время. Однако, свидѣтели утверждают, что в парламентѣ люди, *затаив дыханье*, слушали пятичасовыя рѣчи Гладстона, с их безчисленными цыфрами, гнѣвными возгласами и греческими стихами (этих стихов никто не понимал и они на всѣх производили неотразимое впечатлѣніе). Греческій язык он знал превосходно, помнил древних поэтов наизусть и вставлял цитаты из Эсхила даже в дѣловыя письма к сыну. Лучшіе оперные пѣвцы завидовали его голосу, знаменитые актеры — его дикціи и богатству интонацій. В Англіи говорили, что такого оратора нигдѣ не существовало со времен Цицерона. Англичане так глубоко и искренне убѣждены в своем превосходствѣ над другими народами, что самохвальство им почти не свойственно; но почему-то эта их привлекательная черта не распространяется на парламентскія учрежденія и на парламентское краснорѣчіе: в британской исторіи есть десятки ораторов и тысячи рѣчей, которые в газетных статьях и в біографических трудах назывались «несравненными», «непревзойденными», «сверхчеловѣческими». О несравненном и непревзойденном краснорѣчіи Гладстона говорят *всѣ* слышавшіе его люди, даже противники,

даже враги. Послѣ Карлейля он считался также лучшим causeur-ом Англіи. Это тѣм болѣе удивительно, что юмора он не любил, шутки цѣнил умѣренно, а анекдоты допускал лишь безукоризненно приличные (кто-то в Лондонѣ, выслушав непристойный анекдот, спросил разсказчика, сколько тысяч фунтов он возьмет за то, чтобы повторить свой разсказ в присутствіи Гладстона). По вечерам у него часто собирались гости и в своей бѣлой с золотом гостиной он, случалось, говорил часами. В отличіе от Карлейля, Гладстон иногда давал говорить и другим. Но большинство гостей предпочитало слушать: он всѣх подавлял красотой рѣчи, умом и темпераментом. И только какой-то очень нервный или очень желчный человѣк, приглашенный погостить в Харденскій замок, поспѣшно уѣхал, об'явив, что «невозможно жить по сосѣдству с Ніагарой».

Знал он рѣшительно все, кромѣ точных наук, которым инстинктивно не довѣрял. Всѣм было извѣстно, что он человѣк непреклонной воли и чрезвычайно благороднаго характера. В мірѣ и особенно в Англіи есть много людей, которых нельзя купить деньгами. Гладстона нельзя было купить ничѣм. Ему почти не доставляла удовольствія даже слава. Авторитет в парламентѣ, в обществѣ, даже в народѣ у него был огромный. Быть может, его не очень любили именно потому, что у него было так мало человѣческих слабостей. Однако, гордились им, особенно перед иностранцами, почти всѣ. В его партіи ропот никогда не прекращался и порою переходил в настоящее возстаніе. Опытные люди в них участія обычно не принимали, так как знали, что старик все равно поставит на своем. Он всѣх заговаривал и всѣх пересиживал. Случалось, он грозил, что сложит с себя обязанности партійнаго вождя. Случалось даже, что его отставка принималась (так это было и теперь), — потом к нему посылались гонцы с мольбой о возвращеніи. Гладстону было лѣт пятьдесят, когда мір еще не знал, кто он: либерал или консерватор; его тогда называли парламентским бедуином. Теперь он был главным защитником свободы в мірѣ. Тѣм не менѣе многіе его считали человѣком властолюбивым до деспотизма. В своей партіи, в своем кабинетѣ он всегда

старался дѣйствовать на товарищей убѣжденіем, по принципу терпѣл возраженія, хоть, кажется, особой необходимости и даже пользы в них не видѣл, — но всегда чувствовалось, что это его партія и его кабинет.

Отвѣтив на письма, он занялся литературной работой. Перед ним лежали листы его книги о Гомерѣ, со скромным обозначеніем автора: «бывшій воспитанник «Крайст Черч». Эллинисты относились к гомеровским изслѣдованьям Гладстона как дровосѣки к его рубкѣ деревьев. Но, быть может, он лучше понимал Гомера, чѣм многіе профессора греческой литературы. Поэзію Гладстон любил безкорыстно: не только для цитат в парламенте. Он превосходно знал главных англійских поэтов и многих иностранных, особенно итальянских; он думал о поэзіи и писал о ней. Это даже вызывало нѣкоторое неудовольствіе у парламентских либералов, как романы Дизраэли вызывали легкую тревогу у парламентских консерваторов: конечно, по существу тут ничего предосудительнаго не было, но занятіе все-таки казалось не совсѣм подобающим для перваго министра, хоть опредѣленно сказать это было тоже не удобно. Впрочем, лорд Гранвилль, один из ближайших товарищей Гладстона, как-то, по праву старой дружбы, прямо ему сказал, что человѣку в его положеніи лучше бы печатать поменьше книг. Гладстон не обратил на совѣт никакого вниманія; он не обращал вниманія и на менѣе глупые совѣты.

Гомер был в литературѣ главной его любовью: он прочел «Иліаду» от первой пѣсни до послѣдней не менѣе тридцати раз. За нѣсколько дней до того, 7 іюля, Гладстон читал в Итонѣ лекцію о Гомерѣ. Говорил он со школьниками так же серьезно, как с членами парламента или с сапожниками. Он об'яснял будущим избирателям и министрам значеніе слова «тис», — «кто-то», — под этим словом Гомер разумѣл общественное мнѣніе. Гладстон говорил о благотворной роли общественнаго мнѣнія, на котором строится вся жизнь в свободных странах. Собравшіеся в залѣ библіотеки Head Master и учителя школы, даже тори, слушали его с восхищеніем.

Когда он произнес слова Пелея, рекомендовавшаго учителю Ахилла сдѣлать из него «сказателя слов и дѣлателя дѣл», учителя переглянулись: перед ними именно и был сказатель слов и дѣлатель дѣл. О том же еще болѣе восторженно подумали наиболѣе честолюбивые из старших воспитанников. Другіе школьники сначала слушали, напуганные строгими взглядами и грозными интонаціями старика, потом притворялись, что слушают, и с трудом скрывали зѣвки: Гомер им осточертѣл на уроках.

Лекція имѣла огромный успѣх. Но сам сратор был как будто недоволен. Послѣ лекціи он, в сопровожденіи директора, обошел школу, столь ему памятную с дѣтских лѣт. В Upper School Гладстон чуть улыбнулся, когда директор показал его имя, им самим когда-то тут вырѣзанное, — совершенно непонятно, как он мог это сдѣлать; теперь эти вырѣзанныя перочинным ножом буквы показывали всѣм посѣтителям Итона. Затѣм он погулял по Eton Wick Road, гдѣ шестнадцати лѣт отроду в одиночествѣ упражнялся в краснорѣчіи, вернулся, заглянул в Poets Walk и прошел через школьный двор. Воспитанники разступались перед ним, снимая цилиндры и шапочки. Директор проводил его до кареты, благодарил за оказанную школѣ честь и восхищался лекціей. — «Я вспоминаю, что лорд Биконсфильд в началѣ вашей и его парламентской карьеры предсказывал, что у вас нѣт никакого будущаго... Так Цицерон говорил о молодом Цезарѣ, что из него никогда не выйдет хорошій солдат!» — сказал, смѣясь, директор. Гладстон ничего не отвѣтил. Посѣщеніе мѣста, гдѣ прошли лучшіе годы его жизни, было тяжело даже ему, несмотря на его невоспріимчивость к меланхоліи. Вечером, когда у него собрались гости, он без улыбки разсказал анекдот. Философ говорил, что не боится смерти: — "I would just as soon be dead as alive." — «Почему же вы не кончаете самоубійством?» — спросили философа. — "I would just as soon be alive as dead."

Закончив работу, Гладстон стал наудачу перелистывать свое изящное семитомное изданіе Гомера. Быть может случай-

но он наткнулся на то самое слово: «тис» и опять испытал непріятное чувство, точно с этим было связано что-то неладное.

По окончаніи работы, он отдал распоряженія по хозяйству и вышел из замка. У крыльца стояла коляска, не модная, но очень прочная и удобная, запряженная крѣпкими, хорошими, хоть не кровными, лошадьми. Вдали расхаживал полицейскій, тщетно старавшійся быть незамѣтным. Он не сомнѣвался в том, что никакого покушенія на старика не будет и быть не может, — покушенія бывают только на проклятом континентѣ, — все же был доволен, что старик уѣзжает.

По дорогѣ на Честерскую станцію, Гладстон разспрашивал кучера о лошадях, о кормѣ, о цѣнѣ овса. Вопреки англійским обычаям, он разговаривал со слугами, и им также, очень просто и хорошо, раз'яснял политическіе вопросы. Еслиб это было в Англіи возможно, он здоровался бы со слугами за руку и дѣлал бы это тоже без аффектаціи.

На станціи его тотчас узнали. Послышался шопот: «Гладстон!» На перрон выбѣжали люди. Вдруг из образовавшейся небольшой толпы послышалась грубая брань. Бородатый человѣк, по виду мелкій служащій или лавочник, глядя на него с пьяным бѣшенством, выкрикивал непристойныя слова. Рядом с ним люди злобно смѣялись. Кто-то стал между пьяным и Гладстоном и угрожающе засучил рукава. Брань продолжалась, доносились слова: «Русскій наймит!»... «Трус!»... «Позорит Англію!» Гладстон сохранил совершенное спокойствіе. Не оглядываясь на толпу, он подошел к кіоску и купил нѣсколько газет и журналов. Засучившій рукава человѣк атлетическаго сложенія слѣдовал за ним, вызывающе глядя на манифестантов. Они не спѣшили вступить в драку. На перронѣ показался начальник станціи, поспѣшно, почти бѣгом направлявшійся к толпѣ. В эту минуту подошел поѣзд.

Начальник станціи, разсыпаясь в извиненіях, проводил Гладстона к вагону, вошел вслѣд за ним, позаботился об отдѣльном купэ и что-то вполголоса сказал кондуктору. Тот закивал головой. Гладстон пожал руку начальнику станціи.

— «Ах, Боже мой, какіе пустяки!» — сказал он, — «да и вы-то тут при чем?» Начальник станціи соскочил на перрон лишь послѣ того, как поѣзд тронулся.

Конечно, это были пустяки, на которые не стоило обращать вниманія: оборотная сторона политической славы. Однако, искаженное бѣшенством лицо не выходило у него из памяти. «Позорит Англію»! «Трус»! — пожимая плечами, подумал он и разсѣянно развернул иллюстрированный журнал. Ему бросился в глаза портрет Дизраэли в придворном мундирѣ. И тотчас его охватило смѣшанное чувство презрѣнія и ненависти.

Гладстон был не злопамятен и даже великодушен, что враги об'ясняли его безразличным отношеніем к людям: для него существовали только их взгляды. Но его давній, вѣчный соперник был единственным человѣком, на котораго не распространялось равнодушіе Гладстона. Личныя отношенія у них обычно были корректныя, временами даже почти добрыя. В парламентѣ они иногда, впрочем рѣдко и неохотно, обмѣнивались любезностями и комплиментами. Послѣ кончины лорда Биконсфильда Гладстон произнес о нем чрезвычайно лестную рѣчь (это он впослѣдствіи называл странной шуткой судьбы). Он признавал ум, блеск, ораторскій талант своего соперника. Однако для него Дизраэли был прежде всего воплощеніем цинизма. Ничто не могло быть менѣе о р г а н и ч н о в Англіи и болѣе противно Гладстону.

Фотографія в иллюстрированном журналѣ была помѣщена по случаю безкровнаго пріобрѣтенія Кипра. Всю первую страницу журнала занимал портрет королевы. Гладстон не любил и не уважал Викторію, поскольку мог не любить и не уважать британское государственное учрежденіе. Она его терпѣть не могла. Он сам опредѣлял их взаимоотношенія, как «в лучшем случаѣ вооруженный нейтралитет». При всяком своем новом вступленіи в должность он благоговѣйно совершал обряд цѣлованія руки. П о д а л а же она ему руку всего раз в жизни, когда ему было 87 лѣт, а ей ненамного меньше: за год до его смерти они встрѣтились на Ривьерѣ. Правда, королева находила,

что подаваніе руки не-коронованным людям вообще не соотвѣтствует ея достоинству. Бывая у нея по дѣлам или в гостях, он проявлял к ней величайшее уваженіе, но всячески противился ея вмѣшательству в государственныя дѣла. Ему было, пожалуй, болѣе всего противно в Биконсфильдѣ именно то, что глава консервативной партіи построил на грубой и циничной лести свои отношенія к королевѣ, — Дизраэли даже дѣлал вид, будто в нее влюблен. Общіе пріятели говорили Гладстону, что Диззи, разговаривая с Викторіей, сравнивал с драмами Шекспира написанную ею книгу воспоминаній о Шотландіи; в разговорах же с вполнѣ надежными друзьями сам об этом со вздохом говорил: "Yes, it wants a lot of courage for serving such a dish, and an exceptionally robust health to assimilate it." Впрочем, по послѣдним сообщеніям общих пріятелей Биконсфильд в Берлинѣ теперь сам был не рад тому, что пріучил королеву вмѣшиваться в государственныя дѣла: она грозила отречься от престола, «если Англія упадет Россіи в ноги» ("if England is to kiss Russia's feet"). Почему можно было так называть соглашеніе с Россіей, было Гладстону непонятно. Но о королевѣ он позволял себѣ судить только в самых исключительных случаях. У него над письменным столом, рядом с бюстами Гомера, Кеннинга и Теннисона, была фотографія Викторіи.

Он развернул «Таймс» и увидѣл текст берлинскаго договора. Гладстон внимательно прочел всѣ 64 статьи, перечел их, прочел снова. Хотя он приблизительно знал, чѣм кончится Конгресс, лицо у него побагровѣло.

Его теперь принято развѣнчивать: на Гладстона прошла историческая мода; им восторгались слишком долго. Бранят его преимущественно за лицемѣріе, за ханжество и бранят несправедливо. Он был по природѣ религіозен, хотѣл в молодости стать священником и почти искренне сожалѣл, что не стал. Богословіе интересовало Гладстона больше, чѣм политика, гораздо больше, чѣм все остальное. Он и в бюджетных рѣчах чувствовал себя исполнителем Божьей воли (послѣ одной из

своих рѣчей так и записал в дневникѣ, что ясно чувствовал the Divine aid). Гладстон мѣнял взгляды, но никакими соображеніями выгоды при этом не руководился. В началѣ жизни он был твердо убѣжден, что идеал христіанскаго государства понемногу осуществляет консервативная партія, и потому был консерватором. В зрѣлом возрастѣ убѣдился, что лучше осуществляет этот идеал либеральная партія, и потому стал либералом. Еслиб он пришел к выводу, что к христіанскому идеалу не стремится на дѣлѣ ни та, ни другая партія, он не мог бы заниматься политикой. Не все в государственной жизни должно было укрѣплять его убѣжденія, но Гладстон обладал способностью не видѣть того, что было бы слишком для него мучительно. Эта способность не имѣет почти ничего общаго с лицемѣріем. Дурныя мысли нелегко входили в его голову.

В международной политикѣ он был явленіем неповторимым. Мысли его в этой области были чрезвычайно просты, вѣрны и общедоступны. Главное своеобразіе Гладстона заключалось в том, что он дѣйствительно в них вѣрил. Поэтому он дипломатам казался оригиналом и чудаком, вредным из за высокаго положенія главы англійскаго правительства. Из всѣх правителей Европы только Гладстон на самом дѣлѣ хотѣл мира и сближенія между народами. Он совершенно не думал о «престижѣ» своей страны, — говорил даже, что просто не понимает этого слова: какой «престиж» может быть нужен Англіи? почему войны или угрозы войнами могли бы ей дать этот престиж? Он считал вздорными мысли об исторической враждѣ между Англіей и Россіей, о неизбѣжной русско-англійской войнѣ, о русском походѣ на Индію. Гладстон добивался прочнаго сближенія с Россіей и с Франціей; к политикѣ Бисмарка он относился недовѣрчиво, но думал, что можно достигнуть соглашенія и с Германіей. Всякая война, особенно же война между большими цивилизованными странами, казалась ему прежде всего чудовищной глупостью, никому ни для чего не нужной. Гладстон, типичнѣйшій из англичан, был первым «интернаціоналистом» из правителей.

Враги, называвшіе его Вельзевулом, приписывали ему

намѣреніе уничтожить британскій общественный строй. Это было тѣм болѣе забавно, что во всѣх кабинетах Гладстона добрую половину министров составляли титулованные богачи. В дѣйствительности, в е л и к и м государственным человѣком ему помѣшало стать именно то, что в его душѣ твердо навсегда залегли Итон, Оксфорд, Харденскій замок. Во внутренней политикѣ il voyait petit. Реформы, которыя ему казались огромными, а его врагам — страшными и разрушительными, теперь вызывают улыбку своей незначительностью. Задачи, стоявшія перед Гладстоном, были ничтожны по сравненію с задачами, выпавшими на долю людей двадцатаго столѣтія, — как и весь счастливый девятнадцатый вѣк, выигрывая в остальном, теряет в м а с ш т а б ѣ по сравненію с нашим. Гладстон был, конечно, «сказателем слов и дѣлателем дѣл», но дѣла ему достались небольшія и совершались они в обстановкѣ неповторимо-благопріятной, а прекрасныя слова его предназначались главным образом для людей с ограниченным кругозором, для британскаго парламента, с правительственными скамьями, со скамьями оппозиціи, с лобби, с заключительным благодатным, всеразрѣшающим большинством в семь или в семьдесят семь голосов. Недостатки этого человѣка были историческими недостатками самой демократіи.

Так и теперь ему сразу стало ясно, что Берлинскій договор и соглашеніе о Критѣ нанесли страшный, почти непоправимый удар дѣлу мира, что без малѣйшей необходимости заложено начало многочисленных, долгих, кровавых войн, что, быть может, упущена единственная возможность утвердить европейскій порядок, разобрать и обезвредить то, что газеты называли «балканским пороховым погребом», добиться прочнаго соглашенія между великими державами. Берлинскій конгресс мог стать огромным событіем в міровой исторіи, мог создать новые пріемы в разрѣшеніи спорных вопросов, мог внести новый дух в международную политику, мог сдѣлать Европу по настоящему цивилизованной частью міра. Ничего этого сдѣлано не было. Напротив, было сдѣлано все для того, чтобы в духѣ,

в существѣ, в пріемах европейской политики не произошло ничего новаго, для того, чтобы можно было и в дальнѣйшем иногда вести войны, потом созывать конгрессы и «во имя Бога всемогущаго» заключать такіе же мирные договоры.

Тѣм не менѣе, совершенно вѣрно расцѣнив значеніе сдѣланнаго, он прежде всего подумал о положеніи кабинета и о шансах либеральной партіи. Он подумал бы об этом и в том случаѣ, еслиб главой правительства был Сольсбери. Его личная ненависть к Дизраэли только замѣняла спортивный характер парламентской борьбы характером дуэльным. И он тотчас признал, что трудно дать бой правительству по вопросу о несправедливости Кипрской сдѣлки. Его друг Брайт говорил: «Британскій парламент совершает много справедливых дѣл, но никогда не совершает их потому, что они справедливы». Гладстон этого не говорил, так как не любил подобных изреченій и знал неполноту их правды. Однако ему было ясно, что в таком бою он непремѣнно потерпит пораженіе и в парламентѣ, и на выборах.

Тис несомнѣнно хотѣл войны, — совершенно неизвѣстно зачѣм и для чего, — во всяком случаѣ не ради собственной выгоды, так как уж он-то никаких выгод от войны с Россіей не получил бы. «Тис» одурѣл. Тис был тот бородатый человѣк, который кричал ему: «Русскій наймит! Предал Англию!»... Сейчас, пожалуй, главной бѣдой был именно Тис. Правда, в Дизраэли, который разжигал воинственныя страсти, ничего от тис-а не было. О тис-ѣ в королевѣ Викторіи думать не годилось: королева всегда права, виноваты ея совѣтники. Всегда прав и тис, — если что плохо, то и тут дурных совѣтников необходимо замѣнить хорошими. Правда, совѣтников тис себѣ назначал на выборах сам. Его можно переубѣдить, но сколько времени для этого понадобится? какіе страшные уроки будут нужны? сколько зла произойдет в мірѣ, пока будет переубѣжден тис, обманутый честолюбивыми проходимцами?

Было что-то недоговоренное в Гладстонѣ, — быть может, и про себя не всѣ свои мысли он доводил до конца. Приходит ли демократія в противорѣчіе сама с собой? Есть ли в ней

хоть что-либо независимое от тис-а? В нем ли дѣйствительно дѣло? Непромѣнны высокія цѣнности, и тягчайшій из грѣхов — обмѣнять их на что бы то ни было, хотя бы очень угодное тис-у. И если первая из них, свобода, логически непонятным образом связалась с волей тис-а, если онѣ часто бывали в почетѣ там, гдѣ государственной жизнью руководила его воля, и почти никогда в почетѣ не были, гдѣ над его волей издѣвались, то не порождена ли эта связь с л у ч а й н ы м ходом историческаго процесса? Если тис-у никакая свобода не нужна, если он не дорожит ею ни для себя, ни для других, если он то случайно воюет за высокія цѣнности, то так же случайно бросает в тюрьмы их защитников, то уж не случайно ли и на него, на бѣднаго тис-а, перенесен тот культ, которым лучшіе люди окружили лучшія мысли в исторіи?

Но Гладстон едва ли м о г надолго позволять себѣ неразрѣшенные и неразрѣшимые вопросы. Без тис-а, притом тис-а с избирательным правом, в государственной жизни не было ничего. Так и теперь бой с консервативной партіей казался неизбѣжным и необходимым. Однако бой мог быть разный. Биконсфильда можно было обойти сразу с двух сторон, в том числѣ и с выгодной. Гладстон внимательно прочитал в четвертый раз 45-ю статью Берлинскаго договора, по которой к Россіи возвращалась часть Бессарабіи, потерянная ею в 1856 году. По существу он ничего против этого не имѣл. Здѣсь все было спорно, и он не видѣл причин, почему этой землей должны владѣть именно румыны.

Враги приписывали руссофильство Гладстона вліянію Ольги Новиковой, которая, в мѣру возможнаго, с упоеніем вмѣшивалась в британскія государственныя дѣла и которую Дизраэли саркастически называл «членом Палаты Общин от Россіи» (“M. P. for Russia”). Однако мысль о том, что на Гладстона в важнѣйших государственных вопросах может повліять кто бы то ни было и в частности иностранная свѣтская дама, могла родиться только у врагов. Гладстон был руссофилом со времени вступленія на престол Александра II. Россія казалась ему болѣе христіанской страной, чѣм Франція, и болѣе

либеральной, чѣм германскія государства. Кромѣ того ему нравился царь. Нравился больше всего тѣм, что освободил десятки милліонов крестьян. Нравился и лично как человѣк, — быть может потому, что был очень непохож на Викторію и в Лондонѣ явно скучал в ея обществѣ. Гладстон писал в частном письмѣ, что царствованіе императора Александра «останется великим, пока восходит и садится солнце».

Однако ни личныя, ни политическія симпатіи не могли имѣть значенія в выборѣ способов воздѣйствія на тис-а. В бессарабском вопросѣ Дизраэли потерпѣл пораженіе. Это слѣдовало использовать. В умѣ Гладстона быстро стал складываться план ораторской компаніи. Кое-что в этом планѣ могло не понравиться партіи, но он знал, что партійный тис поворчит и смирится под его грозными взглядами. Разумѣется нужно было дѣйствовать осторожно, — он вспомнил чьи-то слова, будто государственному дѣятелю нужны два качества: благоразуміе и неблагоразуміе. Теперь должны были понадобиться оба. Мысли о будущих рѣчах тотчас его успокоили: он вперед чувствовал, что превзойдет сам себя, и даже почти равнодушно прочел сообщеніе о восторженной встрѣчѣ, готовившейся Биконсфильду в Лондонѣ.

С Юстонскаго вокзала он отправился в мастерскую Джона Эверета Миллэ, который написал его портрет по заказу герцога Вестминстерскаго (впослѣдствіи герцог, взбѣшенный политикой Гладстона, велѣл повернуть этот портрет лицом к стѣнѣ). Работа уже была кончена, требовались лишь незначительныя поправки, для которых яркій дневной свѣт не был необходим. Миллэ, написавшій нѣсколько сот картин, работал очень быстро и не злоупотреблял временем занятых людей. Ему хотѣлось еще только раз повидать Гладстона, — чтоб схватить нужное ему молніеносное выраженіе глаз.

Гладстон просидѣл у художника с четверть часа в гостиной, разговаривал о венеціанской живописи, о рыбной ловлѣ и о шотландской исторіи. О двух послѣдних предметах он говорил так хорошо, умно и тонко, что Миллэ его заслушался. Сужденія Гладстона о живописи были ему мало инте-

ресны. Он все же спорил, в слабой надеждѣ увидѣть молніи.

— ...Мозаики Сан-Марко были в свое время ужасны. Их сдѣлала художественным чудом патина времени... Я не думаю, чтобы нынѣшнее искусство было ниже классическаго, — сказал художник, давно, впрочем, не надѣявшійся убѣдить просвѣщенных цѣнителей в том, что и в девятнадцатом вѣкѣ могут быть живописцы не хуже Рафаэля. Молній, однако, не послѣдовало. Гладстон выслушал еретическое замѣчаніе не только снисходительно, но со вниманіем, как всякое мнѣніе выдающагося спеціалиста.

— Pulchrum paucorum est hominum, — сказал он и задал нѣсколько вопросов, относившихся к техникѣ живописи. Его интересовали новыя кисти, введенныя Миллэ и названныя его именем: их значенье, преимущества и цѣна. Художник давал об'ясненія, дивясь любознательности гостя, восхищаясь его властными жестами и величественной простотой. Миллэ всегда было неясно, играет ли Гладстон Гладстона. «Любознательность, быть может, играет, но величіе так хорошо играть очень трудно... Говорят, он просил руки своей жены в Колизеѣ... Так и должно быть: Колизей как будто создан для всѣх дѣл Джи-О-Эм, даже для семейных», — благодушно думал художник.

Затѣм они перешли в мастерскую. Бывшій первый министр очень хвалил портрет, но автор находил, что это слишком добрый Джи-О-Эм. По его просьбѣ, Гладстон стал у стѣны, как был изображен на портретѣ. Миллэ, все переводя прищуренные глаза с портрета на оригинал, заговорил о политикѣ. Хотя художник был очевидный тис, — или же именно поэтому, — Гладстон попробовал на нем свои первые доводы против Кипра и берлинских постановленій. Были всѣ основанія думать, что о политикѣ Джи-О-Эм может говорить еще лучше, чѣм о рыбной ловлѣ, однако, Миллэ почти его не слушал. «Поднять лѣвую бровь? Нѣт, не то»...

— А все-таки нельзя отрицать, что Диззи необыкновенный человѣк, — сказал он вдруг и с восторгом поймал молнію. —

Но, конечно, ваши соображенія для него убійственны. Мнѣ они просто не приходили в голову, — говорил Миллэ (написавшій также портрет Дизраэли). Он бил отбой. Больше ему ничего не было нужно. — Конечно, надо сказать, что наше время тяжелое.

— Так говорили всегда, — сказал Гладстон, точно отвѣчал самому себѣ. — Я вспоминаю слова Берка: «Знаю, что мы живем в не слишком хорошія времена. Но единственный выход: отдать всѣ свои силы на поддержку лучших дѣл, лучших мыслей, лучших людей нашего времени».

XI.

У Кундри были вьющіеся черные волосы. Как у Жюдит Готье. Глаза у нея были тоже черные. Как будто злые, а на самом дѣлѣ «какой-то неземной доброты» (так поклонницы говорили о глазах самого Майстера). Иногда глаза Жюдит странно, по неземному, останавливались, и Майстер тогда особенно ею любовался. Жюдит одѣвалась превосходно, но так Кундри, разумѣется, одѣваться не могла. Бреясь перед зеркалом, еще плотнѣе обычнаго сжимая блѣдныя тонкія губы, Майстер сердито думал, как одѣть Кундри. Пока в его поэмѣ было только сказано: «Дикое одѣяніе». Он было спросил себя, уж не предоставить ли выбор платья режиссерам, костюмерам, артисткѣ; и тотчас от этого отказался: им ничего предоставить нельзя; по своей природѣ, Майстер и не любил ничего оставлять другим. Ему вспомнилось послѣднее платье Жюдит, сшитое у Ворта, по модѣ, еще неизвѣстной байрейтским дамам, — онѣ на нее смотрѣли с благоговѣніем и с ненавистью. На этом платьѣ был длинный кожаный пояс, спускавшійся сбоку почти до пола. Майстер положил бритву, быстро взбѣжал по лѣсенкѣ и записал на клочкѣ бумаги: «Guertel von Schlangenhaeuten lang herabhaengend». Змѣиная кожа как-то пришлась к слову. Ничего характернаго для наряда в ней не было, — из змѣиной кожи выдѣлывались самыя безобидныя вещи. Но так

выходило страшнѣе: «пояс из змѣиной кожи». У Майстера промелькнула мысль, что, быть может, комментаторы и толкователи этим со временем заинтересуются. Если в подлинном искусствѣ может быть небольшая доля шарлатанства, то она была и у Вагнера. Он понимал, что Кундри — клад для комментаторов.

Майстер вернулся в ванную и закончил туалет торопливо: так хотѣлось работать. Смотрѣть на себя в зеркало ему было с годами все непріятнѣе. Он еще был очень крѣпок, однако его небольшое тѣло уже начинало ссыхаться. Поклонницы, в первый раз его видѣвшія, всегда испытывали разочарованіе: Вагнеру полагалось бы быть гигантом. Но громадная голова его с громадным лбом, глаза, губы, сильно выдававшійся подбородок были хороши в своем презрительном высокомѣріи. "T-tominateur!" — с упоеніем говорили нѣмки, знавшія по французски.

Он надѣл халат из блѣдно-розоваго шелка. У него было около тридцати халатов. Майстер любил дорогія вещи страстной любовью выбившагося из бѣдности человѣка. Прежде хорошо работалось в синем халатѣ; потом в серебряном; желтый оказался неподходящим. Успѣху работы над «Парсифалем» как будто лучше всего способствовал блѣдно-розовый халат. И только он прикоснулся к нѣжному шелку халата, им овладѣло волненіе. Эту матерію прислала ему из Парижа Жюдит. Несмотря на свое франкофобство, Вагнер, как всѣ нѣмцы и нѣмки, относился с суевѣрным почтеніем к Парижу и безпрестанно посылал Жюдит заказы, не жалѣя денег; в Байретѣ такія вещи стоили вдвое дешевле. Духи и ароматическія соли были также из Парижа. Майстер развел в лодочкѣ смѣсь, которая в послѣдніе дни лучше других помогала работѣ. Его кабинет был над ванной, аромат туда поднимался и был не слишком силен. Духи выбирала Жюдит. Хотя это не были е я духи, мысль о том, как она их выбирала, думая о нем, заботясь о «Парсифалѣ», совсѣм взволновала Майстера. Для работы же было нужно среднее состояніе между сильным волненьем и ледяным спокойствіем. «Сейчас дѣло не пойдет... А что, если есть письмо?»...

Немного поколебавшись между тягой к работѣ и мыслью о письмѣ Жюдит, он снял халат, надѣл коричневый костюм, тоже очень дорогой, и вышел на цыпочках, злой и смущенный. На стѣнах сверкнули золотом гербы двадцати четырех Вагнеровских ферейнов. Мраморныя статуи и фрески изображали Вагнеровских героев. Муза музыки подводила к богу Вотану мальчика Зигфрида. Художник угодил Майстеру, придав музѣ черты Козимы. Но теперь это было ни к чему. Под картиной на мраморной доскѣ была надпись:

Hier, wo mein Waehnen Frieden fand
Wahnfried
sei dieses Haus von mir genannt.

Рифмованная надпись была собственнаго сочиненія Майстера, и у тѣх, кто знал, какой душевный мир нашел в «Ванфридѣ» Вагнер, она вызывала улыбку.

Из усадьбы Майстер вышел боковым ходом, стараясь не глядѣть на свою могилу. Хотя могила в саду, как все в «Ванфридѣ», была его собственной выдумкой, вид этого небольшого прямоугольника почти никогда не производил на него возвышающаго, примиряющаго дѣйствія, на которое он разсчитывал. Напротив, в первый вечер послѣ своего в'ѣзда в дом, выстроенный на деньги поклонников по его плану и настоянію, он, выйдя с Козимой на балкон, взглянул на четыреугольник и сразу почувствовал, что могила была уж совсѣм ни к чему. В эту ночь он в кровати долго плакал, содрогаясь всѣм тѣлом от рыданій. Чувствовал, как он несчастен со всей своей славой, со всей своей геніальностью. Во время сезона, в установленные часы, многочисленные поклонники с трепетом подходили к будущей могилѣ Майстера. Он хмуро глядѣл на них из окна; иногда, впрочем довольно рѣдко, выходил к ним и говорил нѣсколько слов с возвышенным выраженіем на лицѣ, особенно если среди поклонников были именитые люди. Но всегда испытывал такое чувство, будто кто-то ему, по его же собственной винѣ, в его же собственном домѣ, готовит чрезвычайно серьезную непріят-

ность, — только с этим врагом, в отличіе от всевозможных Брамсов, ничего нельзя подѣлать: никакой отвѣтной пакости не придумаешь. Убрать могилу было невозможно: о ней говорила вся Германія. «Все-же это лучше, чѣм чтоб закопали как собаку Бог знает гдѣ, так чтобы никто потом и не знал гдѣ похоронили, как было с Моцартом». Впрочем, Майстер хорошо знал, что уж его-то как собаку не закопают.

День был довольно теплый, но Майстер был немного простужен. Наканунѣ, по своему обыкновенію, он запѣл, работая над «Парсифалем», и почувствовал легкую боль в груди. Он пѣл: «Ach! Ach! Tiefe Nacht! — Wahnsinn! — O Wut! O Jammer» — пѣл и плакал. В послѣдніе годы плакал все чаще, особенно слушая свою музыку. Позднѣе, на премьерѣ «Парсифаля», плакал у себя в ложѣ на виду у всего театра. Враги говорили, будто он плачет оттого, что на спектакль не пріѣхал король, но это была клевета. За музыкой Вагнер ни о каких королях не думал. Он плакал потому, что еще никогда не писал такой музыки, потому, что такой музыки никто никогда не писал, кромѣ Бетховена, плакал потому, что его ни один человѣк по настоящему не понимает: не понимает ни Герман Леви, по своему хорошо (то есть очень плохо) дирижировавшій оркестром, ни эти тупые широкоплечіе краснолицые пѣвцы, по своему недурно (то есть отвратительно) пѣвшіе, ни вся публика, наполовину состоявшая из знаменитостей. Понял бы один Бетховен. Особенно же Майстер плакал оттого, что больше ничего не напишет: жить осталось мало, так мало, — в лучшем случаѣ каких-нибудь пять-шесть лѣт, они пройдут непостижимо быстро, и послѣ него не будет больше музыки, —всяким Брамсам достанется музыка, то, что было ему всего дороже на свѣтѣ, то единственное, для чего еще стоило жить (с Жюдит в пору премьеры все было кончено, — лишній рубец лег на сердце).

Бернгардт Шнаппаут жил недалеко. Жюдит писала по адресу этого байрейтского домовладѣльца: в «Ванфридѣ» письма могли бы попасть в руки Козимы, которая и без того как будто что-то подозрѣвала, больше по блестящим глазам

мужа и по его необыкновенному оживленію, хорошо ей знакомому по прежним временам. Шнаппаут, человѣк услужливый и вполнѣ надежный, передавал письма охотно. При этом вид у него был такой, как на картинках у русских нигилистов. когда они, в глубокой тайнѣ от Козакен, передавали друг другу кинжалы и револьверы. Однако, сквозь конспирацію на благодушном лицѣ домовладѣльца тихим, еле замѣтным сіяніем просвѣчивалась радостная улыбка. Может быть, он не прочь был сдѣлать маленькую пакость Козимѣ, которая в этом дѣлѣ играла роль казаков и которая своей кирасирской фигурой наводила почтительный страх на все населеніе Байрейта. Может быть, Шнаппаут был рад, что у такого великаго человѣка, как Майстер, есть маленькіе грѣшки, случающіеся и с обыкновенными людьми. А может быть, он просто восхищался: все-таки Майстеру шел 66-ой год (из-за постоянных статей о нем его возраст был всѣм точно извѣстен).

Писем очень давно не было. Майстер навѣдывался часто и уходил в отчаяньи. На этот раз домовладѣлец вздохнул и развел руками, как будто совѣтуя покориться Божьей волѣ: нѣт писем, что-ж дѣлать? еслиб они были, он немедленно так или иначе извѣстил бы Майстера. Он даже сказал «Чрезвычайно сожалѣю», хоть это было не очень удачное замѣчаніе. Шнаппаут дѣйствительно сожалѣл: зачѣм Майстеру было связываться с француженкой? Развѣ мало хорошеньких баварок?

Он перевел разговор, похвалил погоду и на всякій случай ругнул Іоахима: знал, что это всегда пріятно Майстеру. Имя еврейскаго виртуоза вызвало у Майстера воспоминаніе о другом евреѣ, писателѣ Мендесѣ, мужѣ Жюдит, с которым она разошлась. Майстер вдруг подумал, что вѣрно Жюдит снова сошлась с Мендесом, и разразился страшной бранью, относившейся к евреям. Лицо его задергалось от страданія и бѣшенства. Шнаппаут слушал с удовольствіем, но и не без недоумѣнія: злые языки говорили, будто сам Майстер незаконный сын актера Гейера, фамилія котораго вызывала печальныя сомнѣнія. Домовладѣлец сочувственно повздыхал, покачал головой, сообщил, что его собственный дом заложен в еврей-

ском банкѣ, — почти весь доход уходит на уплату процентов. Заодно высказал предположеніе, что евреи, во главѣ с лордом Биконсфильдом, готовят нападеніе на Баварію.

— Я хотѣл сказать на Германію, — поправился он; вспомнил о геніи Бисмарка и о саксонском происхожденіи Майстера, хоть терпѣть не мог саксонцев и особенно пруссаков. Неожиданно Майстер, с перекосившимся от бѣшенства лицом, закричал, что давно пора бы положить конец всему этому: слава Богу, если будет война! Он не об'яснил своей мысли, только кричал с яростью, что уѣдет в Америку, — ему предлагают прекрасное мѣсто в Чикаго, и пусть идет к чорту эта проклятая страна! Недоумѣніе домовладѣльца все усиливалось: зачѣм так волноваться из-за юбки? и зачѣм проклинать Баварію? Еслиб еще Пруссію, но чѣм виновата Баварія, так радушно принявшая этого иностранца?

По пути домой Майстер сожалѣл о своем припадкѣ безсмысленнаго гнѣва, но сердце у него рвалось от горя. В эту минуту он искренне — почти совсѣм искренне — желал себѣ смерти. На полдорогѣ он подумал, что Жюдит не могла вновь сойтись с мужем. 13 іюля состоялся первый формальный акт бракоразводнаго процесса. Да Жюдит и слышать больше не хотѣла о Мендесѣ. «Так кто же? Что, если тот, Бенедиктус!» Не так давно Жюдит просила его прочесть партитуру какого-то молодого, будто бы много обѣщающаго, композитора Бенедиктуса, и ради нея Майстер согласился, хотя ненавидѣл молодых много обѣщавших композиторов, терпѣть не мог чтеніе чужих партитур и заранѣе знал, что музыка дрянная, что только выйдут непріятности: назвать хорошей музыку, которую он считал плохой, Вагнер не мог бы даже ради Жюдит, — как когда-то не мог выдавить из себя комплимент Мейерберу или Гуно, хотя они были чрезвычайно вліятельные люди. «Да, конечно, проклятый Бенедиктус!» — с отчаяньем подумал Майстер. Лучше всего было бы сейчас же уѣхать к Жюдит в Париж. Но что дѣлать с Козимой? Майстер все еще любил жену, — однако на мгновенье — на одно короткое мгновенье — ему пришло в голову, что еслиб Козима скоропостижно

скончалась, то можно было бы жениться на Жюдит: развѣ люди не женятся и в семьдесят лѣт? Впрочем, на этой мысли не стоило останавливаться, хотя бы в виду богатырскаго здоровья Козимы.

На письменном столѣ лежали газеты, конверты с газетными вырѣзками. Ему их присылали со всѣх сторон, — чаще всего добрые люди, если в вырѣзках были большія непріятности или то, что казалось большими непріятностями добрым людям. Вагнер уже был самым знаменитым в мірѣ композитором, но еще не достиг той ступени славы, когда о человѣкѣ пишут не иначе, как с существительными, выражающими благоговѣйный трепет, и с прилагательными в превосходных степенях. На эту ступень немногочисленные избранники поднимаются не моложе семидесяти пяти лѣт, когда никаких страстей они больше не возбуждают. О Вагнерѣ еще печатались очень грубыя статьи; да собственно в каждой, даже лестной, статьѣ обычно бывало что-либо непріятное, часто, впрочем, об'яснявшееся просто глупостью или невѣжеством писавшаго, — почти всегда послѣ чтенія Майстеру казалось, что было бы гораздо лучше, еслиб болван не писал ничего. Он надѣл очки. В конвертѣ было нѣсколько каррикатур; одну из них, старую, Майстер уже видѣл. Очевидно, благожелатель спеціально их собирал, — на случай еслиб Майстер пожелал отвѣтить (такова была принятая у благожелателей формула). Но трудно было бы отвѣтить на вицы, вродѣ « Liebelungen — Nicht gelungen», «Rheingold — kein Gold», «Goetterdaemmerung — «Ohrenhaemmerung», или на шутки о Байрейтском раввинѣ с его кошерными Валкиріями. В послѣднее время, несмотря на его репутацію юдофоба, антисемитскія газеты изображали Вагнера горбоносым евреем, окруженным горбоносыми поклонницами. Всѣ смутно слышали, что его отцом был актер Гейер, у котораго не то дѣд, не то прадѣд будто бы перешел из еврейства в лютеранскую вѣру. В другом конвертѣ были двѣ рецензіи, лестныя и непріятныя. В одной его очень хвалили, но очень хвалили и Брамса. В другой сообщалось, что

Майстер отказывается от своего прежняго языческаго міропониманія: «Парсифаль», над которым он сейчас работает, будет проникнут чисто-христіанским духом. «Ничего, ничего не понимают!» — подумал Майстер. Он знал, что всегда был такой же.

Поэма была готова, и он был от нея в восторгѣ, как бывал в восторгѣ почти от всѣх своих поэм. Майстер считал себя великим поэтом и убѣдил в этом мір, что можно, пожалуй, признать труднѣйшим из его чудес. Когда Вагнер заканчивал свои либретто, он читал их поклонникам и поклонницам, которые приходили в экстаз и говорили, что со времен Гете никто не создавал ничего равнаго в поэзіи. В дѣйствительности, любой Скриб писал тексты опер умнѣе, осмысленнѣе и поэтичнѣе, чѣм он. В «Парсифалѣ», по своему обычаю, Майстер использовал старую легенду. От себя он художественно разработал образ роковой хохочущей женщины: ему нужна была женская роль. Для той же цѣли выдумал еще каких-то «дѣвушек в цвѣтах». Он сам не знал, что такое означает Кундри, — чувствовал, что поклонники разыщут глубокій смысл и как слѣдует истолкуют образ, — так дѣйствительно и вышло. Над поэмой он работал долго, прочел множество книг, изучил всю литературу предмета. Но от прикосновенія его пера старая французская легенда, передѣланная Вольфрамом Эшенбахом, мгновенно потеряла свою простую трогательную поэтичность. Вагнер был, повидимому, твердо убѣжден в том, что если его рыцари воклицают «Weh! Wehe!» или, для разнообразія, «Wehe! Weh!», то лучше и нельзя в поэзіи выразить скорбь, а если Клингзор вскрикивает: «Но! Но!», «На!», «Haha!», «Не!», то это предѣл словесной изобразительной силы. Едва ли он был совершенно лишен поэтическаго чутья и вкуса; да еслиб и был их лишен, то его громадный ум и большая разносторонняя культура могли бы до нѣкоторой степени их замѣнить. Безвкусія своих виршей он не видѣл потому, что, когда писал их, уже с л ы ш а л музыку. Он непонятным образом з н а л музыку «Парсифаля» в тот день, когда ему пришла первая мысль об этой оперѣ.

Так и теперь, лишь только он взял послѣдній, наполовину исписанный, лист нотной бумаги, Вагнер услышал уж совсѣм ясно звуки соблазненія Парсифаля. И точно они были как тѣ рѣдкія невиданныя розы, которыя должно было с'ѣсть герою Апулея, чтобы из животнаго стать богоподобным созданьем... Он писал, не подходя к роялю, не задумываясь, не колеблясь, как будто по памяти возстанавливал давно извѣстную ему музыку. Сердце у него сильно билось. Иногда он отрывался от бумаги, приподнимал тусклѣвшія очки, прикасался шелковым платком к глазам и продолжал писать. Ему ясно было, что люди не поймут того, что он пишет, как десятилѣтьями не понимали «Девятую Симфонію», ибо он тоже писал для слѣдующих поколѣній с болѣе развитым слухом и пониманьем, быть может даже для других оркестров. Один Лист еще мог кое-как понять музыку «Парсифаля», но и в этом Майстер был не вполнѣ увѣрен.

Лист должен был пріѣхать в этот день. Скоро ожидалось двойное торжество: годовщина обрученія Майстера с Козимой и день рожденія короля Людовика. Радость по первому случаю теперь остыла, а король уже давно не давал денег. Майстер был и рад, и не рад пріѣзду тестя, с которым его связывали долгія, сложныя, неровныя отношенія. Он скорѣе любил Листа и многим восхищался в его музыкѣ. Но часто и аббат, и его музыка крайне раздражали Майстера.

Он писал и, казалось, думал только о том, что пишет. Но вмѣстѣ с тѣм, Жюдит не выходила у него из головы. Вагнер не отдѣлял любви от творчества: это было одно и то же, хотя, вѣроятно, он не мог бы об'яснить свою мысль словами, понятными другим людям. Только любовь и творчество давали ему счастье, — больше ничто в мірѣ их не давало.

Во втором часу дня он положил перо, вздохнул, снял очки и прислушался. Внизу играли что-то из перваго дѣйствія «Парсифаля». В «Ванфридѣ» обычно знали его не конченныя или только начатыя произведенія. Его 9-лѣтній сын, бѣгая по дому, насвистывал мотив Клингсора. Играли внизу по своему хорошо, но не так, как надо: то да не то. Майстер побѣжал

вниз. Энергіи у него было столько, что он и в 65 лѣт не мог ходить обыкновенным шагом. Необычайная его жизненная сила часто подавляла людей. Он бѣжал, держась за перила, на ходу поглядывая на свои богатства; роскошь виллы ласкала его взгляд. Все ему здѣсь нравилось, он всю жизнь мечтал о таком домѣ, — удалось, добился, все всегда удается настоящим людям, все будет хорошо, будет и Жюдит. Майстер почти вбѣжал в гостиную и остановился на порогѣ. «Ах, какіе милые!...»

За роялем, зажмурив глаза, сидѣл второй Вагнеровскій еврей Іосиф Рубинштейн. Майстер всю жизнь был окружен евреями. Іосиф Рубинштейн, выходец из Староконстантинова, очень способный піанист, в свое время, с ужасом прочитав антисемитское произведеніе Вагнера «Еврейство в музыкѣ», написал письмо автору с горячей мольбою взять его на выучку и вытравить из него еврейское начало, столь для музыки губительное. Майстер охотно на это согласился. Правда, он уже не совсѣм ясно помнил, в чем именно заключается еврейское начало, но старательно вытравлял его в своем питомцѣ. Іосиф Рубинштейн был смѣшной, невозможный, сумасшедшій человѣк. Кромѣ еврейскаго начала, его несчастьем была фамилія: другому піанисту не годилось называться Рубинштейном. Майстер — тоже по своему — любил Іосифа Рубинштейна. К тому же, піанист был чрезвычайно полезный человѣк: безплатно переписывал писанія Майстера, играл их ему, составлял клавираусцуги, а иногда, по молчаливому или не-молчаливому соглашенію с Майстером, писал пасквили против его врагов. Они нерѣдко ссорились, большей частью все-таки из-за еврейскаго вопроса в антисемитскіе дни Майстера. Однако, еслиб Рубинштейн скоропостижно умер, Майстер был бы, вѣроятно, огорчен и, быть может, даже проводил бы его на кладбище. Для Рубинштейна же Вагнер был земным воплощеніем Бога. Староконстантиновскій піанист покончил с собой вскорѣ послѣ кончины Майстера.

У рояля спиной к входу стоял первый Вагнеровскій еврей: дирижер Герман Леви, еще не совсѣм свой человѣк в домѣ,

но уже очень близкій к «Ванфриду». Он откинул назад лысую голову и страшно жестикулировал обѣими руками, — в правой он держал «Байрейтер Блэттер». Глаза у него были закрыты. Лицо его, как и лицо Рубинштейна, свидѣтельствовало о наслажденіи, о невѣроятном, сверх'естественном наслажденіи. — «Такое наслажденіе вѣрно испытывают мусульмане в Магометовом раю, да и то развѣ лишь при приближеніи прекраснѣйшей из всѣх гурій», — подумал Майстер. Он подумал также, что Леви, сын Гиссенскаго раввина, дирижирует так, как, должно быть, молились его предки. Рубинштейн играл превосходно, — но то да не то. Однако, к непониманію Майстер, совершенно презиравшій виртуозов, привык очень давно. Теперь в нем над всѣм преобладало умиленіе. «Ах, какіе чудные, милые, хорошіе люди!...»

Они вначалѣ и не замѣтили его появленія. Потом Рубинштейн медленно открыл глаза, как на сценѣ открывает глаза просыпающаяся в реалистической пьесѣ артистка. И мгновенно выраженіе восторга смѣнилось на его лицѣ выраженіем крайняго отвращенія, будто он только что с'ѣл что-то очень противное. Он еле поздоровался с Майстером. Через минуту полились гнѣвныя рѣчи на дурном нѣмецком языкѣ. Он говорил о какой-то новой антисемитской выходкѣ Майстера. Положительно он ставит их в невыносимое положеніе. По чувству собственнаго достоинства они должны будут сдѣлать выводы. Так дальше продолжаться не может.

Майстер изумленно поднял брови и руки. Хотя такія сцены повторялись послѣ каждаго его антисемитскаго слова, т. е. не менѣе раза в недѣлю, он искренне не понимал, чего от него хотят. Сказал? Да, сказал. Мало ли что говоришь! Так что же? В чем дѣло? Неужели им не стыдно? Развѣ они не знают, как он их любит и цѣнит? Развѣ для него может имѣть значеніе, что они евреи? Развѣ они не служат дѣлу? И притом какіе же они евреи? Еврей это Іоахим, который предал дѣло! — Под дѣлом Майстер, как и Козима, разумѣл служеніе его музыкѣ. Обращался он преимущественно к Герману Леви. Дирижер неодобрительно молчал. В отличіе от Рубинштейна,

он был человѣк очень серьезный, образованный, любезный и уравновѣшенный (хоть впослѣдствіи заболѣл душевной болѣзнью). Майстер цѣнил его. Всѣ дирижеры почти ничего не понимали, но этот понимал немного больше, чѣм другіе. Іоахим, перешедшій от Вагнера к Брамсу, был предатель, но Леви, перешедшій от Брамса к Вагнеру, был человѣк, честно раскаявшійся в своем заблужденіи. Кромѣ того, он был любимый дирижер короля. По всѣм этим причинам, с Германом Леви надлежало быть очень любезным. Однако, Майстер не мог справиться со своим характером и со своим языком даже тогда, когда знал, что сам себѣ вредит.

— ...Дорогой друг, — говорил он, взяв Леви за пуговицу, (они были одного роста). — Развѣ для нас может имѣть значеніе что бы то ни было, кромѣ дѣла, которому мы всѣ честно служим? И притом развѣ вы не такой же нѣмец, как я?... Ну, положим, не совсѣм такой... Я впрочем, говорю это так... Вы знаток Гете... Конечно, можно задать вопрос, чувствуете ли вы Гете как я. Но может быть и чувствуете... Я положительно не понимаю, за что он сердится! Об'ясните мнѣ, ради Бога, в чем дѣло. Развѣ я враг евреев? Вот католики говорят, что они старше нас, протестантов. А вы, евреи, старше всѣх и слѣдовательно, всѣх благороднѣе. Хотите ли вы, чтобы я это сказал в печати? Хотите?

— Майстер, дѣйствительно могло бы имѣть большое общественное значеніе, если бы геніальный человѣк, как вы, высказался в печати по еврейскому вопросу не в том духѣ, который вам приписывается, — уныло сказал Герман Леви, очень сомнѣвавшійся в том, чтобы Майстер высказался по еврейскому вопросу в желательном духѣ. Леви вообще не любил споров, да еще политических, да еще об еврейском вопросѣ, да еще с Вагнером, с которым спорить было совершенно безполезно.

— Я выскажусь! Я непремѣнно выскажусь в ближайшем же номерѣ «Байрейтер Блэттер»... Или нѣт, не в ближайшем, а тогда, когда я кончу работу над «Парсифалем»... Вы вѣдь не хотите, чтобы я бросил для этого «Парсифаля»? Рубин-

штейн, вы хотите, чтобы я бросил «Парсифаля»?... Лучше напишите об этом статью вы сами, а? Впрочем, вы, Рубинштейн, ужасно пишете по-нѣмецки. Почему бы вам не научиться нѣмецкому языку как слѣдует? Хотя, я знаю, это очень трудно еврею, они всѣ пишут как-то так...

— Гейне писал по-нѣмецки никак не хуже вас! — огрызнулся Рубинштейн.

— Не хуже меня! Что он говорит!... Я знал Гейне. Конечно, он хорошо писал. Но почему он назывался Генрих? Я увѣрен, что его звали Герш, а? Вот что я в вас особенно цѣню, дорогой Леви: вы могли бы называться Левенштейн, Левенберг, Левенталь, Левенфельд, Левенштерн, — **нѣт, вы Леви,** это очень, очень хорошо! Правда, вы Герман... Вы дѣйствительно Герман? Как у раввина мог оказаться сын Герман? Впрочем, мнѣ совершенно все равно. Вы можете называться хотя бы Вотаном. Будьте Вотан Леви, дорогой друг! Нѣт, повѣрьте, я рѣшительно ничего против вашего племени не имѣю... Еслиб только оно не занималось музыкой... Не всѣ, конечно, Боже избави!

— Вы, однако, в свое время писали, что дуэт из четвертаго дѣйствія «Гугенотов» вѣнец музыкальнаго вдохновенія, ядовито сказал Рубинштейн. — И еще совсѣм недавно вы назвали Мендельсоновскую «Hebriden Overture» одним из лучших шедевров германской **музыки.**

— Вот видите! Вот вы сами говорите!... Конечно, я немного преувеличил... Мендельсон и Мейербер были скверные людишки, но они давно умерли, Бог с ними!

— Майстер, помните, что Брамс жив, и он не еврей! — сказал Рубинштейн еще ядовитѣе. Вагнер тяжело вздохнул.

— Да, он не еврей, — с сожалѣніем сказал Майстер. — Это даже непонятно... Вы знаете, у Листа есть свой план разрѣшенія еврейскаго вопроса. Он хочет, чтобы евреи переѣхали в Палестину. Это у него от любви к искусству: он думает, что еврейское искусство расцвѣтет на національных корнях. Я рѣшительно ничего против этого не имѣю... Я хочу сказать, против расцвѣта еврейскаго искусства. Вы переѣдете в Іеру-

салим, Леви? Кто же тогда будет дирижировать «Парсифалем»? Нѣт, нѣт, с евреями можно жить... Вот французы, дѣйствительно, нехорошій народ, — сказал Майстер, вспомнив о Бенедиктусѣ. — Или поляки, а? Проклятый Ницше имѣл наглость послать мнѣ свою послѣднюю книгу. Он измѣнил нашему дѣлу и обвиняет в измѣнѣ меня! Он меня обвиняет в том, что я вернулся к христіанским идеям! А если даже и так? Почему мнѣ не вернуться к христіанским идеям? Развѣ я подрядился быть язычником?... Вы еше не знаете, какая Страстная Пятница будет в «Парсифалѣ», я никогда в жизни ничего равнаго не писал! — сказал он Рубинштейну, у котораго глаза тотчас стали из брюзгливых восторженными: теперь у него был такой вид, будто он смотрит на самое вкусное в мірѣ блюдо.

— Развѣ Ницше поляк? — спросил Леви, очень довольный прекращеніем разговора об евреях. Взглядов Майстера по польскому вопросу он не помнил, но ему казалось, что когда-то Майстер чуть только не служил дѣлу польской революціи.

— Разумѣется, поляк. Его лицо лучше всякаго паспорта. Талантливый был человѣк, но предатель, — с новым вздохом сказал Майстер. — Леви, скажите этому проклятому вашему единовѣрцу, чтобы он еще сыграл из «Парсифаля», если он не окончательно меня возненавидѣл, а? А я его люблю, нѣжно люблю. Только играет он не так, как нужно. Прекрасно играет, но не так, как нужно. Вот как нужно! — сказал Майстер и сам сѣл за рояль. Рубинштейн взглянул на него насмѣшливо: игра Майстера была совершенно безпомощной. Он сам это знал и, поиграв с минуту, опять вскочил, выхватил из подсвѣчника свѣчу и запѣл, жестикулируя почти как Леви. Пѣл он много лучше, чѣм играл, но об'яснить, как надо играть музыку «Парсифаля», не мог. Рубинштейн больше не сердился, — нельзя было сердиться на такого человѣка. Так, Ганс фон Бюлов, у котораго Вагнер отнял Козиму и который считал своего бывшаго лучшаго друга совершенно безсовѣстным, аморальным человѣком, говорил, что можно все простить создателю «Тристана и Изольды». Герман Леви, вслушиваясь,

не спускал глаз со свѣчи и тщетно старался понять, чего хочет Майстер. Рубинштейн сѣл за рояль. На лицѣ Майстера снова изобразилось страданіе: то да не то.

Вошла Козима и в комнатѣ стало неуютно. Вид у нея был неодобрительный. Она очень строго соблюдала этикет «Ванфрида» и не желала, чтобы Вагнер был с кѣм-либо фамиліарен, в частности же с такими людьми, как Герман Леви и особенно Іосиф Рубинштейн. Нѣмецкіе писатели десятилѣтіями серьезно разсуждали о «загадкѣ Козимы»; один из них, быть может человѣк слабоумный, назвал жену Вагнера «величайшей женщиной девятнадцатаго столѣтія». Разгадка Козимы заключалась в том, что она была глупа. И отец ея, и мать, и оба мужа были чрезвычайно умные люди; вся жизнь Козимы прошла в обществѣ выдающихся людей. Тѣм не менѣе в единственно возможном разрѣшеніи «загадки» не приходится сомнѣваться, если без предубѣжденія прочесть то, что писала и говорила Козима. Впрочем, у нея были большія качества. Она всей душой любила мужа, а настойчивостью, энергіей, напористостью превосходила даже его. Вѣроятно, в молодости у нея было и очарованье, хотя знавшіе ее с дѣтских лѣт люди это отрицали. Оба ея мужа долго ее обожали. Теперь в ея долговязой фигурѣ и в длинноносом лицѣ было мало привлекательного. Улыбалась она не так часто. Зато у нея было шесть или семь улыбок, в зависимости от положенія и важности человѣка, которому улыбка предназначалась. На первую улыбку имѣли право только монархи. Для Германа Леви было достаточно третьей или даже четвертой улыбки. В отличіе от мужа, Козима была антисемиткой убѣжденной и настоящей (впрочем, она считала евреями всѣх неугодных ей людей). Однако, королевскій дирижер был королевскій дирижер, и Козима улыбалась сыну Гиссенскаго раввина той самой третьей улыбкой, которой через полвѣка послѣ того, на десятом десяткѣ лѣт жизни, улыбалась Адольфу Гитлеру, — она не дожила до прихода фюрера к власти, поэтому улыбкой № 1 ему вѣрно никогда не улыбалась. Рубинштейн был человѣк незначительный, и имѣл право развѣ лишь на предпослѣднюю улыбку, —

не на самую послѣднюю потому, что он был все-таки очень предан дѣлу.

XII

К обѣду пріѣхал Лист. Он только показался в гостиной, поцѣловал дочь, наговорил пріятных слов всѣм. Зятю сказал, что у него необыкновенно свѣжій, цвѣтущій вид, — «тебѣ нельзя дать пятидесяти лѣт!» — и спросил, очень ли подвинулся «Парсифаль». Выразил надежду, что Герман Леви скоро даст концерт в Веймарѣ, — «надо же и нам, веймарцам, показать, что такое настоящій оркестр». Рубинштейну сказал, что в послѣдній раз он играл не хуже великаго Антона, — «это было незабываемо, просто незабываемо». Гости по наслышкѣ знали цѣну комплиментам Листа. Однако, и Леви, и Рубинштейн вспыхнули от удовольствія. Очаровав всѣх, Лист ушел, в сопровожденіи дочери, в приготовленную для него комнату. Его черногорскій слуга Спиридон понес за ним маленькій потертый чемодан.

— В чемоданѣ сутана. Святой отец всегда возит ее с собой для торжественных случаев, — подмигивая, шепнул Герману Леви Майстер.

— Кажется, он свѣтскій священник, — сказал Леви, слабо улыбаясь.

Лист был аббатом уже давно. Он каждый день рано утром уходил в церковь, иногда вставал для этого в три часа ночи. Его глубокое благочестіе было общеизвѣстно. Тѣм не менѣе слова «святой отец» дѣйствительно чрезвычайно не подходили к старому красавцу, — несмотря на преклонный возраст, он еще был очень красив. До конца его жизни всѣ всегда почему-то забывали, что бывшій король виртуозов — духовное лицо. Он и сам как будто часто об этом забывал. Его густые сѣдые волосы скрывали тонзуру. Он цѣловал ручки дамам. Говорили, что Лист за версту замѣчает красивых женщин. Шопотом говорили также, что у него теперь в Веймарѣ роман с одной русской титулованной дамой. Другой его роман — с княгиней Витгенштейн — был извѣстен всему міру (княгиня терзалась

ревностью в Римѣ). И, наконец, в Будапештѣ в Листа пыталась стрѣлять из револьвера третья титулованная дама, впрочем, именовавшая себя графиней самовольно, для поэзіи.

— Надо бы ему купить новый чемодан. Он теперь бѣден. Все роздал, как глупо! — сказал Майстер, качая головой.

Герман Леви улыбнулся еще сдержаннѣе. Лист, считавшійся с 12-лѣтняго возраста величайшим піанистом міра, бросил карьеру виртуоза 36 лѣт отроду по неизвѣстной причинѣ, — об'яснял, что «не хочет себя пережить». Теперь он только давал уроки, при чем не брал платы даже с богатых учеников. Аббат дѣйствительно роздал все, что у него оставалось. Но Герман Леви знал, что немалая часть денег, розданных Листом, пошла именно Майстеру, которому Лист покровительствовал задолго до того, как Вагнер стал его зятем; было бы деликатнѣе, если поздно разбогатѣвшій Майстер не говорил о бѣдности своего тестя. Герман Леви знал также, что Майстер многим обязан Листу и как композитор. Аббат писал музыку, которую сам Вагнер, не любившій хвалить собратьев по крайней мѣрѣ до их кончины, иногда называл божественной (иногда, впрочем, ругал ужасными словами). Свои музыкальныя идеи Лист раздавал с той же королевской расточительностью, что и деньги. Кое-что подарил и зятю. Майстер так и называл, смѣясь, Листа «казначейством для воров».

Вслѣд за Листом, вызывая улыбки хозяев, пріѣхала его титулованная русская дама, еще какія-то дамы, влюбленныя либо в него, либо в Вагнера, либо в обоих. Приглашены были видные мѣстные люди, которых за что-либо надо было отблагодарить Листом. Хозяевам было извѣстно, что самого Листа нельзя ни удивить, ни порадовать гехаймратами: он с ранних лѣт знал всѣх императоров и королей міра. Нельзя было удивить Листа и музыкантами; в дѣтствѣ его поцѣловал Бетховен.

Одним из почетнѣйших гостей был пожилой коммерціенрат, человѣк очень неглупый и очень любезный, но представлявшій нѣкоторую опасность для окружавших его людей, особенно для знаменитых: он все запоминал (иногда невѣрно), многое записывал (что не надо было записывать) и дѣлал

это не для потомства, а для того, чтобы ровно через два дня послѣ кончины извѣстнаго человѣка напечатать «Мои встрѣчи с Х». Никаких дурных намѣреній у него при этом не было. Напротив, он всей душой хотѣл почтить память скончавшагося. Вопреки обычаю, он даже не очень много писал в таких случаях о себѣ, — во всяком случаѣ меньше, чѣм о дорогом покойникѣ. Но описывал коммерціенрат свои встрѣчи так, что знаменитые люди должны были бы в гробу рвать на себѣ волосы. При жизни они не подозрѣвали об опасности и, встрѣчаясь на вечерах с коммерціенратом, беззаботно сходили со своих мраморных пьедесталов, трехчасовое стояніе на мраморном пьедесталѣ требует утомительной, хотя и не очень трудной, техники. Подозрѣвавшіе же об опасности люди утѣшались тѣм, что ничего сдѣлать нельзя: все равно коммерціенрат напишет.

Лист вышел в гостиную, когда всѣ приглашенные собрались. Он остановился на порогѣ и из под своих густых бровей взглядом, еще сводившим с ума женщин, обвел гостей. Лѣвую руку он держал на сердцѣ, и этот жест, который показался бы банальным, смѣшным, оперным у всякаго другого человѣка, у него выходил необыкновенно хорошо. «Все-таки есть в нем что-то бабье», — занес в память коммерціенрат.

Его посадили рядом со старой сѣдой дамой, — вѣрнѣе старую даму посадили с ним. Он догадывался, что его сосѣдка имѣет права на такой почет, но не разслышал имени дамы. Ему было извѣстно, что в Германіи любого санитэтсрата надо именовать по званію. Однако, хотя он называл свою сосѣдку просто «Гнэдиге Фрау», она, видимо, не обижалась. «Должно быть, когда-то была красавицей», — подумал аббат. На ея лицѣ сіяла пріятная, очень благожелательная улыбка, какая бывает у старых добрых людей, хорошо, в обиліи и почетѣ проживших долгую и интересную жизнь. Она оказалась давней его поклонницей, помнила еще первые его концерты. И как Лист ни привык к самым головокружительным похвалам, ему было пріятно слушать эту даму. Его даже не рѣзнули ея слова, что он б ы л красив, как Аполлон.

Обѣд был очень хорошій. Один из французских винодѣлов, страстный поклонник музыки Вагнера, присылал ему ящики шампанскаго безплатно. Очень удалась и застольная бесѣда. Вагнер говорил много и, как почти всегда, превосходно. Он разсказывал о своих поѣздках в Италію и очень ругал Рим, гдѣ все, двѣ с половиной тысячи лѣт исторіи, каждое зданіе говорят о порабощеніи человѣка, — Майстер был в свободолюбивом настроеніи. Лист говорил о Россіи. Когда рѣчь шла не о музыкѣ, они, случалось, так разговаривали часами: Вагнер совершенно не слушал того, что говорил Лист. Лист совершенно не слушал того, что говорил Вагнер. Они слишком давно и хорошо знали друг друга. Слушатели вначалѣ недоумѣвали, но находили спор чрезвычайно интересным. Лист тоже говорил прекрасно, все время перескакивая с нѣмецкаго языка на французскій. В этот день он чувствовал себя нехорошо, но улыбка не сходила с его лица.

Он говорил о русской музыкѣ, называл имена, неизвѣстныя никому из собравшихся, Мусоргскаго, Бородина, Римскаго-Корсакова, утверждал, что эти люди сказали в музыкѣ новое слово. Майстер слушал тревожно и неодобрительно: новое слово сказал о н, больше никаких новых слов не требовалось, и уж меньше всего должны были находить новыя слова какіе-то варвары с неудобопроизносимыми именами. От русской музыки Лист почему-то перешел к Кіеву (он произносил: Кіов). По его мнѣнію, это был один из прекраснѣйших городов міра. Нѣкоторые из гостей знали, что в Кіевѣ Лист познакомился и сошелся на всю жизнь с княгиней Витгенштейн.

— ...Я жил на холмах, в лучшей части города, — забыл, как она называется. Помню, я утром вышел на балкон, передо мной лежал залитый солнцем византійский город, раскинувшійся, как красавица на подушках, над прекрасной, несравненной рѣкой. С одной стороны горѣли купола Святой Софіи, с другой сверкала топазами Лавра, внизу была еще церковь,— не помню и ея названья, — настоящее чудо архитектуры Возрожденія. Это был православный праздник, гремѣли колокола трехсот церквей. Не знаю, из какого металла они сдѣланы, но

я заслушался, мнѣ казалось, что я никогда ничего лучше не слышал. Чудесные сады спускались к Днѣпру. Говорят, что на его берегах русалки являются к молодым людям...

— Wa ist das, die Rusalki? — спросил сердито Майстер.

— Undinen, — кратко отвѣтил Лист. — Онѣ разсказывают юношам о славѣ их предков. Именно там, на тѣх берегах, казаки садились на лодки, чтобы идти на захват Константинополя. Русалки говорят о Мазепѣ, наполнившем весь мір славой своего имени, о Вернигорѣ... Der Nostradamus der Ukraine, — опять пояснил он и выпил залпом бокал шампанскаго. Лист и теперь, несмотря на старость и духовное званіе, случалось, выпивал бутылку-другую вина и тогда становился особенно очарователен. Іосиф Рубинштейн слушал его изумленно: бывал в Кіевѣ, не думал там о раскинувшейся на подушках византійской красавицѣ, и ему ничего русалки не разсказывали. Коммерціенрат занес в память, что дорогой покойник мог часами нести всевозможный вздор, но так, что всѣ жадно ловили каждое его слово. Старая дама, улыбаясь, сказала, что, к великому горю всего міра, господин аббат именно тогда в Кіевѣ навсегда бросил свою карьеру виртуоза.

— Нѣт, мой послѣдній концерт был в Елизаветградѣ, — поправил Лист. У Рубинштейна брови поднялись до вершины лба. Послѣдній концерт этого человѣка — в Елизаветградѣ! Он мог бы снять лучшій театр Парижа, и люди с'ѣхались бы со всѣх концов земли, чтобы в послѣдній раз послушать Листа. Вот чего не сдѣлал бы Майстер! О том же подумал и коммерціенрат, который от наблюденій и шампанскаго становился все веселѣе. «Оба вышли из низов, но один — природный грансеньер, а другой — природный плебей», — думал он, отвѣчая пріятной улыбкой на улыбку № 3 Козимы. Она его спрашивала о здоровьи великаго герцога Саксен-Веймарскаго; недавно праздновали 25-лѣтіе его вступленія на престол. Герман Леви, воспользовавшись тѣм, что хозяйка на него не смотрѣла, вынул карандашик и на пакетѣ папирос занес коекак на память русскія имена, названныя Листом. Он знал, что

аббат от природы лишен способности ошибаться в оцѣнкѣ чужой музыки.

Козима, грозно взглянув на Рубинштейна, спросила отца, національна ли русская музыка, и сказала, что настоящее искусство всегда тѣсно связано с народным духом и с народной почвой. Она умѣла высказывать высочайше утвержденныя Вагнером мысли необыкновенно внушительным и даже вызывающим тоном. Лист отвѣтил, что русское искусство вполнѣ національно. Он избѣгал споров с Козимой, которую шутливо и ласково называл «моя страшная дочь»; было не совсѣм ясно, что означает его эпитет. «Дочь никак не в отца», — подумал коммерціенрат. Он недолюбливал Козиму и, как католик, считал ее вѣроотступницей: Козима перешла в лютеранство. «Отец — венгр, мать — француженка, а она сама — воплощеніе нѣмецкаго національнаго духа»...

Когда обѣд кончился, всѣ перешли в большую роскошную гостиную. Там были картины, фрески, пальмы, диваны и кресла в чехлах, огромный рояль под покрывалом. Стояли раскрытые карточные столики: Лист не ложился спать без партіи виста. Однако, гости понимали, что карты будут позднѣе. Всѣ надѣялись, что аббат согласится играть. Лист нерѣдко играл в обществѣ, если удавалось его раззадорить или если его просили красивыя женщины. У Майстера лицо стало тревожным, даже робким.

— Фатер, — сказал он, придавая своим словам шутливость даже обращеніем. Разница в лѣтах между ними была очень незначительна, и они называли друг друга по имени, часто с нѣжными эпитетами, вродѣ «дорогой», «дражайшій», — иногда даже «Einzigster», что было совершенно вѣрно: оба были, без малѣйшаго сомнѣнія, «единственные». — Фатер, с тѣх пор, как мы разстались, я кое-что набросал... Да, да, из «Парсифаля». Хочешь послушать? Рубинштейн нам сыграет.

Іосиф Рубинштейн запротестовал: Майстер просто не подумал о том, что говорит! (взгляд Козимы стал очень строгим): какой піанист посмѣет прикоснуться к клавишам в присутствіи Франца Листа! Сѣдая дама одобрительно кивнула

головой. Дѣйствительно, всѣ старые музыканты и цѣнители сходились на том, что никто никогда не играл так, как Лист. Сам Антон Рубинштейн признавал это. Он часто повторял, что не заслуживает чести быть сравниваемым с Листом, падал в обществѣ перед ним на колѣни и тоже, по ритуалу, как всѣ піанисты, говорил, что не посмѣет сѣсть за рояль в его присутствіи, — послѣ чего обычно садился и играл с аббатом в четыре руки.

По своему обыкновенію, Лист отказывался: говорил, что слишком стар, что больше играть не умѣет. Гости смѣялись. Сѣдая дама с той же милой улыбкой сказала, что, по слухам, господин аббат все же играет на роялѣ. Говорят, будто в его кабинетѣ стоят два музыкальных инструмента, — притом довольно извѣстные: один принадлежал Моцарту, а другой — Бетховену. Говорят даже, что рояль господина аббата — послѣдній, к которому прикасались руки великаго автора «Девятой Симфоніи».

Майстер слушал нетерпѣливо. Правда, он боготворил Бетховена, но не любил, чтобы в его присутствіи говорили о других, да еще в столь пышных выраженіях. Лист, сдаваясь, сказал, что сначала хотѣл бы прочесть поэму и партитуру. Всѣ засуетились. К столику с лампой у пальмы было придвинуто кресло. Рубинштейн сбѣгал наверх и принес рукописи. Аббат стал просматривать либретто. Дамы слѣдили за каждым его движеніем. И в самом дѣлѣ всѣ его движенія были красивы и величественны.

Он уже знал содержаніе «Парсифаля» и теперь лишь перелистывал страницы. Лист не считал себя знатоком литературы и не только по смиренію. Вся его жизнь прошла в обществѣ знаменитых музыкантов, писателей, художников, и он, по долгим наблюденіям, знал, что общее понятіе искусства совершенно условно, что творцы в одной из его областей часто совершенно не чувствуют других. Виктор Гюго и Теофиль Готье рѣшительно ничего не понимали в музыкѣ; они, или их поклонники, даже спорили о том, кому именно из них принадлежит распространившееся по міру изреченіе: «музыка — са-

мый непріятный и самый дорогой вид шума». Сам он, посѣщая мастерскія Делакруа или Энгра, старался высказываться поменьше и поосторожнѣе, видя на лицах художников ту плохо скрытую насмѣшку, от которой сам он с трудом удерживался, когда в его присутствіи о музыкальном творчествѣ говорили ученые критики, очень хорошо знакомые с чужой музыкой, но ничего своего не создавшіе. Однако Лист обладал от природы вкусом, достаточно часто слушал разговоры лучших писателей міра, да и сам кое-что писал (впрочем, не очень хорошо). Он понимал, что роковая хохочущая женщина — не слишком цѣнное созданіе поэзіи. «Кажется, Кундри ему не удалась», — нерѣшительно думал он, попутно стараясь догадаться, какая из знакомых дам могла быть связана с образом Кундри. Дамы, сидѣвшія в гостиной, красотой не отличались (он и сам немного пріуныл). «Главное, однако, не в словах, а в идеѣ», — рѣшительно сказал себѣ Лист. Все, что в «Парсифалѣ» было взято из древней легенды, особенно же святой Грааль, нравилось ему чрезвычайно. «Неужели этот страшный человѣк в самом дѣлѣ приходит к Христу?» Для него языческіе взгляды Вагнера были горем и оскорбленіем. Впрочем, Лист знал цѣну убѣжденіям своего зятя. Вагнер то примыкал к революціонерам, то примыкал к реакціонерам (в политикѣ он всегда п р и м ы к а л), то был крайним нѣмецким націоналистом, то проклинал Германію, то чрезвычайно хвалил французов, то писал на них пошлѣйшіе пасквили вродѣ "Capitulation", то пьянѣл от восторга по случаю нѣмецких побѣд, то об'являл себя всечеловѣком и называл франко-прусскую войну безсмысленным, никому не нужным дѣлом. Лист знал и то, что Вагнер всегда — или почти всегда — искренен, что он в мірѣ ничего кромѣ себя не видит и видѣть не хочет. Вагнер был чистым воплощеніем эгоизма. «Но еслиб не это его свойство, еслиб не его чудовищная сверхчеловѣческая настойчивость, то, при всей своей геніальности, при всем своем умѣ, он, вѣроятно, не мог бы добиться того, чего добился, и не завоевал бы міра. Вѣрно, таким и надо быть генію», — с легким вздохом сказал себѣ аббат. Он знал, что ему самому от природы дано

было много, очень много, быть может, не меньше, чѣм Вагнеру. Лист положил либретто на столик и начал читать партитуру, — то, чего еще в ней не знал. У него захватило дыханье. Ему стало ясно, что в музыкѣ открыта новая, ни на что не похожая, ни с чѣм не сравнимая страница. «Что за человѣк! Ах, какой человѣк!...» Было странно и страшно, что такая геніальность, такая мощь даны человѣку, их не стоющему и не заслуживающему. Вагнер был живым доказательством того, какую грозную опасность могут представлять собой для міра великіе художники, ничему кромѣ себя не служащіе. «Неисповѣдимы пути Божіи», — привычной мыслью, привычным сочетаніем слов отвѣчал себѣ Лист.

Гости переговаривались вполголоса, чтобы не мѣшать аббату, и даже сам Майстер нѣсколько понизил голос. Он изрѣдка бросал в угол тревожные взгляды. Во всем мірѣ его теперь интересовало только мнѣніе о «Парсифалѣ» сидѣвшаго в углу сѣдого старика. «Кажется, понимает?... Кажется, понял!» — взволнованно думал он.

Заговорили о политических событіях. Один из гостей в полувопросительной формѣ вспомнил, что Майстер в свое время имѣл бесѣду с князем Бисмарком.

— Они не нашли общаго языка, — сказала Козима, нахмурив брови. Дѣйствительно общаго языка Майстер с канцлером не нашли. Бисмарк в музыкѣ любил только барабанный бой. Ему плохо вѣрилось, будто сидѣвшій перед ним человѣк на двѣ головы ниже его ростом, бывшій саксонскій революціонер, потом лизоблюд при дворѣ полоумнаго короля, представляет собой національную славу Германіи. Позднѣе Вагнер писал князю и по своему обычаю просил денег. Майстер всю жизнь просил денег у всѣх, у кого можно было просить хоть с маленькой надеждой на успѣх. Четырнадцати лѣт отроду он просил милостыню на большой дорогѣ — и никак не потому, что голодал: ему просто хотѣлось что-то купить. Но несмотря на то, что подписал он письмо к канцлеру «глубоко преданный поклонник», несмотря на то, что выражал «безграничное ува-

женіе» и как-то сложно называл князя «великим возсоздателем нѣмецких надежд» ("der grosse Neubegründer deutscher Hoffnungen"), Бисмарк не дал ни гроша и даже не отвѣтил на письмо. Канцлер берег казенныя деньги. Вдобавок, Майстер ему не понравился, — он говорил, что в жизни не встрѣчал болѣе самоувѣреннаго человѣка.

— Князь Бисмарк как тот генерал Фридриха Великаго, который всѣ музыкальныя произведенія исполнял на мелодію Дессаускаго марша, — саркастически отвѣтил Майстер и высказался о политикѣ великаго возсоздателя так рѣзко, что чиновные гости даже нѣсколько смутились. Коммерціенрат был очень доволен. Старая дама тотчас снова заговорила о музыкѣ.

— ...Кажется, господин аббат все прочел, — сказал кто-то. Дѣйствительно, Лист положил рукопись. Он встал, подошел к Майстеру и обнял его. Его картинный жест, его взволнованное лицо были яснѣе слов. Но Майстер желал, чтобы слова были сказаны, и, как всегда, этого добился. Он старался изображать равнодушіе, однако, руки у него дрожали.

— ...Ну, вот, очень хорошо, — говорил он. —Значит, я еще не совсѣм выжил из ума? Очень, очень рад. Но я жду от тебя не комплиментов, я их не люблю, зачѣм мнѣ похвалы? Нѣт, я хочу, чтобы ты это сыграл, а? Первый акт и начало второго. Да, да, да, я знаю, ты очень стар, ты совершенно разучился играть, да и никогда не умѣл, слышали, слышали, я знаю, я все знаю. Но мы с Рубинштейном покажем тебѣ ноты. Правда, Рубинштейн?... Вот это, от сих пор до сих пор, это октава... Это д о, твои французы называют эту ноту у т, — тыкая в клавиши, говорил он так забавно, что смѣялись самые застѣнчивые из гостей. Коммерціенрат все запоминал. Лист, вздыхая, сѣл на стул перед роялем, не очень ему удобный при его большом ростѣ, и расположил на клавишах свои огромныя, страшныя, руки, с пальцами в полтора раза длиннѣе обыкновенных. Рубинштейн впился в них глазами. Он сѣл рядом с Листом, чтобы поворачивать страницы нот. Но аббат застѣнчиво сказал, что ноты не нужны: он попробует сыграть на

память. Рубинштейн взвизгнул, Герман Леви вздохнул, Майстер пожал плечами. Во всем мірѣ только Лист дѣлал такія вещи. Он один раз прочитывал сложныя оркестровыя партитуры и затѣм безошибочно дирижировал оркестром без нот. Аббат стал играть. Как по командѣ, большая часть гостей закрыли глаза. Коммерціенрат с любопытством поглядывал по сторонам. Через минуту Майстер прослезился: это было т о, то самое.

Минут десять ушло на выраженія восторга. Козима внимательно за всѣми слѣдила. Ея отца хвалили гораздо больше, чѣм мужа, — это было досадно. Старая дама, тоже чуть прослезившись, сказала, какое для нея счастье о п я т ь услышать Листа. Она говорила негромко, но всѣ замолкали, когда она начинала говорить. И по тому, к а к она сказала свои простыя слова (без «господина аббата», даже просто без «господина»), аббат понял, что она говорит правду. Ему показалось даже, что она хотѣла сказать: «в п о с л ѣ д н і й р а з услышать Листа». Он поцѣловал ей руку и у присутствующих было впечатлѣніе: жаль, что нѣт художника.

Коммерціенрат понимал, что для виртуозов не существует абсолютных выраженій восторга, а есть лишь выраженія относительныя. В этом случаѣ величиной для сравненія мог служить только Антон Рубинштейн; было интересно знать, как аббат относится к наслѣднику своего престола; это могло пригодиться.

— ...Я в прошлом году слышал, как Рубинштейн играет «Лунную Сонату». Разумѣется, он играет ее изумительно, я сказал бы даже божественно. Но в 1846 году я слышал, как ее играли вы, господин аббат, и для меня игра Рубинштейна не существует, — сказал коммерціенрат и почувствовал, что сказал то, что было нужно, хотя Лист давно отрѣшился от земных забот и интересов. Герман Леви и Іосиф Рубинштейн оба взволнованно повторяли, что ничего равнаго э т о й игрѣ не слышали.

Оттого ли, что игру Листа хвалили больше, чѣм музыку «Парсифаля», — хозяин дома опять стал мрачен. Его не инте-

ресовало, как кто играл «Лунную Сонату». Козима тревожно на него поглядывала. Она боготворила мужа и боялась его рѣзкости: он мог ни с того ни с сего обругать Листа, мог сказать что-либо грубое о королѣ Людовикѣ или об императорѣ, от него всегда можно было ожидать всего. Но Майстер просто молчал.

Он думал о Жюдит, о том, что надо было бы бросить все (это значило Козиму) и уѣхать в Париж. Ему было ясно, что за любовь Жюдит он отдал бы и свое положеніе, и славу, и деньги, и виллу «Ванфрид», со всѣми ея надписями, картинами, статуями и фресками, — потом, даже очень скоро, горько пожалѣл бы, но отдал бы. Не отдал бы только «Парсифаля», котораго не оцѣнили, несмотря на э т у игру.

Когда стало совершенно ясно, что Лист больше играть не будет, разговор вернулся к политикѣ, к князю Бисмарку, к закончившемуся 13 іюля берлинскому Конгрессу. Коммерціенрат высказал мнѣніе, что это большой, памятный день, надолго заложившій основы европейскаго к о н ц е р т а (музыканты немного испугались, услышав это слово). Козима не согласилась с мнѣніем гостя. Она была недовольна тѣм, что главными героями Конгресса были еврей Дизраэли и не интересовавшійся д ѣ л о м Бисмарк. Но об этом говорить было не удобно. Еще гораздо больше ей не нравилось, что у ея мужа глаза блестѣли знакомым ей блеском. Он все молчал. Это тоже было неудобно: в «Ванфридѣ» на пріемах должен был говорить он, а гости могли только подавать реплику.

— Я увѣрена, что и по твоему это вовсе не такой уж замѣчательный день: 13-ое іюля? — спросила она. Майстер вглянул на нее изумленно. 13-го іюля был оформлен развод Жюдит с Мендесом.

— Нѣт, нѣт, 13-ое іюля — очень важный день, — сказал Майстер.

XIII.

Люди из лечебницы на носилках несли Дюммлера вверх по лѣстницѣ вокзала. Он лежал почти неподвижно и, едва поворачивая голову, робко озирался по сторонам, стыдясь своей болѣзни и безсилія. Софья Яковлевна шла рядом с носилками, стараясь держать зонтик над головой мужа. Шел дождь. Она испытывала такое чувство, будто на них свалилось что-то позорное. Вниз по лѣстницѣ торопливо бѣжали к извозчикам люди; несмотря на спѣшку, они на мгновенье останавливались и испуганно смотрѣли на больного. Наверху под навѣсом толпа разступилась. «Господи, хоть бы скорѣе оказаться в вагонѣ!» — подумала Софья Яковлевна. У нея на глазах показались слезы. Она отстала на шаг, чтобы муж ее не видѣл, наклонила зонтик, вѣтер рвал его из рук. «Эта погода точно на зло! Всю недѣлю были солнечные дни!» Горничная взволнованно бѣжала за носилками, с какой-то коробкой, которую нельзя было довѣрить носильщикам. Дюммлеры по обычаю ѣздили заграницу со слугами, хотя тѣм было нечего дѣлать в дорогѣ и в гостинницах.

В концѣ іюля профессор сказал Софьѣ Яковлевнѣ, что в состояніи ея мужа произошло нѣкоторое улучшеніе, хотя пока очень незначительное, и посовѣтовал увезти больного в Петербург. Это было совершенно неожиданное предложеніе.

— Конечно, ваш климат не очень хорош, — бодрым и убѣдительным тоном говорил профессор, — но вѣдь и в Берлинѣ август томительно душен. Я тоже скоро уѣзжаю. Между тѣм в пользу Петербурга: привычка именно к русскому климату, привычныя условія жизни, близость сына, родные, друзья. Одним словом, я никак теперь не возражал бы против вашего возвращенія на родину.

В первую минуту этот совѣт чрезвычайно обрадовал Софью Яковлевну: ничто не могло ей быть пріятнѣе, чѣм возвращеніе в Петербург. Но послѣ того, как профессор ушел, ей

пришли в голову очень тревожныя мысли: может быть, он просто хочет теперь от них избавиться, как иные адвокаты стараются освободиться от завѣдомо безнадежных дѣл. «Если дѣло в городской духотѣ, почему он совѣтует ѣхать в Петербург? Он мог бы нас отправить куда-нибудь в Шварцвальд или в Швейцарію?... Нѣт, это странно, надо с ним поговорить по настоящему»... Сама она не находила никакого улучшенія в состояніи мужа. Боли у него продолжались и иногда бывали чрезвычайно сильны; он плохо спал, почти ничего не ѣл. Ассистенты профессора, обходившіе паціентов лечебницы по два раза в день, об'ясняли это іюльской жарой, но вид у них бывал смущенный и говорили они довольно уклончиво.

На слѣдующій же день Софья Яковлевна обратилась к профессору за об'ясненіями и настойчиво просила сообщить ей всю правду. Профессор внимательно ее выслушал и слегка развел руками.

— Я от вас не скрывал и не скрываю, что болѣзнь серьезна, — сказал он видимо неохотно. — При всѣх наших стараньях, мы настоящаго діагноза поставить не можем. Скорѣе всего это камни в желчном пузырѣ, но возможны разныя предположенія... Я не знаю точно, чѣм болен ваш муж, — рѣшительно заявил профессор. Он был так знаменит, что мог себѣ позволить столь необычное для врача замѣчаніе. — И если вам другой врач скажет, что он это знает, я только выражу ему восхищенье. Мы не боги, и медицина, к несчастью, не всесильна. Вы сами видѣли, что в послѣдніе двѣ недѣли леченіе сводилось к діэтѣ и к успокоительным средствам. Это вы можете имѣть гдѣ угодно!... Однако, я нисколько не считаю положеніе безнадежным, — тотчас прибавил он, впервые, хотя бы и в такой полуотрицательной формѣ, употребляя страшное слово. — Организм сопротивляется очень упорно. Я надѣюсь, что ваш муж выздоровѣет.

Мужу Софья Яковлевна сообщила о совѣтѣ профессора чрезвычайно радостно. Юрій Павлович тоже обрадовался, несмотря на свою вѣру в нѣмецкую медицину и нѣкоторое недовѣріе к русской. В послѣднее время ему все чаще казалось,

что эта берлинская лечебница, с ея узким двором-колодцем, — послѣднее зданіе, которое ему суждено видѣть в жизни.

— Я страшно рад, Софи... Когда же мы поѣдем?

— Я думаю, в срединѣ августа, числа пятнадцатаго? Дом только что перекрасили, боюсь, еще остался запах краски. Я напишу Мишѣ... Но слава Богу! Я так счастлива! Он прямо сказал, что находит значительное улучшеніе.

Софья Яковлевна, никогда до того ни с кѣм не совѣтовавшаяся в житейских дѣлах, написала брату и попросила его высказать свое мнѣніе. Через три дня от Чернякова пришла телеграмма. Он совѣтовал вернуться, в нѣсколько болѣе радостном тонѣ, чѣм слѣдовало. Впрочем, телеграмма была составлена Михаилом Яковлевичем так, чтобы ее можно было показать больному. Юрій Павлович ничего не сказал, хотя видимо был доволен.

Тотчас начались хлопоты. Помогала Элла, очень огорченная отъѣздом Дюммлеров. Как всегда бывает в таких случаях, добрые знакомые, давно не дававшіе о себѣ знать, теперь предлагали помощь совѣтами, услугами, заботами; лишь немногіе никак себя не проявляли, ссылаясь на то, что Дюммлерам теперь вѣрно не до знаков вниманія. Впрочем, Софья Яковлевна не безпокоила добрых знакомых и только удивлялась тому, как люди любят оказывать не стоящія денег услуги. В своей работѣ, в безпрерывных хлопотах она находила облегченіе; энергіи у нея всегда было больше, чѣм нужно. Кто-то посовѣтовал ей пригласить врача для сопровожденія их в Петербург. Софья Яковлевна сначала было с этим согласилась, тѣм болѣе, что ей было пріятно тратить деньги на больного. Но это напугало бы Юрія Павловича. Профессор завѣрил ее, что ни малѣйшей опасностью поѣздка больному не грозит.

Элла достала им особое отдѣленіе в вагонѣ. В лечебницѣ обѣщали изготовить діэтетическую ѣду на двое суток, всѣ лекарства были приготовлены, всѣ указанія на дорогу получены. В послѣдній день Софья Яковлевна еще ѣздила по Берлину за подарками для Коли: купила собраніе сочиненій Гете и ящик с красками. «Вот жаль, что нѣт Николая Сергѣевича.

Это можно было бы ему поручить», — наканунѣ сказала она мужу, чуть презрительно улыбаясь. — «Как какого Николая Сергѣевича? Мамонтова, котораго ты почему-то не взлюбил. Вѣдь он художник и должен все это знать, а я красок отроду не покупала. Между тѣм, он уже давно уѣхал на море». — «Обойдемся и без него. Ты узнай у Эллы или хотя бы у швейцара в «Кайзергофѣ», — отвѣтил Юрій Павлович. «Зачѣм я сказала «уже давно?» — спросила себя с недоумѣніем Софья Яковлевна. Мамонтов снова уѣхал в Герингсдорф, должен был вернуться 12-го и не вернулся.

15-го, в день от'ѣзда, Софья Яковлевна встала раньше обычнаго, но дѣла было не так много. Уплата по счетам в гостинницѣ и в лечебницѣ, прощанье с врачами и сидѣлками, раздача начаев заняли мало времени. С Эллой Софья Яковлевна простилась наканунѣ, взяв с нея слово, что она на вокзал не пріѣдет. Все шло по росписанію, в порядкѣ, как всегда у Дюммлеров. Быстрый, правильный ход приготовленій к от'ѣзду привел ее в бодрое настроеніе. Но когда в дверях комнаты Юрія Павловича появились рослые люди с носилками, у Софьи Яковлевны на лицѣ выступили красныя пятна. Так она никогда в жизни не путешествовала.

Отдѣленіе в вагонѣ оказалось удобным, постель для больного была приготовлена, окна отворены и завѣшены. Носильщики уложили Дюммлера, получили начай и удалились с пожеланіями здоровья и счастливаго пути. Горничная ушла в свой вагон. Софья Яковлевна вздохнула, наконец, свободнѣй. Юрій Павлович был совершенно измучен. Он слабо тронул жену за рукав, поднес ея руку к губам и поцѣловал.

— Ну, слава Богу... Теперь два дня будем спокойны... И вмѣстѣ, Софи, — прошептал он. — Воображаю, как ты, бѣдная, устала.

— Ты хочешь сказать, что я стала рожей? Вѣрю тебѣ, — отвѣтила она и, чуть наклонившись, взглянула в зеркальце. Вид у нея дѣйствительно был плохой. Она вздохнула.

— Напротив...

— Я видѣла, на перронѣ продаются газеты. Буду в дорогѣ

тебѣ читать... Нѣт, не безпокойся, время есть, до отхода поѣзда еще четверть часа, — сказала Софья Яковлевна и вышла.

Вѣроятно, из-за дурной погоды провожавших было мало; уѣзжавшіе заняли мѣста в поѣздѣ задолго до его отхода. Софья Яковлевна замѣтила мѣсто своего вагона, — как раз против кіоска, — закурила папиросу, хоть дамам курить внѣ дома считалось неприличным, и пошла по перрону к краю вокзала. Дождь только что кончился. «Именно теперь, когда может идти сколько ему угодно! Всегда и во всем невезенье!... Неужели больше ничего счастливаго в жизни не будет?»

Она постояла у локомотива, разсѣянно глядя на медленно приближавшійся к вокзалу товарный поѣзд, бросила папиросу и пошла назад, думая то о предстоящем путешествіи, — кажется, ничего не забыто? — то о Колѣ — т а к ли он обрадуется? — то об их будущей жизни в Петербургѣ. «Да, будет та незамѣтная, никого не трогающая, каторга, которая всегда выпадает на долю жен при тяжело больных мужьях»... Тоска ея росла с каждой секундой, как будто смерть была тут, перед ней. Она чувствовала, что ей сейчас, сію минуту, нужно общество, нужны люди, нужен человѣк, — бывают минуты, когда одиночества не может вынести никто. Вдруг в концѣ перрона она увидѣла Мамонтова. Сердце у нея остановилось. Он быстро, странно быстро, шел ей навстрѣчу с букетом в рукѣ. Она инстинктивно ускорила шаги. Но встрѣтились они как раз у кіоска. Почти безсознательно она сдѣлала еще нѣсколько шагов.

— ...Мнѣ только что сказали в «Кайзергофѣ»...Я утром пріѣхал, я так рад, что поспѣл! Но как же вы не дали знать, что уѣзжаете?

— Вот не ожидала, — негромко сказала она и отошла еще от их вагона. «Эти красныя пятна... Даже не попудрилась»... Он говорил что-то слишком быстро и взволнованно. От него немного пахло вином.

— Я никогда не простил бы себѣ, если бы не простился с вами: вѣдь, может быть, мы разстаемся надолго... Хотя нѣт,

едва ли. Я думаю, что осенью мы... я возвращаюсь в Петербург. Я так рад, — безсвязно говорил он. Софья Яковлевна уже совершенно овладѣла собой. Его тон и даже слова казались ей не совсѣм приличными. И уж просто неприлично было то, что он не спрашивал о здоровьи Юрія Павловича. Впрочем, минуты через три он догадался и спросил. Говорить им было не о чем.

— Все благополучно, спасибо... Он очень оцѣнит ваше вниманіе, — почти вызывающе сказала она и тотчас заговорила о другом, опасаясь его отвѣта. — Так вы получили ту же комнату в «Кайзергофѣ»? Да, теперь это гораздо легче, город опустѣл. Элла с мужем тоже послѣзавтра уѣзжают куда-то на море, — говорила Софья Яковлевна, улыбаясь. Он смотрѣл на нее с недоумѣніем: какое ему было дѣло до Эллы с мужем?

Когда кондуктор закричал «Einsteigen!», Николай Сергѣевич взял ее за руку. «Позвольте поцѣловать, хоть через перчатку», — сказал он почти шопотом, глядя на нее снизу вверх. Ея вагон был шагах в десяти. Она поднялась по ступенькам и кивнула ему головой с привѣтливой улыбкой, точно для каких-то невидимых свидѣтелей. Мамонтов не послѣдовал за ней и это было тоже неприлично, — еще неприличнѣе, чѣм его безпомощно-глупыя слова о перчаткѣ и то выраженіе, с каким он их произнес, — как будто между ними состоялось тайное соглашеніе скрыть его пріѣзд на вокзал от Юрія Павловича. Софья Яковлевна вошла в вагон. Она положила букет на стоявшій в проходѣ чемодан, подумала, что не надо подходить к окну, и вошла в отдѣленіе. «Зачѣм он так много пьет?»

— Извини, я не купила газеты. Твоей любимой «Норддейтше» не было.

— И не надо... Я едва ли...

— Постой, одну минуту, — вдруг сказала она и вышла в корридор. Софья Яковлевна взяла букет и отошла к самому дальнему окну вагона. Мамонтов, с шляпой в рукѣ, стоял все на том же мѣстѣ. Он хотѣл было что-то сказать, не сказал

ничего и улыбнулся счастливой улыбкой. Поѣзд отошел. Вдоль полотна замелькали дома, теперь освѣщенные выплывавшим из туч солнцем. «Да, «без Мунго-Парков»!... А может быть, в самом дѣлѣ все будет хорошо?... То есть ничего не будет»... Софья Яковлевна приложила букет к лицу. — «Дивный запах!» — подумала она для невидимых свидѣтелей и бросила букет под откос.

Она вернулась в купэ.

— Ну, дай Бог, дай Бог! взволнованно сказал Юрій Павлович, глядя на нее нѣжным, благодарным взглядом. — Дай Бог... Впереди Россія...

— Да, впереди Россія, — разсѣянно повторила она.

(Конец перваго тома)

М. Алданов.

ОТ АВТОРА

Настоящій отрывок заканчивает первый том «Истоков». Боюсь, что появленіе исторических лиц, не связанных с дѣйствіем прямо, вызовет у читателей недоумѣніе. Однако тему моего романа составляют истоки того, что на наших глазах происходило и происходит в мірѣ. Историческія лица, которыя появились или появятся в романѣ, именно и были «истоками». Разумѣется, было бы не очень трудно так или иначе связать их с вымышленными русскими дѣйствующими лицами. Но в отношеніи Гладстона, Вагнера или Маркса это было бы натяжкой, и я предпочел необычный пріем пріему искусственному, доведенному до смѣшного Эптоном Синклером.

Переписка Жюдит Готье с Рихардом Вагнером была опубликована лишь недавно; первая же ея подробная біографія появилась перед самой войной, в 1939 году. Таким образом, этот эпизод почти не затронут в необозримой Вагнеровской литературѣ.

Неуклюжій перевод введенія к Берлинскому договору (стр. 103) взят из «Правительственнаго Вѣстника» 9/21 іюля 1878 года. Едва ли было бы удобно исправлять слог историческаго документа.

В ГОСТЯХ У ПОЛУЯРОВЫХ

Напрасно старичок Минеич угрызался, что он проболтался Настѣ о Ермилычѣ, изуродованном на войнѣ. Обо всем этом несчастіи ей разсказала на первой же, полуденной остановкѣ Ульяна Тихоновна, сама вдова убитаго солдата и мать двух подроставших сыновей. Направляя Настю на заимку Ульяны, Минеич и не думал, что Ульяна знает всю эту исторію гораздо лучше, нежели он сам. Ульяна приходится двоюродной сестрой Ермилычу. Угощала Ульяна Настю, хлопотала у стола и у печи, а сама разсказывала и заливалась слезами. Плакала и о покойном мужѣ, убитом еще в японскую войну, и о своих недостатках — без хозяина все пришло в упадок, — и о семьѣ Ермилыча, и из участія к Настасьиному горю.

Настя слушала, а сама ѣла и не ѣла. Больше свою ѣду слезами запивала. Не поняла Ульяна, что отягчала ея сердце страшною печалью на всю дальнѣйшую дорогу. Разсказывала, плакала и уговаривала:

— Да ты кушай-ѣшь говядинку-то. Дорога-то дальняя. Кваском-то запивай. Квас-то из под сусла, калинкою заправленный, холодный, с погреба.

Но Настя прятала слезы, утиралась наспѣх, чтобы ребят не расквилить. Ребят больше питала, самой ей в горло не шел гостепріимный кусок хлѣба.

Потом запила свои слезы квасом, встала, помолилась на старыя, потемнѣвшія иконы и стала спѣшить со сборами в дальнѣйшій путь. Лошади подсохли, попоила их, пересѣдлала и отправилась также молча, как молча слушала Ульяну.

И вот ѣхала опять Настасья со второй половины дня до самаго вечера, почти не переставая плакать. Разстилалась, ширилась ея печаль-тревога. Уж не о Кондратіи только слезы

проливались, а за сотни, за тысячи Ермилычей. Расширялись перед нею, теперь уже безлѣсные, просторы — вмѣсто гор волнистыя, взгорбленныя поля, пашни, перелѣски, пастбища, — расширялась и печаль ея. О, Господи, сколько же их, пострадавших, искалѣченных, плѣненных, пропавших без вѣсти со всей Руси-то необъятной! Сколько полегло в могилах братских, а то и без могил, в чужой, далекой землѣ! Не хотѣла она плакать на глазах дѣтей — чуяла, как Фирся хмурился повзрослому, когда оглядывалась на него, а сдержать себя не могла. И облегчала горе свое придушенным стоном-шепотом:

— Господи, Господи! За что же, за что?...

Но вот, перед закатом, с одной из горных сѣдловин, развернулась перед нею широкая равнина впереди, вся, как лоскутное одѣяло, испещренная пашнями, частью свѣжевспаханными, еще черными, чуть тронутыми нѣжной зеленью всходов, яркими полосами озимей, а больше клѣтчатыми, цвѣтистыми квадратами — это разными цвѣтными травами цвѣтут пустыри, пашни, которых плуг и соха нынче не коснулись. На другой, на военной страдѣ пахаря орудуют, а может уже отпахались навсегда...

И опять заклокотали в горлѣ слезы, не уймутся никак. А между тѣм эти цвѣтистыя полосы, даже цвѣтущіе пустыри, гдѣ бѣлой кашкою, гдѣ желтою горчицею, гдѣ розоватым пыреем, а гдѣ синею вязилью — радовали глаз и вмѣстѣ усиливали тоску и одиночество:

— Господи, благодать-то какая! — Вмѣстѣ с этими словами к слезной скорби прибавилась какая-то доля покорности, почти молитвенной, сужденной, стало-быть угодной Господу, Имя Котораго она все время жалобно призывала.

И то, что Ермилыч, даже Ермилыч покорился этой своей судьбѣ, вдруг выпрямилось в душѣ Насти в стойкое сопротивленіе разслабляющей печали. При всей Настиной простотѣ, при всей ея неопытности в дѣлах житейских, вот эти развернувшіяся перед нею пашни подсказали ей простую мудрость: если Ермилыч, получеловѣк, питающійся лежа на спинѣ, лишенный слова, ушедшій от семьи, чтобы не терзать ее своим

видом, может переносить жизнь, которая страшнѣе смерти, то всѣм здоровым, всѣм молодым и подростающим грѣшно приходить в отчаяніе. Слезами горя не поправишь все равно.

Старательно и долго вытирала она свои глаза, просморкалась, по-мужицки, прямо с сѣдла на землю, вытерла лицо рукавом сарафана и пришпорила свою лошадь. Даже постаралась улыбнуться Фирсѣ, крикнула:

— Эй ты, лыцарь, не спишь?

— Не-е! — Повеселѣл парнёнок.

Гнѣдчик, срывая по дорогѣ с грядок высокіе стебли травы, мотнул в знак согласія удилами и пошел хорошей рысью вслѣд за Настиной лошадью.

Тут, со взлобка перед нею раскрылась в долинѣ, как из волны выплыла, широко раскинувшаяся, мелькавшая в розовых предзакатных лучах, как серебряная паутина, поскотина, которой обнесены были широкія пастбища Полуяровых.

Самой заимки еще не было видно из-за тополевых рощ, которыми всѣ постройки и дом были защищены с востока и сѣвера. Но Настя поняла, что это и есть заимка богачей Полуяровых. Она еще раз вытерла свое лицо, пріоправилась. Даже остановилась, чтобы вытереть носы ребяткам, отряхнуть с них пыль, поправить сѣдла, подтянуть ослабшія подпруги. Когда опять проѣхали немного, Савелька раскис, его валил сон и трудно было ѣхать с ним, отяжелѣвшим, на рыси.

Переложила с руки на руку Савельку и сказала Фирсѣ:

— Видишь заимка-то какая впереди — у каких людей ночевать будем.

Фирся понял. Это значило — надо держать себя в порядкѣ. Подходить к матери, когда надо нос вытереть передником или проситься куда будет нужно, самому не убѣгать далеко.

В голосѣ Насти еще скрипѣл слезный надрыв, но вмѣстѣ с тѣм звучала гордость матери — показать чужим людям своих дѣтей, здоровых, ладных, умненьких, хорошо одѣтых. Не какіенибудь, а Чураевскаго роду — два сына ростит...

Солнце распылалось на закатѣ. В ослѣпительном пожарѣ встрѣчных лучей трудно было разглядѣть заимку. В простор-

ном охватѣ поскотины травы были как бы скошены и скот ходил в розсыпь, отдѣльными стадами — коровы дойныя и молодняк, овцы и широко разбредшійся табун лошадей. По количеству скота не трудно было угадать обширность хозяйства. Вытоптанный выгон сам за себя говорил — для всего скота выпас уже тѣсен. За гранью поскотины — опять все тѣ же пашни, покосные луга, темные приплюснутые стога прошлогодняго сѣна. Долина рѣчки уходит изгибом вправо от дороги и влѣво, в золотистую даль предгорій. Даже Фирся вглядывался в этот пашенный простор. В горах у них пашни висят на крутых склонах, как картины в рамах густого лѣса, а здѣсь пашни сплошь, во всѣ стороны, куда глаз доносит. Даже Савелька спросонья щурился на позолоченный закатом простор, пестрый, разноцвѣтный и неоглядный, среди котораго, как зеленый остров, возвышалась обширная роща, укрывавшая дома, амбары, дворы, путанную городьбу из жердей и кольев.

Разстояніе на равнинах обманчиво. Настасья не могла угадать — сколько будет до заимки —верста или три версты. С сѣдловины казалось, что заимка вот она тут, у подола покатаго склона, а съѣхали вниз — ѣдешь, ѣдешь — все еще далеко.

Цѣлый день в сѣдлѣ и так истомил, а эти послѣднія версты казались безконечными. Вмѣстѣ с тѣм, по мѣрѣ приближенья, наростало безпокойство: видать люди богатые. А у богатых нрав бывает разный. Примут ли так, как увѣрял Минеич.

Вдруг, справа из-за взгорбленной свѣжевспаханной полосы, послышалось распѣвное и молодое:

— Эй, вы, со-колы-ы! — И вскорѣ на взгорбленность к дорогѣ вышла шестерка лошадей, впряженных парами в плуг. За плугом оставались сразу два пласта цѣлинной пахоты. Плуг был двухлемешный. Настя остановила лошадь. Фирся, оглянувшись, круто повернул в траву и снова выѣхал на дорогу. Показал перед пахарями умѣнье молодецки править лошадью. Настя еще никогда не видывала, чтобы в плуг

впрягали лошадей парами. У них и тройками в горной мѣстности по цѣлинѣ не сдвинешь.

— Гляди-ка, Фирся: плуг-то двѣ борозды сразу ведет! Вот гдѣ пахаря-то настоящіе! — Фирся вбирал глазами все так, что на всю жизнь запомнит. Эти два дня для него были такими длинными, как годы. Столько в них увидѣл и услышал...

— Соко-олики-и! — неслось от шестерки дѣвически-звонкое. И слышно было, как приближавшіяся лошади тяжело дышали и, упираясь в землю, спѣшили к краю полосы, зная, что тут передышка от тяжести. И слышно было, как под лемехами похрустывали корешки трав и мелкаго кустарника дѣвственной цѣлины, и как равномѣрно, по шагу лошадей, позвякивала сбруя. Упряжь сыромятная, ременная, видать не наскоро справленная хозяевами.

Покрикиваніе на лошадей неслось от подростка-всадника. Он сидѣл в сѣдлѣ на одной из лошадей средней пары. В лѣвой рукѣ его были вожжи от передней пары, в правой — длинный кнут, которым, однако, он ни разу не стегнул лошадей, а лишь помахивал в такт своих окриков, пощелкивал, посвистывал. Вся шестерка, темная от пота, была разных мастей, но покрыта пѣной под шлеями и на боках, и везла она плуг дружно, в кнутѣ не нуждалась и выглядѣла сытой, жирной, оттого и пѣна под шлеями.

Вот шестерка вышла на край полосы, плуг вывернулся из борозды и шедшій за ним пахарь разогнулся. Настя и даже Фирся раскрыли рты от изумленія. Это был невиданнаго ими роста, с длинной, русой бородой, мужик, в бѣлой, холщевой, потемнѣвшей от пота рубахѣ, охваченной узким ремнем и свисавшей до колѣн. На головѣ его была рыжеватаго цвѣта шляпа-самокатка, из овечьей шерсти, из которой валенки катают. Она была похожа на удлиненный, подгорѣлый пирог из ржаного тѣста.

Но и разогнувшись, пахарь продолжал смотрѣть в землю, косясь на шестерку лошадей и слѣдя за высвѣтленными лемехами плуга, приподнятыми на время заворота. Он даже не взглянул в сторону Насти. Сдѣлавши полукруг заворота, он

всадил плуг в новую борозду и стал удаляться вдоль свѣжей пахоты от дороги. И шестерка снова скрылась за взлобком полосы.

Настя растерялась. Она узнала — это был тот самый Панфил Кузьмич, хозяин заимки, к которому ее направил Минеич. А даже не взглянул. Понравилось ей, как он шел за плугом, как разогнулся — косая сажень, и как опять склонился, точно бы какая своя великая забота — дума его гнула к землѣ. А все же было как-то страшно продолжать путь к заимкѣ, и стоять — ни то, ни сё. Но все таки она стояла, не зная как рѣшить. Время, пока шестерка сдѣлала весь новый оборот, показалось долгим и мучительным. Но, видимо, за поворотом, паренек сказал пахарю, что он видѣл кого-то у края полосы, потому что на обратной бороздѣ пахарь еще издали поглядывал в сторону Насти. Настя рѣшила подождать. Но и на этот раз пахарь, не взглянувши на нее, не поздоровавшись, сдѣлал новый поворот, снова запустил плуг в борозду и пошел от края вдоль полосы. Но вдруг послышался его густой, окатистый, как бы облегченный, оклик:

— Сто-гой! — Это прозвучало трубно и напѣвно, как зов горнаго марала в бывших садах Чураевских.

Лошади стали. Пахарь выпрямился. Сказал что-то паренькy, который остался в сѣдлѣ. Снял с головы свою шляпу, стряхнул с нее пыль ударом о колѣнко, надѣл опять, и на ходу к дорогѣ, все еще смотря в землю, пальцами потрепал свою бороду, с той же, видно, цѣлью — отряхнуть с себя лишнюю земляную пыль. Шаги его были не спѣшны, но широки. Запыленные большіе сапоги-бутылы были перевязаны ниже колѣн ремешками. Штаны из домотканной пестрядины чисты, но в заплатах. От него сразу пахнуло крѣпким, здоровым потом, котораго Настя давно не чуяла, может с дѣвических лѣт, когда также пахло от отца на покосѣ в жаркій день работы.

Приблизившись, мужик на Настю не взглянул, а внимательно оглядѣл ея лошадей, похудѣвших, понуро-задремавших от долгаго похода. Потом он поднял взгляд на Фирсю, кото-

рый встрѣтил его взгляд со страхом, но непоколебимо стойко, не моргнувши. Была в этой минутѣ молчанія, во всем видѣ пахаря, в его движеніях, сила покоряющая и мощь ошеломляющая. Настя не выдержала и первая сказала:

— Бог в помощь, добрый человѣк!...

Но пахарь не отвѣтил ей. Он потрогал свою бороду, которая от пыли казалась полусѣдою и сбочилась на плечо, прокашлялся — видно, что у него в горлѣ от молчанья и от пыли пересохло, и только теперь поднял на Настю свои большіе, сѣрые, зоркіе глаза и спросил совсѣм новым, мягким, пониженным голосом:

— Откуда Бог несет? — И, сдѣлавши рогульку из двух пальцев, направил их в Савелькино пузо. И так ухмыльнулся, что если бы тут была зимняя гололедица, то и она бы растаяла. И, не дожидаясь отвѣта от Насти, он хозяйским глазом окинул лошадей и прибавил: — Видать, издалека, — лошадито перепотѣли.

— Да вот, поклон тебѣ от Семёна Минеича привезли, — начала, было, Настасья, но по тому, как Панфил Кузьмич скользнул глазами по переметным сумам позади сѣдел, слова ея о поклонѣ были уже излишни. Хозяин понял, что баба из горных мѣст и, стало быть, надо принять, как желанную гостью с быстрых рѣк всѣми почитаемаго Бѣловодья. Имя же Семена Минеича только подтвердило эту догадку. Тихая и добрая усмѣшка из под густых, порыжѣвших бровей его скользнула в длинную русую бороду и остановилась на Фирсѣ. Губы под густым навѣсом усов как-то приподнялись, образовали трубочку и выпустили шутливый свист:

— Ишь ты, соколенок!... — И сейчас же отвернулся, посмотрѣл на солнце, на упряжку в плугѣ и зычно крикнул сидѣвшему в сѣдлѣ подростку: — Распрягаться будем, сынок! — И, не оглядываясь, пошел к нему, продолжая распоряженіе: — Сиди, сиди, я отстегну вальки постромок.

Красный круг солнца уже совсѣм коснулся горизонта и окрасил лица Насти и ея дѣтей и от этого всѣ их лица казались розовыми, смѣющимися, счастливыми.

Распряжка была проста и быстра. С подвѣшенными к шлеям вальками постромок шестерка отдѣлилась от плуга, остававшагося в землѣ, и тронулась к дорогѣ. Панфил вскарабкался на одну из лошадей, что покрупнѣе и, не оглядываясь, направил ее впереди всѣх, вдоль дороги, к заимкѣ. Настя видѣла, как его длинныя ноги бороздили по высокой травѣ подорожных грядок.

Улыбаясь, она покорно поѣхала слѣдом. Солнце сѣло и сразу погасло, как только они спустились в долину. Вмѣстѣ с прохладою откуда-то повѣяло свѣжею травой и степной полынью, не той, крупной и зеленой, что ростет на пустырях, а мелкой, ароматной, серебристой, которую кладут в постели, чтобы не велись клопы и блохи. Это значило, что они приблизились к выгону в поскотинѣ. Паренек проворно соскочил с сѣдла и, понатужившись, открыл широкія, жердяныя ворота, пропустил всѣх и, бороздя столбиком, державшим весь переплет воротины, закрыл поскотину. Только тут, пользуясь остановкой, Панфил взглянул в сторону Насти, но ничего не сказал, только ухмыльнулся Савелькѣ и снова, издали, поднял в воздух и потыкал в его сторону рогулькою из двух пальцев.

— «Видать, что скуп он на слово. А скажет, истинно, рублем подорит...» — рѣшила Настя и на душѣ ея стало так тепло, что вновь хотѣлось плакать, но не от горя, а от нечаянной какой-то радости. Она сердито внутрь себя нахмурилась, чтобы удержаться от бабьей слабости.

При въѣздѣ в самую усадьбу на Настю повѣяло незнакомым запахом тополей — они осыпались липким, сладковатым цвѣтеніем и, когда остановились лошади, явно слышен был их странный, переливчатый шепот. В запах от тополей вмѣстѣ с легким вѣтерком ворвался из-за домов и амбаров рѣзкій запах навоза. Много было скота и всякой живности у Панфила на заимкѣ. Панфил перекинул одну ногу через голову своей лошади и шагнул на землю. Первым его дѣлом было подойти к Настѣ и принять из рук ея Савельку. Это было тоже лучше всяких слов и приглашеній. Фирся спрыгнул сам, а навстрѣчу Настѣ из разных концов усадьбы и из дома устремились дѣ-

вицы, молодицы, дѣти — что-то очень много. Послѣдней на широком и раскрашенном крыльцѣ большого дома появилась крупная, полная, дебелая женщина. И это ея голос, пѣвучій и свободный, покрыл всѣ остальные голоса:

— Ой, Господи, да ты вѣдь, дѣвонька, измаялась, поди-ка!... Да ты никак из гор с сумами-то одна, с ребятками прикатила? — И полилась ея команда по всѣм направленіям: — Дѣвки, берите лошадей-то, разсѣдлайте да под крышу их. Ночи-то теперь еще прохладны. Да дитятко-то малое какое!... Тоже Ерусланом ѣхал?... Оте-ец! — Обернулась она в сторону Панфила, но Панфил уже пошел к дверям амбара и за ним устремилось все многочисленное птичье царство: индюшки, гуси, утки, куры, которым как раз в это время надо уже взлетать на сѣдало. Это было время их кормленія, а кромѣ самого хозяина никто не смѣл распоряжаться зерном. Дѣло весеннее, когда-то новое зерно выростет, созрѣет да намолотится! Но сам хозяин, вмѣсто экономіи, всегда был щедрѣе тѣх, кого ограничивал... Ну, уж своя рука владыка. За то и удовольствія этого он никому не уступал. Этот крик, гогот, кудахтанье, индюшечье булдыканье — все было теперь в сплошном вихрѣ возлѣ его ног. Потому он широко разбрасывал в разныя стороны золотыя струи зерна и позабыл о гостьѣ, о рабочих лошадях, обо всем, что послѣ кормленья птиц опять им овладѣет. Он спѣшил предотвратить птичьи драки около отдѣльных кучек зерна: шире, размашистѣе сыпал зерно туда, сюда, вдоль, напротив, позади себя. Играл с прожорами, радовался, что невозможно всѣх пересчитать — многія еще на гнѣздах... Вот молодняк подрастет, да разных возрастов, да разных пород — вот тогда управься с ними, вот тогда их всѣх ублажи... Прорва!...

— А ты сам ѣхал, как большой, а? — Ах ты вѣтер мой бѣдович — разносился по усадьбѣ голос хозяйки, Макрины Степановны. — Дѣвки, воды-то в рукомойникѣ довольно-ли?... Сюда, гостьюшка, сюда, родимая, сперва помойся с дороги-то, потом и попитаться чѣм Бог послал... Сегодня будем в стряпчей избѣ обѣдать, ужь не посуди — со всѣми вмѣстѣ. Семья-

то у нас — цѣлая свадьба... Парунюшка, бѣги-ка, полотенце чистенькое принеси. А ты, Ненилушка, ребяток-то догляди — тоже помыть их надо, гляди, глазки-то пыль запорошила. А ты их прямо в баню — там способнѣй и раздѣть и выхлопать...

Оторопѣла, онѣмѣла Настя. Не то во снѣ все это, не то на-яву. И как-то не было у нея слов для возраженій. Дѣлала все, что говорили ей, шла, куда вели, улыбалась и вздыхала. А дѣвушки и молодицы бѣгали, как стрѣлы носились туда, сюда, взбѣгали по крыльцу в дом, появлялись неожиданно из разных дверей, всѣ яркія, веселыя, бойкія, потому их казалось больше, нежели на самом дѣлѣ. И дѣлали все быстро, споро, согласно и с неподдѣльной радостью. Точно все это у них было заранѣе разыграно и осталось только повторить каждой свое заученное дѣло.

И все еще никто не спросил, откуда она, кто и почему. Довольно, что сам хозяин ввел в ограду ея маленькій караван. Довольно, что она мать двоих малюток-мальчиков. Этого не проглядишь со стороны и подвоха из этого не сдѣлаешь. Сѣдла на лошадях дорогіе — отсюда первое довѣріе, сумы — знак дальняго пути, а дѣти — пѣсня без слов, трогающая всякое доброе крестьянское сердце.

А в это время вокруг Панфила все еще трепыхало крыльями, шарахалось, прожорливо клевало, дралось, вскрикивало и волновалось птичье море. Это птичье море краснорѣчивѣе всего сказало Настиному сердцу и о благосостояніи этих людей и о правилах их жизни и о широтѣ их ласки к незнакомой, мимо проѣзжающей гостьѣ, незванной-непрошенной. А и хорош мужик: до чего могутной, до чего молчаливый, тут слов напрасно тратить нѣт нужды. Ишь, как щедро сыплет зерном... Сыплет и сыплет!...

Рукомойник, фигурчатый чайник из чернаго чугуна, висѣл на цѣпочкѣ у крыльца стряпчей избы, из носка его лилась тонкая струя прохладной, ключевой воды — точно новая струя невѣдомой доселѣ жизни освѣжала лицо и шею и руки до локтей загорѣлой, огрубѣлой Насти, и любо ей было

оглядывать обширную ограду и открывать все новое и новое в том новом царствѣ, в котором она так нежданно-негаданно очутилась. А царство это сперва было столь загадочным и даже темным и страшным, как черныя нѣмыя борозды свѣжей пахоты, уходившія за взгорье, за которым одно время пряталось такое непривѣтливое небреженіе: не взглянул, не остановился, ушел за плугом... И вдруг открылась маленькая дверца — та первая улыбка, сопровождавшая рогульку из пальцев в Савелькино пузо. От этой улыбки, как от волшебной силы, и наполнилось все теплотою ласки и заботы и веселых хлопот. Ничего о ней не знают, имени ея еще не знают, а видно, что принимают, как родную. Ново это для Насти, хоть и старо по обычаям в родных горах. Со старины повелось принять страннаго человѣка, как посланника Божія. Там, в горах, на глухих заимках даже и бѣглых каторжан, если случится, принимают, и в домѣ накормят и на дорогу поладут, другой раз в банькѣ попарят. Оттуда и обычай — не спрашивать, откуда, кто и чѣм занимаешься. Но все это давно было, на себѣ она этого не испытала, а о том, как сами хозяева об этом понимают, подумать было некогда.

Освѣжилась, не успѣла взять из сум, что надо для перемѣны дорожнаго платья, подбѣжали к ней двѣ молодицы, одна высокая, другая маленькая, но обѣ свѣжія своей юностью и красивыя в улыбках, — по головным повязкам видать, что обѣ замужем, и наперебой стали уговаривать:

— Да не надо тебѣ ничего доставать!... Поди тут в сумах то все смято — пойдем в горницу, мы тебѣ все сами дадим на сегодня. А завтра ты свое погладишь... — И правда, не хотѣлось ей свои сумы ворошить — там всякой всячины наложено, и хлѣб, и масло...

И опять, не возражая, пошла за ними, только сумы уложила в кладовую в корридорѣ дома — поближе, если нужно что. Но слово «завтра», сказанное так, как будто она гостить, а не переночевать пріѣхала, отозвалось в ней непонятной грустью — вѣдь надо завтра ѣхать дальше... Сон и сон!...

Ввели ее в горницы, одна другой нарядѣе, и пахнет

как-то чистотой и этой самой лаской — по окнам гераньки зацвѣли и фуксіи выглядывали из-за цвѣтистых занавѣсок, и перины на кроватях, как горы поднимались, и подушки — по-три, по-четыре с обѣих сторон — в изголовьѣ и в ногах, — всѣх не пользуют, а на случай пріѣзда гостей — не скажут, что подушек не хватило. Вспомнила о птицѣ — все из своего пера и пуха...

Подвели ее к зеркалу, большому, почему-то волшебному — это самое волшебное из всѣх видѣній — увидала себя Настя — лицо красное, загорѣлое, глупое от счастья, — и отвернулась. Стыдно почему-то стало. Вспомнила, что сама-то молода еще, свѣжа, высока и, ежели одѣнется, пригожа будет...

И сдѣлали ее пригожей двѣ молодицы — узнала тут же, когда онѣ наряжали ее — одна, Ненилушка — сноха, другая, Парунюшка — дочка хозяев. Обѣ солдатки, мужья на войнѣ. А тѣ, другія три, что бѣгали по оградѣ и лошадей разсѣдлывали — тѣ всѣ еще дѣвки, одна младшая дочка, другая молодицына сестра, а третья гостья — двоюродная сестра Парунюшки, а тѣ, что помельче — «просто ребятня тут наша». Не сразу запомнила, которая дочь, которая сноха. Когда спуталась, обѣ обрадованно помогли ей вспомнить: высокая — Парунюшка — Полуярова порода. Они всѣ — в небо дыра, а низенькая — Ненилушка, сноха и мать двоих ребяток... Мать?... Неужто мать? А смотрит, как даже незамужняя — так молода и так пригожа.

Когда спустились со второго этажа в первый — их встрѣтили еще двѣ — онѣ коров додаивали, потом готовили ужин — еще сестра Парунюшки и еще сноха, жена второго сына, только недавно забраннаго. И тоже молоды и тоже хороши и высоки, и успѣли свѣжіе сарафаны надѣть. Пахло от сарафанов праздником — как в магазинѣ с красным товаром. А когда вошли в стряпчую избу — большую, освѣщенную висячей лампой и лампадками у образов — там еще появились двѣ дѣвицы, кромѣ тѣх, которых Настя уже видѣла. Это двѣ племянницы, подружки замужних дочерей, из села — помогают коров доить и на маслодѣльном заводѣ управляться. Свой у

Полуяровых завод, не большой, не маслом, а сливками молоко то они отправляют на главный завод в большое село...

Стряпчая изба была просторна и опрятна, со скамьями вдоль стѣн и с длинным, покрытым пестрыми, домотканными скатертями, некрашенным столом, к которому дѣвицы подставляли скамьи, замыкая стол квадратом в угол, под божницу. В сторонѣ, в другом углу избы, стоял отдѣльный, низкий стол, с низкими скамейками и возлѣ него, среди притихших, разнаго возраста, дѣтей, Настасья увидѣла своих Фирсю и Савельку, о которых она впервые как-то не заботилась. Над ними ворковала бабушка, взявшая на себя заботу не только приручить и познакомить со своими внучатами пріѣзжих нелюдимов, но и накормить их всѣх раньше взрослых.

Панфила пришлось со двора звать и дожидаться. За стол никто еще не садился, но гостью провели и усадили с краю у стола, поближе к божницѣ. Бабушка ни на кого из больших не обращала вниманія, но что-то говорила и дѣтям и взрослым низким, не громким голосом так, что ее понимали сразу тѣ, к кому это относилось, но для посторонних даже слова ея были загадочны.

— Початок-то духовитый, а все не то, что в прежніе года... — Слова были обращены как будто к дѣтям — на них был направлен тихій, ласковый взгляд, а отвѣтила Парунюшка вопросом:

— А поноска прибыльна?...

— Да мы кой-гдѣ только с десяток открывали... Старик-то сам вам скажет...

Настасья поняла — разговор шел о початкѣ, о провѣркѣ в пасѣкѣ майской взятки.

В избѣ уже казалось тѣсно от людей — все больше бабы да дѣвки, Василек-подросток, тот, что пахал с отцем, старался казаться взрослым и был он уже высок, но тонок, как молодой тополек. Еще недавно за низким столом обѣдал, теперь — со взрослыми, но сѣсть не смѣет, хотя и притомился за день. Всѣ дожидаются отца и дѣдушку. Вошли они вмѣстѣ. Старик был тучен, но ниже сына — осѣвшая гора, но борода еще

длиннѣе и шла она двумя бѣлыми волнами на грудь. Так привык он ее загребать в горсть, проглаживать вдоль подбородка и вгибать к вороту рубахи, а потом разглаживать еще и по груди. Он прошел шаркающими, мелкими шажками — годы на него надавливали грузно — ему под восемьдесят, — ни на кого не поглядѣл, остановился посреди избы со взглядом на божницу и всѣ шорохи, всѣ слова вдруг погасли. Дѣти встали возлѣ их столика и тоже устремились на иконы.

— Очи всѣх на Тя, Господи, уповают... — начал не громко, как бы про себя Кузьма Иваныч. Ничего истоваго в молитвѣ не было. Это была привычка, семейный порядок, повторяющійся дома и в полѣ, всякій раз при началѣ и концѣ ѣды. Но крестное знаменіе у всѣх, от мала до велика, было истовое, размѣренное, широкое, и одновременное у всѣх.

— «Молятся, как у нас», — вмѣсто молитвы думала Настя и ей было пріятно, что и по вѣрѣ и по обычаям — это свои люди, родня.

Сѣли всѣ чинно, безшумно, без разговора, только Настю пригласили сѣсть поглубже в угол, рядом со стариком, по лѣвую руку, а по правую сѣл Панфил Кузьмич.

Теперь послышались слова Макрины, негромкія, но складныя, пѣвучія, направленныя то к младшим дочерям, то к молодицам. Двѣ из них служили у стола. Подавали быстро, каждая свое. Одна из молодиц, Ненилушка, и дочь Парунюшка сѣли за стол: Ненилушка возлѣ гостьи, Парунюшка возлѣ отца.

Всѣ стали брать ломти хлѣба из большого, деревяннаго, раскрашеннаго блюда, и сейчас же голос матери распорядился:

— Феклушка, хлѣба-то подрѣжь, подрѣжь, мила доченька!

И как только квас из жбана убавился, опять напоминаніе:

— Марфонька — подлей, подлей кваску... Да полотенце подлиннѣе принеси. Видишь у отца-то полотенце короткое.

Полотенце, что было подлиннѣе, лежало на колѣнях дѣдушки и протягивалось на колѣни гостьи и дальше — руки и губы вытирать, а от отца должно было достать в длину скамьи — там тоже гостьи, племянницы сидѣли.

Молодица-дочь и молодица-сноха: Аннушка и Зиновея подавали, подавали. Лица их были румяны от загара, озабочены, а голоса между собой понижены до шепота. Ни разу обѣ вмѣстѣ не покинули стола: одна здѣсь, другая уходит, одна возвращается, другая шумит сарафаном — спѣшит подать очередное.

Разносолы-кушанья были обильны и вкусны. По вечерам, даже в будніе дни, видать здѣсь ѣли много, медленно, как в праздник, и толк в ѣдѣ знали и ѣсть умѣли с чувством, не спѣша. От щей курился жирный, вкусный пар, от ворохов жареной птицы — трудно было оторвать глаза. Сливочное, своей сбивки, масло лежало горками на двух концах стола. Каша пшенная была крута, желта, как воск, разсыпчата. На ней деревянной ложкой выдавлялись ямочки и в них лилось масло топленое, еще горячее. Шинкованная капуста была со льда, нарѣзана так мелко, что можно было принять ее за пряди тонких ниток. Она розовѣла окраскою на-тонко нарѣзанных круглых ломотков свеклы. Соленые огурцы в разсолѣ с мятой и с укропом плавали в широкой гончарной мискѣ. Хлѣб был всякій: черный — ржаной, бѣлый — пшеничный, сдобный — калачиками, кипяченый в маслѣ, круглый — булочками с поджаренной корочкой — сибирскія шаньги, и шанежки творожныя и еще особый ситный — в четверть аршина высотой — нажмешь на него сверху, а он как на пружинѣ сейчас же вверх подпрыгнет. Калачики из крупчатки подали позже к суслу, вареному с сухой клубникой. Возьмешь калачик или шанежку — они еще в пальцах похрустывают и шанежки подогрѣты, как со сковороды. Остынут — от печи другое блюдо подают. А молоко возлѣ дѣтского столика прямо из ведра черпают. Пей хоть кувшинами — только рады будут.

— Ѣшь, ѣшь — поѣдай, — вдруг первым раздается приглашеніе Панфила, обращенное к Настѣ. И взгляд Панфила только покосился, только скользнул по опустѣвшему блюду с румяными калачиками — сноха Аннушка в один миг догадалась, принесла, пополнила.

— И медку-бы! — Это произнес сам Кузьма Иваныч.

Потому что не принято в будніе рабочіе дни медок пить за столом. Но старик понял — гостья, и он благословит по стаканчику, только старшим да гостьѣ.

За медом идти — дѣло уже хозяйское. Это знать надо, какого сорта, из какого логушка. Открыть, закрыть — все надо самому. И на молодиц поклепу не будет — дескать украдкой выпила и посудину какую уронила... Так может уронить, сломать, со всяким всякое бывает, а урони послѣ погреба — всякій может согрѣшить, подумать, что выпила...

Ох-же и медок! От перваго стаканчика Настасьины ноги так и приковало к полу. И смѣх и грѣх, и отказаться было не прилично — для нея медок достал Панфил Кузьмич.

—Пчелок ворошить, думаю, рано. — Голос у старика не басовитый, скорѣе тонкій, но послѣ второго стаканчика помягчѣл и потеплѣл. — Вот уж отроятся — тогда первинку подрѣжем. Осотинок-то привез сегодня да темноваты. Цвѣток то разный на полях, пустырей-то сколь нынче непаханных. Онѣ летят куда попало — обзарятся, вощина-то и не того... Не чисто-бѣлая еще. Ну, онѣ это поправят... — В этом послѣднем выраженіи довѣрія самим пчелам — рѣчь Кузьмы Иваныча была слаще и меда для Насти. Дѣдушка Фирс Чураев вспомнился. Так-же вот просто и ясно, только у того голос был громкій и, когда близко подходил и ждал отвѣта — на вопрос, — рот держал открытым.

Сам хозяин, Панфил Кузьмич, так больше ничего и не сказал за все долгое время ужина. Только перед концом взглянул на Василька — тот понял, быстро вышел из-за стола, одиноко помолился на иконы и ушел. Лошадей к сѣну спустить. В полночь Панфил встанет ровно с первыми пѣтухами — напоит, задаст овса. Пахать они выѣдут на зарѣ. По холодку приходится пахать, перед Петровым постом, — днем-то овод донимает лошадей. Днем и он в амбарѣ часок всхрапнет. А сейчас и всей семьѣ пора спать. Свѣта в домѣ зря не жгут, да и вставать всѣм тоже на разсвѣтѣ.

Когда всѣ встали на молитву, Настя встала послѣдней.

Едва оторвала ноги от пола и чуть не расхохоталась на молитвѣ. Что же это с ней доспѣлось?

И когда шла вмѣстѣ с молодицами в их горницу — едва тащила ноги. И не удержалась, громко разсмѣялась и сказала:

— Да что же это со мной дѣется? Вѣдь будто я не пьяная, а себя не чую...

Всѣ громко засмѣялись. Когда вошли в горницу, она сѣла на первое попавшееся мѣсто и потихоньку продолжала смѣяться. Мысли ея были ясны, а ноги не держали. Вскорѣ вошла Макрина Степановна и повела за молодиц бесѣду. Слова из уст ея лились без принужденья, гладко, просто и понятно.

— Ненилушкин-то муж, большак-то наш, ужь третій год воюет. С перваго грома забран. — Она разсказывала это для развлеченья Насти. — А Аннушкинаго только зимусь забрали. Двое ужь у меня внучат: старшенькой-то вот четыре года будет, а меньшой-то твоему малышу будет ровесник — без отца родился. Ростут — бабушкѣ — забота, а прабабушкѣ забава. Из сынов-то Василек один остался на поглядочку, а робит, как большой. Да и сам-то мой, дай Бог здоровья, поневолѣ молодцем доспѣлся: до зари встает да до потух-зари работает. До войны-то пятеро годовых работников нанимали, а теперь даже и дѣдушка замѣсто пастуха должон за скотиной доглядывать.

И про племянниц и про дочерей:

— А и дѣвки-то работают замѣсто мужиков. Вчера да сегодня больше двух сот овечек остригли. А бабье ли это дѣло? Племянницы-то обѣ уж на возрастѣ, а гдѣ их нынче женихов-то взять?

Пока Макрина разсказывала, обѣ молодицы незамѣтно вышли из горницы и вскорѣ опять появились из разных дверей, одна послѣ другой. В руках позади себя онѣ что-то держали и выжидательно улыбались.

— Ну, покажите, покажите, — разрѣшила Макрина и разъяснила Настѣ — это онѣ патретики своих-то показать тебѣ желают. Ужь я по глазам вижу...

Первой выступила Ненилушка. Темныя длинныя рѣсницы

над глазами, синими, как васильки, дрогнули. Смѣясь, она пыталась удержать накатившуюся слезу нѣжности и ласки и тоски. Она смахнула ее концом нарукавника — фартуки в тѣх мѣстах носили с рукавами, чтобы сарафан спереди не пачкался. На груди ея подпрыгнули и затрепетали три тяжелыя нитки бисеров и настоящих янтарей, таких настоящих, что их блеск отсвѣчивает глубоким дымчатым огнем, а звук их подобен хрусту тонких, нѣжных пальцев, выражающих волненіе. Ненилушка имѣла привычку подавлять волненіе швырканіем тонкаго точенаго носика и вся ея маленькая, тонкая фигурка, видимо, боролась против нахлынувшей силы любви. Хрупким, низким, ровным голосом она сказала просто:

— Это он нам к Пасхѣ прислал, когда его в унтера произвели. — При этом она, отводя влажные глаза в сторону, мимо свекрови, посмотрѣла на стѣну в горницѣ, гдѣ в рамкѣ под стеклом висѣл аттестат ея мужа об окончаніи им, подростком, Березовской четырехклассной школы.

Настя с восхищеніем всматривалась в расцвѣченную фотографію, на высокаго, невиданно-красиваго воина в мундирѣ с малиновой грудью, с перчаткою в одной рукѣ, которая была сама в перчаткѣ, а другую, без перчатки, правую, он молодецки приложил к фигуристому киверу, отдавая честь. Он снят был во весь рост, стройныя ноги в высоких сапогах тоже невиданной формы. Лицо его было строго, чисто, с чуть подкрученными усиками... Макрина издали любовалась сыном, но больше наслаждалась произведенным на гостью впечатлѣніем. И робким, надтреснутым голосом сказала Настя:

— Господи, да он же у вас царь-царевич!

Ничто, казалось, не могло так наградить Ненилушку и мать и сестру Парунюшку, как именно такое сказочное слово: царь-царевич...

— В царской он гвардіи, в Питерѣ, да, в Питерѣ находится — с гордостью отвѣтила Макрина Степановна и сама передала обратно карточку снохѣ.

Настала очередь Парунюшки, которая все еще держала свой портретик позади себя, как бы боясь состязаться с бра-

том. Брат, понятно, Полуяровой породы, богатырь и к тому же унтер и в мундирѣ царском, но кто же поймет, как дорог ей ея солдатик милый.

Парунюшка с высоты своего роста поклонилась Настѣ, когда передавала карточку.

— А это Епифан мой Тимофеич! — Голос у нея был тонкій, сочный и распѣвистый и волосы из под головной повязки то и дѣло выпадали — тяжелые, их надо было все время пальцами вправлять под кашемировый платок. Другой рукой она придерживала янтари, чтоб не гремѣли при поклонѣ. Нѣт, это она сердце в груди придерживала. Поэтому говорила она с придыханіем, не дожидаясь разъясненій матери: — Он тоже Березовскую школу проходил. Ну, он еще только ефлетур.

Тут уже Макрина прибавила, чтобы Ненилушка не задавалась:

— Семь мѣсяцев как его забрали, а пишет, что три раза Бог привел в дѣйствіи быть и за послѣдній раз... Видишь на груди-то?...

Да, этот был простой, не очень высокій, но крѣпкаго сложенія, бравый, в фуражкѣ на-бекрень, в полной походной обмундировкѣ, со свертком шинели через плечо, с винтовкой у ноги и с крестиком на лѣвой сторонѣ груди.

Парунюшка опять сама, вслѣд за матерью, сказала свое, и лицо ея, бѣлое, вспыхнувшее краской, сіяло юною, безоблачной улыбкой счастья:

— Так и написал: не снялся бы, ежели-б, говорит, не получил Георгія...

Настя любовалась карточкой и особенно Георгіем, и свое, тревожное, щемящее и вмѣстѣ тоже гордое и радостное подступало к ея груди и к горлу. Не утерпѣла и сама, не дожидаясь вопросов, сказала раздумчиво и печально:

— Вѣдь и мой-то ужь теперича давно кавалер... — Глаза ея запали — уже двѣ ночи недосыпала да дорогою измаялась. В сравненіи с молодицами в это время она казалась постарѣвшей, а и всего-то может на пять лѣт старше младшей.

Задумалась, засмотрѣлась на карточку. Нѣт у нея карточки Кондратія — показать бы им, чтобы повѣрили, что герой, не соврала...

— Кавалерист и тоже в чинѣ... А только что вот девять мѣсяцев ни слуху от него ни духу. Вот и поѣхала его разыскивать, Кондратія Ананьича своего предорогого...

Как-то все сразу примолкло в горницѣ. Молодицы переглянулись с Макриной, а Макрина посмотрѣла на Настю, как бы впервые ее увидѣла и протянула почти шепотом:

— Разы-ыскивать?...

Опять всѣ помолчали, потому что Настя не отвѣтила. Ей самой теперь казалось, что сама не в себѣ и говорит неправду. Но очнулась, как разбуженная послѣ крѣпкаго сна, и заволновалась:

— Да что же ребятишек-то я своих бросила? Вѣдь Савельку-то надо спать укладывать...

— Ну, об дѣтях ты ужь не заботься. Бабушка тебѣ и не отдаст их. Сама-то притомилась. Дѣвки, стелите-ка для гостьюшки постель...

А Настя чуяла, что она уже спит и видит сон, хорошій, долгій сон... Ужь очень все так хорошо, так неправдишно, что лучше и не просыпаться. Смотрѣла она на домотканные, цвѣтистые половики, на покрывало на кровати, на занавѣски на окнах, на высоко взбитыя подушки и на все такое хорошее, добротное, новое, неправдишно-тихое и чѣм-то дорогое. Сон и сон! Но вдруг проснулась, уронила голову к себѣ же на колѣни, молодая, гибкая, нарядная в чужем новом нарядѣ, и в голос завопила:

— Да родимыя вы мои!... Незнакомыя мои подруженьки!.. Да не знаете вы горя моего, несчастія!... Вы не вѣдаете даже моего имени и отчества!... — И пошла причитать, складно, пѣсенно и надрывно, каждым словом своим проникая в сердце. Сочиняла, как когда-то со своими подружками частушки на ходу сочиняла, и залйвалась-плакала, как плачут над родным покойником...

И заплакали всѣ три женщины, тихо, беззвучно, потому что слушали каждое слово, каждый вздох, каждый стон своей незнакомой, но уже по-родному близкой и понятной гостьюшки. А она также внезапно прервала себя, тяжко выдыхнула послѣднюю скорбь, вытерла глаза и новым, крѣпким голосом, торопливо, чтобы успѣть сказать больше, начала разсказывать про жизнь свою, про родное покинутое гнѣздо, про мужа, про весь Чураевскій род и быт и бывшее счастье...

Георгій Гребенщиков

БѢЛАЯ РЕСПУБЛИКА

Два профиля были похожи друг на друга, как два «до» в двух разных октавах: тот же очень большой и тонкій нос, тот же расширенный, исчерна синій глаз; остальное занимало мало мѣста, и было несущественно.

Линія носа продолжалась в ровное плоскогорье лба и разсыпалась над ним темным фонтаном волос — на лицѣ человѣка. У птицы — это были перья, глянцевито черныя и упругія; в одном мѣстѣ, повыше виска, яркая красная кровь быстро темнѣла в лучах солнца, и на темное набѣгала, алѣя, новая свѣжая волна.

Два профиля были совсѣм рядом: человѣк склонился над птицей, лежавшей на его ладони, и поцѣловал ее в лоб. Раненый галченок, лежавшій без движенія, слабо трепыхнул крыльями, и, собрав послѣднія силы, нанес удар клювом. На лбу человѣка показалась капля крови, и поразительное сходство их стало еще больше.

Таким запомнился мнѣ Кито. Прозрачнѣйшим альпійским утром я встрѣтил его на склонѣ горы Бюэ; мы вмѣстѣ продолжали путь до вершины; при спускѣ разыгралась мятель, и мы едва не погибли.

Наканунѣ, я долго не мог заснуть, в своей постели в маленьком отелѣ в Шамони. Луна смотрѣла в окно, обливая зеленым свѣтом громадную массу Монблана. Что-то совершалось гдѣ-то; из Парижа протянулась нить, и на концѣ этой нити тончайшаго вещества — я, как маленькій сѣрый червяк на паутинкѣ колеблемой вѣтром, качался в воздухѣ. Я мог только прослѣдить, что мѣстом прикрѣпленія моей мысли была фраза, скрытый смысл которой ускользал от меня: «Раковина, наполненная шумом моря, резонирует все сильнѣе по мѣрѣ

приближенія к океану». Я знал, что должен что-то понять, и пока не пойму, покоя не будет; мнѣ было трудно. Со страстной мольбою обращался я в пространство, куда-то туда, гдѣ в небо врѣзались зигзаги горных вершин: «Помогите мнѣ, силы! Помогите мнѣ понять!» Над Монбланом катилось зеленое облако, разсыпавшееся вуалью. Монблан «курил трубку». Быть назавтра бурѣ.

Рано утром, вскинув на плечи горный мѣшок — багаж свободнаго человѣка — я покинул гостинницу. На тяжелых гвоздями подбитых сапогах словно выросли крылья, и чудесно было — жить, дышать, летѣть — двигаться по тропинкѣ в гору. И в ритмѣ движенія, в волнах радостнаго воздуха, наполнившаго легкія, потонуло недоразумѣніе неразрѣшеннаго вопроса. Вверх, все вверх — чтобы стало еще легче.

Горный поток — музыка долины; но истоки его — за предѣлами долины, вверху. Там, вверху, раскинулась Бѣлая Республика. Границы ея проходят по горным хребтам. Ея внѣшній круг — изумрудный. Здѣсь текут прозрачные ручьи, порхают яркія бабочки. Зеленые луга усѣяны цвѣтами, и нѣт подобных по краскѣ своей альпійским цвѣтам; это уже не «цвѣт», а «свѣт», — точно близость неба с его сіяніем дает краскѣ особый блеск, очищая и углубляя ее. И пахнут эти цвѣты особенно, ни на что на землѣ не похоже; если будут найдены такіе духи, их надо назвать «Пространство». Все полно здѣсь цвѣтов, все полно солнца. Рай на землѣ, вот он, — кругом.

Но из зеленаго рая мы уходим вверх, туда, гдѣ скалы и снѣг. Это — круг второй, жемчужно-сѣрый. Кое-гдѣ еще свѣтятся отдѣльные смѣлые цвѣты, бѣлая звѣздочка примаверы и голубая — жансіаны, — передовые посты жизни; но уже исчезает видимый путь — тропинка, лишь кое-гдѣ сложенная из камней пирамидка или замѣтка на скалѣ указывают в сторону вершины. Здѣсь, из снѣга, рождаются ручьи — начала многих великих рѣк.

Кто поднимется выше, тот войдет в круг третій — Горное

Царство. Это царство уже не принадлежит землѣ, там только лед и свѣт, и там начинается чудо: в ореолѣ облаков сіяет вершина, омытая морем голубизны. Краски этого круга не поддаются кисти художника — там совсѣм другая палитра, чѣм на землѣ.

Таковы, грубо начертанныя, границы Бѣлой Республики. Это — истинная, идеальная Республика. Она выгодно отличается от Республики Утопіи тѣм, что дѣйствительно существует, и законы ея, никѣм, кромѣ сотворившаго всѣ не писанные, крѣпки так, как крѣпок дуб, выросшій из хорошаго сѣмени на хорошей почвѣ. Проводник Поль Каша, один из старѣйших, мудрѣйших граждан Бѣлой Республики, знает свою землю, и знает ея закон: тяжесть камня, безудержность молніи, глубину ледяного потока, скорость вѣтра на перевалѣ, хрупкость человѣческаго тѣла; и закон человѣка — силу противостоянія.

На Монбланѣ ревет мятель — «бѣлое бѣшенство». Поль Каша, на горбѣ раз'яренной горы, — как демон, или как черная вошь; впившись в дымящійся снѣгом хребет, он медленно движется по направленію к вершинѣ, и за ним другіе. Скорость вѣтра такова, что воздух точно стал твердым предметом, и предмет этот — страшное орудіе — бьет непрерывно, пытаясь смести в пропасть, развѣять в прах упрямых двуногих козявок. Но они противостоят вѣтру, своей ничтожной тяжестью и еще чѣм-то, невѣсомым, но таким большим, что гора не может стряхнуть их со своей спины.

Или вот — пять человѣк, связанных веревкой, на совершенно отвѣсном, отточенном лезвіѣ горнаго хребта. Это каменное лезвіе надо осѣдлать, и, опираясь и прижимаясь руками и ногами, передвигаться, смѣшно припрыгивая сидя — точно играя в чехарду, — до той широкой скалы, что виднѣется на разстояніи десятка метров, и около нея — снѣжный провал и пятно тѣни, путь вниз. Внизу — бездна, в которой вкраплен голубой глетчер и на нем двѣ черных букашки — человѣчки. Вверху — другая бездна, голубая с бѣлыми островами облаков; между двумя безднами единственное возмож-

ное для меня мѣсто — это крѣпкое каменное лезвіе горы, и за него я держусь весь цѣликом, душой и тѣлом, и оно для меня — олицетвореніе и единственная возможность жизни. Я еще не могу жить без земли, но я захотѣл в небо, и вот компромисс: между небом и землей.

«Натягивай веревку, держи крѣпче», — кричит Каша. И всей силой своего тѣла я врастаю в скалу, сосредоточив всю волю, всю мысль, все дыханіе, в веревкѣ. Я не один; я опоясан веревкой, один конец которой связывает меня с кѣм то впереди, другой — кого то сзади со мной. Два человѣка передо мной, два за мной. Эти пятеро вмѣстѣ — «цѣпь» — естественно представляют собой одно неразрывное (и горе, если оно разорвется) цѣлое. Веревка связывающая нас —символ свободы, а не рабства: преодолѣнія всевластнаго тяготѣнія к пропасти внизу; она матеріально и наглядно воплощает собой общее усиліе в направленіи общей цѣли: за шаг одного отвѣчают всѣ, ошибка одного угрожает всѣм; здѣсь — это ясно и осязаемо настолько, что не возбуждает сомнѣній и не требует доказательств. Закон ясен и прост: не поможешь падающему в цѣпи — упадешь сам. Каждый свободно и по доброй волѣ входит в цѣпь, берет на себя отвѣтственность и обязательство «платить по векселям» — дѣлать все, что может и даже больше — чтобы достичь общей цѣли. Это — другой закон Бѣлой Республики: братство.

Охотники за сернами, искатели кристаллов, отшельники и повстанцы были первыми — естественными — гражданами Бѣлой Республики (их потомки стали теперь проводниками). Но постепенно народился новый класс, продукт искусственной — ускоренной — культуры, «альпинисты», соотвѣтствующій тому, что называлось в Россіи «интеллигенція». Это — тѣ, кто приходят за чѣм то невидимым и невѣсомым — не мясом козы или цѣнным кристаллом — но все же вполнѣ реальным (иначе — зачѣм так упорно, ожесточенно, «огалтѣло» — взбираться на горы? Рисковать жизнью, проявляя чудеса акробатики, не в цирковом залѣ, полном рукоплещущей публики, а в пустом

громадном амфитеатрѣ гор? Нѣкоторые гибнут, заслужив по праву имя безумцев).

Кито представлял бы собой идеальный тип гражданина Бѣлой Республики, если бы природа, выбирающая — как всякій хорошій боец — сильных противников для поединка, позаботилась дать ему болѣе крѣпкое тѣло. Жизнь альпиниста — его каникулы двух или трех недѣль — сурова; нужны крѣпкіе мускулы, здоровое сердце, мощныя легкія для под'ема на горы. Кито не обладал всѣм этим; в нем не было ничего от атлета. Бозмѣрно худой, весь из углов и длинных, гармонически пересѣкающихся прямых линій, он походил на сложный геометрическій чертеж, доказательство невѣдомой теоремы. Вначалѣ под'ема он задыхался, на вершинѣ страдал головной болью; нерѣдко испытывал приступы горной болѣзни. Но в нем велика была сила противостоянія, и он побѣждал. Даже лицо его не отражало усталости.

В лицѣ Кито было несоотвѣтствіе, свойственное лицам византійских святых: глаза, исчерна синіе и очень блестящіе, были слишком велики, рот — черезчур мал. На стѣнах церквей в Равеннѣ, на иконах Рублева, и еще иногда на персидских миніатюрах, я видѣл такіе «преувеличенные» глаза и такой маленькій, дѣтскій рот. Быть может, мавр, его предок, послужил когда то моделью византійскому живописцу. Зато нос Кито представлял собой Францію: большой, тонкій, горбатый, больше пѣтушиный, чѣм орлиный — нос Людовиков.

Кито родился в небольшом провинціальном городкѣ, на побережьѣ басков. Он рѣдко говорил о своих родителях, но был, вѣроятно, нѣжным сыном. Однажды я встрѣтил его на почтѣ в Шамони, в шумной толпѣ альпинистов, с большим несуразным пакетом в руках; он пріоткрыл пакет, и из под черной бумаги, как из под земли, выглянули синія звѣздочки жансіан. «Я взял их вмѣстѣ с землей, корни цѣлы, она посадит их в саду», — об'яснил он, и прибавил: «моя мать очень любит цвѣты».

И я представил себѣ маленькій садик на заднем дворѣ двухэтажнаго бѣлаго домика. В сонной тишинѣ провинціаль-

наго французскаго городка, вкрапленнаго в зеленые холмы побережья басков, все кажется игрушечным: зеленыя ставни окон, бѣлыя стѣны домов, красныя черепичныя крыши; ровные ряды виноградников на склонѣ горы; нѣсколько двигающихся куколок на улицѣ — человѣчки, лошадка и ослик. Над этим міром живых игрушек — прозрачное южное небо, и близость океана с его соленым, іодистым дыханіем.

Мать его, вѣрно, старушка, в кужевной наколкѣ на бѣлых пушистых волосах; ходит в церковь молиться за сына. Она бережно и благодарно вынет из пакета голубые цвѣты, посадит их на клумбу, будет поливать и вспоминать о Кито (это она превратила в нѣжно-испанское «Кито» примелькавшееся нам в учебниках и хрестоматіях безразлично-холодное имя «Жак»). Горные цвѣты, всетаки, не выживут на садовой клумбѣ.

Иногда, очень рѣдко, Кито говорил о кузинѣ. Ее зовут Стелла, и у нея была мастерская дамских нарядов. Повидимому, они были женихом и невѣстой; но никакой радости не было в голосѣ Кито когда говорил он о Стеллѣ — а лишь какая то равнодушно безнадежная, усталая симпатія.

Между тѣм, если голос его загорался восхищеніем, он дѣлался теплым и особенно глубоким; я уловил это, когда он произнес ушедшее в прошлое, но всегда сіяющее имя Жанны д'Арк. Он говорил о ней как о живой и знакомой; ея образ, ея жизнь и подвиг являлись для него реальностью не меньшей, если не большей, чѣм окружавшіе его люди, и он страдал от того, что не мог задать ей вопроса, с которым обращался к себѣ: «почему она это сдѣлала?» Почему молоденькая крестьянская дѣвушка оставила дом и поле своих отцов и вступила на крестный путь, ради спасенія своего народа (а что знала она об этом народѣ, — она, никогда до того, вѣроятно, не покидавшая своего Домреми?).

Жанна ссылалась на «голоса», шептавшіе ей, обѣщавшіе ей побѣду во имя Бога и Франціи. Что такое были эти таинственные голоса, как услышать их — вѣдь это значило бы: коснуться чуда.

Что возможно один раз, возможно вообще. Чудо должно быть постижимым, чудо должно быть возможным. Не была ли Жанна тому примѣром?

Чудо скрывается гдѣ-то, — клад, который можно найти. Не в горах ли зарыто сокровище? Горы, гдѣ все иное, чѣм в жизни, казались Кито обѣщаніем откровенія. Вѣдь понятіе «чудо» и означает — что-то совсѣм «иное», в такой мѣрѣ отличное от всего нам знакомаго и извѣстнаго, что представляется невозможным.

Как иначе, если не существованіем этого «иного», «невѣроятнаго», об'яснить явную — с точки зрѣнія всего ансамбля природы — несообразность в существѣ человѣка? Эта несообразность, ненормальность выражается в том, что, в то время как всякой другой твари земной, повидимому, доступно состояніе полнаго удовлетворенія (посмотрите на птицу на вѣткѣ, корову на пастбищѣ, и, особенно, собаку у ног господина; а, впрочем, и это, быть может, только так кажется), — человѣку состояніе это, как будто, невозможно; всегда есть какой то остаток, в видѣ вопроса: «а что дальше»? И в этом остаткѣ растворяется, исчезает безслѣдно радость достиженія. Как то голубое озеро в горах, на берегу котораго растут самыя синія жансіаны: лазурная зеркальность его у подножія скалы свертывается в вихревую воронку, черная спираль которой проваливается куда то в невидимую пропасть.

«Зуб Акулы»! Безобразная, злая гора, вся из рыжаго гранита, острым клыком впивающаяся в небо! Над маленькой группой альпинистов, — разсыпанною над глетчером горстью земного праха, — она высилась неодолимым чудом. Там, вверху, — вспоминал я — скалы горячаго оранжеваго цвѣта; жилы чистѣйшаго горнаго хрусталя пронизывают их. Оставалось так мало до вершины, и я отступил; два раза! Преодолѣть! Коснуться вершины! — И я все больше втягивался в борьбу и забывал о заданной задачѣ, о непонятной фразѣ, сказанной тѣм странным человѣком: «раковина, наполненная шумом моря, все сильнѣе реагирует по мѣрѣ приближенія к океану». Гдѣ это море, которое так важно, и что это за раковина? Я испы-

тывал странное, алчное и сладкое чувство при взглядѣ на вершину непреодоленной горы, высившуюся передо мной, или при мысли о ней; эта вершина притягивала меня, заслоняла собой все остальное.

По ночам мнѣ снились кошмары: я шел по глетчеру, поднимался к Зубу Акулы, — но горы не было, на мѣстѣ ея — лишь ледяное поле, прорѣзанное синими трещинами. Я искал гору, в ужасѣ, растерянно и безнадежно; но уже это было море, и волны вздымались как горы, бросая меня то вверх, то вниз. Страшныя чудовища высовывались из воды — медуза с человѣческими глазами часто моргала рыжими рѣсницами, камбала с красным и мягким ртом скалила зубы. А потом опять это был глетчер, и я опять поднимался вверх, с тяжелым мѣшком за плечами; звон металла сопровождал каждый мой шаг, и чей то голос шептал быстро: «в твоем мѣшкѣ питоны и мускетоны, крюк и петля — вмѣстѣ всегда».

Я просыпался в смущеніи и тревогѣ, и искал глазами, в рамѣ окна, вершины гор. Но вершины скрывали тучи. Скалы одѣлись в лед, и мы ждали внизу — жадно, нетерпѣливо глядя вверх — ожидая погоды. Альпинисты часто смотрят вверх; иногда это смѣшно.

Когда Кито смотрѣл вверх, худая шея его непомѣрно вытягивалась, что еще увеличивало его сходство с птицей. В нем дѣйствительно было много от птицы — вытянутость, «распластанность» тѣла, легкій, широкій, похожій на прыжок шаг; и еще — какая то внутренняя свобода, отсутствіе земных тяготѣній: ему, как будто, «здѣсь» было мало что нужно. Недаром какой-то естественной братской любовью он любил птиц. Той же любовью, правда, любил он и деревья, и камни и даже людей. Лишь один раз увидѣл я отвращеніе на его лицѣ: когда в травѣ на берегу горнаго ручья он вдруг подпрыгнул — великолѣпный, безошибочный инстинкт животнаго — и из под его ног молніей прошуршала прочь змѣя. «Но вѣдь и ее тоже надо любить, — а, кажется, я не могу», полу-удивленно, полу-шутливо сказал он тогда.

Я никогда не видѣл Кито иначе как в горах; мѣшок за его

плечами походил на мѣшок пилигрима, и он всегда куда то шел, не взирая на погоду.

Природа гор необычайна всегда — в милости и гнѣвѣ, в солнце и в бурю, днем и ночью. Человѣк, потерявшій дорогу в туманѣ, в ловушкѣ туч, всегда знает: каждую минуту могут разорваться тучи, и в прорѣзѣ их предстанет зрѣлище красоты невѣроятной, голубое и бѣлое и золотое, такой чистоты и блеска, каких на землѣ не бывает.

Когда мы шли в туманѣ по хребту Купола, против нас высилась ледяная стѣна Иглы Біоннасэ, вся из свѣтлаго серебра, с тѣнями цвѣта электической искры; прозрачная вуаль тонкаго тумана окутывала ее переливами жемчуга. На этот облачный туман падали наши тѣни цвѣта голубого перламутра, и головы их были окружены ореолами радужнаго сіянія. Скрытое в серебряной мглѣ солнце казалось новой большой, близкой звѣздой, и от нея крестом изливались четыре длинных бѣлых луча. Громадная масса воздуха, обычно одним полушаріем опрокинутая над головой человѣка, срѣзанная землей, — теперь продолжалась глубоко вниз, и мы были внутри воздушнаго шара, гдѣ то недалеко от центра. Радуга в облаках внизу имѣла форму круга, великолѣпное колесо ея прокатилось по землѣ и исчезло. Тишина была полной — наполненной до краев сіяніем и холодом.

Этого холода не может долго выдержать человѣческое тѣло; нагорный рай слишком суров, там нельзя остаться надолго. Тѣ, кто доходят, остаются лишь краткое время в мірѣ вершин и возвращаются в долину; а потом надо идти снова, к новой вершинѣ. Преодолѣвать свою тяжесть и быть осторожным и хитрым, потому что демоны четырех стихій стерегут вершину: вихрь, и дождь и снѣг и огонь с неба, и в безднѣ внизу — голубая зіяющая трещина глетчера. А когда опасность достигает предѣла, мы узнаем о своем ничтожествѣ, и вспоминаем о Нем, и заклинаем демонов — Именем Божьим; взываем к верховной защитѣ в послѣднем прибѣжищѣ — молитвѣ. И порой даем себѣ обѣщаніе — не искушать больше судьбу, покинуть мысль о вершинах сразу и навсегда если

только удастся вернуться живым к міру живых. Но потом всегда нарушаем обѣщаніе. и снова тянемся вверх. Снова смотрим вверх и ждем, когда пройдет буря, когда растопит солнце тончайшій, смертельный слой льда на скалах, и откроется путь.

Наконец, подул долгожданный сѣверный вѣтер, и разсѣялись тучи. Снова появился, вверху над глетчером, в голубой небесной безднѣ, Зуб Акулы; путь был открыт, вершина — возможна. Но в это солнечное утро я уже стоял на перронѣ желѣзной дороги, в скучных городских ботинках на унылых ногах; чудесная горная цѣпь сверкала бѣлизной, и по глетчеру черной бисерной цѣпочкой тянулся вверх караван альпинистов, возбуждая во мнѣ знакомое безпокойство. Вот голубое облачко дыма, и шум приближающагося поѣзда; еще нѣсколько минут, — и я уже в вагонѣ, впереди — Париж. Прощай, Бѣлая Республика, прощай, воздух свободы! В этом воздухѣ ровно и чисто теплится душа.

Осенью слѣдующаго года я готовился к от'ѣзду в Америку и не попал в Шамони. За нѣсколько дней до от'ѣзда пришло письмо с черной каемкой. Писал отец Кито: «— он погиб на Монбланѣ, уже на спускѣ, почти внизу — ему оставалось лишь нѣсколько шагов до того мѣста, гдѣ начинается тропинка. Но он остановился и обернулся к вершинѣ — без сомнѣнія затѣм, чтобы ещ раз наполнить сердце зрѣлищем красоты. Мѣсто было опасным — здѣсь, в узком кулуарѣ скал, часто падали камни; тяжелая глыба гранита сорвалась с утесов Южной Иглы, и осколок попал ему в голову. Он умер в госпиталѣ Шамони, куда его доставили вскорѣ. Нам удалось видѣть его перед смертью, — его лицо было спокойно, почти счастливо. Наше горе невообразимо».

И, вмѣстѣ с болью об ушедшем товарищѣ, встало воспоминаніе: над горой, золотая стѣна которой походила на гигантскій орган, разыгралась воздушная битва. Нѣсколько птиц нападали на одну, клевали ее и били крыльями. Птица защищалась, но это был неравный бой, и вскорѣ раненый в голову,

окровавленный галченок — вѣроятно, птенец из чужой стаи — камнем упал на скалу.

Человѣк, давно уже безпомощно и напряженно слѣдившій за разыгрывавшейся в воздухѣ трагедіей, бросился к нему на помощь, взял его в руки. Помочь было нельзя — птица умирала. В порывѣ жалости — братской любви — Кито поцѣловал галченка в голову. Сознаніе птицы не могло вмѣстить движенія души человѣка; или, может быть, она поняла, но инстинкт быстрѣе мысли и дѣйствует автономно. Галченок нанес удар клювом, и на лбу человѣка показалась капля крови. Как странно похожи были тогда эти два существа, принадлежавшія к разным царствам природы, как поразило меня тогда их сходство.

И, глядя на письмо с черной каемкой, я поразился еще раз — общей их судьбѣ, их послѣднему братству в потокѣ неизвѣстнаго, омывающем, проникающем землю и все живущее. Что знаем мы?

Е. Рубисова.

НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ Н. ГУМИЛЕВА

Печатаемыя ниже десять стихотвореній Н. С. Гумилева извлечены мной из собственноручнаго альбома его стихов, подареннаго мнѣ, вмѣстѣ с нѣсколькими записными книжками, рукописями, бумагами и другими вещами покойнаго Н. С. Гумилева, Б. В. Анрепом, извѣстным художником-мозаистом и сотрудником «Аполлона», давно уж обосновавшимся в Лондонѣ.

Уѣзжая в 1918 году назад в Россію, Гумилев подарил этот альбом Б. В. Анрепу, а также оставил ему на храненіе ряд своих бумаг (в том числѣ свой послужной список и рукопись неоконченной повѣсти «Веселые братья»), свои офицерскіе погоны и солдатскій Георгіевскій крест.

Альбом составляет толстую тетрадь в сафьяновом переплетѣ с надписью "Autographs". Всѣ стихи вписаны рукой самого Гумилева, его мелким тщательным почерком. Заглавія выдѣлены красными чернилами.

Заглавная страница альбома представляет собой обложку в красках (цвѣточный орнамент) работы Н. Гончаровой с надписью: «Н. Гончарова» и датой: «1916». Кромѣ того, в альбомѣ имѣются рисунок (подписанный) Д. Стеллецкаго, иллюстрирующій стихотвореніе «Змѣй», позднѣе напечатанное в книгѣ «Костер», и рисунки (неподписанные) Н. Гончаровой и М. Ларіонова; один из них представляет собой иллюстрацію к стихотворенію «Мужик», также напечатанному в «Кострѣ». Насколько я знаю, аналогичный, но видимо не тождественный, альбом гумилевских стихов, украшенный рисунками Гончаровой и Ларіонова, имѣлся в частном собраніи в Парижѣ

в него вошли стихи, включенные в посмертный сборник «К синей звѣздѣ».

Большая часть стихов, входящих в анреповскій альбом, была, по возвращеніи Гумилева в 1918 году в Россію, напечатана и вошла в сборники «Костер», «Фарфоровый павильон» и «К синей звѣздѣ», и в изданный Георгіем Ивановым сборник «Посмертных стихотвореній». Многіе из этих позднѣе напечатанных стихов альбома содержат разночтенія по сравненію с печатными текстами.

Из нижепечатаемых десяти стихотвореній лишь одно (озаглавленное в альбомѣ «Любовь весной») напечатано (без заглавія) в «Посмертных стихотвореніях», но только первые двѣнадцать стихов совпадают в альбомѣ и в печатном текстѣ, в остальном альбомная версія совершенно отлична от печатной.

Остальныя девять стихотвореній не вошли ни в один из печатных сборников Гумилева. По условіям военнаго времени, я лишен был возможности просмотрѣть различныя зарубежныя изданія, гдѣ в свое время было напечатано нѣсколько неизданных стихотвореній Гумилева, чтобы провѣрить, были ли среди них нѣкоторыя из стихотвореній моего альбома. Я, однако, вполнѣ увѣрен, что большая часть их — настоящіе inédits.

Возможно, что нѣкоторыя из этих стихотвореній не вполнѣ на высотѣ гумилевских стихов поздняго періода, вошедших в «Костер» и «Огненный столп», но всѣ они достаточно интересны и характерны. Особенно по-гумилевски звучит «Рыцарь счастья». Интересно коротенькое безрифменное «Предзнаменованье», написанное, видимо, во время или сразу послѣ перехода из Англіи во Францію в іюлѣ 1917 г. (в одной из записных книжек анреповскаго собранія имѣется черновой набросок его): это как бы предчувствіе октябрьской революціи, в которой самому Гумилеву суждено было погибнуть. Нѣкоторыя из стихотвореній по темам несомнѣнно связаны с парижским циклом «К синей звѣздѣ» (многіе стихи этого цикла вошли в альбом Анрепа). «Предупрежденье» (с японскаго), очевидно, предназначалось для «Фарфороваго павильона», но не вошло в него. Всѣ остальные стихи «Фарфо-

роваго павильона» имѣются в альбомѣ Анрепа — с многочисленными варіантами против печатнаго текста и часто с обозначеніем авторов, у которых они заимствованы.

Всѣ стихи альбома, очевидно, написаны в 1916 и 1917 годах. Гумилев прибыл в Англію по пути на Салоникскій фронт в маѣ или іюнѣ 1917 года. В Салоники он не уѣхал, а оставался в Парижѣ в распоряженіи представителя Временнаго Правительства, ген. Занкевича, до января 1918 года, когда вернулся в Англію с намѣреніем ѣхать на персидскій фронт, но и из этого плана ничего не вышло, и вмѣсто того он весной (повидимому, в апрѣлѣ) 1918 года уѣхал назад в Россію. В августѣ 1921 года он был разстрѣлян по обвиненію в участіи в т. н. «Таганцевском заговорѣ».

Глѣб Струве

Лондон, декабрь 1943 г.

ЛЮБОВЬ ВЕСНОЙ

Перед ночью сѣверной, короткой
И за нею зори, словно кровь —
Подошла неслышною походкой,
Посмотрѣла на меня любовь.

Отравила взглядом и дыханьем,
Слаще роз дыханьем, и ушла —
В бѣлый май с его очарованьем,
В невскія слѣпыя зеркала.

У кого я попрошу совѣта,
Как до легкой осени дожить,
Чтобы это огненное лѣто
Не могло меня испепелить!

Как теперь молиться буду Богу,
Плача, замирая и горя,
Если я забыл свою дорогу
К каменным стѣнам монастыря?

Если взоры дѣвушки любимой
Слаще взора ангела высот,
Краше горняго Ерусалима
Лѣтній сад и зелень сонных вод?

День за днем пылает надо мною,
Их терпѣть не станет скоро сил.
Правда, тот, кто полюбил весною,
Больно тот и горько полюбил.

ДѢВУШКА

Ты говорил слова пустыя,
А дѣвушка и расцвѣла:
Вот чешет косы золотыя,
По праздничному весела.

Теперь ко всѣм церковным требам
Молиться ходит о твоем,
Ты стал ей солнцем, стал ей небом,
Ты стал ей ласковым дождем.

Глаза темнѣют, чуя грозы,
Неровен вздох ея и част.
Она пока приносит розы,
А захоти, и жизнь отдаст.

ПРЕДЗНАМЕНОВАНЬЕ

Мы покидали Соутгемптон,
И море было голубым,
Когда же мы пристали к Гавру,
То черным сдѣлалось оно.

Я вѣрю в предзнаменованья,
Как вѣрю в утренніе сны.
Господь, помилуй наши души:
Большая нам грозит бѣда.

В БРЕТАНИ

Здравствуй, море! Ты из тѣх морей,
По которым плавали галеры,
В шелковых кафтанах кавалеры
Покоряли варварских царей.

Только странно, я люблю скорѣй
Тѣ моря суровыя без мѣры,
Гдѣ акулы, спруты и химеры
— Ужас чернокожих рыбарей.

Тѣ моря... я слушаю их звоны,
Ясно вижу их покров червленый
В душной комнатѣ, в тиши ночной

В час, когда я — как стрѣла у лука,
А душа — один восторг и мука
Перед страшной женской красотой.

АНГЕЛ БОЛИ

Праведны пути твои, царица,
По которым ты ведешь меня,
Только сердце бьется, словно птица,
Страшно мнѣ от синяго огня.

С той поры, как я еще ребенком,
Стоя в церкви, сладко трепетал
Перед профилем дѣвичьим, тонким,
Пѣл псалмы, молился и мечтал,

И до сей поры, когда во храмѣ
Всемогущей памяти моей
Свѣтят освященными свѣчами
Столько губ манящих и очей,

Не знавал я ни такого гнета,
Ни такого сладкаго огня,
Словно обо мнѣ ты знаешь что-то,
Что навѣк сокрыто от меня.

Ты пришла ко мнѣ, как ангел боли,
В блескѣ необорной красоты,
Ты дала неволю слаще воли,
Смертной скорбью истомила... Ты

Разсказала о своей печали,
Подарила бѣлую сирень,
И зато стихи мои звучали,
Пѣли о тебѣ и ночь, и день.

Пусть же сердце бьется, словно птица,
Пусть же смерть ко мнѣ нисходит... Ах,
Сохрани меня, моя царица,
В ослѣпительных таких цѣпях.

Среди безчисленных свѣтил
Я вольно выбрал мір наш строгій
И в этом мірѣ полюбил
Однѣ веселыя дороги.

Когда тревога и тоска
Зачѣм-то в сердце закрадется,
Я посмотрю на облака,
И сердце сразу засмѣется.

И если мнѣ порою сон
О милой родинѣ приснится,
Я так безмѣрно удивлен,
Что сердце начинается биться.

Вѣдь это было так давно
И гдѣ-то там, за небесами...
Куда мнѣ плыть, не все-ль равно,
И под какими парусами!

КУПАНЬЕ

Зеленая вода дрожит легко,
Трава зеленая по склонам,
И молодая дѣвушка в трико
Купальном, ласковом, зеленом;

И в черном я. Так черен только грѣх,
Зачатый полночью безсонной,
А может быть и зрѣющій орѣх
В сосѣдней заросли зеленой.

Мы вмѣстѣ плаваем в пруду. Дразня,
Она одна уходит в заводь.
Увы, она искуснѣе меня,
Я пѣсни пѣть привык, не плавать!

И вот теперь, покинут и угрюм,
Барахтаясь в пруду зловонном,
Я так грущу, что черный мой костюм
Не поспѣвает за зеленым,

Что в тайном заговорѣ всѣ вокруг,
Что солнце свѣтит не звѣздам, а розам,
И только в сказках счастлив черный жук,
К зеленым сватаясь стрекозам.

РЫЦАРЬ СЧАСТЬЯ

Как в этом мірѣ дышется легко!
Скажите мнѣ, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждаго счастливым сдѣлать волен.

Пусть он придет, я разскажу ему
Про дѣвушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет! я должен разсказать,
Я должен разсказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побѣждать
Моря и дѣвушек, врагов и слово.

А если всетаки он не поймет,
Мою прекрасную не примет вѣру
И будет жаловаться в свой черед
На міровую скорбь, на боль — к барьеру!

ПѢСЕНКА

Ты одна благоухаешь,
Ты одна:
Ты проходишь и сіяешь,
Как луна.

Вещь, которой ты коснулась
— Вдруг свята,
В ней таинственно проснулась
Красота.

Неужель не бросит каждый
Всѣх забот,
За тобой со сладкой жаждой
Не пойдет?

В небо, чистое как горе,
Глаз твоих,
В пѣну сказочнаго моря
Рук твоих?

Много женщин есть на свѣтѣ
И мужчин,
Но пришел к завѣтной метѣ
Я один.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЬЕ

С японскаго.

Мнѣ отраднѣе всего
Видѣть взор твой свѣтлый,
Мнѣ пріятнѣе всего
Говорить с тобою.

И однако мы должны
Кончить наши встрѣчи,
Чтоб не вѣдали о них
Глупые сосѣди.

Не о доброй славѣ я
О своей забочусь,
А без доброй славы ты
Милой не захочешь.

Н. Гумилев

***

Асфальта отблески сухіе
Тревожат тусклые глаза.
Как далека моя Россія!
Как далека ея гроза!

Как давит улицы ущелье,
Чужая рѣчь как ранит слух!
Чужое чуждо мнѣ веселье,
К веснѣ чужой я сердцем глух.

Во тьмѣ раскосыми глазами
Сверкнул шальной автомобиль...
О, если-б пыльный шлях с возами,
Родная степь, родной ковыль!

**

Навѣк задернут полог алый.
Наш день к концу. Смерть кличет нас.
И только сердце в смутный час
Порою плачет о бывалом, —

О талом мартѣ над Невой,
О бѣлом колдовствѣ тѣм лѣтом,
Когда я был твоим поэтом,
А ты была моей мечтой...

***

Я подхожу к какому-то предѣлу,
За ним же — срыв и тьма.
Горблюсь, нетверд мой шаг, и вот уж тѣло
Постылая тюрьма.

К закату мчусь. О, эта быстротечность!
Не смерть страшит меня,
Но пустотой сіяющая вѣчность,
Гдѣ срыв, ничто, н е я...

Ю. Карелин (П. А. Гарви*).

***

Улыбаются деревья
Мнѣ на величавых скверах.
В их таинственных напѣвах
Воскресает моя вѣра
В то, что будут в этой жизни
Дни, теперешних лучистѣй,
Что распустится в них счастье,
Как растут на вѣтках листья.

Леонид Опалов.

---

*) Печатаемыя выше 3 стихотворенія взяты из литературнаго наслѣдства извѣстнаго публициста П. А. Гарви.

НАЧАЛО СМЕРТИ

Ты уходишь в послѣднія дали
Навсегда неподвижно блѣдна
И тебя навсегда отгадали
Эти сумерки, эта луна.

Впереди, от слѣпых очертаній
Отдѣляясь и еле дыша,
Поднимается в полу-сознаньи
Полу-тѣло и полу-душа.

И такое обилье свободы
И такое величье любви,
Что проходят прожитые годы
Как послѣднее пѣнье крови,

Как звѣзда, как слова, как молчанье,
Как послѣдняя в мірѣ рѣка...
И колышатся черныя зданья
От послѣдняго сквозняка.

Это дышет тот дьявольскій вѣтер,
Что покоя душѣ не давал,
Что душѣ ничего не отвѣтил
Из провала обманных зеркал.

Но из вѣтра, на волю, на волю
Вольный дух выплывает опять,
Чтобы этой накопленной болью
Обновленную память питать.

Зинаида Шаховская.

РОЖДЕНІЕ СВОБОДЫ

Полнеба охватила тѣнь.
Лишь там, на западѣ, брезжит сіянье...

«Человѣк рождается свободным, а умирает в оковах». Нѣт ничего болѣе ложнаго, чѣм это знаменитое утвержденіе.

Руссо хотѣл сказать, что свобода есть природное, естественное состояніе человѣка, которое он теряет с цивилизаціей. В дѣйствительности, условія природной, органической жизни вовсе не дают основаній для свободы.

В біологическом мірѣ господствуют желѣзные законы: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных процессов. Там, гдѣ все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Гдѣ органическая жизнь пріобрѣтает соціальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звѣриной стаѣ — абсолютная власть вожака («вождя»).

В XVIII вѣкѣ на природу смотрѣли романтически — или, вѣрнѣе, теологически. На нее переносили ученіе Церкви о первозданной природѣ человѣка и помѣщали библейскій потерянный рай в Полинезіи. Но в наше время біологія не даром ложится в основу всѣх новѣйших идеологій рабства. Расизм корнями своими уходит в біологическій мір и, будучи никуда негодной философіей культуры, ближе к природной или животной дѣйствительности, чѣм Руссо.

Руссо, в сущности, хотѣл сказать: человѣк должен быть свободным, или: человѣк создан, чтобы быть свободным, и в этом вѣчная правда Руссо. Но это совсѣм не то, что сказать: человѣк рождается свободным.

Свобода есть поздній и тонкій цвѣток культуры. Это нисколько не уменьшает ея цѣнности. Не только потому, что с мое драгоцѣнное — рѣдко и хрупко. Человѣк становится вполнѣ человѣком только в процессѣ культуры, и лишь в ней, на ея вершинах, находят свое выраженіе его самыя высокія

стремленія и возможности. Только по этим достиженіям можно судить о природѣ или назначеніи человѣка.

Впрочем, даже в мірѣ культуры свобода является рѣдким и поздним гостем. Обозрѣвая тот десяток или дюжину высших цивилизацій, нам извѣстных, из которых слагается для современнаго историка (Тойнби) нѣкогда казавшійся единым историческій процесс, мы лишь в одной из них находим свободу, в нашем смыслѣ слова, — и то лишь в послѣднем фазисѣ ея существованія. Я, конечно, имѣю в виду н а ш у цивилизацію и н а ш е время, оставляя пока неопредѣленными границы н а ш е г о в пространствѣ и времени.

Всѣ остальныя культуры могут поражать нас своей грандіозностью, плѣнять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью соціальных учрежденій, даже глубиной религіи и мысли, но нигдѣ мы не найдем свободы, как основы общественной жизни.

Личность вездѣ подчинена коллективу, который сам опредѣляет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексикѣ или Ассиріи, гуманной, как в Египтѣ или в Китаѣ, но нигдѣ она не признает за личностью автономнаго существованія. Нигдѣ нѣт особой, священной сферы интересов, запретных для государства. Государство само священно, и самыя высшія абсолютныя требованія религіи совпадают с притязаніями государственнаго суверенитета.

Грецію не исключеніе. Ни наша благодарная к ней любовь, ни признаніе единственности ея высшей культуры, ни даже поколѣнія наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом вмѣсто Евангелія в руках, не могут заслонить основного факта: н а ш а свобода не была обезпечена в Греціи.

Греки сражались и умирали за свободу; но под свободой они понимали или независимость своего города-отечества или его демократическое самоуправленіе. Это была свобода для государства, на которую не могли притязать ни личность, ни меньшинственная группа. Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору Афинской демократіи — в тѣ короткіе полтораста лѣт, которые отдѣляют греко-персидскія войны от македонскаго завоеванія. Но эта вольность — результат разложенія, скорѣе распущенность, чѣм закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крѣпост патріархальных деревенских нравов, наука софистов разлага ла древнюю вѣру; в образовавшейся пустотѣ легче стало жить, то есть, наслаждаться жизнью без помѣхи устарѣлых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в

пореволюціонной Франціи. За полтора вѣка оказались подорваны всѣ нравственные устои демократіи, и Афины, как и вся Греція, сдѣлались легкой добычей Филиппа.

Но даже на время наибольшей свободы Афин падают процесс и казнь Сократа, изгнаніе Анаксагора и Протагора и — что гораздо страшнѣе — соціальная утопія Платона. Величайшій из философов Греціи был теоретиком абсолютнаго, тоталитарнаго государства. Быть может, только в Софокловой Антигонѣ брезжит заря нашей свободы: пророчество, предвосхищеніе совершенно иной духовной эры.

Исключительность, единственность свободы не должна нас смущать. Только грубое біологическое или соціологическое мышленіе, оперирующее с количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видѣть в единственности порок. Да, свобода исключеніе в цѣпи великих культур. Но сама культура — исключеніе на фонѣ природной жизни. Сам человѣк, его духовная жизнь — странное исключеніе среди живых существ. Но вѣдь и жизнь, как органическое явленіе, — тоже исключеніе в матеріальном мірѣ. Конечно, здѣсь мы вступаем в область невѣдомаго, но много основаній на сторонѣ тѣх теорій, которыя считают, что только на планетѣ Земля могли создаться благопріятныя условія для возникновенія органической жизни. Но что значит Земля в солнечной системѣ, что значит солнце в нашем Млечном пути, что значит наша «галаксія» во вселенной?

Одно из двух: или мы остаемся на внѣшне убѣдительной, «естественно-научной», точкѣ зрѣнія и тогда приходим к пессимистическому выводу. Земля — жизнь — человѣк — культура — свобода — такія ничтожныя вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшія из случайной игры стихій на одной из пылинок міродданія, онѣ обречены исчезнуть без слѣда в космической ночи.

Или мы должны перевернуть всѣ масштабы оцѣнок и исходить не из количеств, а из качеств. Тогда человѣк, его дух и его культура, становятся вѣнцом и цѣлью міродданія. Всѣ бесчисленныя галаксіи существуют для того, чтобы произвести это чудо — свободное и разумное тѣлесное существо, предназначенное к царственному господству над вселенной.

Остается не разрѣшенной — практически уже не важная — загадка значенія малых величин: отчего почти все цѣнностно-великое совершается в матеріально-малом? Интереснѣйшая проблема для философа, но мы ее можем оставить в сторонѣ.

Свобода раздѣляет судьбу всего высокаго и цѣннаго в мірѣ. Маленькая, политически раздробленная Грецiя дала міру науку, дала тѣ формы мысли и художественнаго воспріятія, которыя, даже при сознаніи их ограниченности, до сих пор опредѣляют міросозерцаніе сотен милліонов людей. Совсѣм уже крохотная Іудея дала міру величайшую, или единственно-истинную религію — не двѣ, а одну — которую исповѣдуют люди на всѣх континентах. Маленькій остров за Ламаншем выработал систему политических учрежденій, которая — будучи менѣе универсальной, чѣм христіанство или наука — тѣм не менѣе господствует в трех частях свѣта, а нынѣ побѣдоносно борется со своими смертельными врагами.

Ограниченность происхожденія еще не означает ограниченности дѣйствія или значенія. Рожденное в одной точкѣ земного шара может быть призвано к господству над міром; как всякое творческое изобрѣтеніе или открытіе, оно стремится стать общим достояніем человѣчества. Не всѣ цѣнности допускают такое обобщеніе; многія остаются навсегда связанными с одним опредѣленным культурным кругом. Но другія — и самыя высшія — существуют для всѣх. Это о них сказано: «ничто человѣческое мнѣ не чуждо». Всѣ народы призваны к христіанству. Всякій человѣк, в большей или меньшей степени, способен к научному мышленію. Но не всѣ признают — и обязаны признавать — каноны греческой красоты. Всѣ ли народы способны признать цѣнность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас рѣшается в мірѣ. Не теоретическими соображеніями, а только опытом возможно рѣшить его.

***

О чем идет рѣчь? О какой свободѣ? Пора, наконец, опредѣлить нашу тему. Но сдѣлать это надо покороче, без лишних сложностей. В наше время опредѣленія свободы требуют прежде всего ея враги. Они утратили способность понимать ее; самыя простыя вещи начинают представляться для них чудовищно-трудными. Раздувая эти трудности до абсурдов, они дѣлают из свободы философскую безсмыслицу. Однако и они, и всякий читатель имеют право на точный и ясный ответ: что здѣсь, на этих страницах, понимается под свободой?

Итак, мы говорим о свободѣ философском или религіозном смыслѣ. Наша свобода не свобода воли, то есть, выбора, которую ничто, никакое ослѣпленіе грѣха или предраз-

судков не способно до конца отнять у человѣка; такой свободой обладает и комсомолец, и член Hitler-Jugend.

Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоическій философ и аскет; Эпиктет осуществлял ее в рабствѣ, святые находили ее в добровольной темницѣ кельи.

Но это и не динамическая свобода соціальнаго строительства и разрушенія, которой охвачена фашистская молодежь, отдающая свою личную волю в полное подчиненіе вождям ради этого чувства коллективной мощи и власти.

Наша свобода — соціальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества — точнѣе, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная — свобода от чего-то, и вмѣстѣ с тѣм относительная; ибо абсолютная свобода от государства есть безсмыслица.

Свобода в этом пониманіи есть лишь утвержденіе границ для власти государства, которыя опредѣляются неот'емлемыми правами личности. Будучи относительной в своей мѣрѣ и в формах, по разному опредѣляясь в разных странах современной демократіи, она, однако, зиждется на нѣкоторых абсолютных предпосылках, которыя мы должны установить. Утрата их, полная релятивизація свободы для нея смертельна; по нашему убѣжденію, это и является главной причиной современнаго помраченія свободы.

Разсматривая длинный список свобод, которыми живет современная демократія: свобода совѣсти, мысли, слова, собраній и т. д., мы видим, что всѣ онѣ могут быть сведены к двум основным началам; именно к двум, а не к одному, к прискорбію для логической эстетики. Этот дуализм свидѣтельствует о различіи исторических корней нашей свободы.

Главное и самое цѣнное ея содержаніе составляет свобода убѣжденія — религіознаго, моральнаго, научнаго, политическаго, и его публичнаго выраженія: в словѣ, в печати, в организованной общественной дѣятельности. Исторически, вся эта руппа свобод развивается из свободы вѣры.

С другой стороны, цѣлая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совѣсти и мысли: свобода от произвольнаго ареста и наказанія, от оскорбленія, грабежа и насилія со стороны органов власти определяет содержаніе конституціонных гарантій, за которыя велась вѣковая борьба с монархіей. Онѣ нашли себѣ выраженіе в характерном англійском актѣ-символѣ, извѣстном под именем

Habeas Corpus. Пользуясь этим символом, мы могли бы назвать эту группу свобод свободой тѣла в отличіе от другой группы — свободы духа.

Разнородность их природы уясняется из одного простого разсужденія. Идеальный христіанин, святой, может без ропота отдать свое тѣло, имущество и жизнь тирану; даже видѣть в этом непротивленіи свой долг — подражанія Христу. Но он не поклонится идолам, не отречется от Христа по требованію императора. Величайшіе конфликты государства с церковью происходили по преимуществу из-за этой свободы — духа; конфликты государства со свѣтским обществом — преимущественно по вопросам свободы тѣла.

Разумѣется, слово «тѣло» мы употребляем в очень широком смыслѣ; оно включает, как собственность лица, так и его честь — то есть, не только физическую, но и соціальную его индивидуальность, за исключеніем духовной; или, выражаясь иначе, все, что принадлежит личности, но не является ею самой. Вѣра и убѣжденія не принадлежат ей, но она сама скорѣе принадлежит им; в нѣкотором смыслѣ, ея подлинное бытіе с ними совпадает.

Быть может, большинство демократов в наши дни убѣждены, что эти свободы — завоеваніе новаго времени: англійской революціи XVII-го вѣка или даже французской XVIII-го. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революція вообще мѣстом ея рожденія. Отсюда оптимистическій взгляд на исход новѣйших революцій. Онѣ представляются неизбѣжно тяготѣющими к свободѣ и осуществляющими ее послѣ тяжелых испытаній.

Какую роль в развитіи нашей свободы играли великія историческія революціи, мы увидим дальше. Но прежде всего необходимо подчеркнуть и, не уставая, повторять, что свобода зарождается в средневѣковьѣ, хотя своего полнаго развитія достигает в XIX вѣкѣ. То христіанское средневѣковье, которое было родиной всей нашей культуры, как отличной от культуры классическаго міра, было и родиной свободы. Magna Charta датируется 1214 годом.

Но задолго до англійскаго возстанія баронов про Безземельнаго Европа видѣла войны и рев ии, которыя велись за свободу. Конец XI вѣка бы он громом потрясеній, народных движеній и международных войн. Самым боевым лозунгом тѣх лѣт была свобода — только свобода в особом смыслѣ: libertas Ecclesiae. И это возвращает нас к истокам первичной свободы — свободы вѣры.

Западная церковь пережила кризис Римской имперіи и хранимой ею эллинистической культуры. Она побѣдоносно встрѣтила волны варварских вторженій и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфоніи», подобной Византійской, но сохранила свою независимость от государства и даже болѣе, свою учительную и дисциплинарную власть над ним. Однако, до теократіи лѣло не дошло. Варварская стихія возставала против римской опеки. Установилось двоевластіе, двойное подданство. Внѣшним выраженіем его было двойное право — каноническое и національное, двойная юрисдикція — духовная и свѣтская. Но еще важнѣе, что каждый человѣк был подданным двух царств: града Божія и града земного. В его сердцѣ сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значеніе. Церковь брала себѣ душу, король — тѣло. Размежеваться было трудно, ибо жизнь сложнѣе этого дуализма. Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрѣшимый. И в этом конфликтѣ создалось и окрѣпло первое, хотя и смутное, сознаніе свободы.

Человѣк должен был выбирать; волей судеб каждый хри-стіанин становился судьей в спорѣ двух высочайших автори-тетов: папы и императора. В грандіозных конфликтах XI—XIII вѣков все общество раскалывалось на двое в этом спорѣ. При этих условіях, каковы бы ни были соціальныя основы обще-ства, не могло быть и рѣчи об абсолютности свѣтской власти. Даже отвлекаясь от самого содержанія духовнаго суверени-тета, даже в нелѣпом предположеніи, что им могла бы быть любая не-христіанская религія, самый факт церковно-госу-дарственнаго дуализма ограничивал власть государства, соз-давал сферу личной свободы. Но, конечно, вдумавшись, мы понимаем, что никакая иная из извѣстных нам религій не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть одновременно религіей абсолютнаго, вѣчнаго и в то же время связаннаго, соотносительнаго с тѣлесным и земным. Ни посюстороннее язычество, ни потусторонній спиритуализм, буддизм, платонизм) не могли бы создать религіозной сферы, высшей, чем годарство, но черезполосной с ним. Ислам не в счет; ибо там, как и в Византіи, высшая духовная власть совпадает с государственной.

В католической Европѣ у Церкви был один важный шанс в борьбѣ за ея свободу: феодальный характер государства. Конечно, буйное и воинственное рыцарство причиняло церкви

много зла и хлопот. Церковь встрѣчала больше послушанія среди городских коммун, среди рабочих первых индустріальных городов Италіи и Нидерландов. Но бароны, хотя бы и гибеллины, ослабляли королевскую власть, раздробляли свѣтскій суверенитет. Перед церковью не возникало угрозы Левіафана.

Обращаясь к самому феодальному міру, мы наблюдаем в нем зарожденіе иной свободы, менѣе высокой, но, может быть, болѣе цѣнимой современной демократіей — той, которую мы условились называть свободой тѣла. В феодальном государствѣ бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношенія к сюзерену опредѣляются договором и обычаем, а не волей монарха. На территоріи, если не всякой, то болѣе крупной сеньоріи, ея глава осуществляет сам права государя над своим крѣпостным или даже свободным населеніем.

Формула «помѣщик» — государь», хотя и не свободная от преувеличенія, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждаго из них — его «тѣло» — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имѣет право войны против короля. Возстаніе баронов в Англіи 1214 года и Magna Charta были не революціонным взрывом, началом новой эры, а одним из нормальных эпизодов политической борьбы.

Во время коронаціи англійских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, всѣ пэры и пэрессы, присутствующіе в Вестминстерском аббатствѣ, тоже надѣвают свои короны. Они тоже государи, наслѣдственные князья Англіи. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегій. Но я хотѣл бы видѣть в нем символ современной демократической свободы. То, что было раньше привилегіей сотен семейств, в теченіе столѣтій распространилось на тысячи и милліоны, пока не стало неот'емлемым правом каждаго гражданина.

В западной демократіи не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаслѣдовал его привилегіи. Это равенство в благородствѣ, а не в безправіи, как на Востокѣ. «Мужик» стал называть своего сосѣда Sir и Monsieur то есть, «мой государь», и уж во всяком случаѣ в обращеніи требует формы величества: Вы (или Они).

Мы говорим не о пустяках, не об этикетѣ, но о том, что стоит за ним. А за ним Habeas Corpus, распространенный постепенно с баронов-государей на буржуазію городских

общин и на весь народ. В Magna Charta граждане Лондона раздѣляют нѣкоторыя привилегіи баронов. В XI—XIII вѣках повсюду в Европѣ существовали свободныя городскія общины, коллективныя сеньоріи, надѣленныя привилегіями общей и личной свободы. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крѣпостное право смягчалось и отмирало под вліяніем свободнаго воздуха городов.

Таков схематическій рост свободы. Дѣйствительность была много сложнѣе. Важно отмѣтить, что в своем зарожденіи правовая свобода (свобода тѣла) была свободой для немногих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается, как привилегія, подобно многим плодам высшей культуры. Массы долго не понимают ея и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Всѣ завоеванія деспотизма в новой исторіи (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при сочувствіи масс. Массы нуждаются в многовѣковом воспитаніи к свободѣ, которое нам на рубежѣ XIX-XX вѣков уже казалось, может быть ошибочно, законченным.

Люди, воспитанные в восточной традиціи, дышавшіе вѣковым воздухом рабства, ни за что не соглашаются с такой свободой — для немногих, — хотя бы на время. Они желают ея для всѣх или ни для кого. И потому получают «ни для кого». Им больше нравится царская Москва, чѣм шляхетская Польша. Они чегодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. В результатѣ на мѣстѣ дворянской Россіи — имперія Сталина.

Мы нисколько не хотим идеализировать средневѣковья. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестокими господами для своих подданных. В хищникѣ, разбойникѣ, тиранѣ нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно повѣрить, что за духовную свободу боролась католическая церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совѣсти, конечно, и не снилась князьям средневѣковой церкви. Свобода была им нужна не для вѣрующей личности, а для «церкви», то есть, для ея іерархіи. Впрочем, и папы должны были дѣлиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результатѣ их борьбы за свободу призрак тоталитарнаго государства на Западѣ разсѣялся на много вѣков. Несмотря на всѣ реакціи времен Ренессанса и абсолютной монархіи, всевластію государства был положен предѣл. И этот предѣл был указан двумя началами, повидимому, всегда необходимыми для осуществленія свободы: плюрализмом власти и абсолютным характером духовных (религіозных) норм.

Переход от средних вѣков к новому времени принес не расширеніе, а умаленіе свободы. Блестящій культурный Ренессанс в политической сферѣ означал появленіе тираніи в Италіи и королевскаго абсолютизма в заальпійской Европѣ. Создается централизованное національное или территоріальное государство на развалинах средневѣковых сословных вольностей. Парламенты теряют свой авторитет, Etats Généraux перестают собираться, постоянныя арміи и зародышевая бюрократія вытѣсняют феодальный aide et conseil. Ограничивается, если не исчезает совсѣм, плюрализм власти — одно из условій свободы. Другое, духовное условіе поколеблено также, вмѣстѣ с упадком или затменіем религіозности.

Церковь отступает от своих универсальных позицій, замыкается в стѣнах храма. Кесарь начинает владѣть не только тѣлом, но отчасти и душой подданных. Сопротивленіе его посягательствам на духовную сферу жизни становится рѣдким и слабым. Томас Мор, гуманист и мученик за свободу церкви, составляет рѣдкое исключеніе.

Может быть, напоминаніе об этом потускнѣніи свободы на зарѣ великолѣпнаго дня нашей культуры способно принести нѣкоторое утѣшеніе в наши дни ея вторичнаго затменія. Рано еще хоронить свободу. Соціалистическая революція теперь, как нѣкогда національное государство, питается кровью свободы. И теперь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть, завершенія нашей культуры в тоталитарном государствѣ. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее можно побѣдить и теперь. Важно лишь помнить, каковы были условія, сдѣлавшія возможным ея преодолѣніе.

*
**

Культура Ренессанса с ея побѣдным ростом деспотизма нашла свой предѣл в Реформаціи. Всякая попытка построить генеалогію современной свободы, минуя Реформацію, обречена на неудачу. Линія, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвѣщеніем, Леонардо да Винчи с Ньютоном, пригодна для исторіи науки, но не для исторіи свободы. Конечно, утвержденіе реакціонеров-католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грѣхопаденіем Лютера, есть огромное преувеличеніе. Но оно содержит в себѣ зерно истины. Послѣ католической борьбы за свободу

церкви (XI-XII в.) религіозныя войны эпохи реформаціи (XVI-XVII в.) знаменуют второй этап в развитіи свободы.

Не слѣдует только представлять дѣло таким образом, что провозглашенный Лютером принцип свободнаго толкованія Библіи сыграл эту революціонную роль. На самом дѣлѣ, авторитет католической церкви был сейчас же замѣнен авторитетом новых пророков; за пророками слѣдовали схоластики, создавшіе протестантскіе катехизисы. Аугсбургское или Вестминстерское исповѣданіе сами по себѣ ничуть не свободнѣе Тридентскаго катехизиса. Фанатизм новых сект нисколько не уступал нетерпимости старой церкви. Протестанты жгли или вѣшали єретиков с не меньшим усердіем, чѣм католики. Болѣе того, там, гдѣ Реформація передала власть над церковью князьям — в Англіи, в Германіи, в скандинавских странах — государственный абсолютизм получил новое подкрѣпленіе, за счет католической церкви. Тюдоры становятся «правителями церкви» и в силу этого владыками совѣсти. Но для судеб свободы имѣл огромное значеніе тот факт, что в Англіи — именно в Англіи — господствующее «англиканское» исповѣданіе не смогло стать религіей всего народа. Религіозная буря, поднявшаяся с начала XVII столѣтія, привела не к единству новой реформированной церкви, а к образованію множества сект, боровшихся страстно, но безуспѣшно, за господство. Менѣе всего можно было ждать признанія свободы со стороны религіозных радикалов; в XVII вѣкѣ скорѣе можно было встрѣтить сторонников терпимости — как тогда говорили, «латитудинаристов» — в государственной церкви, среди сторонников Стюартов. Англійская революція или, правильнѣе, гражданская война не принесла ничего для свободы — ни религіозной, ни политической. Послѣ тираніи Кромвеля Англія вернулась к исходной точкѣ, к реставраціи Стюартов с прежними темами борьбы: церковь и секты, король и парламент. Свобода пришла вмѣстѣ с терпимостью — конечно, ограниченной — лишь к концу вѣка, когда выяснилась невозможность религіознаго об'единенія Англіи. Вторая, «Славная» революція принесла с собой дѣйствительный Habeas Corpus и свободу главным сектам протестантизма; католикам и евреям пришлось ждать ея до XIX столѣтія.

Почти то же мы видим и в Америкѣ. Здѣсь не англиканская церковь, а конгрегаціоналисты или пресвитеріане пытались установить режим вѣроисповѣднаго единства в отдѣльных колоніях. Удушливая атмосфера нетерпимости Новой Англіи была не лучше старой: в Коннектикутѣ вѣшали кваке-

ров. Однако, дробность сект и их черезполосица заставляли создавать островки свободы для совмѣстной жизни иновѣрцев: таков Род-Айленд.

Так постепенно создавалась свобода, или ея оазисы, в мірѣ нетерпимости, принималась не принципіально и не радостно, а по необходимости — как неизбѣжное зло. Но уже «из необходимости создавалась добродѣтель». На перекрестках духовных дорог встрѣчаются люди, — и число их растет — которые утверждают свободу, как принцип, которые исповѣдуют религію свободы. Для этих избранных умов, для Мильтона, Джорджа Фокса, для Роджера Вильямса свобода неот'емлема от христіанства. И тезис этих утопистов, заблудившихся в жестокій вѣк религіозных войн, восторжествовал. Свобода оказалась практичнѣе насилія. Принудительное единство грозило безконечной войной и гибелью культуры; свобода ее спасала.

*
**

Терпимость-поневолѣ мало радует. Если бы будущее свободы зависѣло от утраты духовнаго единства, от наличія расколов и ересей, это не сулило бы ничего добраго для болѣе счастливых времен — для Европы, вновь обрѣтшей цѣльность своей культурной жизни. По счастью, христіанская свобода имѣет болѣе глубокіе корни, чѣм практическую безвыходность. Прошли вѣка, и убѣжденіе немногих утопистов времен Реформаціи вошло в плоть и кровь большинства христіан. Мало кто посмѣет защищать в наши дни идею насильственнаго спасенія. Самыя авторитарныя церкви нынѣ стоят на почвѣ свободы — быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что онѣ не смѣют утверждать насиліе ради спасенія, ради любви, как утверждали наши предки в теченіе вѣков, или даже тысячелѣтій. Христіанство во многом созрѣло, стало мудрѣе, совѣстливѣе за послѣдніе вѣка. Среди тяжелых неудач и пораженій, даже гоненій, которыя ему случается переживать, оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Внѣ всякаго сомнѣнія, христіанство сейчас ближе к опыту ранней церкви, ближе к Христу, чѣм во времена его призрачнаго господства над міром.

Быть может, никто с такой силой не утверждал смысла свободы для христіанской церкви, как это сдѣлал Достоевскій в своей знаменитой «Легендѣ». Достоевскій, конечно, не іерарх и даже не богослов. Но поразительно, что никто из реакціоне-

ров побѣдоносцевской Россіи не посмѣл прямо возстать против самозваннаго пророка. Никто не сказал: это ересь. Дѣлали только вид, что «это нас не касается»: рѣчь идет о папизмѣ.

В Евангеліи от Іоанна и в Павловых посланіях есть много вдохновенных слов о свободѣ. Но они говорят о той глубокой, послѣдней свободѣ, путь к которой вѣдь может вести и через отрицаніе свободы. По крайней мѣрѣ, такова была тысячелѣтняя діалектика богословія. Свобода, о которой мы говорим здѣсь, свобода соціальная, утверждается на двух истинах христіанства. Первая — абсолютная цѣнность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже Церкви («девяносто девять праведников»). Вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая, страшная свобода была так трудна для древняго христіанскаго сознанія, как нынѣ она трудна для сознанія безбожнаго. Признать ее — значит поставить свободу выше любви, значит признать трагическій смысл исторіи, возможность ада. Всѣ соціальные инстинкты человѣка протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающаго человѣка, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притчѣ о плевелах и пшеницѣ сказано: «оставьте их вмѣстѣ рости до жатвы». И в древнем мифѣ о грѣхопаденіи, который лежит в основѣ христіанской теодицеи, Бог создает человѣка свободным, зная, что этой своей страшной свободой человѣк погубит прекрасный Божій мір. И Бог желает спасти падшій мір не властным словом («да будет»), а жертвой собственнаго Сына. Как же может эта жертва отмѣнить свободу, ради которой она и была принесена? В свѣтѣ этого откровенія мы скорѣе признаем, что ошибалось и грѣшило полтора тысячелѣтія христіанское человѣчество, чѣм что ошибся Бог, создав свободным человѣка, или ошибся Христос, взошедшій на крест, чтобы спасти человѣка в свободѣ.

*
**

Но времена измѣнились. Новый этап борьбы за свободу начинается в XVIII вѣкѣ. Люди, не помнящіе исторіи, склонны вообще начинать исторію свободы с этого вѣка или даже с французской революціи. На самом дѣлѣ, в вѣк Просвѣщенія произошла лишь — и то не полная — секуляризація свободы. Измѣнились ея идеалы, ея обоснованіе, — как говорили недавно в Россіи, ея «во имя». Если отвлечься от особенностей идеоло-

гіи французскаго просвѣщенія и взять в цѣлом два послѣдних вѣка Европы с их борьбой за свободу, торжеством свободы и ея упадком, — то мы увидим двѣ могущественных силы, которыя вынесли свободу и нынѣ предают ее: науку и капитализм.

На рубежѣ XVII-XVIII вѣка, послѣ безплоднаго надрыва религіозных войн, надолго скомпрометировавших религію, лучшіе умы ищут спасенія в наукѣ. От фанатических страстей уходят в мір чистых истин математики и механической физики. Здѣсь нѣт обмана, нѣт произвола; здѣсь истина одна для всѣх. И разум, открывшій новые міры умопостигаемых и все же реальных об'ектов, не только находит в их прохладном воздухѣ временное успокоеніе своей тоски по абсолютному; он приходит к убѣжденію, что уже обладает этим абсолютным ключем к тайнам бытія. Весь мір и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их матеріальных субстратов. Ньютоновская физика и все производное от нея естествознаніе — даже соціологія — до наших дней владѣли умами и пытались утвердить себя в качествѣ религіи разума, на мѣсто обанкротившагося христіанства.

Новая наука, как всякая наука, нуждается в свободѣ. Эта свобода есть «свобода изслѣдованія», свобода от догматических предпосылок, свобода выбора между возможными заключеніями. Такая свобода необходима для ограниченнаго числа ученых. По существу, она не нужна даже для популяризаторов и педагогов, не говоря о массах. Но, благодаря огромному, почти религіозному значенію науки в новое время, идеалы ученых стали идеалами всего общества, то есть, всѣх образованных или полуобразованных слоев его. Школа на всѣх ступенях стремилась к развитію критической мысли и к усвоенію элементов научнаго метода. Каждый юноша, хоть бы на самое короткое время своей жизни, пріобщался к арміи работников науки и заражался ея патріотизмом, тѣм болѣе, что образованіе XIX вѣка было почти исключительно интеллектуальным.

Свобода научнаго изслѣдованія находила себѣ мощную поддержку в свободѣ хозяйственной предпріимчивости, которую несла с собой молодая буржуазія. Она не нуждалась болѣе в опекѣ государства. Прежде цѣнимое покровительство его становилось, или ощущалось, путами. Ученики Адама Смита привѣтствовали неограниченную свободу торговли, конкуренціи, экономическаго эгоизма. Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всѣх против всѣх.

Но, утвердившись в хозяйствѣ, в этом центрѣ соціальной

жизни, свобода распространяется быстро на всѣ сферы: политику, быт, семью, воспитаніе, гигіену, общественную мораль. Всюду ограничивается, минимализируется значеніе норм, авторитетов, принужденія, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистическій взгляд: свободная борьба стихій в личности и обществѣ сама по себѣ приводит к гармоніи или к повышенію творческих энергій. И, в теченіи двух или трех поколѣній, жизнь оправдывала эти надежды. XIX вѣк был одним из величайших вѣков в исторіи человѣчества: одним из самых творческих и уж, конечно, самым гуманным и самым свободным.

Свобода мысли на высотах культуры, свобода хозяйства в ея центрѣ взаимно поддерживали друг друга. Онѣ покоились на одном принципѣ — раціонализма. Зомбарт вѣрно уловил сродство между пробужденіем экономическаго раціонализма в итальянском Возрожденіи и первыми шагами научной мысли. В серединѣ XIX вѣка положеніе не измѣнилось. Банкир или фабрикант не только ради интереса, но и безкорыстно сочувствует успѣхам науки, ея борьбѣ против всѣх суевѣрій и торжеству народных революцій, свергающих или ограничивающих власть королей.

Свобода мысли в исторіи новых вѣков смѣнила свободу вѣры, как либеральная — то есть, минималистическая концепція государства — заняла мѣсто феодальнаго плюрализма власти. Вѣрнѣе, произошла перестановка удареній. Как будто бы новая чета свобод преемственно связана со старой. Свобода вѣры предполагает свободу невѣрія. Но, когда свобода невѣрія (сомнѣнія, изслѣдованія) становится центральной, мѣняется все человѣческое содержаніе ея: из цѣлостной, об'емлющей всѣ цѣнности и всѣ стремленія человѣка, она становится чисто интеллектуальной. Подобно этому, плюрализм власти, защищая личность, не подрывал государства, ни его нравственнаго достоинства. Новый либерализм, не отмѣняя, конечно, государства, его дискредитирует и обезоруживает. Впрочем, не одно государство...

Здѣсь необходимо сдѣлать существенную оговорку. Наблюдая народныя политическія движенія XIX вѣка — борьбу за свободу и равенство — мы видим, что под поверхностью раціоналистических идей в них живет совсѣм иное содержаніе. Не за свободу изслѣдованія и не за свободу хозяйства французскіе студенты и рабочіе умирали на баррикадах. Они умирали за «свободу» вообще, то есть, за цѣлостный идеал преображенія жизни, за новую землю и новое человѣчество,

за эсхатологическую утопію. Даже самая организація политическихъ партій, столь существенная для современной демократіи, менѣе всего напоминаетъ научную ассоціацію или хозяйственный трестъ. В Англіи, родинѣ всѣх «партій», онѣ преемственно связаны с сектами XVII вѣка или, точнѣе, с тѣми мірянскими союзами, «ковенантами» для защиты вѣры, которыми так богата исторія англійской реформаціи. Партіи XIX и XX вѣка, превратившіяся (и то не до конца) в органы защиты групповых интересов, все еще покоятся на идеологической основѣ на признаніи (а не изслѣдованіи) нѣкоторых истин, или теоретических положеній, и на общности нравственных оцѣнок. Консерватизм, либерализм, соціализм — не научныя системы, хотя они и стремятся к научному обоснованію. Это опредѣленныя міровоззрѣнія, то есть, системы общественно-моральных оцѣнок, за которыми стоят философскія начала, принимаемыя на вѣру, как основа жизни. Для XIX вѣка это были еще крипто-религіозныя силы.

Силы, открыто религіозныя, великія историческія церкви в новое время рѣдко принимают участіе в борьбѣ за свободу. Чаще всего онѣ оказываются в лагерѣ врагов свободы. Со времени Ренессанса церковь выпустила из своих рук водительство культурным движеніем человѣчества. Это движеніе пошло по таким путям, которые вызывали ея, вполнѣ справедливое, недовѣріе и осужденіе. Не измѣняя своим вѣчным началам, она не могла, конечно, принять механической системы міра, ни оптимизма Руссо, ни утилитаризма либералов, ни детерминизма марксистов... Но всѣ эти ереси ложились в основаніе новых освободительных движеній. Впрочем, еретическое обоснованіе свободы никак не может оправдать союза с обветшавшими формами соціальнаго строя. Проклиная беззаконную свободу, цѣплялись за всѣ остатки рабства или угнетенія. Каждый шаг свободы, каждое новое раскрѣпощеніе личности, класса или народа встрѣчало наиболѣе сильное или принципіальное сопротивленіе со стороны церквей. Отсюда прочно сложившееся убѣжденіе новаго либерализма, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину». В опытѣ новых вѣков освободительное движеніе забывало о христіанском своем происхожденіи. Оно ищет мнимой генеалогіи в язычествѣ древней Греціи или в нео-паганизмѣ Ренессанса.

Впрочем, этот разрыв между религіей и свободой не типичен для англо-саксонскаго міра, то есть, для родины свободы. Трагическій разрыв остается господствующим фак-

том для европейскаго континента, и особенно для стран, связавших свою свободу с легендой французской революціи: для Франціи, Италіи, Испаніи, Россіи.

Трудно понять, каким образом Великая французская революція могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнѣе подлинных исторических явленій. Вѣрно то, что революція шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но вѣрно и то, что в исторіи Франціи не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть вѣка революціонной эпохи. Эти лозунги, или воплощенныя в них идеи, были, конечно, созданіем не революціи, а XVIII вѣка. Созданіем революціи была централизованная Имперія. Революція нашла в старом режимѣ, вмѣстѣ с устарѣлыми привилегіями и неоправдываемым уже гражданским неравенством, многочисленные островки свободы: самоуправленіе провинцій, независимость суда (парламентов), профессіональныя корпораціи, университет. Она уничтожила все это, рѣшившись на то, на что не посмѣли Бурбоны в своей двухвѣковой работѣ по разрушенію средневѣковых свобод. Она осуществила равенство без свободы — в противоположность тому, что повторяется обычно — конечно, равенство лишь гражданское. Грандіозное, административно-совершенное зданіе Имперіи закрѣпило всѣ положительныя «завоеванія» революціи, раздавив всю ея идеологію. Имперія Наполеона не есть ни реакція против революціи, ни ея несчастное извращеніе, но логически необходимое завершеніе. Революція так радикально выполола мечту о свободѣ и даже потребность в ней, что никакая серьезная оппозиція не угрожала Имперіи. Она могла бы существовать хоть цѣлое столѣтіе, если бы ея не свергла иноземная интервенція. О прочности, об органичности Имперіи на почвѣ, жирно политой кровью революціи, свидѣтельствует уже тот факт, что Франція еще раз вернулась к этой формѣ деспотизма и жила в ней два десятилѣтія; Вторая Имперія точно так же была свергнута лишь внѣшним врагом. Но еще долго спустя бонапартизм, в том или ином видѣ, угрожал III республикѣ, которая унаслѣдовала сама почти всю свою административную организацію от той же Имперіи.

Свободу Франціи и Европы спасла Англія и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона — единственный

оазис свободы в Европѣ 1812, как и 1940 года — и подарив — вмѣстѣ с императором Александром — конституціонную хартію Франціи 1814 года. Только с Реставраціей начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительныя учрежденія, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиціи. В то время политическая мысль французскаго либерализма искала опоры в англійских учрежденіях. Революція была предметом ужаса для поколѣній, еще хранивших живыя воспоминанія о ней. Лишь тогда, когда сошли в могилу послѣдніе свидѣтели, в 1830-х годах начинает твориться, в книгах Мишле и Луи Блана, легенда Революціи, которой живет сейчас республиканская Франція. Эта легенда, сама по себѣ, может имѣть освобождающую силу, подобно легендѣ Вильгельма Телля, не имѣющей, как извѣстно, никакого историческаго оправданія. В ней британская свобода прикрыта фригійской шапкой. Но двусмысленность, создавшаяся из этого переодѣванія, не всегда безвредна. Рецидивы якобинства угрожают и современной Франціи; Россія заплатила за увлеченіе Мишле (через нѣмца Блосса!) милліонами лишних жертв Че-Ка.

Не одна Франція получила свою конституцію из-за Ламанша. Всѣ европейскія конституціи XIX вѣка восходят к тому же британскому источнику. Если рецепція британских учрежденій оказалась возможной и плодотворной, то это прежде всего потому, что вся западная Европа была одной семьей народов. Они всѣ прошли ту же историческую школу, имѣли не только в памяти, но и в крови рыцарство, католицизм, Реформацію. Ростки свободы жили повсюду, хоть и приглушенные вѣками абсолютизма. Лишь с точки зрѣнія конституціонных учрежденій переход от абсолютизма к представительному строю был или казался революціонным. Для «личных суб'ективных» прав не было революціи; было лишь расширеніе и развитіе их содержанія. Если взять самые реакціонные из монархических режимов старой Европы — напримѣр, Австрію Меттерниха — ея культурная жизнь покажется необычайно свободной по сравненію с культурами Азіи, не знавшей феодально-христіанскаго опыта, со старой Москвой или даже с современной ей Николаевской Россіей. Свобода для Европы не есть новѣйшее завоеваніе, но лишь пышное проростаніе от древних корней.

Обращаясь к той странѣ, которая в эту эпоху была «дѣтоводительницей к свободѣ», мы видим, что в ней болѣе, чѣм гдѣ бы то ни было в Европѣ, свобода утверждается не

только на новых, но и на древних основаніях. Конечно, и в Англіи либерализм питался и экономическими мотивами капитализма и научным міровоззрѣніем новаго времени. Это столь хорошо знакомая — и единственно знакомая — нам, русским, линія Локка, Бентама, Милля, Спенсера. Но рядом с ней живет другая, христіанская традиція свободы, сильная особенно в «свободных церквах». Гладстон сдѣлал для свободы міра больше, чѣм какой-либо другой политическій дѣятель Англіи. Но Гладстон был и теологом; притом теологом не одной из многочисленных сект, но государственной церкви Англіи. До послѣдняго времени лидеры рабочаго движенія Англіи выходили из сектантских проповѣдников. Антихристіанскій радикализм начала XIX вѣка был скорѣе временным увлеченіем. И если положительная религія в Англіи, как и повсюду, переживала в XIX вѣкѣ процесс медленнаго вывѣтриванія, ея нравственныя приложенія живы и понынѣ; да и чисто религіозныя силы в достаточной мѣрѣ еще питают политическую жизнь. Что касается феодальной свободы, то она переживает себя и в широком самоуправленіи, в развитіи всѣх форм «соціальнаго» (внѣгосударственнаго) права и даже в общественном значеніи аристократіи; аристократія эта активна и часто прогрессивна, участвует во всѣх сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей націи. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лѣт сто тому назад, теперь становится обще-національным. Мы не знаем, конечно, правда ли, что «британцы никогда не будут рабами». Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англію во имя равенства, или во имя славы, должен будет раскусить весьма жестокій орѣх.

***

Кризис свободы за послѣдніе полвѣка связан с упадком тѣх двух основ, на которых она пыталась утвердиться в новое время: капиталистической экономики и научнаго позитивизма. Свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармоніи, а к разрушенію. Вот почему задача освобожденія смѣнилась задачей организаціи. Началось с возрожденія покровительственных тарифов, окончилось попытками построенія соціалистическаго хозяйства. В эпоху, когда экономическія проблемы занимают центральное мѣсто, потребность экономической организаціи распространяется на

всѣ сферы жизни. Она поддерживается небывалым ростом техники, которая сама по себѣ требует принудительной организаціи: автомобильнаго движенія, радіо, надземных и воздушных путей. Неорганизованная техника означает столкновеніе, взрыв, разрушеніе, смерть. Но пробудившееся, и праведное, стремленіе к разумному устроенію жизни выражается и в растущей системѣ соціальнаго обезпеченія и соціальной гигіены, всюду ограничивающей старую свободу, понимаемую в смыслѣ невмѣшательства. Кстати, кризис парламентаризма отчасти об'ясняется этой же новой потребностью в раціональном и сложном законодательствѣ. Старая парламентарная машина создавалась не столько для управленія, сколько для обузданія правителей; не для отбора компетентных законодателей, а для отраженія общественных настроеній. Времена измѣнились, и конституціонная машина отказывается выполнять работу, для которой она не создана.

Кризис міросозерцанія открылся в концѣ прошлого вѣка, когда во Франціи Брюнетьер провозгласил «банкротство науки». Наука, конечно, не обанкротилась, а дѣлает ежедневно поразительныя открытія и изобрѣтенія. Но обанкротилась научная вѣра или суевѣріе, которое ждало от науки отвѣта на всѣ проклятые вопросы жизни. Оказалось, что, чѣм дальше развивается наука, тѣм болѣе она удаляется от чаемаго единства. В рѣшеніи пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. И уж во всяком случаѣ, из системы точных наблюденій над фактами никак не удавалось вывести систему норм. Ученый, как и послѣдній невѣжда, стоит так же безпомощно перед проклятыми вопросами: в чем смысл жизни? как жить? что добро и что зло?

Когда это стало ясно для широких кругов, ученый потерял то религіозное обаяніе жреца истины и пророка лучшаго будущаго, которым он был недавно окружен. Изслѣдованіе истины перестало быть дѣлом каждаго. Техника вообще заслонила чистое знаніе. Интеллектуализм во всѣх его проявленіях оказался не ко двору. Новая ересь — ирраціонализм торжествует повсюду: в новѣйшей психологіи, в искусствѣ, в философіи.

При таких условіях «свобода изслѣдованія» стала узкопрофессіональным интересом ограниченнаго круга ученых. Политики, ведущіе за собой массы, перестали с ней считаться. Ученому просто задают задачи для обслуживанія національных или политических интересов, не считаясь с его взглядами или убѣжденіями. Нѣт такой грязной работы, которая не

возлагалась бы на современнаго ученаго в «передовых» коммуно-фашистских странах. Самое поразительное та легкость, с которой огромное большинство ученых принимает «соціальный заказ». Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку, что его отношеніе к ней стало «формалистическим». Его интересует работа, техника ея, а не содержаніе открываемой или пріоткрываемой им истины. Современный ученый не собирается умирать за науку, как умирал пуританин, гугенот или католик за свою вѣру.

Впрочем, это все общеизвѣстно. И наша тема была рожденіе свободы, а не ея упадок. Но нѣкоторые выводы из этого анализа все же можно сдѣлать.

Извѣстное ограниченіе или затменіе свободы неизбѣжно в переживаемую нами эпоху соціальной революціи. До тѣх пор, пока задача организаціи новаго общества, хотя бы в грубых чертах, не будет осуществлена, свободѣ придется приносить жертвы.

Если единственное основаніе нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и научная свобода изслѣдованія, то онѣ, вмѣстѣ с политическими свободами, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помраченіе свободы, а ея смерть.

К счастью, корни нашей свободы гораздо глубже. Рожденная в христіанском средневѣковьѣ, она пережила свое затменіе в абсолютизмѣ меркантилистическаго государства; она имѣет шансы пережить и соціалистическую революцію.

В тѣх странах, которыя сейчас являются ведущими в борьбѣ за демократію, христіанскіе корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, не только за равенство, но и за свободу. Для ея новой побѣды и для дальнѣйшаго роста и укрѣпленія ея в мірѣ, необходим ряд условій. Вот важнѣйшія из них:

1. Возрожденіе в мірѣ абсолютнаго, то есть, религіознаго начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить всѣ относительныя — праведныя и неправедныя — притязанія государства.

2. Раскрытіе этого абсолютнаго начала, как религіи личности и свободы.

3. Ограниченіе суверенитета національно-соціалистическаго государства — сверху международным принудительным союзом, снизу — федеративными и автономно-группсвыми образованіями, возвращающими общество, в болѣе совершенных правовых, демократических формах, к феодальным началам его юности.

Г. Федотов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ЛИЦО РОССІИ

I.

Вѣроятно, большинство наших читателей никогда и не задумывалось над демографическими проблемами: это, мол, область для спеціалистов, для статистиков, живущих в мірѣ цифр, таблиц и кривых. Лѣт 10-15 назад такое отношеніе к проблемам народонаселенія было широко распространено и в западно-европейской и американской культурной средѣ. За послѣднее десятилѣтіе, однако, и в Европѣ, и в Америкѣ в этом вопросѣ намѣтился перелом. Вопросы о движеніи населенія, о возможном максимумѣ населенія, о культурном, экономическом и соціальном «оптимумѣ» населенія, в новѣйшее время о современной и будущей возрастной структурѣ населенія, начинают занимать все болѣе широкіе круги. Этот поворот в общественном мнѣніи явился нѣсколько запоздалым откликом на поворот в развитіи населенія, намѣтившійся еще до первой міровой войны, но с полной ясностью опредѣлившійся лишь в концѣ двадцатых годов: почти во всѣх странах западной культуры замедленіе роста населенія приняло в послѣднюю четверть вѣка такой характер, что в близком будущем нужно ожидать остановки этого роста, а затѣм и абсолютнаго сокращенія населенія, сначала медленнаго, затѣм ускореннаго. И разсчеты статистиков о вѣроятном населеніи Западной Европы и Америки через 25-30-50 лѣт (дальше почти никто заглядывать не рѣшается) начали волновать уже далеко не одних спеціалистов.

Сейчас — с точки зрѣнія динамики населенія — для стран западной культуры заканчивается період их наивысшаго расцвѣта. Это «сейчас» слѣдует, конечно, понимать не буквально, а исторически: завершительная стадія в исторіи блестящаго западнаго развитія — я говорю сейчас лишь о демографическом развитіи — растянется, может быть, на пол-вѣка. Но апогей развитія уже позади. В этом сомнѣній быть не может.

Для читателя, мало знакомаго с данными демографіи, приведу нѣсколько цифр. Демографическій под'ем Европы начался лишь в 18-м вѣкѣ, особенно со второй половины столѣтія. До того в теченіе вѣков огромная смертность нейтрализировала огромную рождаемость, и населеніе Европы оставалось почти стабильным. Правда, точных данных о населеніи Европы до 19-го вѣка не существует, но в приведенной выше оцѣнкѣ

развитія всѣ изслѣдователи сходятся. «У нас нѣт основаній полагать, что населеніе Европы в 1700 году было сколько-нибудь значительнѣе, чѣм в 1600 году, или что европейское населеніе 1600 года было многочисленнѣе, чѣм в 1300 году», писал недавно выдающійся демограф-статистик Р. Р. Кучинскій: «Нѣт в то-же время сомнѣній, что населеніе значительно возросло с 1700 до 1770 года, хотя мы и не знаем размѣров этого роста. Но с 1770 года населеніе Европы увеличилось приблизительно на 250%; сейчас оно в три с половиной раза больше, чѣм 165 лѣт назад» (писано в 1936 году). — И это несмотря на громадную эмиграцію из Европы втеченіи второй половины 19-го и перваго десятилѣтія 20-го столѣтія. В абсолютных цифрах населеніе Европы, по данным Войтинскаго, росло слѣдующим образом:

в 1700 г.	110 млн.,
в 1750 г.	140 млн.,
в 1800 г.	187 млн.,
в 1850 г.	267 млн.,
в 1900 г.	406 млн.

Читатель может легко разсчитать, что прирост населенія нарастал не только абсолютно (по пятидесятилѣтіям на 30-47-80 и 139 милліонов), но и относительно (по пятидесятилѣтіям на 27-34-43 и 52%). За вторую половину 19-го вѣка один лишь абсолютный прирост населенія — несмотря на эмиграцію — значительно превысил все населеніе Европы в началѣ 18-го вѣка. Казалось, не напрасно в кругах демографов часто высказывалась тревога за будущее, а нѣкоторые нервные писатели уже подсчитывали, когда населеніе міра достигнет плотности теперешняго населенія Лондона.

Основным демографическим фактором, вызвавшим этот, казалось, невѣроятный рост населенія, было рѣзкое сокращеніе смертности и увеличеніе средней продолжительности жизни. Под'ем матерьяльной культуры и улучшеніе санитарных условій в городах и — в меньшей степени — в деревнях, обусловленныя в значительной мѣрѣ «промышленной революціей» конца 18-го и начала 19-го вѣка, и успѣхи предупредительной и лечащей медицины вызвали еще с конца 18-го вѣка паденіе смертности в рядѣ европейских стран, и паденіе это во второй половинѣ 19-го вѣка стало в Европѣ всеобщим и очень значительным. Достаточно напомнить, что перед началом этого процесса средняя продолжительность жизни в средней, сѣвер-

ной и западной Европѣ достигала приблизительно 30 лѣт (в Швеціи, с ея уже тогда болѣе благопріятными демографическими условіями, в 1755-1775 годах 35 лѣт), в концѣ 19-го вѣка 45 лѣт, к серединѣ 30-х годов 20-го столѣтія приблизительно 60 лѣт (Кучинскій). Это уже очень высокая цифра и дальнѣйшее ея повышеніе будет происходить лишь медленно и уже не может быть очень значительным.

Между тѣм в странах Западной Европы в послѣдней четверти прошлаго вѣка началось сокращеніе рождаемости. Кучинскій в одной из своих болѣе ранних работ произвел подсчет движенія рождаемости для большой территоріи, охватывающей Великобританію (с Ирландіей), Францію, Германію, Швейцарію, Бельгію, Голландію, Люксембург и скандинавскія страны. До начала 80-х годов рождаемость долго колебалась на этой территоріи (для территоріи в цѣлом) между 30 и 34 на тысячу населенія. В 1887 году она впервые прочно, т. е. окончательно опустилась ниже 31, в 1897 году ниже 30, в 1903 году ниже 29, в 1905 году ниже 28, в 1909 году ниже 27, в 1910 году ниже 26, в 1911 году ниже 25. Абсолютное число рожденій еще продолжало на этой территоріи расти до 1901 года; с этого года число рожденій даже и абсолютно начало падать, а в 1914 году опустилось до уровня начала 70-х годов прошлаго столѣтія. Но и это развитіе было лишь предвѣстником катастрофической эволюціи, намѣтившейся с середины 20-х годов.

Пока паденіе смертности обгоняло паденіе рождаемости, темп роста населенія ускорялся. Но около начала 20-го вѣка паденіе рождаемости в европейских странах начало обгонять замѣтно замедлившееся уже паденіе смертности и прирост населенія начал замедляться. С середины 20-х годов это сокращеніе рождаемости приняло во многих странах такой характер, что еще через 10 лѣт в большинствѣ европейских стран рождаемость уже не обезпечивала нормальнаго воспроизводства населенія. Факт этот маскируется еще сравнительно благопріятной возрастной структурой населенія, т. е. наличностью в составѣ населенія большого количества людей молодых возрастов, благодаря чему рост населенія абсолютно еще не остановился. Но эти молодыя возрастныя группы уже не обезпечивают болѣе наличности молодых групп такой же численности в слѣдующем поколѣніи. Демографическія изслѣдованія послѣдних лѣт с полной ясностью установили грозный факт: если в динамикѣ населенія не произойдет рѣшительнаго поворота, если энергичными мѣрами экономической, соціаль-

ной и культурной политики не удастся переломить намѣтившагося развитія, во второй половинѣ текущаго столѣтія начнется глубокій демографическій упадок стран западной культуры.

II.

Россія является наиболѣе восточной областью западнаго культурнаго міра, но ея демографическое развитіе отлично от западнаго, отличны и ея демографическія перспективы. Русская демографическая статистика оставляет желать очень многаго, но один факт не вызывает сомнѣній: Россія издавна была страной чрезвычайно высокой смертности и относительно еще гораздо болѣе высокой рождаемости, т. е. быстраго прироста населенія.

Выше мы видѣли, что населеніе Европы (включая и Европейскую Россію) выросло за два вѣка почти в четыре раза. Населеніе Россіи за это же время возросло в десять раз (ниже я привожу цифры), правда, не только благодаря естественному приросту, но и благодаря громадному расширенію территоріи страны. В литературѣ извѣстна заслуживающая довѣрія попытка разсчета населенія Россіи на неизмѣнной территоріи начала 18-го вѣка. Разсчет этот был произведен П. Н. Милюковым для его «Очерков по исторіи русской культуры»*). Согласно этому разсчету населеніе Россіи достигало (в милліонах)

	в Россіи в ея границах в момент смерти Петра I	в новых областях	всего
в 1724 г.	13		13
в 1762 г.	19		19
в 1796 г.	29	7	36
в 1815 г.	30,5	14,5	45
в 1851 г.	39	28	67
в 1897 г.	65	64	129

*) Разсчеты Милюкова в их первоначальном варіантѣ (см. «Мір Божій», 1895 г., февраль) были приведены В. И. Покровским в докладѣ на 7-й сессіи Международнаго Статистическаго Института в 1897 году в Петербургѣ и из доклада Покровскаго перешли в заграничную демографическую литературу (как разсчеты П-го). Милюков впослѣдствіи внес в свои первоначальные разсчеты нѣкоторыя существенныя поправки и выше его таблица приводится в ея окончательной редакціи.

Населеніе коренной, Петровской Россіи увеличилось менѣе, чѣм за два вѣка, в пять раз. В дѣйствительности, естественный рост его был еще значительнѣе, так как по мѣрѣ расширенія границ имперіи происходило очень интенсивное передвиженіе населенія из старых областей в новыя, относительно, вѣроятно, гораздо болѣе значительное, чѣм заокеанская эмиграція из Европы.

Расхожденіе кривых движенія населенія в Россіи и в остальной Европѣ стало особенно замѣтным с начала паденія рождаемости на Западѣ. Рождаемость и в Россіи в послѣднее десятилѣтіе прошлаго вѣка начала понижаться, но пониженіе это оставалось сравнительно очень скромным. Одновременно — и даже нѣсколько раньше и частью значительнѣе — в Россіи происходило и паденіе смертности (в этом сказалось, главным образом, вліяніе земской медицины), и прирост населенія на порогѣ двадцатаго вѣка достиг небывалой высоты и продолжал и далѣе повышаться. По данным Новосельскаго, наиболѣе авторитетнаго представителя русской демографической статистики, рождаемость, смертность и естественный прирост населенія в Европейской Россіи в послѣдніе пол-вѣка перед первой міровой войной выражались слѣдующими величинами в год на 1.000 населенія:

	рождаемость	смертность	естественный прирост
1867/71	50.0	37.5	12.5
1872/81	50.15	35.95	14.2
1882/91	50.5	35.65	14.85
1892/901	48.95	33.8	15.15
1902/11	46.4	29.8	16.6
1911/14	43.9	27.1	16.8

При этом замѣтное паденіе кривой рождаемости в началѣ 20-го вѣка почти цѣликом должно быть отнесено за счет паденія рождаемости в западных губерніях: в губерніях так наз. царства Польскаго, в Прибалтикѣ и в нѣскольких губерніях в сѣверо-западном углу Россіи, куда начала проникать практика «регулированія рождаемости». В подавляющем большинствѣ губерній коренной Россіи рождаемость продолжала держаться на исключительной высотѣ. Смертность при этом продолжала значительно превышать соотвѣтственныя данныя

для Запада, но разница в уровнѣ рождаемости была еще гораздо значительнѣе, и естественный прирост населенія Россіи неизмѣнно поражал западно-европейских демографов.

Чѣм вызывалась эта высокая рождаемость? Выясненіе этого вопроса представляет огромный интерес и для пониманія современных демографических процессов, и для правильной оріентировки в вопросѣ о будущем развитіи.

Хорошо извѣстно, что Россія издавна являлась страной ранних браков. Раннее вступленіе в брак стимулировалось русским поземельным строем (община, передѣлы по душам) и прочно вошло в быт. По расчетам Новосельскаго, основанным на данных о вступивших в брак в Россіи за 1900-1904 годы и о вступивших в брак в Германіи за 1905-1907 годы, в Россіи 32,5% брачущихся мужчин и 57.1% брачущихся женщин не достигли 21 года; для Германіи соотвѣтственныя данныя 0,6 и 16,1%. В возрастѣ моложе 26 лѣт в Россіи вступили в брак 66,6% мужчин и 86,8% женщин, в Германіи соотвѣтственно 40,3% и 64.9%. А Германія это далеко еще не крайній, а скорѣе средній примѣр для западных стран. Процент замужних среди женщин в возрастѣ от 16 до 45 лѣт в Россіи всегда был выше, чѣм в западных странах, и возрастная группировка или, как принято говорить, возрастная структура женскаго населенія болѣе благопріятна для высокой рождаемости*).

Пользуясь данными о плодовитости у женщин различных возрастов в Россіи и в рядѣ западных стран, Новосельскій разсчитал, какова была бы рождаемость в этих странах при данной их повозрастной плодовитости, если бы возрастная структура замужних женщин в этих странах совпадала с возрастной структурой замужних женщин в Россіи. Разсчеты Новосельскаго относятся к 1896-1897 годам для Россіи и к 1900-1901 годам для западных стран, когда вліяніе регулированія рождаемости на уровень ея на Западѣ было еще очень ограничено. Поразительные результаты разсчетов Новосельскаго приведены в слѣдующей таблицѣ:

---

*) Не приходится, правда, закрывать глаза на тот факт, что основной причиной болѣе благопріятной — с точки зрѣнія возможной рождаемости — возрастной структуры (т. е. более молодого средняго возраста) женскаго населенія страны была высокая смертность населенія и низкая средняя продолжительность жизни.

	брачная рождаемость на 1.000 населенія	корректированная брачная рождаемость примѣнительно к русской возрастной группировкѣ замужних женщин
Европ. Россія	48,7	48,7
Австрія	31,9	45,2
Германія	32,7	46,1
Швеція	23,9	45,7
Данія	26,8	42,8

Разница между показателями рождаемости в Россіи и на Западѣ уменьшается при этом переразсчетѣ в 4-6-8 раз (в Австріи с 16,8 до 3,5 пунктов, в Германіи с 16,0 до 2,6, в Швеціи с 24,8 до 3,0 и т. д.). Сомнѣній быть не может: основным фактором высокой рождаемости и высокаго прироста населенія в старой Россіи были ранніе браки и болѣе молодой средній возраст замужних женщин. Дѣйствует-ли этот фактор и сейчас и не сложились ли в процессѣ революціи новые факторы, измѣнившіе опредѣлившійся во второй половинѣ 19-го и в началѣ 20-го вѣка характер русскаго демографическаго развитія?

III.

Попытаемся прежде всего составить себѣ ясное представленіе о том, каково было — в суммарных числах — демографическое развитіе Россіи за годы первой міровой войны и революціи. По подсчетам Центральнаго Статистическаго Комитета, результаты которых были опубликованы в 1915 году в оффиціальном «Статистическом Ежегодникѣ», населеніе Россіи (с Финляндіей) достигло к 1-му января 1914 года 178,4 милліонов, увеличившись со времени переписи 1897 года на 50 милліонов, т. е. за 17 лѣт на 39 с лишком процентов. Разсчеты эти оспаривались в свое время компетентными статистиками (в частности А. А. Чупровым), и уже в совѣтскій період Центральное Статистическое Управленіе внесло в них существенныя поправки, но прирост населенія с 1897 по 1914 год и по новым разсчетам оставался громадным. Я ограничусь здѣсь приведеніем данных о населеніи Россіи в будущих границах

Совѣтскаго Союза, как они опубликованы были для 1897, 1914 и 1918 годов в статистическом ежегодникѣ СССР за 1934 год:

9-го февраля	1897 г. (перепись)	106,4 млн.,
1-го января	1914 г.	139,3 млн.,
1-го января	1918 г.	142,6 млн.

Прирост населенія с 1897 по 1914 год — за неполных 17 лѣт — достиг почти 31 процента и продолжался, несмотря на огромныя людскія потери во время первой міровой войны, до начала 1918 года. Но в 1918 году и в послѣдующіе годы, в результатѣ гражданской войны, рѣзкаго ухудшенія продовольственного положенія страны, эпидемій, наконец, страшнаго голода, охватившаго в 1921-1922 годах около 30 губерній и областей Россіи, страна пережила тяжелую демографическую катастрофу: рождаемость рѣзко упала, смертность чрезвычайно возросла, и в странѣ не только прекратился прирост населенія, но населеніе ея даже сократилось абсолютно на нѣсколько милліонов.

С середины 1922 года страна, однако, начала быстро оправляться, и первая всеобщая перепись населенія в Совѣтском Союзѣ в декабрѣ 1926 года показала уже вновь возросшее населеніе, численность котораго достигла к этому времени 147 милліонов. В январѣ 1937 года перепись населенія была повторена, но результаты ея не были опубликованы и руководители переписи об'явлены вредителями. Новая перепись населенія в январѣ 1939 года показала населеніе, достигшее 170,5 милліонов, т. е. прирост за 12 с небольшим лѣт на 23,5 милліона или почти на 16%.

На первый взгляд может показаться, что цифры эти, хотя и свидѣтельствуют о продолжающемся значительном ростѣ населенія, говорят в то же время о рѣзком сокращеніи темпа этого роста по сравненію с періодом перед первой міровой войной. В дѣйствительности картина развитія гораздо сложнѣе, и суммарныя данныя о количествѣ населенія в 1926 и 1939 годах лишь очень неполно отражают огромный демографическій динамизм, продолжающій оставаться характерным для Россіи.

Для середины 20-х г.г. и первых лѣт послѣ переписи 1926 года были опубликованы болѣе или менѣе надежныя данныя текущаго учета рождаемости и смертности. Данныя эти свидѣтельствуют, что в 1925-1927 годах рождаемость вновь

достигла очень высокаго уровня, лишь очень немного уступающаго до-военному; но смертность по сравненію со смертностью до первой міровой войны рѣзко сократилась и показатели естественнаго прироста населенія замѣтно поднялись. Но уже в 1928 году (на Украинѣ и в Бѣлоруссіи уже даже в 1927 году) началось быстрое паденіе рождаемости, сопровождавшееся лишь значительно болѣе медленным и невѣрным паденіем смертности, и кривая естественнаго прироста населенія рѣзко пошла вниз, — кажется, впервые в исторіи русскаго демографическаго развитія (если, конечно, не считать вызывавшихся исключительными обстоятельствами и с точки зрѣнія развитія в цѣлом, эпизодических явленій, в родѣ пережитых в первые годы революціи). Правительство отвѣтило на это развитіе прекращеніем опубликованія данных текущаго учета рождаемости и смертности, и с начала 30-х годов страна жила в демографических потемках.

Ограничусь здѣсь для краткости приведеніем данных о рождаемости, смертности и естественном приростѣ населенія лишь для Украины, для которой эти данныя были опубликованы до 1940 года включительно (для РСФСР и Бѣлоруссіи послѣднія данныя относятся к 1929 году, для Европейской части СССР лишь к 1927 году):

Естественное движеніе населенія на Украинѣ, 1925—1930 годы*):

	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Рождаемость	42,7	42,1	40,3	38,1	34,2	30,1
Смертность	19,2	18,1	17,8	16,6	17,2	16,2
Естеств. прирост	23,5	24,0	22,5	21,5	17,0	13,9

Чѣм было вызвано это рѣзкое паденіе рождаемости (и соотвѣтственно естественнаго прироста населенія)? Во всяком случаѣ не повышеніем брачнаго возраста. Вторая половина 20-х годов была періодом распада старой семьи, но брачный возраст в этот період — если говорить об очень рано узаконенных и быстро и прочно вошедших в быт так называемых фактических брачных отношеніях — вѣроятно, в этот період

*) Данныя таблицы заимствованы до 1929 года включительно из цитированнаго ниже доклада Птухи и дополнены для 1930 года данными «Статистическаго Ежегодника Лиги Наций».

еще даже понизился. Но паденіе рождаемости наблюдалось в это время во всѣх женских возрастных группах. М. В. Птуха в докладѣ о «населеніи Украины до 1960 года», прочитанном на 19-ой сессіи Международнаго Статистическаго Института в Токіо в 1930 году, привел очень показательную таблицу движенія рождаемости на Украинѣ по женским возрастным группам. Таблица эта — я цитирую ее в сильно сокращенном видѣ — показывает, что с 1925 по 1929 годы количество рожденій на 1.000 женщин в возрастѣ от 15 до 19 лѣт сократилось на 8%, в возрастѣ от 20 до 24 лѣт — на 19%, в возрастѣ от 25 до 29 лѣт — на 26%, в дальнѣйших четырех возрастных группах соотвѣтственно на 24, 27, 31 и 39%. Это были чрезвычайно тревожныя данныя.

Не приходится относить паденіе рождаемости и за счет обостренія нужды населенія: вторая половина 20-х годов — до 1928 года включительно — как раз была в Совѣтской Россіи періодом замѣтнаго под'ема жизненнаго уровня широких народных масс, чрезвычайно понизившагося в первые годы революціи; а начавшееся в 1929 году ухудшеніе, принявшее рѣзкія формы лишь в 1930 году, едва ли могло так молніеносно сказаться на естественном движеніи населенія. Повидимому, об'ясненія рѣзкаго паденія рождаемости во второй половинѣ двадцатых годов нужно искать в том распадѣ половой морали, который характерен для періода распада старой семьи («без черемухи), может быть, в распространеніи — в очень примитивной формѣ — практики предупрежденія беременности и особенно в широком распространеніи абортов, этого специфическаго суррогата регулированія рождаемости в русских условіях.

На порогѣ 30-х годов это развитіе, повидимому, достигло своего апогея. Но в это время страну постигла новая демографическая катастрофа, может быть, не менѣе страшная, чѣм пережитая уже в началѣ 20-х годов. Насильственная коллективизація и послѣдовавшій за ней голод привели к огромному увеличенію смертности и, повидимому, к абсолютному сокращенію населенія. О размѣрах этой катастрофы можно было лишь смутно догадываться, и только опубликованіе итогов переписи 1939 года позволило составить о ней болѣе отчетливое представленіе. Достаточно напомнить, что авторы перваго пятилѣтняго плана, исходя из данных о движеніи населенія в серединѣ 20-х годов, исчислили населеніе СССР на 1-ое апрѣля 1928 года в 151,3 милліона и на 1-ое апрѣля 1933 года в 169,2 милліонов. При таких темпах движенія населенія численность

его к началу 1939 года должна была бы, даже и при нѣкоторомъ замедленіи естественнаго прироста, достигнуть никак не менѣе 185 милліонов. Между тѣм перепись 1939 года показала, как отмѣчено выше, населеніе в 170,5 милліонов. Эта недостача, может быть, в 14-15 милліонов никак не может быть об'яснена одним лишь рѣзким сокращеніем рождаемости в концѣ 20-х (и, может быть, в началѣ 30-х) годов. Вѣроятно, около половины этой недостачи нужно отнести за счет охарактеризованной выше «демографической катастрофы».

Эти трагическія событія начала 30-х годов затрудняют анализ основных тенденцій демографическаго развитія, как онѣ намѣтились в концѣ предыдущаго десятилѣтія. Но вот миновал голод и жизнь в коллективизированной деревнѣ начала входить в берега. И очень скоро обнаружилось, что угроза демографическаго упадка, которая встала перед страной в концѣ 20-х годов, отступает на задній план, что распад половой морали, сопровождавшій крушеніе старой семьи, был лишь временным, что в странѣ начинает быстро складываться новая, здоровая половая мораль, в которой тѣсно переплетаются идеи свободы и дисциплины и на основѣ которой легкомысленныя связи начинают встрѣчать осужденіе и вновь и по новому идея семьи вступает в свои права. И кривая рождаемости вновь поднялась до уровня, обезпечивающаго очень значительный рост населенія*).

Правда, точных данных о естественном движеніи населенія в Россіи в 30-ые годы у нас нѣт. Систематическое опубликованіе этих данных так и не было возобновлено. Но из отрывочных сообщеній — здѣсь о рождаемости в таком-то году, там об измѣненіи смертности на столько-то процентов от такого-то до такого-то года и т. п. — С. Н. Прокопович конструировал таблицу, повидимому, близкую к дѣйствительности:

Движеніе населенія в СССР (в Европ. части его?), 1935—1938 годы

	рождаемость	смертность	естественный прирост
1935 г.	28,6	16,3	12,3
1936 г.	32,3	18,2	14,1
1937 г.	38,7	17,7	21,0
1938 г.	38,3	17,8	20,5

*) Я не касаюсь здѣсь вопрса о вліяніи на естественное движеніе

Прирост населенія, достигавшій в Совѣтском Союзѣ (в его Европейской части) в 1926 году 23,6, в 1927 году 21,7 на тысячу, к концу 12-лѣтняго періода, отдѣляющаго одну перепись от другой, вновь перешагнул за 20 на тысячу. Для пониманія возможнаго дальнѣйшаго демографическаго развитія Совѣтскаго Союза мы должны исходить из этих данных, а не из средняго процента годового прироста населенія между двумя переписями в 12,9 на тысячу, к которому приводит некритическое сопоставленіе данных переписей 1926 и 1939 годов.

IV.

Что-же дальше? Каково демографическое будущее западнаго міра и Россіи? Что ждет нас в ближайшія десятилѣтія?

Весною этого года демографическое бюро Принстонскаго университета, работавшее по порученію Лиги Націй, выпустило очень интересную статистическую работу о «будущем населеніи Европы и Совѣтскаго Союза», в которой даны — гипотетическіе, конечно, — разсчеты населенія Совѣтскаго Союза и всѣх европейских стран до 1970 года, т. е. разсчеты будущаго населенія, каким бы оно было, если бы развитіе продолжало идти по тому пути, который намѣтился в послѣднія десятилѣтія, и если бы не было теперешней войны (и без учета возможной эмиграціи или иммиграціи). Кстати, война, как отмѣчают авторы работы, если судить по опыту первой міровой войны, лишь временно нарушает демографическіе процессы, не отражаясь сколько-нибудь существенно на тенденціях дальнѣйшаго развитія. Каково будет демографическое вліяніе теперешней войны, предвидѣть сейчас трудно; авторы названной работы высказываются по этому вопросу очень сдержанно и не включают вліяніе войны в свои цифровые разсчеты. Но это не лишает их работу ея значенія. Она не дает — и, конечно, не может дать — точнаго отвѣта на вопрос, каково будет в конкретной обстановкѣ демографическое развитіе Европы и Россіи в теченіе ближайших десятилѣтій, но она чрезвычайно облегчает пониманіе проблематики этого развитія.

Авторы Принстонской работы исходят из гипотезы, что

населенія закона 27-го іюня 1936 года о запрещеніи абортов и о пособіях многосемейным. Вліяніе это во всяком случаѣ не было рѣшающим для новаго под'ема кривой рождаемости.

тенденція к сокращенію рождаемости путем «регулированія» ея, опредѣлившая характер демографическаго развитія Европы (и Америки) в послѣдніе пол-вѣка, является для западнаго міра универсальной. Тенденція эта в странах, в которых рождаемость уже рѣзко понизилась, будет проявляться далѣе в значительно смягченной формѣ. В странах, в которыя практика регулированія рождаемости проникла позже или еще почти не проникла, паденіе рождаемости будет протекать в ближайшія десятилѣтія с нарастающей быстротой. Исходя из этой общей установки, Принстонскіе авторы начертили кривыя движенія населенія и произвели разсчеты населенія различных стран, группируя его по полу и возрасту и по пятилѣтіям, от 1940 до 1970 года.

Недостатком этой общей установки является то, что она недостаточно учитывает особенности русскаго демографическаго развитія, которыя на ближайшія десятилѣтія могут существенно смягчить в Россіи процесс паденія рождаемости и обезпечить болѣе значительный прирост населенія, чѣм его предвидят авторы работы. Ниже я остановлюсь на факторах, которые, как мнѣ кажется, дѣлают этот болѣе быстрый рост населенія вѣроятным. Но познакомимся сначала вкратцѣ с итогами Принстонских разсчетов.

Населеніе Совѣтскаго Союза (в границах до 1939 года) принимается ими равным в 1940 году 174 милліонам и должно было достигнуть в 1970 году 251 милліона, увеличившись за 30 лѣт на 77 милліонов или на 44%. И это при быстро замедляющемся темпѣ прироста населенія — от 8,6% за пять лѣт с 1940 по 1945 год, до 4,6% за пять лѣт с 1965 до 1970 года. В то же время населеніе всей Европы без Совѣтскаго Союза должно увеличиться с 399 лишь до 417 милліонов, т. е. за 30 лѣт только на 18 милліонов или на 4,6%, а населеніе сѣверо-западной и центральной Европы*) должно даже уменьшиться с 234 до 225 милліонов. Согласно этим разсчетам в 1940 году населеніе сѣверо-западной и центральной Европы превышало населеніе СССР на 60 милліонов, или болѣе, чѣм на треть; в 1970 году оно уже будет на 26 милліонов меньше населенія Совѣтскаго Союза. Замѣчу кстати, что населеніе Сѣверо-Американских Штатов по разсчетам Томпсона и Уэлптона должно

*) Сѣверо-западная и центральная Европа охватывает всю Европу, кромѣ СССР, Польши, Литвы и стран Балканскаго (включая Румынію), Аппенинскаго и Пиренейскаго полуостровов.

за тот же період увеличиться с 131,7 до 151,2 милліонов, т. е. за 30 лѣт нѣсколько менѣе, чѣм на 15%.

Еще гораздо важнѣе измѣненіе возрастной структуры населенія. Уже и сейчас в рядѣ стран наблюдается очень тревожный процесс: младшія возрастныя группы сокращаются не только относительно, но и абсолютно. К 1970 году в нѣкоторых странах это развитіе должно привести к катастрофическим результатам. Я подсчитал для 1940 и 1970 годов по Принстонским таблицам — а для Америки по таблицам Томпсона и Уелптона — количество дѣтей в возрастѣ ниже 15 лѣт и стариков 65 лѣт и выше в СССР, Соединенных Штатах, Германіи (в границах до 1938 года), Франціи, Великобританіи и — как крайній примѣр — Швеціи и Норвегіи. Результаты этих подсчетов приведены в слѣдующей таблицѣ:

Дѣти (моложе 15 лѣт) и старики (от 65 лѣт) в милліонах

	1940 г.		1970 г.	
	Дѣти	Старики	Дѣти	Старики
СССР	62,5	7,2	65,8	15,6
США	33,0	9,0	30,1	18,0
Германія	16,1	5,5	10,9	10,2
Франція	9,5	4,2	5,8	5,6
Великобританія	10,2	4,2	5,9	6,6
Швеція	1,315	0,598	0,723	0,973
Норвегія	0,668	0,255	0,373	0,448

В Швеціи количество дѣтей сокращается а б с о л ю т н о на 45%, в Норвегіи на 44%, в Великобританіи на 42%, во Франціи на 39%, в Германіи на 32% и даже в Соединенных Штатах на 9%. Еще поразительнѣе будущее (в 1970 году) соотношеніе между дѣтской и стариковской группами: в СССР дѣтская группа болѣе, чѣм в четыре раза, больше стариковской*), в Соединенных Штатах на двѣ трети, в Германіи и Франціи стариковская группа почти равна дѣтской, а в Великобританіи и тѣм болѣе в Скандинавских странах уже значительно ее обгоняет. Если это развитіе будет продолжаться, что будет еще через 25 или 50 лѣт?

В рамках этой статьи невозможно останавливаться на

*) Это, правда, ненормально высокое соотношеніе, об'ясняющееся низкой средней продолжительностью жизни.

вопросѣ, будет ли эта эволюція дѣйствительно продолжаться и какими мѣрами можно было бы ее побѣдить и направить демографическое развитіе в другое русло. В ближайшіе годы послѣ войны проблема активной демографической политики с совершенной неизбѣжностью всюду в Европѣ, а вскорѣ и в Америкѣ сосредоточит на себѣ общественное вниманіе. Как ни трудно воздѣйствіе на демографическіе процессы, — это задача разрѣшимая, и мысль демографов, соціологов и политиков уже и сейчас усиленно работает над ея разрѣшеніем.

V.

Выше уже отмѣчалось, что, анализируя перспективы русскаго демографическаго развитія, Принстонскіе статистики придают слишком большое значеніе аналогіи с Западом: представленіе, что особенности русскаго демографическаго развитія об'ясняются в основном тѣм, что Россія позже других вступила на путь birth control и что в дальнѣйшем она ускоренным темпом будет слѣдовать по этому пути, является упрощеніем проблемы. В Россіи дѣйствует сейчас ряд факторов, которые, вѣроятно, еще в теченіи десятилѣтій будут оказывать положительное вліяніе на уровень рождаемости, поддерживая его на значительной высотѣ. Факторы эти сводятся к слѣдующему:

(1) Фактическое исчезновеніе — и не только в законѣ, но и очень широко в общественном сознаніи — всякаго различія между дѣтьми, рожденными в формальном бракѣ, и внѣбрачными дѣтьми; новая мораль, опредѣляющая взаимоотношенія между полами, и длительная благопріятная кон'юнктура рынка труда привели к тому, что фактическій брачный возраст стабилизировался на очень низком уровнѣ, в городах несомнѣнно, в деревнях, вѣроятно, еще болѣе низком, чѣм в недалеком прошлом.

(2) Возрастная структура населенія Совѣтскаго Союза — преобладаніе юных и молодых возрастов — чрезвычайно благопріятна для динамики населенія. Правда, это результат не только высокой рождаемости, но и высокой смертности (низкой средней продолжительности жизни), и по мѣрѣ паденія кривой смертности роль старших возрастных групп будет возрастать. Но на ближайшія десятилѣтія эта возрастная структура означает, что даже при прочих равных условіях прирост населенія в СССР на 1.000 населенія должен быть

болѣе значительным, чѣм на Западѣ. С этой точки зрѣнія 170 милліонов населенія Совѣтскаго Союза в отношеніи динамики населенія равны не 170, а, может быть, 190-200-220 милліонам населенія Запада.

(3) Совѣтскій Союз — страна со значительно большим преобладаніем женщин (и особенно молодых женщин) в составѣ населенія, чѣм большинство европейских стран. И это в значительной мѣрѣ результат былых катастроф, которыя уносили мужчин в могилу в большем количествѣ, чѣм женщин. По переписи 1897 года число мужчин и женщин в странѣ было почти одинаково. По переписи 1926 года на 100 мужчин приходилось уже почти 107 женщин, по переписи 1939 года даже почти 109 женшин. Послѣ войны это соотношеніе окажется, конечно, еще значительно болѣе обостренным. В странах старой половой морали и пуританской культуры это привело бы и соотвѣтственно, может быть, кое-гдѣ приведет к рѣзкому увеличенію числа старых дѣв. В Россіи в условіях, охарактеризованных выше (см. п. 1), даже трудно представить себѣ тип старой дѣвы, как сколько-нибудь массовое явленіе. Высокій процент женщин означает поэтому в Россіи и высокій процент рождаемости на 1.000 населенія.

Наконец, (4) слѣдует принять во вниманіе, что колонизація страны еще не завершена. Как в Америкѣ в 60-ые и 70-ые годы прошлаго вѣка благопріятныя перспективы колонизаціи Запада оказывали благопріятное вліяніе на динамику населенія, в Россіи еще в теченіе десятилѣтій такое же вліяніе могут оказывать перспективы колонизаціи Востока.

Всѣ эти факторы будут замѣтно ослаблять вліяніе регулированія рождаемости, которое получило до сих пор в Россіи лишь ограниченное распространеніе и перед которым поэтому открывается еще возможность значительной экспансіи. Насколько широко эта экспансія дѣйствительно осуществится, будет зависѣть от ряда условій, которыя учесть сейчас еще трудно, в частности от того, как будет протекать процесс экономическаго возстановленія и под'ема страны послѣ страшных разрушеній второй міровой войны.

Оставаясь в предѣлах демографических явленій, слѣдует отмѣтить еще один фактор, который может оказать значительное вліяніе, правда, не на уровень рождаемости, но на прирост населенія и который, повидимому, недостаточно учитывается Принстонскими статистиками. Смертность в Россіи еще очень высока. Мы видѣли выше, что в годы, непосредственно предшествовавшіе послѣдней переписи, смертность оставалась

почти на уровнѣ, достигнутом ко времени переписи 1926 года. Но средняя продолжительность жизни в період этой переписи была еще очень низка. По разсчетам Новосельскаго, основанным на данных текущаго движенія населенія в 1874—1883 годах и на данных переписей 1897 и 1926 годов, средняя (т. е. вѣроятная при рожденіи) продолжительность жизни достигала в Россіи (в годах):

	у мужчин	у женщин
в 1874/83 г.г.	26,3	29,1
в 1897 г.	31,3	33,4
в 1926/27 г.	41,9	46,8

Это еще очень низкій уровень, далеко отстающій от уровня, ставшаго нормальным на Западѣ. Читатели, вѣроятно, помнят приведенныя в началѣ этой статьи данныя об огромном ростѣ населенія в Европѣ благодаря удлиненію средней продолжительности жизни. В этом вопросѣ в Россіи — при благопріятных условіях — возможно еще очень значительное улучшеніе, т. е., соотвѣтственно, значительный прирост населенія при данном количествѣ рожденій.

Вліяніе этих демографических факторов скажется, вѣроятно, в ближайшія десятилѣтія и на внутренней жизни Совѣтскаго Союза, и на развитіи международных отношеній в послѣвоенной Европѣ. Но оно может оказаться и гораздо значительнѣе: если в Западной Европѣ и в Сѣверной Америкѣ в ближайшія послѣ войны десятилѣтія не удастся достичь рѣшительнаго перелома в естественном движеніи населенія, отмѣченныя выше особенности демографическаго развитія будут имѣть всемірно-историческое значеніе. Тогда закат стараго міра западной культуры (включающаго и Сѣверную Америку) неизбѣжен, передвиженіе центра культурнаго міра на восток — вопрос полувѣка.

С. Шварц.

ПЕРЕСТРОЙКА СОВѢТСКАГО СОЮЗА

1.

1-го февраля 1944 года Верховный Совѣт СССР принял постановленіе о конституціонной реформѣ, на основаніи котораго шестнадцать республик, его составляющих, получили право вступать в непосредственныя отношенія с иностранными государствами и формировать собственныя воинскія части. Реформѣ этой многіе были склонны придавать сенсаціонное значеніе, истолковывая ее, как переход совѣтскаго государства от централизма к широко идущей децентрализаціи, приближающей его к типу британской имперіи, а союзныя республики к членам этой имперіи, доминіонам. Одновременно начались догадки о смыслѣ реформы, о мотивах, побудивших Сталина ее произвести.

Прежде чѣм гадать о мотивах и цѣлях реформы слѣдует, однако, точно уяснить себѣ, в чем она заключается. Сущность же любой реформы можно установить не иначе, как на основаніи точных знаній о положеніи, которое ей предшествовало. Так ставится предварительная задача — анализ совѣтскаго федерализма, каким он был до реформы 1-го февраля и каким он — это можно сказать сейчас же, предваряя анализ — в сущности остался и послѣ ея проведенія.

Федеративный облик, приданный Россіи ея коммунистическими правителями, представляет одно из наиболѣе бросающихся в глаза нововведеній революціоннаго происхожденія. Любопытно, что нововведеніе противорѣчило основной программѣ этих правителей: централизація болѣе пригодна служить рамкой для соціалистическаго преобразованія хозяйства, нежели федеративное устройство. Но эти новые правители

были не доктринерами, а оппортунистами. В недовольствѣ многочисленных національностей злосчастной политикой руссификаціи, которая так обострилась под конец 19-го вѣка, они правильно увидѣли вспомогательное орудіе для пріобрѣтенія, а затѣм и удержанія власти. Разработкой вопроса с этой практической точки зрѣнія они занялись еще за нѣсколько лѣт до революціи, а придя к власти, постепенно нащупали дѣйственную и в то же время безопасную для их замыслов программу превращенія Россіи в федерацію народностей.

На эту программу и ея осуществленіе лучше всего взглянуть, как на разрѣшеніе своеобразной архитектурной задачи. Матеріалом для постройки было приблизительно 140 національных групп, различающихся и по антропологическим и языковым семьям, к которым онѣ принадлежат, и по величинѣ — от почти 100 милліонов великороссов до «этнической пыли», осѣвшей в долинах Кавказа, — и по культурному уровню — от народов, уже вступивших в полосу промышленной цивилизаціи, до племен, еще не вышедших из первобытного кочевничества. Задачей было найти такую форму их сосуществованія, которая сочетала бы полновластіе новаго политическаго центра с удовлетвореніем элементарных запросов проснувшихся в Россіи національных инстинктов. Рѣшеніе этой задачи можно изобразить в слѣдующих четырех пунктах.

1. Принцип федерализма проведен только в поверхностной, но не глубинной системѣ, только в движимом, но не в двигателѣ. Партія, по уставу и еще болѣе на практикѣ, строго централизована, больше, нежели была администрація в Императорской Россіи.

2. За единицу федерализаціи принята этническая группа, так что каждой из них дана возможность существовать в видѣ особой политической единицы, и при том только одной. Строго соотвѣтствующая этнической группѣ политическая единица тѣм самым становится носительницей ея культурной жизни, так что вся система федерализма получает культурный по преимуществу облик.

3. Сочетанье так построенных національно-политических

единиц в союзное цѣлое достигается при помощи наложенія на них обязательнаго образца: политически, онѣ должны быть совѣтскими, а экономически и культурно — соціалистическими. Единство строительнаго матеріала гарантирует прочность цѣлаго.

4. Единство не переходит, однако, в тождество: единицы, из коих строится союз, предварительно классифицируются. Классификація зависит от размѣров группы, ея культурнаго уровня и географическаго положенія: группы, хотя бы частично проживающія на границах СССР, могут подняться в этой системѣ выше, нежели остальныя. Классов или рангов установлено четыре, при чем единицы, в них входящія, пользуются разными правами по части политическаго самоопредѣленія, участія в союзной власти и самостоятельнаго устройства своей жизни — все это, да будет это еще раз подчеркнуто, на поверхностном, но не глубинном уровнѣ политической жизни.

Національно-политическія единицы перваго ранга носят названіе союзных республик, которыя своей совокупностью образуют совѣтскій союз. Их было первоначально 4, потом стало 7, потом 11, а нынѣ, послѣ аннексій 1940 года, их имѣется 16. По конституціи им, с самаго возникновенія союза (1923 год), принадлежит право на отдѣленіе. В этом отношеніи онѣ подобны британским доминіонам и отличаются от штатов Сѣверо-американскаго союза и кантонов Швейцаріи.

Національно-политическія единицы второго ранга носят названіе автономных республик, которыя образуют своеобразныя подраздѣленія в составѣ союзных республик. С нѣкоторой долей условности можно говорить, что крымская республика живет под крылом у Россійской республики (РСФСР), а абхазская — под крылом у грузинской. Этим автономным республикам сталинской конституціей 1936 года «гарантировано» существованіе в качествѣ особых политических единиц, что, впрочем, не помѣшало раскассировать, лѣтом 1941 года, республику нѣмцев Поволжья.

Національно-политическія единицы третьяго ранга образуют автономныя области, единицы четвертаго ранга

національные округа; за ними никаких прав по самоопредѣленію не числится, но автономныя области перечислены в консти-туціи, что как будто обязывает передѣлывать их список не иначе, как в порядкѣ конституціоннаго измѣненія.

Различіе по участію в союзной власти, по сталинской конституціи, выражается в градаціи числа депутатов, полагаю-щихся от каждой единицы в Совѣтѣ Національностей, как бы второй палатѣ Верховнаго Совѣта СССР: по 25 от единиц перваго ранга, по 11 от единиц второго ранга, по 5 от единиц третьяго ранга, по одному от единиц четвертаго ранга. До сталинской реформы, в порядкѣ конституціонной практики союзныя республики пользовались дополнительной привилегіей: предсѣдатели их ЦИК-ов неизмѣнно бывали предсѣда-телями союзнаго ЦИК-а; таких предсѣдателей, при том равно-правных, по старой конституціи было столько же, сколько союзных республик. С поднятіем числа этих республик, такая структура стала невозможной, и теперь у Верховнаго Совѣта есть только один предсѣдатель.

Градація политических единиц по части самостоятельнаго вершенія ими мѣстных дѣл выражается отчасти в перечнях компетенцій Союза, союзных и автономных республик, но болѣе всего в своеобразном строеніи народных комиссаріатов; этот послѣдній вопрос особенно важен для пониманія реформы 1-го февраля.

Всѣ народные комиссаріаты, существующіе в совѣтском союзѣ и приблизительно соотвѣтствующіе министерствам в других государствах, распадаются на три класса: всесоюзные, союзно-республиканскіе и автономные. Первые существуют только в Москвѣ; они непосредственно вѣдают порученными им отраслям государственного управления на всей территории СССР (см. 75. конституціи); в их дѣятельности органы союзных республик не принимают участія. Однако эти комиссаріаты имѣют в союзных республиках своих уполномоченных, которые входят в их совнаркомы с правом рѣшающего голоса; до сталинской конституціи, от союзных республик зависѣло , давать ли им рѣшающій или совѣщательный голос.

Вторые существуют и в союзном центрѣ, и в центрах каждой из союзных и автономных республик; таким образом, по соотвѣтствующим отраслям управленія в Москвѣ полагается быть двум комиссаріатам, союзному и россійскому (РСФСР); этими отраслями управленія союзные комиссаріаты вѣдают через одноименные комиссаріаты союзных республик (ст. 76). На практикѣ многіе из этих комиссаріатов, вѣдающих преимущественно хозяйственными дѣлами, только частично пользуются услугами одноименных с ними комиссаріатов в союзных и автономных республиках, а болѣе важными дѣлами завѣдуют непосредственно, на подобіе всесоюзных комиссаріатов.

Третьи существуют только в составѣ союзных и автономных республик и самостоятельно вѣдают своими отраслями управленія; по конституціи, прямого начальства над ними нѣт. Число этих автономных комиссаріатов, кстати сказать, все уменьшается; сейчас их имѣется только четыре, а именно просвѣщенія, мѣстной промышленности, коммунальнаго хозяйства и соціальнаго обезпеченія (ст. 87 сравн. со ст. 77 и 78).

В автономных областях и національных округах народных комиссаріатов нѣт, и всѣ дѣла ведутся там мѣстными органами власти тѣх союзных или автономных республик, в которыя они входят.

Система эта представляется довольно сложной. В ней, между прочим, проявляется один из основных принципов совѣтскаго административнаго права, принцип двойного подчиненія, в силу котораго каждое совѣтское учрежденіе имѣет начальство и по вертикальной, и по горизонтальной линіи. Так, напримѣр, областной отдѣл народнаго образованія подчинен и президіуму областного совѣта (горизонтально), и народному комиссаріату просвѣщенія в республиканском центрѣ (вертикально). Двойное подчиненіе как будто открывает возможность конфликтов, на почвѣ несогласимых приказов, приходящих по вертикальной и по горизонтальной линіи. Но по отношенію к федеративному строю, вертикальная линія

явно преобладает над горизонтальной. Если бы комиссаріат союзной республики захотѣл проявить нѣкоторую самостоятельность и был поддержан своим совнаркомом, то такую попытку легко было бы остановить: на основаніи ст. 69 союзный совнарком имѣет право пріостанавливать постановленія и распоряженія совнаркомов союзных республик, а президіум Верховнаго Совѣта СССР имѣет право такія постановленія отмѣнять (ст. 49 п. д.). К тому же не надо забывать, что федерализм проводится только на поверхностном уровнѣ. В глубинном слоѣ его нѣт, а так как и в центрѣ, и в провинціи всѣ руководящіе посты заняты коммунистами, директивы, приходящія по обѣим линіям, необходимо должны совпадать.

Как уже было сказано, федеративный принцип используется в Совѣтском Союзѣ преимущественно для удовлетворенія элементарных запросов національнаго инстинкта. В административных и судебных учрежденіях каждой національно-политической единицы должен господствовать мѣстный язык. На нем издаются книги и газеты, даются театральныя представленія. По мѣрѣ возможности, им пользуются в кинематографѣ и радіовѣщаніи. Во всѣх этих направленіях глубинный слой политической машины, ВКП, дѣйствуя через поверхностный слой, т. е. федерализованную совѣтскую систему, был тверд и настойчив, даже болѣе настойчив, нежели об'ект благодѣяній, т. е. національныя группы: неоднократно из разных частей СССР поступали свѣдѣнія, что семьи, принадлежащія к числу малых этнических групп, неохотно посылали дѣтей в школы с обученіем на мѣстных языках, предвидя для них лучшую будущность, если они пройдут через русскую школу. Постепенно от нѣкоторых крайностей пришлось отказаться: если союзные законы и сейчас печатаются на 16 языках, соотвѣтствующих союзным республикам, то русскій язык все же силой вещей выдѣлился как орудіе между-національных отношеній и, как и прежде, оказался цементом имперскаго зданія. Этому языку, наряду с мѣстными, сейчас учат в каждой совѣтской школѣ.

Несмотря на шероховатости и перебои, система в основном

оказалась удачной. Равноправность національностей была провозглашена еще Временным Правительством. Но сознаніе этой равноправности широко разлилось и стало дѣйственным фактом только через осуществленіе системы федераціи народностей. Если не окончательно изжиты, то сильно смягчены между-національные антагонизмы. Наконец, найден дополнительный исход для личных честолюбій: сверх шанса подняться наверх во всесоюзной системѣ, у членов меньших народных групп имѣется сравнительно высокій шанс стать народным комиссаром или занять иной высокій пост у себя дома.

2.

Такова система, в которой 1-го февраля произведена нашумѣвшая на весь мір реформа. Из текста постановленій Верховного Совѣта, кратких до необычайности, видно, что формально она сводится к двум положеніям: 1) в перечни полномочій союзных республик вводятся два новые пункта, о международных сношеніях и об организаціи собственных воинских частей, в соотвѣтствіи с чѣм перефразируются и перечни союзных функцій; 2) народные комиссаріаты иностранных дѣл и обороны переводятся из числа всесоюзных в число союзно-республиканских. Начнем с разсмотрѣнія второго из них.

Если бы иностранныя дѣла и государственная оборона были переданы в вѣдѣніе автономных комиссаріатов, то реформа, по крайней мѣрѣ на бумагѣ, была бы глубокой и знаменательной: получив собственныя, независимыя от Москвы дипломатію и арміи, союзныя республики дѣйствительно стали бы подобіем британских доминіонов. Но этого не произошло, так как комиссаріаты стали всего на всего союзно-республиканскими. По конституціи это означает, что дипломатическія и военныя дѣла будут вестись союзным центром через посредство «республиканских» комиссаріатов, подчиненных и Москвѣ (вертикально), и мѣстным совнаркомам (горизонтально).

Но в эти совнаркомы и до реформы входили уполномоченные всесоюзных комиссаріатов обороны и иностранных дѣл. Теперь вмѣсто уполномоченных будут народные комиссары, также подчиненные по вертикальной и по горизонтальной линіи. Разница в том, что до реформы их назначала Москва, а теперь они будут выбираться Верховными Совѣтами союзных республик.

Как же распредѣлены функціи между союзным центром и вновь созданными республиканскими комиссаріатами, которые, подчеркнем, остаются в подчиненіи у этого центра? По дипломатической части, союзныя республики получили право заключать с иностранными державами соглашенія по вопросам частнаго характера и, в соотвѣтствіи с этим, обмѣниваться с ними дипломатическими и консульскими представителями. Назначать таких представителей будут республиканскіе совнаркомы. Но заключеніе с иностранными державами договоров общаго характера осталось за союзной властью, которая сохранила за собой и право ратификаціи всяких соглашеній, в том числѣ и заключенных союзными республиками. Что касается армій, союзныя республики получили право имѣть свои воинскія части и устанавливать метод их формированія. Но союзная власть не отказалась от права имѣть свои вооруженныя силы и оговорила право устанавливать руководящіе принципы организаціи воинских частей союзных республик.

Реально, в области обороны, реформа означает вот что: центральная власть, дѣйствуя через союзный комиссаріат обороны, установит размѣры, в которых будут формироваться республиканскія воинскія части; комиссаріаты отдѣльных республик будут приводить эти постановленія в исполненіе, при чем им предоставляется нѣкоторая свобода в опредѣленіи деталей, напр., по вопросу о призывном возрастѣ, о формах и т. п. Командованіе, ясно, остается всесоюзным. Несомнѣнно, что основной массой воинских частей, всѣми тѣми, которыя не станут «воинскими частями союзных республик», будет непосредственно руководить всесоюзный комиссаріат оборо-

ны, который легко усвоит упомянутую выше практику экономических комиссаріатов.

Нѣсколько труднѣе представить себѣ, как практически осуществится реформа дипломатіи. По новому тексту конституціи, часть дипломатической работы впредь будет непосредственно вестись комиссаріатами отдѣльных республик под общим руководством союзнаго комиссаріата иностранных дѣл. Ясно, однако, что СССР не откажется от непосредственнаго представительства за границей. Представительства союзных республик смогут заключать с иностранными державами соглашенія, очевидно, по тѣм второстепенным вопросам, по коим союзный комиссаріат позволит им это дѣлать. О чем именно будут заключаться соглашенія, трудно судить.

В старой германской имперіи (до 1918 года) государства-члены тоже могли имѣть сношенія с иностранными государствами; на практикѣ, они заключали договоры о пограничных сношеніях, о выдачѣ преступников, об исполненіи судебных рѣшеній. Но россійскіе посланники в Баваріи, Саксоніи, Баденѣ и т. д. не были обременены работой; больше всего они были озабочены поздравленіем членов царствующих домов с праздниками и присутствіем на разных церемоніях. Нѣчто подобное будет, вѣроятно, дѣлать узбекистанскій посланник в Бельгіи или азербейджанскій министр-резидент в Бразиліи, если допустить, что таковые будут назначены; но даже по тѣм скромнаго значенія вопросам, которые были названы выше, они вряд ли будут вести переговоры, ибо ни пограничных сообщеній, ни выдачи преступников, ни исполненія судебных рѣшеній центральная власть из своих рук не выпустит. А думать о том, чтобы украинскіе или бѣлорусскіе послы договаривались с Польшей о границах, можно только при полном игнорированіи текста постановленія о конституціонной реформѣ, которое спеціально оговаривает, что отношенія общаго характера сохраняются за союзной властью. Правда, в Кіевѣ, Эривани, Асхабадѣ и других центрах могут появиться длинные ряды новеньких зданій посольств и начаться торжественные дипломатическіе пріемы. Много ли, однако,

иностранных государств откликнется на приглашеніе и станет тратить деньги по пустякам?

Из сказаннаго видно, что реформа отнюдь не раздробила на 16 частей армію и дипломатію совѣтскаго союза. В силу реформы, в СССР будет даже не 16, а 17 армій и дипломатій, но всѣ остаются под единым руководством.

3.

За мѣсяцы, протекшіе со времени реформы, поступили нѣкоторыя свѣдѣнія об ея осуществленіи. Республики россійская, украинская, бѣлорусская, армянская, азербейджанская и узбекская обзавелись своими комиссаріатами иностранных дѣл. Таким образом, в Москвѣ есть теперь два наркоминдѣла — всесоюзный и россійскій. На Украину наркомидѣлом назначен Корнейчук, до того бывшій зам. наркоминдѣла в Москвѣ. Он, как извѣстно, состоит в бракѣ с Вандой Василевской, предсѣдательницей Союза Польских Патріотов. С нѣкоторой натяжкой можно сказать, что в их лицѣ повторяется исторія Ядвиги и Ягелло. Были извѣстія о предстоящем назначеніи азербейджанскаго посланника в Турцію и армянскаго в Ливан. В обоих случаях мотивом служило родство языков: оффиціальный язык Азербейджана принадлежит к той же семьѣ, что и турецкій, а в Ливанѣ нашли убѣжище 40,000 армян, спасшихся от турецкой рѣзни в 1918 году. Но неужели нельзя было, и без реформы, назначить в Анкару совѣтника из числа азербейджанцев, а в Бейрут из армян? И нѣт еще свѣдѣній о согласіи Турціи или Ливана принять новых посланников. К совѣто-польским отношеніям новая система пока не примѣнена. В январѣ и февралѣ нѣкоторые украинскіе сановники (но как раз не Корнейчук) заговорили о неудовлетворительности линіи Керзона и необходимости присоединить к Украинѣ Холмщину и Лемковщину. 1-го апрѣля «Вольная Польша», орган Союза Польских Патріотов, опубликовал протест против таких домогательств и подтвердил, что для него пріемлема

как раз линія Керзона. По поводу этого спора верховная власть союза не высказалась; но, позволив высказаться своим подсобным органам, она дала понять, что от промедленія в принятіи линіи Польша может только потерять, но не выиграть. Новый аппарат украинской дипломатіи пока держится про запас.

По понятным причинам, нѣт свѣдѣній о преобразованіях по военной части. Как извѣстно, національныя воинскія части существовали в Красной Арміи и до реформы 1-го февраля. Молотов недавно упомянул о частях литовских, латвійских, эстонских, грузинских, армянских, азербейджанских, казакских и «нѣкоторых других». Вряд ли, однако, во время войны могли быть созданы по республикам новые органы для спеціальнаго завѣдыванія ими.

4.

Из разсмотрѣнія текста постановленій 1-го февраля и отрывочных свѣдѣній об их примѣненіи явствует, что реформа эта далеко не так глубока, как представилось воображенію многих при полученіи первых свѣдѣній. К чему же она была затѣяна и проведена? Вопрос этот нужно разсмотрѣть в плоскости внутренней и внѣшней политики.

В плоскости внутренней политики об'ясненій может быть два. Первая версія — это оффиціальная версія совѣтскаго правительства: реформа проведена для усиленія обороноспособности страны и улучшенія работы ея дипломатическаго вѣдомства. Это усиленно утверждал Молотов в пространной рѣчи, произнесенной на засѣданіи Верховнаго Совѣта. Тщетно было бы искать в ней аргументаціи: кромѣ заявленій о том, что при царском режимѣ узбеки не призывались в армію, а теперь призываются, да восхваленія успѣхов ленинско-сталинской національной политики, в ней почти ничего не найти. По существу, эта версія абсурдна, так как технически преимущества централизаціи военной и дипломатической работы очевидны.

Вторая версія: реформа проведена в качествѣ новаго звена в той общей политикѣ уступок, которая началась в 1934 году, и должна способствовать дальнѣйшему изживанію автономистических и даже сепаратистических теченій в совѣтском союзѣ. Вполнѣ вѣроятно, что народы СССР хотят истинной автономіи, но не о собственной арміи и дипломатіи помышляют они в первую очередь. Если бы Сталин вздумал пойти навстрѣчу желаніям подвластных ему народов, то он надѣлил бы их правом распоряжаться землей, самостоятельно рѣшать вопросы об организаціи семьи и об отношеніи к церкви, самостоятельно развивать личную инициативу в области мелкой торговли и промышленности и т. д. Вот это, а не собственная армія и дипломатія, могло бы быть сочтено за уступку подлинным пожеланіям народов.

Возможен, однако, еще слѣдующій варіант об'ясненія: реформа 1-го февраля — маневр, подобный тому, каким оказалась сталинская конституція 1936 года. Тогда были произнесены громкія слова о демократіи, будто бы окончательно даруемой совѣтским гражданам, а по существу Сталин не уступил ни на іоту. И все же тогда многіе повѣрили и, говорят, успокоились. Может быть, услышав о собственных арміях и дипломатіях, успокоятся сепаратисты и автономисты? Вряд ли. Меньшее, дарованное послѣ большаго, не успокаивает. А народы СССР, по крайней мѣрѣ 16 из них, отнесенные к первому рангу, и сейчас имѣют совершенно исключительное право свободнаго выхода из союза. Но, как знает всякій, в порядкѣ партійной дисциплины, давно отдано распоряженіе считать осуществленіе этого права недопустимым, и всякій коммунист, по недоразумѣнію принимавшій всерьез статьи конституціи о свободном выходѣ и автономіи, ликвидировался без пощады. Не то же самое будет, спросит себя всякій, с тѣм, кто всерьез примет вольности по военной и дипломатической части?

Очевидно, ключ к загадкѣ нужно искать в плоскости внѣшней политики. В этом отношеніи с самаго начала установились три версіи. Одни видѣли в реформѣ намѣреніе задавить

всѣ предстоящія международныя конференціи шестнадцатиглавой совѣтской делегаціей; другіе полагали, что сущность маневра в том, чтобы дать Англіи и С. Штатам возможность, не теряя лица, признать совѣтскія аннексіи 1939-1940 г.г.; третьи думали, что, сокровенной цѣлью является совѣтизація центральной и юго-восточной Европы, которая де пройдет сравнительно легко, если вновь присоединяемыя к СССР земли станут чѣм-то в родѣ британских доминіонов. Можно сразу отбросить версію о желаніи Сталина главенствовать на конференціях через толпы расшитых в золото дипломатов: он слишком хорошо знает, что на конференціях голоса не считаются, а взвѣшиваются, и что голос об'единеннаго СССР прозвучит сильнѣе шестнадцати раз'единенных республик. С другой стороны, мысль будто конституціонная реформа проведена в каких-то имперіалистических видах, предполагает весьма наивное отношеніе Сталина и его помощников к труднѣйшим проблемам устройства міра послѣ войны: трудно допустить, чтобы перемѣнами в конституціи они надѣялись добиться согласія своих западных союзников на аннексію чуть ли не всей средней и юго-восточной Европы. А если они готовы это сдѣлать и без согласія союзников, то неужели же они надѣются этими способами устранить сопротивленіе венгров, румын, поляков или нѣмцев?

Остается предположить, что реформа проведена для того, чтобы облегчить проведеніе основного плана совѣтскаго правительства — придать окончательный характер аннексіям 1939-1940 г.г., несмотря на протесты соотвѣтствующих правительств и на несочувствіе главных союзников. К такой мысли склоняет прежде всего исторія вопроса.

Дѣло в том, что уже довольно давно совѣтское правительство пред'явило требованіе, чтобы в международной комиссіи по разслѣдованію звѣрств были представители от семи союзных республик, на территоріи коих звѣрства были учинены. Требованіе это было пред'явлено послѣ того, как Англія заявила, что не может представлять интересы доминіонов, и что эти послѣдніе должны быть представлены отдѣльно.

Совѣтское требованіе поставило союзников в затруднительное положеніе. Не так было важно, что совѣтское представительство станет очень многочисленным; существенно было то, что среди республик, названных Сталиным, были эстонская, латвійская и литовская. Допустить представительство от таких совѣтских республик было равносильно признанію аннексій 1940 года, на что Англія и, в особенности, Соединенные Штаты пока не готовы.

Мы не знаем, что именно было отвѣчено совѣтам, но есть основанія полагать, что требованіе было отклонено со ссылкой на то, что доминіоны имѣют собственную дипломатію и арміи, а союзныя республики СССР таковых не имѣют.

Предположеніе подкрѣпляется тѣм, что на московской конференціи Молотов, как передают, очень интересовался строем Британской имперіи, особенно правами доминіонов в международных отношеніях.

Теперь становится понятным новый шаг совѣтскаго правительства: послѣ того, как союзныя республики, в том числѣ эстонская, латвійская и литовская, получили собственныя дипломатію и арміи, им нельзя отказать в правах, которыя признаются за англійскими доминіонами. Собственно говоря, и теперь легко было бы отказать со ссылкой на то, что доминіоны ведут свою международную политику самостоятельно и что форейн оффис ими не руководит, тогда как союзныя республики СССР, на точном основаніи конституціи, будут дѣйствовать под руководством московскаго центра.

Но в Москвѣ разсчитали, что в тонкостях их конституціонных реформ никто не разберется, и в общем оказались правы: рѣдко появлялось в печати больше благоглупостей, нежели по поводу реформы 1-го февраля. Кстати, глухой намек на связь конституціонной реформы с только что разсказанной исторіей можно найти в рѣчи Молотова, произнесенной в засѣданіи Верховнаго Совѣта. В единственной во всей рѣчи фразѣ, которая что-то значила, он дал понять, что отсутствіе в совѣтской конституціи постановленій о правах союзных республик обмѣниваться дипломатическими представителями с иностран-

ными державами и вести с ними непосредственныя сношенія иногда толкуется во вред интересам Совѣтскаго Союза и союзных республик, и что предложенная реформа должна устранить факты такого характера.

Во всяком случаѣ, теперь вопрос поставлен ребром: на ближайшее же международное совѣщаніе может пожаловать 16 совѣтских представителей. Рѣшатся ли Англія и Соединенные Штаты произвести разборку и часть совѣтских дипломатов отвести, как представляющих непризнанныя ими аннексіи? Совѣтское правительство твердо увѣрено, что не рѣшатся, а тогда будет создан прецедент в его пользу, и аннексіи окажутся косвенно признанными.

Кстати, если, по обстоятельствам, совѣтское правительство не найдет нужным ставить вопрос ребром, то затрудненій для него не возникнет, — просто окажется, что эстонская и другія республики не сочли нужным назначить своих представителей. А в том невѣроятном случаѣ, что Сталину придется отказаться от части аннексій, эстонскіе или литовскіе депутаты, инструктированные из Москвы, дружно проголосуют резолюцію об отдѣленіи, на точном основаніи конституціи; в Москвѣ же появится нравоучительная статья, восхваляющая их мудрость и об'ясняющая, что на данном отрѣзкѣ развитія классовой борьбы независимость Эстоніи или Литвы диктуется интересами трудящихся. Воистину большой гибкостью обладает совѣтскій политическій механизм, если не забывать о существованіи в нем двух слоев, поверхностнаго и глубиннаго.

Но, может быть, обстоятельства сложатся так, что развитіе вопроса о западных границах Россіи пройдет гладко, так что не потребуется никакого нажима на союзников, при котором существованіе новоиспеченных эстонской, узбекской или таджикской дипломатій могло бы оказаться полезным. Тогда реформа, в предлагаемом ея истолкованіи, окажется проведенной впустую. Не говорит ли это против такого толкованія? Отнюдь нѣт. Ошибочно видѣть в отдѣльных политических актах проведеніе или подготовку к проведенію одного, заранѣе опредѣленнаго, не допускающаго отступленій, плана.

Всякая реальная политика строится на допущеніи ряда расходящихся возможностей развитія, и многочисленные акты совершаются для того, чтобы подготовиться к возможности, которой не суждено осуществиться. Подготовкой к чему-то, что совершилось, через нѣсколько лѣт, в исторической перспективѣ, может представиться реформа 1-го февраля, которая в таком случаѣ станет рядом с нашумѣвшей аудіенціей, данной Сталиным о. Орлеманскому: и в этом случаѣ сущность маневра сводилась к ослабленію сопротивленія аннексіям со стороны политически вліятельных кругов; и этот маневр может оказаться излишним.

В заключеніе стоит отмѣтить, что, с точки зрѣнія совѣтской дѣйствительности, реформа 1-го февраля вреда принести не может: достиженій в культурной сферѣ она не затрагивает, а политически она касается лишь поверхностнаго, но не глубиннаго слоя. Единство воли во внѣшних дѣлах и единство военной силы ею не поколеблено. Россія не распалась на шестнадцать самостоятельных республик и в условіях побѣдоносной войны вряд ли собирается распасться.

Н. С. Тимашев.

О «СОВѢТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ»

«... темный народ большевики и приманули: насыпали хороших слов и попер человѣк, как рыба на приваду!»

М. Шолохов, «Тихій Дон».

Что такое «совѣтское», «Совѣты»?...

Это далеко не праздный вопрос послѣ того, как Совѣты перестали быть тѣм, чѣм были прежде. Совѣты никогда не были лишь географическим понятіем — обозначеніем мѣста дѣйствія совѣтской системы. Они всегда имѣли болѣе широкій и общій смысл — политическій, національно-культурный. «Совѣтскій народ», «совѣтская земля», «совѣтская общественность» постепенно стали синонимом русскаго и россійскаго; Совѣты стали отождествляться с Россіей, совѣтская власть — с русским народом. Больше того, стали говорить и писать об особой «совѣтской цивилизаціи».

Покойный Барбюс еще в 1921 году об'явил Совѣты «основным и лучшим событіем міровой исторіи, болѣе значительным, чѣм христіанство или французская революція, — событіем, от котораго начинается вторая стадія развитія человѣчества». Другіе авторы развили и дополнили это открытіе. А извѣстные Сидней и Беатриса Уэббы прославили Совѣты на весь мір, со всѣм авторитетом миролюбивых и уравновѣшенных кооператоров и фабіанцев, выдали «совѣтскому коммунизму» патент на гуманность и благородство.

Дважды побывав в СССР в первой половинѣ 30-ых годов, Уэббы сначала еще колебались признать совѣтскій строй за новую цивилизацію. Но к 1938 году, как раз послѣ всѣх «чисток», унесших в могилу главных творцов «новой цивилизаціи», — старых большевиков, командный состав красной

арміи и др.*), — в новом изданіи огромнаго двухтомника (свыше 1.250 стр.) сомнѣнія у авторов отпали. Да, совѣтскій коммунизм это новая цивилизація!... И первое и главное, что о том свидѣтельствует, это — новая, так называемая, Сталинская конституція!...**)

Уэббы, увы, не единственные, не первые и не послѣдніе, кто расцѣнивает россійскую дѣйствительность по тому, что о ней говорят большевики, с поправкой на собственное великодушіе и гуманность. Они и не единственные, кто считают Сталинскую конституцію новой эрой в исторіи міра. Возьмите Эмиля Людвига, с одинаковым усердіем пишущаго о Наполеонѣ и Клеопатрѣ, о Бетховенѣ и Боливарѣ, о Сталинѣ и Рузвельтѣ. Для Э. Людвига Сталинская конституція — третій по времени документ, равный по всемірно-историческому значенію американской Декларації независимости и французской Декларації прав человѣка и гражданина!... Извѣстный Ласки только что опубликовал книгу «Вѣра, разум и цивилизація», в которой совѣтскій коммунизм расцѣнивается, как новая вѣра человѣчества.

И не отдѣльные только авторы-иностранцы склонны, иногда до смѣшного, преувеличивать значеніе памятников совѣтской пропагандной литературы. Совѣтскій строй, как форма русской цивилизаціи, стал об'ектом преподаванія в Америкѣ на спеціальных университетских курсах. «Совѣтская цивилизація» в фокусѣ общественнаго вниманія. Ее изучают, защищают, рекомендуют в качествѣ образца.

Умѣлая и упорная — в теченіе четверти вѣка — совѣтская пропаганда дала плоды не только в Россіи, но и за ея предѣлами. Реабилитація православных святых и самодержавных царей, как и реставрація института паспортов, деньщиков, чинов, погон, мундиров и т. д., естественно, примирили с Совѣтами болѣе привиллегированные круги общества. Что менѣе естественно, — реабилитація и реставрація былого не осла-

*) По исчисленіям другого большого энтузіаста совѣтской цивилизаціи Уолтера Дюранти, (в только что появившейся его книгѣ «U.S.S.R,: The Story of Soviet Russia»), паническое безуміе власти в 1936-1937 г.г. унесло 75% военнаго и гражданскаго руководства СССР.

**) Размѣры статьи вынуждают нас ограничиться разсмотрѣніем лишь этого перваго и главнаго основанія. Уэббы приводят и другія — не болѣе, на наш взгляд, убѣдительныя. Может быть, в будущем нам удастся их коснуться.

били увлеченія всѣм совѣтским в кругах, так называемаго, либеральнаго и радикальнаго общественнаго мнѣнія. Болѣе чѣм скептическое отношеніе к «своему» коммунизму, мѣстнаго происхожденія, мирно уживается с восторженным отношеніем к коммунизму совѣтскому. И восхищеніе достиженіями совѣтской власти не только за страх — «по обстоятельствам военнаго времени», — но и за совѣсть приводит к признанію «совѣтской цивилизаціи» положительным явленіем не только в Россіи и для Россіи, но и в болѣе широком и универсальном масштабѣ.

***

Когда-то о Совѣтах или о совѣтском принципѣ можно было говорить, как о чем-то болѣе или менѣе опредѣленном, — как говорили о принципѣ монархическом и демократическом. Совѣтская система была и старалась быть во всем отличной от «мѣщански-подлой, трусливой, не избавившейся от холопства демократіи» (выраженіе Ленина), — во всем непохожей на «паршивенькую буржуазно-парламентарную республику» (общепринятая большевистская фразеологія). Демократія, писал Ленин (Собр. соч. т. XXI, стр. 426), это «организація для систематическаго насилія одного класса над другим, одной части населенія над другой». И по сіе время этот взгляд удержался в совѣтской официальной литературѣ. Совѣты это «совершенно новая форма государства, в корнѣ отличная от всѣх до того извѣстных в исторіи форм государств», — значится в «Совѣтском Государственном Правѣ» («Учебник для юридических институтов». Академія Наук СССР. 1938 г. — Под редакціей бывшаго главнаго совѣтскаго прокурора, а нынѣ дипломата А. Я. Вышинскаго).

Если в демократіи рѣшающим фактором является воля большинства народа, то именно эту волю Ленин об'явил, наканунѣ октябрьскаго переворота, «корнем зла» и выдвинул на первый план роль «маленькой, но хорошо организованной, вооруженной и централизованной силы». «Демократія — одна из форм буржуазнаго государства, за которую стоят всѣ измѣнники истиннаго соціализма», — завѣрял Ленин 3-ій С'ѣзд Совѣтов. И свою совѣтскую систему стал он строить соотвѣтственно, — **отталкиваясь** от демократическаго образца.

Демократія возникла и развилась путем признанія нерушимости личных прав человѣка и гражданина. Совѣтская система героическаго періода большевистской власти об

индивидуальных правах умалчивала и утверждала права «трудящагося и эксплоатируемаго народа». — В теченіе столѣтія демократія боролась — не всегда успѣшно — за признаніе и послѣдовательное осуществленіе «четыреххвостки»; совѣтская система отвергла и всеобщее, и равное, и прямое избирательное право, и тайное голосованіе. — В демократіях народное представительство формировалось на основѣ представительства от граждан или избирателей, проживающих в том же политически-нейтральном избирательном округѣ или участкѣ. Совѣтская система на мѣсто представительства от индивидуальных, или «атомизированных» избирателей поставила представительство от соціально-полезных групп и коллективов: фабрик и заводов, воинских частей, правительственных учрежденій, кооперативов, пожарных команд и т. п. Избиратели, таким образом, дѣлились на разряды, — чтобы не сказать: куріи, — болѣе привиллегированных и надѣленных меньшими правами. — Демократія проводила различіе между властью законодательной, исполнительной и судебной, стараясь предотвратить сосредоточеніе всей власти в руках одного органа. Совѣтская система, наоборот, в «сліяніи» властей, управленія с законодательством и судом, видѣла одну из своих отличительных и положительных черт. Отрицаніе самостоятельности судебной власти и состязательнаго начала в судебном процессѣ считались преимуществом совѣтской системы.

Резюмируя, можно сказать, что в теченіе двадцати лѣт, с 1918-го по 1937-ой, Совѣты представляли не лиц, не граждан, а общественно-полезныя, с точки зрѣнія власти, группы. При этом выборы производились ограниченным в своем составѣ избирательном корпусом, в котором городское населеніе пользовалось большими правами, нежели сельское, а самые выборы были многостепенными и с открытой подачей голосов. Так как при пирамидальной структурѣ Совѣтов за каждым высшим органом представительства признавалось право *замѣщать* низшій орган, то отвѣтственность исполнительной власти превращалась не только в фикцію, но в свою противоположность: избранный орган контролировал орган, его избравшій.

Совѣты, в качествѣ «совершенно новаго государственнаго аппарата, противоположнаго по своей сущности и по своим организаціонным формам буржуазному и всяким иным эксплоататорским типам государственнаго аппарата» (Ленин, т. XXIV, 13), получили и общее свое оправданіе, и оправданіе отдѣльных своих элементов. В общей формѣ Ленин опровергал

«господ оппортунистов», которые «учат народ, в издѣвку над ученіем Маркса: пролетаріат должен сначала завоевать большинство посредством всеобщаго избирательнаго права... и затѣм уже на этой основѣ «послѣдовательной» (иные говорят «чистой») демократіи организовать соціализм. А мы говорим на основаніи ученія Маркса и опыта русской революціи: пролетаріат должен сначала низвергнуть буржуазію и завоевать с е б ѣ государственную власть, а потом эту государственную власть, т. е. диктатуру пролетаріата, использовать, как орудіе своего класса в цѣлях пріобрѣтенія сочувствія трудящихся». Троцкій дал свою формулу в соотвѣтствующем ему стилѣ. Перефразируя слова Наполеона III, он провозгласил: «Мы **попрали принципы** демократіи для болѣе высоких принципов соціальной революціи».

Каждому демократическому «предразсудку» противостояла своя совѣтская антитеза. «Город не может быть равен деревнѣ», — утверждал Ленин. Тѣм менѣе кто-либо мог равняться с пролетаріем. Трудящійся на землѣ, крестьянин-земледѣлец, далеко не то, что работающій в нѣдрах земли, шахтер и т. д. Совѣты, как «государство новаго типа», воплощающаго диктатуру пролетаріата, строились и защищались, как прямое **отрицаніе** государства стараго типа, в том числѣ и демократіи, представлявшей собою лишь своеобразную форму «систематическаго насилія» буржуазіи над трудящимися классами. Поэтому Ленин рѣшительно отвергал мысль о возможности «сочетать» демократическую систему с совѣтской. Такого рода попытку он называл «нелѣпой», «вскрывающей до основанія духовное убожество желтых соціалистов и соціал-демократов, их реакціонную мелко-буржуазную политику» (Тезисы к II-му с'ѣзду Коминтерна, тезис XXI-ый).

Так длилось двадцать лѣт.

*
* *

В мартѣ 1921 года, на X-ом с'ѣздѣ партіи, Ленин заявил, что «осуществленіе соціализма в Россіи есть утопія», — «наша политика не может больше основываться на вѣрѣ в торжество мірового революціоннаго движенія». Сталин, как извѣстно, пришел позднѣе к иному выводу и, когда торжество міровой революціи задержалось, провозгласил Россію «страной побѣ-дившаго соціализма», «соціалистическим государством рабочих и крестьян», как значится в ст. 1 Сталинской консти-

туціи 1936 года. Соотвѣтственно измѣнилась вся картина: черное стали выдавать за бѣлое, утверждая вѣрность прежнему.

20 лѣт подряд демократія изобличалась, как выдумка и достояніе буржуазіи, и вдруг разом реабилитированы были основные реквизиты демократіи. Возстановлена была в текстѣ конституціи вся «четыреххвостка» полностью — и всеобщее, и равное, и прямое, и тайное голосованіе. Отмѣнено было дѣленіе избирателей на разряды; выбирать надлежит по избирательным округам. Разграничены законодательство и управленіе, закон, указ, постановленіе, распоряженіе, высшіе и низшіе органы власти; признаны независимость или самостоятельность суда, состязательность процесса. Формально установлены «отвѣтственность и подотчетность» правительства перед законодательными органами, — т. е. то самое, что составляет существо парламентаризма. Самое понятіе «демократіи» вновь было введено в оборот и, больше того, на нее заявлена была исключительная претензія, едва ли не монополія. Из антитезы демократіи Совѣты превращаются «в высшую и единственно-подлинную форму демократіи», а Сталинская конституція провозглашается «единственной в мірѣ подлинной демократической конституціей» (Ср. чрезвычайно поучительный «Политическій Словарь», изданный в 1940 году под общей и частной редакціей Г. Александрова, В. Гальянова, Н. Рубинштейна, П. Поспѣлова, Е. Варги, Л. Мануильскаго, А. Вышинскаго, А. Шестакова и др., стр. 275).

В перемѣнѣ взглядов самой по себѣ нѣт, конечно, ничего предосудительнаго, — в какую бы сторону взгляды ни мѣнялись. И в данном случаѣ можно было бы только привѣтствовать перемѣну в сторону признанія демократических начал. Но всякое измѣненіе идеологіи утрачивает значеніе или становится фиктивным и мнимым, когда новое выдают за точный слѣпок со стараго, прежняго и традиціоннаго. Двойное отрицаніе и филологически, и математически равносильно утвержденію, но простое отрицаніе выдать за утвержденіе рискуют лишь немногіе и лишь не слишком высоко расцѣнивая свою аудиторію. Радикальное измѣненіе всей структуры и идеологическаго обоснованія Совѣтов нисколько не обезкуражило руководителей. Политическій тендэм «Ленин-Сталин», «партія Ленина-Сталина», «руководство партіи Ленина-Сталина» стало своеобразным фабричным клеймом, удостовѣряющим преемственную непогрѣшимость вождей и неизмѣнную вѣрность ВКП(б) своему прошлому.

В мірѣ вещей это безспорно так. Как ни организуй и как

ни называй диктатуры, она остается диктатурой, — захватывает ли она в клещи и своих вчерашних творцов или не захватывает. Но в мірѣ идей положеніе создалось гораздо болѣе сложное и спутанное. Ибо одновременно с радикальным как будто сдвигом в сторону демократіи, шло параллельное движеніе как раз в обратную сторону — и в такой формѣ, какой Совѣты не знали, даже когда они всячески отталкивались от демократіи. Мы имѣем, конечно, в виду знаменитую 126 статью Сталинской конституціи.

Аналогичной по смыслу статьи нѣт ни в одной из многочисленных совѣтских конституцій, предшествующих Сталинской. Здѣсь впервые большевики осмѣлились высказать то, что есть, — что они дѣлали и раньше, но что предпочитали не выставлять на показ в текстѣ конституціи. До 1936 года партійная диктатура выдавалась за диктатуру класса: пролетаріат подставлялся на мѣсто ВКП(б). 126-ая статья конституціи покончила с этой фикціей. В весьма, правда, завуалированной формѣ она провозгласила гегемонію и даже монополію большевистскаго руководства во всѣх государственных и общественных дѣлах. Всесоюзная коммунистическая партія (большевиков), об'единяющая «наиболѣе активных и сознательных граждан из рядов рабочаго класса и других слоев трудящихся», официально признана «руководящим ядром всѣх организацій трудящихся, как общественных, так и государственных». Однопартійная система, составляющая существо и основу всякаго тоталитарнаго государства, из сферы голых фактических отношеній перешла в область официальнаго права, — «совѣтскаго государственнаго права»*).

Совѣты не первые включили однопартійное начало в свое право. Если італіанскій фашизм многому понаучился у совѣтскаго коммунизма, то и послѣдній кой-чѣм обязан фашизму.

---

*) В прямой логической и политической связи с ст. 126 стоит ст. 141 Сталинской конституціи. Она «обезпечивает» право выставленія кандидатов во всѣ государственные, центральные и мѣстные, органы за «коммунистическими партійными организаціями, профессіональными союзами, кооперативами, организаціями молодежи, культурными обществами». Ст. 126 сводит дѣйствіе ст. 141 к тому, что «на выборах» предоставляется не выбирать между разными кандидатами, а голосовать — или не голосовать — за единственный, предложенный с одобренія «руководящаго ядра», т. е. ВКП(б), список.

Фашизм первый по времени рискнул открыто оформить в законодательном актѣ однопартійное управленіе. В законѣ об организаціи и преимуществах фашистской партіи 9 декабря 1928, измѣненном 14. XII. 1929 года, ст. 1 постановляет: «Великій фашистскій совѣт является верховным органом, который приводит в связь и подчиняет всю дѣятельность режима, вышедшаго из октябрьской революціи 1922 года».

Фашистскій образец отличается от совѣтскаго тѣм, что послѣдній говорит о руководящей роли коммунистической партіи в дѣлом, тогда как в фашистском законѣ — ближе к истинѣ — говорится о верховенствѣ фашистскаго «Политбюро», «Великаго фашистскаго совѣта». И еще. Фашистскіе идеологи, считая, как и совѣтскіе, свою систему государством новаго типа, «новой формой политической организаціи общества», нигдѣ и никогда не компрометировали демократіи своим родством или близостью с нею. «Программа власти должна выражаться не в словах о свободѣ, а скорѣе в лозунгѣ: дороги, мосты, дома, вода», — заявил Муссолини при приходѣ к власти. Этой своей программѣ фашистская власть осталась вѣрной до конца.

***

Опираясь на совѣтскіе же источники, на текст послѣдней конституціи и на фактическія перемѣны послѣдних лѣт, мы оказываемся перед альтернативой — или перед двумя возможностями. Либо считать Совѣтами ту структуру революціоннаго предсгавительства, которая произвела октябрьскій переворот и, оформившись, дѣйствовала в теченіе 20 лѣт, пока в 1937 году сама себя не упразднила за собственной ненужностью для «страны побѣдившаго соціализма»; либо признать, что организаціонная структура и идеологія для Совѣтов безразличны, существенно же то общее, что было присуще Совѣтам раньше, и что осталось непоколебленным при всѣх перемѣнах.

В первом случаѣ практически пришлось бы сдѣлать вывод, что второе «С» в Союзѣ Совѣтских Соціалистических Республик пережило свое время и, за утратой смысла, подлежит упраздненію: Совѣты исчезли в ССР. Во втором же случаѣ вывод был бы тот, что «совѣтское» является синонимом однопартійной диктатуры, раньше замаскированной под диктатуру пролетаріата или трудящихся, а нынѣ от маски отказавшейся, но по существу оставшейся себѣ равной. В таком случаѣ Совѣты оказываются, как и были, лишь псевдонимом ВКП(б),

а совѣтская цивилизація расшифровывается как цивилизація большевистская!...

Не успѣваю подчеркнуть послѣдних слов, как различаю негодующіе голоса совѣтских попутчиков — из демократов и не-демократов:

— Какой смысл этих разсужденій?... Что удивительнаго в том, что Совѣты за четверть вѣка измѣнили свою структуру и свой первоначальный смысл?! Это матеріал для семантики, спеціально занимающейся изученіем измѣненій смысла слов во времени, — а никак не для политики. Пусть новая цивилизація называется не совѣтской, а большевистской, — что от того мѣняется? «Что в имени тебѣ моем?» — если не спорить о словах. Надо только радоваться, что большевики отступили, наконец, от прежней фразеологіи. Всѣ деспотическія — или тоталитарныя — государства начинали спуск на тормозах с попытки примирить старую догму с новыми требованіями, начинали с «истолкованія», «развитія», «уточненія», «дополненія». Что должен доказать этот историческій экскурс и юридическое сопоставленіе?...

Не надо быть номиналистом, чтобы утверждать, что спор о словах, особенно в политикѣ, часто является спором и по существу — о политических реальностях. Припомните спор о примѣнимости термина «самодержавный» к монархическому правленію Россіи послѣ 17 октября 1905 года. Или сейчас: побѣдил в Россіи соціализм или особая форма государственнаго капитализма?... За послѣднюю четверть вѣка и Россія, и весь мір были обогащены множеством мифов, и мифотворчество часто выражалось в простом словотворчествѣ. И Совѣты были одним из таких мифов, созданных в Россіи в октябрѣ 1917 года, как другим мифом стали Корпораціи, возникшія в результатѣ побѣды фашистскаго Октября — в 1922 году. Превратившись в неопредѣлимую ближе туманность, Совѣты естественно могли привлечь к себѣ легче и больше симпатіи со стороны широкаго общественнаго мнѣнія, нежели реальные, в природѣ данные коммунисты. За предѣлами Россіи мало кто имѣл и имѣет ясное представленіе о том, что такое Совѣты. Но в Америкѣ и Китаѣ, не говоря уже о многострадальной Европѣ, отлично знают, что такое коммунисты-большевики.

Совѣтская цивилизація — нелѣпость, двусмысленность, в лучшем случаѣ миф, такой же, как совѣтскій народ или совѣтская демократія. Но большевистская цивилизація, или, точнѣе, большевистское отношеніе к ци-

вилизаціи, увы, не выдумка, а подлинная и трагическая реальность. Это различеніе можно считать словесным, но за ним стоят и различныя политическія реальности. Не отдав себѣ отчета в этом, нельзя оріентироваться и в обстановкѣ, внутри-россійской и международной.

Цивилизація не исчерпывается, конечно, политикой и не сводима к ней одной. Но во всяком авторитарном государствѣ и, особенно, новѣйшаго тоталитарнаго типа с однопартійной диктатурой, политика доминирует над всѣм и опредѣляет все. Она регулирует не только управленіе или матеріальную технику, «цивилизацію» в тѣсном смыслѣ, — но и экономику, воспитаніе, общественное мнѣніе, культуру. Энгельсовскій «Анти-Дюринг» опровергнут учениками Энгельса — политическая «надстройка», большевистская власть, открыто подвела под себя экономическій «базис»: индустріализацію и коллективизацію (земли). Если подходить к исторіи с мѣрилом «вѣчности», марксизм еще может постоять за себя, но если измѣрять исторію поколѣніями, наше поколѣніе свидѣтельствует о примать политики над экономикой — не только в отсталой Россіи и Италіи, но и в промышленно-передовой Германіи. Большевистская, фашистская и нацистская «цивилизаціи» явленія в первую очередь политическія.

Заблуждаются тѣ, кто существо большевистской цивилизаціи видят в коммунизмѣ, интернаціонализмѣ, патріотизмѣ. Существо большевизма не в том, что, а в том, как, не в цѣлях, а в средствах и методах. То, что неправильно именуется совѣтской цивилизаціей, почти всегда было фальсификаціей прошлаго и настоящаго. Можно ли оспаривать беззастѣнчивое, гротескное фальсифицированіе исторіи — оптом и в розницу, глядя на «исторически-документированные» фильмы; читая «Краткий курс исторіи Всесоюзной коммунистической партіи», выпущенный «с одобренія ЦК ВКП(б)» и «по иниціативѣ и при непосредственном личном участіи товарища Сталина», в 15½ милліонов экземпляров в Россіи и на всѣх главных иностранных языках за-границей; или уже упоминавшіеся «Политическій Словарь», «Совѣтское Государственное Право» и проч.?!

За время пребыванія большевиков у власти многократно мѣнялись их цѣли. Но при всѣх «эволюціях» большевистской власти одному она оставалась неизмѣнно вѣрной — самосохраненію. Удержаніе власти стало для большевиков самоцѣлью, основным и первым регулятивом. Оправданіе гражданской войны, ЧК, ГПУ, НКВН, мир в Брестѣ, соглашеніе с Гитлером,

НЭП и т. д. и т. д., всѣ одинаково были подчинены высшему и первичному — обезпеченію власти большевиков, как единственно правовѣрных соціалистов и друзей рабочаго класса. Ради этого, главнаго, можно было поступиться всѣм прочим. Это оправдывало всѣ «маневры», «отступленія» и маскировки. Когда одну маску сбрасывали, — надѣвали другую, как правило, возвѣщая при этом, что это «всерьез и надолго».

Ленина можно во многом обвинить и за многое осудить. Никто, однако, не упрекнет его в недостаткѣ мужества высказать вслух свою оцѣнку должнаго. Кто не знает его: «когда в этом есть надобность, слѣдует умѣть пускать в ход хитрость, ловкость, нелегальные методы, умолчаніе правды». Далеко, однако, не всѣ оцѣнили по достоинству этот первый и тактически-основной «завѣт Ильича», прочно усвоенный и освоенный большевистской партіей. Можно привести множество доказательств тому. Приведем только одно свидѣтельство...

Горькій никогда не был банальным большевиком-«партійцем», но он всегда был близок духовно и душевно к большевикам, дружил долгіе годы с Лениным, под конец жизни сошелся и со Сталиным. И вот его отношеніе к правдѣ и лжи—: «Я искреннѣйше и непоколебимо ненавижу правду, которая на 99% есть мерзость и ложь... Я знаю, что 150-милліонной массѣ русскаго народа эта правда («самокритика» или оглушеніе и ослѣпленіе людей скверной, ядовитой пылью будничной правды) — вредна». Так писал в январѣ 1929 года былой пѣвец Сокола и Буревѣстника. И для него не прошло безслѣдно долголѣтнее общеніе с большевиками: сблизившись с «безумцами», «навѣвавшими сон золотой», он и сам сдѣлался проповѣдником обмана — возвышеннаго и не возвышеннаго. Именно поэтому, посѣтив Соловки и балтійско-бѣломорскій канал, строившійся на крови и костях политических узников, мог Горькій сказать: «Люди, осужденные исторіей (!) убивать одних для свободы других, — м у ч е н и к и, и совѣсть моя никогда не позволит мнѣ осуждать их»!...

Сталинская конституція была лишь орудіем управленія — instrumentum regni — большевистской власти. Совѣты и конституціонные тексты мѣнялись — фальсификація оставалась. Совѣты давно уже стали к а к б ы Совѣтами. Теперь им была придана новая демократическая внѣшность. Но новое изображается как прямое продолженіе и простое развитіе стараго «руководства партіи Ленина-Сталина». Вся «эволюція» тѣм самым сводится на нѣт. Статьи 126 и 141 словно нарочно подчеркивают, что всѣ возвѣщенныя в предыдущих статьях

демократическія начала и права не надо брать «всерьез», а только как видимость. Это не мѣшает большевикам упрекать своих противников как раз в том, в чем повинны они сами. Откройте уже упоминавшійся нами «Политическій Словарь» 1940-го года и на стр. 206 вы прочтете: «в рядѣ капиталистических стран населеніе не пользуется по существу никакими избирательными правами: так называемые депутаты попросту назначаются приказом власти»; и вообще — «различіе между так называемыми буржуазно-демократическими и фашистскими государствами» («с началом второй имперіалистической войны») «стирается» (стр. 598).

Пока нынѣшнее «руководство» большевистской партіи связывает себя неразрывной вѣрностью Ленину и его представленіям о государствѣ, демократіи и Совѣтах, оно раздѣляет с ним и отвѣтственность за слова: «Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституція Совѣтской Россіи строится на том, что партія все исправляет, назначает и строит по одному признаку» (том XVIII, ч. 2, стр. 181). Если положеніе сейчас измѣнилось, и партія все строит уже не по одному «признаку» или не так, как прежде строила, — нельзя клясться в вѣрности «завѣтам Ильича». Иначе придется признать, что, невзирая на измѣненіе фразеологіи и включеніе в текст Сталинской конституціи почти полнаго набора наиболѣе прогрессивных начал, извѣстных демократическим конституціям, «по сути дѣла», как любил выражаться Ленин, рѣшительно ничего не измѣнилось.

Мы склонны именно так думать. И не по свойственному лишь принципіальному нашему анти-большевизму— в чем не видим ничего предосудительнаго, — а и на основаніи большевистских же источников и свидѣтельств. Одно из них свидѣтельство Я. А. Яковлева, секретаря 29-членной «Конституціонной Комиссіи», подготовившей, так называемую, Сталинскую конституцію; вмѣстѣ со Сталиным, Яковлев был докладчиком проекта конституціи в декабрѣ 1936 года и докладчиком Положенія о выборах (на сессіи ЦИК) в іюлѣ 1937 года. Он опредѣляет задачу, которую ставила себѣ власть, привлекая к выборам в Совѣты населеніе на основѣ «четыреххвостки», так: «Поймать врагов рабочаго класса и крестьянства нельзя, дѣйствуя только сверху, только одними глазами коммунистов, руководящих тѣми или иными органами, — врагов надо ловить и снизу, и сверху, ибо коммунисты всего видѣть не могут. Словить и раздавить врагов Совѣтов, врагов

рабочих и крестьян, можно, только развернув демократію во-всю, как этого требует товарищ Сталин, как этого требует сталинская конституція».

Могут сказать, что сам Яковлев, матерый харьковскій чекист и вершитель земельной политики СССР, ставшій соавтором Сталинской конституціи, в концѣ концов был сам «словлен и раздавлен» очередной чисткой, как врат рабочаго класса и крестьянства. Это не мѣняет дѣла. Обоснованіе Сталинской конституціи и демократических в ней начал остается. «Идеологія» Яковлева воспроизведена в официальных «Извѣстіях» (№ от 8. VII. 1937) и в поученіе избирателям выпущена отдѣльным изданіем. Физическая «ликвидація» Яковлева не ликвидирует, к сожалѣнію, фальсификаціи демократических начал. Я знаю, многіе предпочитают лицемѣріе цинизму, исходя из извѣстнаго афоризма, что лицемѣріе есть дань, которую порок вынужден приносить добродѣтели или которую добродѣтель взимает с порока. Но мы меньше заинтересованы в порокѣ, чѣм в «добродѣтели», в демократіи. И потому мы предпочитаем, перефразируя Вольтера, — отрицающих демократическія начала тѣм, кто их компрометирует.

Демократію можно разсматривать под разными аспектами: как систему государственнаго управленія, как совокупность опредѣленных юридических условій, как опредѣленный вид соціальной структуры, как своеобразный подход к жизни, к человѣку и обществу, как «way of life». Но еще никогда никто не видѣл в демократіи техническое средство изловленія и уничтоженія политических или классовых врагов. До этого впервые додумалась чекистски-большевистская мысль. И в этом оригинальность ея «цивилизаціи».

*
**

Существо большевистской цивилизаціи было испытано человѣчеством—во всяком случаѣ, извѣстно было человѣчеству—еще до большевизма. Оно описано типологически, как особый тип управленія, — 131 год тому назад. Автор «De l'ésprit de conquête et de l'usurpation dans leur rapports avec la civilization européenne», Бенжамэн Констан, имѣл в своей работѣ в виду узурпацію Наполеона, но его противопоставленіе деспотизма абсолютнаго монарха новому виду узурпаціи и насилія, имѣет гораздо болѣе обшій смысл.

Деспотизм откидывал всѣ виды и формы свободы. Он

дѣлал это открыто, можно сказать: вызывающе. Революціонный узурпатор, стремясь ниспровергнуть деспотизм, нуждается в свободѣ и апеллирует к ней. Но одержав побѣду, узурпатор профанирует свободу. Общественное мнѣніе и необходимо узурпатору, и опасно для него. Поэтому одной рукой он поддерживает общественность и самодѣятельность, а другой удушает их и бьет по ним вторично, чтобы вызвать к жизни требуемыя ему настроенія и дѣйствія.

Когда абсолютный монарх посылал своего впавшаго в немилость министра на эшафот, напоминает Констан, палач, как и жертва, оставался безмолвным, дѣлал свое дѣло молча. Когда узурпатор осуждает на смерть, он приказывает казнимаго дополнительно оклеветать и клеветать так методически и долго, что клевета пріобрѣтает видимость общепринятаго мнѣнія, народнаго осужденія. Деспот воспрещает дискуссію и довольствуется послушаніем. Узурпатор ищет содѣйствія, соучастія, не терпит несогласія, требует одобренія. Такая поддѣльная свобода соединяет бѣдствія анархіи и рабства вмѣстѣ. Нѣт границ насилію, которое добивается выраженія согласія. Миролюбивых и пассивных преслѣдуют за равнодушіе; активных и энергичных — потому что они представляются опасными.

Деспотизм душит свободу прессы; узурпація создает пародію на свободу печати. Когда свобода прессы упразднена, —общественное мнѣніе усыплено, но не вводится в заблужденіе. Когда же им овладѣвают подкупленные—или натренированные — писатели, они разсуждают и аргументируют, как будто идет вопрос о том, чтобы убѣдить, а не принудить. Они страстно набрасываются на отсутствующаго противника, как будто существует и возможна оппозиція. Они оскорбляют и клевещут словно возможна реплика и возраженіе. Нелѣпое диффамированіе и издѣвка предшествуют беззаконному осужденію. Узурпатор учитывает вперед свои рѣчи и овацiи, которыми они сопровождаются. Потомство — и будущій историк — будут судить его по этим памятникам, воздвигнутым самому себѣ при жизни. Будут говорить: гдѣ народ так мало развит, — правительство д о л ж н о было быть тираническим. Рим простерся ниц не пред Марком Авреліем, а пред Тиверіем и Каракаллой!...

И Бенжамэн Констан резюмирует. Деспотизм царствует при молчаніи, он дозволяет человѣку пребывать безмолвным. Узурпація же заставляет его говорить, слѣдует за ним в святая святых его мыслей и, вынуждая его обманывать самого себя,

лишает послѣдняго утѣшенія, остающагося у угнетенных. Когда люди порабощены без того, чтобы быть деградированными, всегда имѣется возможность, что им удастся достичь лучшаго положенія. Произойдет какое-либо благопріятное обстоятельство, и они покажут себя достойными его. Деспотизм оставляет человѣчеству такой шанс. Иго Филиппа II и эшафоты герцога Альбы не деградировали достоинства голландцев. Узурпація же унижает людей одновременно с тѣм, что угнетает их: она пріучает их попирать то, что они раньше почитали, и льстить тому, что они до того презирали, — презирать самих себя!...

Это было написано в началѣ прошлаго столѣтія, и нѣт необходимости дословно прилагать эту характеристику к нынѣшней, совсѣм иной обстановкѣ. Под вліяніем момента Констан, может быть, нѣсколько сгустил краски примѣнительно к тому, с чѣм он непосредственно боролся, и изображенная им картина наполеоновской Франціи исторически, может быть, не совсѣм точна и справедлива. Но его характеристика имѣет болѣе широкій и глубокій смысл — социологическаго обобщенія: Констан оказался соціологом до того, как создалась соціологія, как научная дисциплина. Поразительно, как много схожаго оказалось в прошлых вѣках и нынѣшнем. И Россія знала своих «Филиппа II и герцога Альбу», как знала — и знает — своих отечественных Тиверія и Каракаллу, требующаго поклоненія собственному «генію»!...

В то время, как одни отрицают, что Совѣтская демократія — демократія фиктивная, — другіе совѣтофилы относятся к такого рода утвержденію совершенно спокойно, признают это, как факт, но об'ясняют или «возмѣщают» его ссылкой на другіе факты. Так небезизвѣстный в Америкѣ Корлис Ламонт насчитал в СССР наличность шести видов демократіи: расовой, экономической, культурной, религіозной, пола и возраста, — характеризующих совѣтскую цивилизацію. Многое можно возразить против такого мнѣнія.

Допустим, однако, что в СССР, дѣйствительно, существуют и дѣйствуют всѣ отмѣченныя шесть «демократій». Но и Ламонт вѣдь признает, что там отсутствуют «политическая демократія и гражданскія свободы». Развѣ такое признаніе не равносильно тому, что в СССР нѣт демократіи, но зато — или: хотя — там имѣет мѣсто то-то и то? Тут спор опять таки не о словах, а о злоупотребленіи словами и понятіями в интересах политическаго камуфляжа, или маскировки.

СССР не измѣнился политически послѣ введенія в дѣйствіе

Сталинской конституціи; не измѣнился он, увы, и за время войны, несмотря на всѣ идеологическія превращенія, бытовыя реформы и всеобщія ожиданія. Можно ли расчитывать на болѣе или менѣе серьезныя перемѣны в будущем, в связи с побѣдоносным завершеніем войны; с ролью, которую Россіи предстоит играть в мірѣ в связи с героическим продвиженіем красной арміи; с уступками — или отступленіями — на религіозном фронтѣ, на революціонном (упраздненіе Коминтерна, сочиненіе новаго гимна, признаніе Бадольо); на бытовом (тѣ же чины, погоны, деньщики, отказ от совмѣстнаго обученія в средней школѣ); даже на политическом (пресловутая «реформа» 1 февраля с. г. о передачѣ каждой из 16, образующих СССР, республик права имѣть свои «военныя образованія» и вести непосредственно сношенія с иностранными государствами, заключать с ними «соглашенія» и обмѣниваться послами и консулами)?...

Серьезно ли это? Мѣняет ли общую картину?

Политика имѣет очень мало общаго с метеорологіей. Но кое-что у них схоже — то самое, что выдѣляет ту и другую из общаго ряда наук, если признавать их науками. Обѣ дѣлают свои обобщенія на основаніи длительных и повторных наблюденій над прошлым, устанавливают ряды, преемственность и зависимость путем аналогій и сходства. Предвидѣнія в политикѣ еще болѣе рискованны, нежели в метеорологіи. Но поскольку они необходимы, — «чтобы дѣйствовать, надо предвидѣть», а чтобы предвидѣть, надо видѣть, т. е. смотрѣть правдѣ в глаза и различать реальное от фиктивнаго, подлинное от мнимаго, — политическіе прогнозы возможны только путем умозаключенія от того, что бывало, к тому, что может быть и с большей или меньшей вѣроятностью будет.

Наблюденія в теченіе всего четверть-вѣкового существованія совѣтской власти ни в какой мѣрѣ не свидѣтельствуют в пользу серьезных об'ективных шансов на неизбѣжное раскрѣпощеніе Россіи и утвержденіе в ней свободной от диктатуры демократіи в ближайшем будущем. Об этом, можно сказать, вопіет вся довоенная исторія Совѣтов. О том же, увы, свидѣтельствует и новѣйшая исторія СССР, — включая самые послѣдние месяцы.

Кто не помнит, как в прошлом разжиганіе гражданской войны смѣнялось приглушеніем и уводом в глубокій тыл; как всерьез и надолго возвѣщенный НЭП смѣнило возвращеніе к худшим образцам военнаго коммунизма в період сплошной коллективизаціи; как то развертывали, то свертывали знамя

Коминтерна; как, на мѣсто проклятій по адресу Лиги Націй, пришло — и вновь ушло — прославленіе и Лиги, и Версальскаго договора; как пытались овладѣть массами в других странах путем прямой борьбы с демократическими силами, поддерживая крайне правых, фашистов и наци, и, обратно, путем соглашенія с «соціал-предателями», создавая «единые» и «народные» фронты или самостоятельно организуя революцію (Испанія), устанавливая особые «договоры дружбы» и «наилучшія отношенія» с Кемаль-пашей, Муссолини, Аманулой, Гитлером, а позднѣе об'являя нѣкоторых из них выродками человѣческаго рода.

На протяженіи четверти вѣка бывали и реформы, не было лишь демократизаціи, — диктатура оставалась себѣ равной, возглавлял ли ее Ленин или Сталин, Дзержинскій, Менжинскій, Ягода, Ежов или Берія. Можно было думать, и большинство так думало и уповало, что война принесет перемѣну. Этого не случилось и в самые тяжкіе моменты, когда враг приближался к Волгѣ и свастика взвилась над Эльборусом. Это не обезкуражило вѣрующих, — особенно из недавно приставших к «совѣтской» революціи и «совѣтскому» соціализму. Вопреки очевидности, они продолжают вѣрить, исповѣдывать и проповѣдовать от противнаго: война произвела громадные сдвиги во всем и повсюду, — «и уже совершенно немыслимо», чтобы политика СССР осталась без перемѣны. Болѣе смѣлые идут дальше и «открыто и прямо пересаживаются с одного стула на другой» (выраженіе Ф. Дана в «Новом Пути», апрѣль 1944 года). Чаемое они выдают за уже свершившееся. Дан печатно завѣряет, что трудящіяся массы Совѣтскаго Союза «теперь по настоящему» вступили в школу «организованной самодѣятельности и свободнаго (!) самоуправленія», что «авторитарная исключительность» уже ликвидируется и предстоит лишь «з а в е р ш и т ь начавшійся нынѣ процесс самодемократизаціи». Если это не самообман и иллюзія, то что это?...

*
**

Общепризнано — на основаніи столѣтних наблюденій, — что война несла Россіи раскрѣпощеніе, соціальное или политическое. Так было послѣ Крымской войны, почти было послѣ Турецкой, было послѣ Японской, послѣ великой. Так будет и теперь, утверждают забывшіе или умышленно упускающіе из виду, что прошлыя войны кончались пораженіем, тогда как

нынѣшняя несет побѣду, несомнѣнную и сокрушающую. Этот факт мѣняет всю перспективу независимо от того, что в прошлом злое событіе — война — принесло благой результат (освобожденіе), несмотря на пораженіе, тогда как сейчас благое и счастливое событіе—побѣда—никак еще не манифестирует себя в освобожденіи. Вѣдь и первая отечественная война принесла не свободу, а Аракчеевщину и Николаевщину, подморозившія Россію на полвѣка.

Не будет парадоксом утверждать, что для очень многих — и не только большевиков или дѣльцов, но и честных «либералов» и «демократов», не слишком разбирающихся в русских загадках, — никогда еще совѣтская диктатура, с однопартійной системой, скорострѣльной индустріализаціей, коллективизаціей и прочими «достиженями», не были так оправданы, как именно теперь, когда в огнѣ и дымѣ, железѣ и крови войны они доказали свою жизнеугорность. Возьмите для иллюстраціи «открытыя и прямыя» признанія того же Ф. Дана: «в неслыханных по физической и моральной напряженности испытаніях войны», «исторически (!) полностью (!!) оправдала и незыблемо утвердила себя» — вы думаете, Россія или русскій народ? нѣт, — «совѣтская революція»!...

Такой взгляд не только близорук и пристрастен, он и искуственен: он умышленно изолирует войну и успѣхи на полѣ брани — от мирнаго времени, или дипломатіи, которая и для неучившихся у Клаузевица является тою же «войной, но только иными средствами ведущейся». Как высоко ни расцѣнивать геніальность вождей и командованія, «все же» участвовал в военных успѣхах и народ — его со счетов никак не сбросишь. Но к совѣтской дипломатіи народ руки не приложил. Условія Брестскаго мира, Рижскій мир, договор о ненападеніи с Гитлером, договор о дружбѣ с ним же, и др., — продукт творчества большевистскаго Политбюро. Русскій народ в обсужденіи всего этого не участвовал, он лишь послушно «голосовал», повинуясь волѣ мудрых вождей. Кто рискнет добросовѣстно отрицать, что, не веди совѣтская власть своей дипломатіи и международной политики так, как она ее фактически вела, вторая міровая война разыгралась бы для Россіи в менѣе тягостных условіях чѣм тѣ, в которых «второй имперіалистической» пришлось совершенно неожиданно для населенія превратиться 22 іюня 1941 г. во «вторую отечественную»?!

Прав был д-р Смирнов, когда со скрытым полу-упреком по адресу союзников, говорил Евѣ Кюри: — «Всю свою мощь нѣмцы бросили против нас. Русскіе — о д н и лишь русскіе,

кромѣ повстанцев в оккупированных странах, гибнут с 1941 г. на европейском театрѣ войны и гибнут не десятками тысяч, не сотнями тысяч, а милліонами». «Понимают ли американцы и англичане численное соотношеніе потерь на континентѣ: не десятки и не сотни тысяч, а милліоны?»—С того времени прошло больше двух лѣт, и новые милліоны русских погибли. Справедливо ли, однако, одних «союзничков» корить в том, что они медлили с открытіем второго фронта, что война затянулась или затягивается? Нѣт ли в этом доли вины и всѣх тѣх — всѣх нас, — кто в большей или меньшей мѣрѣ отвѣтственны за то, что не сумѣли предотвратить приход к власти и удержаніе ее тѣми, кто сначала в Брестѣ, потом в Рапалло, затѣм в Берлинѣ и Москвѣ, и в 18, и в 22, и в 39—41 г.г. способствовали сохраненію и укрѣпленію военной мощи Германіи?! Перечтите сухой, но полный и точный перечень событій на дипломатическом фронтѣ СССР за четыре мѣсяца «Послѣ Москвы и Тегерана», в превосходной статьѣ Н. С. Тимашева в послѣднем номерѣ «Нов. Журнала». Вы убѣдитесь, что «обезьяньи увертки», на которыя жаловались англичане, когда они, взапуски с Муссолини, спѣшили признать совѣтскую власть за законную власть Россіи, повторяются и сейчас с поразительным однообразіем, невзирая на раздѣляющія эти два ряда событій два десятилѣтія, и не считаясь ни с нуждами войны, ни с лишеніями Россіи, ни с офиціальными завѣреніями в Москвѣ и Тегеранѣ.

Это не «остатки довоенных чернил», по выраженію совѣтской печати (см. интересную статью В. А. Александровой «В предчувствіи перемѣн» в «С. В.» от 15.IV.44*). Это, увы, единственно-подлинная, не пріукрашенная благими пожеланіями и легковѣріем совѣтская дѣйствительность. От того, что «первый человѣк нашей страны» стал «первым солдатом нашей арміи», подвиг красной арміи не стал ни выше, ни больше, но у «засекреченной» свободы отнюдь не увеличились шансы вырваться из «секрета», в который ее загнали вот уже четверть с лишним вѣка. Наоборот, «засекреченная» свобода пріобрѣтает, наряду с новыми защитниками и даже энтузіастами, и новое оправданіе.

---

*) Прошел мѣсяц, и автор должен был отмѣтить («Соц. В.» от 15 мая) «чувство новаго», обозначившееся у совѣтских литераторов. Уже в мартѣ текущаго года, в процессѣ еще незавершенной побѣды, «Литература и Искусство» перестала взывать к русскому патріотизму и «всѣм силам народа», а стала выдвигать на первый план «преимущества нашего совѣтскаго государственнаго строя».

Я знаю политических русских эмигрантов, которые «простили» Сталина за героическое сопротивленіе Красной арміи. Не будем говорить о логической неувязкѣ — о вмѣненіи индивиду героизма цѣлаго, арміи, народа, страны. Такое «прощеніе» политически непріемлемо — не только потому, что никто на него не правомочен. Если политическая эмиграція имѣет какой-либо смысл, он не в простом физическом состояніи на чужбинѣ за неспособностью найти пути в СССР; и не в том, конечно, чтобы только повторять и комментировать совѣтскую информацію и пропаганду. Для этого эмигранты не нужны, — совѣтская власть и болѣе освѣдомлена, и болѣе авторитетна. Если какой-либо смысл в эмиграціи есть, он в том, чтобы сказать то и о том, что и о чем в Россіи говорить нельзя, а говорить необходимо, — и, чѣм ближе к побѣдѣ, тѣм все громче и рѣшительнѣе по адресу своих правительств говорят в других странах. Даже не расчитывая на эффективность своих слов в отношеніи к совѣтской власти, остатки демократической эмиграціи оправданіе своему сушествованію могут найти т о л ь к о в том, чтобы сказать что есть и что, по всей вѣроятности, будет, если ничего политически не измѣнится. Это единственный путь и шанс приблизить желанный миг раскрѣпощенія.

Год и два тому назад политическіе противники старались замкнуть уста, свои и наши, на том основаніи, что перед смертельной опасностью, грозящей Россіи, должны умолкнуть всѣ споры и разногласія, никакая критика недопустима. Теперь обстановка радикальным образом измѣнилась. Русская земля почти освобождена, и борьба ведется уже на чужой и непріятельской землѣ. Вопрос идет лишь о том, как далеко — и глубоко — проникнут Красная армія и совѣтская дипломатія: до Праги и Берлина или дальше? Сейчас уже нѣт и былой видимости основаній к тому, чтобы правду замалчивать, или собственную увѣренность и вѣру выдавать за об'ективно-неотвратимое.

Можно ли быть вполнѣ увѣренным, что совѣтская гегемонія не грозит Европѣ? Китаю? Міру? На чем могла бы покоиться такая увѣренность? На честном словѣ ВКП? Вряд ли кто рискнет положиться на это. Главное основаніе, конечно, в м и р о л ю б і и русскаго народа — миролюбіи почвенном, нутрянном, исконнем. Это серьезное основаніе, большая надежда, громадная помѣха имперіалистическому захвату и экспансіи. Русскій народ, как был так и остался, могуч и непобѣдим в оборонѣ, в отечественных войнах. Но так ли уж немощен

был он и в нападеніи, к которому его, как правило, принуждали его правители? Так или иначе, но русское государство раскинулось как никак на шесть морей и заняло не мало-не много, но все же одну шестую земной суши. Процесс территоріальнаго расширенія Россіи шел за счет не только других государств, но и за счет благосостоянія и свободы самаго русскаго народа.

Кто помнит «Курс русской исторіи» В. О. Ключевскаго, тот знает, что одной из основных идей этого историка, у котораго понимать смысл русской исторіи училось не одно поколѣніе русской интеллигенціи,—он обучал и послѣдняго русскаго самодержца,—была наличность неизбывнаго противорѣчія между «пухнувшей» русской государственностью и «хирѣвшим» руясским народом. «У нас по мѣрѣ расширенія территоріи вмѣстѣ с ростом внѣшней силы народа все болѣе стѣснялась его внутренняя свобода. Напряженіе народной дѣятельности глушило в народѣ его силы; на расширявшемся завоеваніями поприщѣ увеличивался размах власти, но уменьшалась под'емная сила народнаго духа». Ключевскій подчеркивал (курсивом) «неестественное отношеніе внѣшней политики (русскаго) государства к внутреннему росту народа» и ставил в вину самому Петру, «отцу отечества», его пониманіе экономіи народных сил: «чѣм больше колоть овец, тѣм больше шерсти должно давать овечье стадо». По мнѣнію Ключевскаго, «упадок переутомленных платежных и нравственных сил народа едва ли окупился, еслибы Петр завоевал не только Ингрію с Ливоніей, но и всю Швецію, даже пять Швецій». «Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он хотѣл, чтобы раб, оставаясь рабом, дѣйствовал сознательно и свободно». «Петр служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не значило служить Россіи». «Самовластіе само по себѣ противно, как политическій принцип. Его никогда не признает гражданская совѣсть». И т. д. — Все это писал Ключевскій! И писал о Петрѣ Великом!... Надо ли напоминать забывчивой эмигрантской памяти другія тирады Ключевскаго или обличенія «петроградизма» Герценом?... Или послѣ того, как русская государственность об'явила себя «соціалистической» антиномія между «хирѣющими» трудящимися города и деревни и «пухнущей» властью отпала?... Или уже исчезла опасность, чтобы «внѣшнее территоріальное расширеніе государства пошло в обратно-пропорціональном отношеніи к развитію внутренней свободы народа», как в теченіе вѣков шло раньше. Напомним и другую, отмѣченную Ключевским, закономѣрность: «Обычно война — тормаз реформы, требующей

мира. В нашей исторіи дѣйствовало иное соотношеніе: война с благополучным исходом укрѣпляла сложившееся положеніе, наличный порядок, а война с исходом непристойным вызывала общественное недовольство, вынуждавшее у правительства болѣе или менѣе рѣшительную реформу» (Курс русской исторіи», изд. 1910 года, т. IV, стр. 6, 7, 12, 169, 192, 273, 292-3, 334 и другія).

Можно и должно желать и привѣтствовать побѣду, но слѣдует ли отсюда, что надо закрывать глаза на прошлое и будущее? Маколей говорил: «ни один человѣк, правильно освѣдомленный о прошлом, не будет склонен к мрачному и безнадежному взгляду на настоящее». В наши дни мы бы сказали: кто правильно освѣдомлен о прошлом и, в частности, о русском прошлом, вряд ли будет расположен слишком оптимистически взирать на предстоящее міру и, особенно, Россіи политическое будущее. И именно для того, чтобы шансы на лучшее будущее увеличить, надо трезво и безстрашно глядѣть на настоящее.

Сталинская конституція — не худшій из обманов большевистской власти. Но она пріобрѣла едва ли не наиболѣе широкую популярность.

И в других странах конституціи пишутся, но не всегда воплощаются в жизнь. Но нигдѣ и никогда еще конституціи не писались для того, чтобы искусить не своих лишь подвластных, но и чужих. В не столь отдаленном прошлом «Совѣты повсюду!» замѣстили «Пролетаріи всѣх стран, соединяйтесь!» — в Венгріи, Баваріи, Китаѣ, Франціи, Испаніи и т. д. Но и во время «второй имперіалистической войны», в 1940 году, подчеркиваются двоякаго рода цѣли, которыя преслѣдует Сталинская конституція. Цѣль внутренняя: «Народы СССР Сталинская конституція вооружает для завоеванія новых побѣд коммунизма»; и цѣль внѣшняя, лицом к Европѣ: — «Для народов капиталистических стран Сталинская конституція, является программой дѣйствій» («Политическій Словарь, стр. 276). По своей природѣ, происхожденію, существу и назначенію большевизм не только динамичен, он и универсален, стремится к экспансіи, даже когда о том не говорит или это отрицает, и ищет прозелитов всякаго рода, не одних только партійцев и попутчиков.

«Распространится ли «новая цивилизація» на другія страны?» — ставили Уэббы вопрос в концѣ своего двухтомника. «Наш отвѣт: да, распространится! Но как, когда, гдѣ, с какими измѣненіями, путем ли насильственной революціи или

мирнаго проникновенія или даже сознательнаго подражанія, — все это вопросы, на которые мы не можем отвѣтить» (тсм 2, стр. 1143). Это было шесть лѣт тому назад, когда совѣтскіе лавры, в связи с большими и малыми чистками, потускнѣли в глазах очень многих. Сейчас, в связи с трагикой войны и успѣхами красной арміи, совѣтская звѣзда вновь взошла и всходит все выше, поражая воображеніе и искушая сознаніе не одних только банкиров и профессоров. Якобы осуществленную «экономическую демократію», изображают уже как форму новой, совѣтской цивилизаціи. Долг демократа, перед родиной, перед человѣчеством и самим собой показать, что это фальсификація, что большевистская цивилизація, велѣніями исторической стихіи связанная с Россіей и многострадальными ея народами, — не есть цивилизація демократическая или такая, в которой интересы страны и интересы власти были бы идентичны. Иная слава Совѣтам и совсѣм иная слава — по мукам ходящей Россіи. Имѣя перед собой образ Россіи, надо неустанно отмѣчать, что, невзирая на возвѣщенныя во время войны «великія реформы», ни одна из них не коснулась ни однопартійной системы совѣтской диктатуры, ни своекорыстнаго использованія возвѣщенных в Сталинской конституціи свобод и прав, ни прикрѣпленія рабочих к рабочей книжкѣ, ни концлагерей и политизоляторов, ни запрета, под угрозой казни, покинуть любезное отчество, ни угрозы смертью даже 12-лѣтним за похищеніе «соціалистической» собственности, ни прочих прелестей и достиженій большевистской цивилизаціи.

Марк Вишняк.

СОВѢТСКАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ В ЗЕРКАЛѢ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА

Историки и соціологи, которые захотят когда-нибудь воссоздать жизнь русскаго общества эпохи революціи, будут, вѣроятно, поражены тѣм, как много внутренняго вниманія представители этого молодого, в революціи формировавшагося, общества удѣляли исторіи. Откуда возник в этом обществѣ начала 20-х годов нынѣшняго столѣтія вкус к исторіи? Достаточно заглянуть в официальную публицистику этих лѣт, чтобы понять, что интерес к исторіи не был внушен ею. Оффиціальные идеологи были тогда во власти самых радикальных схем и концепцій. В Россіи — по их представленіям — в октябрѣ 1917 года побѣдила пролетарская соціалистическая революція, которая приведет к торжеству международной соціальной революціи. У Октябрьской революціи нѣт «родственников» не только в прошлом русскаго государства, но и в прошлом остальных стран міра, за исключеніем Парижской Коммуны — быстро затопленной в крови.

Иначе воспринимали Октябрьскую революцію представители интеллигенціи. Из дневников и писем Александра Блока мы знаем, что конец 1-ой міровой войны, завершившійся русской революціей, поэт ощущал как начало новой эпохи, такой же принципіально новой, как та, что пришла на смѣну античному міру. В такія новыя эпохи «варварскія массы — по Блоку — оказываются хранителями культуры, не владѣя ничѣм, кромѣ духа музыки». В одном из писем к Зинаидѣ Гиппіус Блок писал: «Неужели Вы не знаете, что Россіи не будет так же, как не стало Рима не в V-ом вѣкѣ послѣ Р. Хр., а в 1-ый год I-го вѣка? Так же не будет Англіи, Германіи, Франціи? Что мір уже перестроился? Что «старый мір» уже расплавился?».

Блок не был одинок в своем обостренном чувствѣ историчности переживаемой революціи. Многіе представители русской интеллигенціи — профессора, инженеры, врачи — посвящали свои скудные досуги чтенію исторических произведеній о концѣ античнаго міра. Этот уход в исторію примирял их с тяжкими и порою очень горькими переживаніями настоящаго.

Но писательская молодежь, пришедшая в столицы вмѣстѣ с революціей, свое чувство историчности совершающагося направила в другую сторону: в русском прошлом стала она искать то, что привело впослѣдствіи к изверженію соціальнаго вулкана. Пильняк, один из самых оригинальных метафизиков Октябрьской революціи, этот источник революціонной энергіи видѣл в крестьянствѣ. По концепціи Пильняка, Петр Великій, хотя и рванул Россію на путь западнаго развитія, не смог поворотить на эту дорогу глубинную крестьянскую страну и она продолжала и послѣ Петра жить своею прежнею, древнею жизнью. Вот отчего, когда в 1917 году на сцену выступил сам народ и принялся творить свою исторію — жизнь Россіи своим бытом, нравами, городами вернулась «в XVII вѣк». Есть у Пильняка и свое об'ясненіе, почему русская интеллигенція отшатнулась от Октября: русская интеллигенція — по Пильняку — дѣтище Петра, она — не органическій продукт русскаго общественнаго развитія, а искусственное насажденіе. В разсужденіях Пильняка нетрудно уловить анти-Петровскую настроенность, немало смущавшую первых совѣтских критиков. Они воспитаны были на представленіи, что против Петра были соціально-реакціонные элементы русскаго общества и, в особенности, русское дворянство. И вдруг перед ними писатель, всѣм своим творчеством как будто пріемлющій Октябрьскую революцію и вмѣстѣ с тѣм с симпатіей опредѣляющій истоки этой революціи в народной оппозиціи Петру Великому!

Но в этом воспріятіи Петра Пильняк не был одинок. Еще ярче, пожалуй, это представленіе сквозит в произведеніях Сергѣя Есенина — в двух его поэмах: в «Пѣснѣ о великом походѣ» и в «Пугачевѣ».

«Пѣснь о великом походѣ» посвящена Петербургу. Поэт высказывает здѣсь догадку, почему именно этому городу суждено было стать колыбелью русской революціи: исторія взяла реванш за то, что Петр выстроил свою столицу на костях безвѣстных трудящихся масс. Эти массы мысленно обращаются теперь к Петру:

«Попадешься, Петр,
Лишь с'умѣй, помри,
Мы сдерем с тебя
Твой лихой чупрын,
Потому что ты
Был собачій сын.

Поблажал ты знать
Со министрами,
На крови для них
Город выстроил.
Но пускай за то
Знает каждый дом
Знает каждый дом:
Мы придем, придем!»

Истоки русской революціи по Есенину в крестьянствѣ. Пугачев — вот предтеча Октября. Есенинскій Пугачев не историчен. Но при всей «неисторичности» в нем, может быть, больше соціальной правды, чѣм в пушкинском. Потрясающа заключительная сцена «Пугачева». Нѣкоторые из его сторонников, утомленные борьбой и сознающіе ея обреченность, замышляют выдать Пугачева властям и тѣм заслужить себѣ снисхожденіе. Пугачев чувствует, что дрогнули ближайшіе, он долго не хочет вѣрить этому, но вдруг страшная правда о смертоносной старухѣ-осени и старухѣ-царицѣ осѣняет его:

«Это она!
Это она подкупила вас,
Злая и подлая, оборванная старуха,
Это она, она, она,
Разметав свои волосы зарею зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна
Под ея невеселой холодной улыбкой».

Поняв неизбѣжность гибели, Пугачев мысленно пробѣгает по дорогам юности и, затихая, шепчет:

«А казалось... казалось еще вчера...
Дорогіе мои... дорогіе... хор-рошіе...»

Помнится, этот насквозь лирическій конец поразил многих, всѣ почувствовали: их не мог произнести реальный Пугачев, чувство глубокаго разочарованія и усталости привнесено сюда от самого поэта. Но откуда шло оно? Вѣдь Есенину в это время было всего 25 лѣт и он находился тогда на вершинѣ своей славы? Разгадку принесла его смерть. Нѣкоторыя волнующія подробности разсказаны Ольгой Форш в «Сумасшедшем кораблѣ». Здѣсь под прозрачными псевдонимами она описала гражданскую панихиду по Есенинѣ, устро-

енную в Ленинградском Домѣ Искусств. Сенсацію произвело выступленіе Н. Клюева, который прочитал извѣстное стихотвореніе на смерть своего как бы младшаго брата:

«С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил коноплевый свѣт.
Ждали хама, глупца непотребнаго,
В спинжакѣ с кулаками в арбуз.
Даль повыслала отрока вербнаго
С голоском слаще дѣвичьих бус».

Клюев прикровенно, но отчетливо об'яснил самоубійство поэта разочарованіем крестьянина в итогах революціи. Есенин слишком поздно понял, что чужая она. Свой помин о душѣ поэта Клюев закончил строфой из самаго Есенина, таинственно перекликающейся с концом Есенинскаго «Пугачева»:

«И я сам наклонясь головою
Заливаю глаза **вином,**
Чтобы не видѣть в глаза роковое.
Эх, Расея моя, Расея,
Азіатская сторона».

Характерной чертой всѣх исторических произведеній періода Нэп-а было то, что писатели искали и находили революціонный очаг в крестьянствѣ и в близкой ему по безправію жизни «подлых людишек», у стрѣльцов, «работных людей» (см. всѣ вещи Чапыгина и, особенно, романы «Разин Степан», «Гулящіе люди», трилогію К. Шильдкрета «Под'яремная Русь» и пр.) В этой связи большой интерес представляет и пьеса Евг. Замятина «Блоха». В основу ея взята легенда о славном мастерѣ Лѣвшѣ, впервые литературно обработанная Лѣсковым. В предисловіи к тексту пьесы Замятин говорит, что он хотѣл возсоздать «русскую народную комедію». Опыт Замятину удался блестяще и зритель увидѣл со сцены Художественнаго театра ту плебейскую, трудовую Россію, «с очень человѣчкиной душой», которая на подобіе легендарнаго града Китежа затонула в вѣках чопорной оффиціальной исторіи Государства Россійскаго.

Из чтенія этих исторических произведеній и пьес читатель выносил впечатлѣніе о правомѣрности бунта «подлых людишек» в прошлом, он начинал понимать, почему это прошлое должно было привести к страшному взрыву. Но нельзя пройти

мимо того факта, что всѣ эти историческія произведенія не встрѣтили поддержки литературной критики нэповскаго періода. Зная, что Россія — страна крестьянская и мѣщанская, в которой рабочій класс всегда составлял ничтожное меньшинство, эта критика не обнаружила интереса к русской исторіи. Самыя паломничества писателей вглубь историческаго прошлаго она воспринимала, как подозрительное «бѣгство от современности», как «скрытую оппозицію», как желаніе «попутчиков» оспорить правомѣрность руководящей роли пролетаріата в революціи.

Картина стала рѣзко мѣняться в началѣ 30-х годов, когда обнаружились первые успѣхи «Пятилѣтки». Именно тогда, под оглушительный шум строительства и на фонѣ драматической обстановки, вызванной насильственной коллективизаціей и сопротивленіем крестьянства, у писателей возник повышенный интерес к эпохѣ Петра I и началась оживленная дискуссія о взаимоотношеніях «морали и прогресса» (см. роман Леонова «Соть», П. Слетова «Равноденствіе» и др.). Рѣшительнѣе всѣх оказался А. Толстой в романѣ «Петр Великій».

Толстой с самаго начала не скрывал, что роман его задуман не только как историческое произведеніе. На одной из литературных конференцій с рабкорами в 1932 году Толстой разсказал, что идея романа возникла у него под вліяніем «нашего гигантскаго строительства», на которое ему захотѣлось откликнуться, как художнику, и тѣм внести «свою лепту» в строительство пятилѣтки. И Толстой прав, считая своего Петра «лептой» в строительство пятилѣтки. С первой страницы, описывающей утро крѣпостного Ивашки Бровкина, и до послѣдней, повѣствующей о закладкѣ города Питербурха — читателя не покидает чувство, что он дышит раскаленным воздухом современности.

Три обстоятельства дѣлают роман понятным и близким современникам. Толстой первый из писателей взглянул на эпоху Петра сквозь призму пережитой революціи и через нее в реформѣ «Кукуйскаго кутилки» увидѣл первую національную революцію, осуществленную вѣнценосным якобинцем, «первым русским большевиком».

Второй чертой, сближающей отдаленную эпоху с совѣтской современностью, является совпаденіе в методах осуществленія строительства. Сравненіе строительства пятилѣтки с эпохой Петра носилось, как мы видѣли, в воздухѣ тѣх лѣт. Но писатели, робко обсуждая проблему о взаимоотношеніи морали и прогресса, вкладывали свои сомнѣнія в уста

безпартійных спецов. Даже эти робкія попытки сравненія при господствовавшем в критикѣ тѣх лѣт «ультра-лѣвом» курсѣ наталкивались на протест. Толстой рискнул развернуть сравненіе на цѣлое большое полотно и вышел побѣдителем.

Когда в дни своей молодости Толстой впервые набросал образ царя-плотника в повѣсти «День Петра», он, не умаляя грандіозности замыслов царя, в сущности говорил читателю: Петровскіе методы явились причиной того, что Россія «осталась рабою». Эта оцѣнка совпадала с оцѣнкой Ключевскаго. Во втором варіантѣ своего Петра Толстой круто измѣнил исходную точку зрѣнія. Всюду, гдѣ рѣчь идет о мрачных сторонах дѣятельности Петра, писатель теперь вкрапливает бодрыя нотки в стилѣ современных писаній «о наших достиженіях». Раньше Толстой понимал, что именно насиліе породило в странѣ огромное «пассивное сопротивленіе»; сейчас, разсказывая о Петровских звѣрствах, о каторжных условіях труда на Петровских фабриках, Толстой не сочувствует жертвам Петра потому, что боится, как бы это сочувствіе не пошло на пользу спѣсиваго боярства, гнущаго в сторону стараго!

Но особенно знаменательна эволюція Толстого в его отношеніи к «птенцам Петровым», к его фаворитам и временщикам. Талант художника и интимное знаніе современника революціи помогают Толстому с непревзойденным мастерством проникнуть в самые заповѣдные закоулки соціальной психологіи Петровских выдвиженцев. Вот Санька Бровкина, вчера безвѣстная крѣпостная, возившая навоз, сегодня — придворная дама, любимица Петра. Он ее выдает замуж за богатаго дворянина. А дворянин жалуется, что Санька совсѣм от рук отбилась, даже спать стали врозь, ей бы утихомириться, «затяжелѣть», а она по ночам «гисторію Самуила Пуффендорфія» читает, «политессу» обучается и вся полна неуемных желаній: и в Голландію хочется ей с'ѣздить, и Париж повидать! Вот плеяда возвеличенных Петром «торговых людей» «становая жила», на которую оперся Петр — всѣ эти Баженины, Демиловы, Свѣшниковы, готовые — за честь быть упомянутыми в приказѣ Петра по имени-отчеству — отвалить на его строительство большіе куши.

Толстой вовсе не утаивает пороков этих людей, их жадности, стяжательства, презрѣнія к слабым. Но он искренно любуется ими, словно говоря: слов нѣт — шельмы, бестіи продувныя, но развѣ мог бы Петр без них сдвинуть с мѣста «заклятую страну»?

Одним ударом прорубил Толстой окно в сердца читателей,

всѣх тѣх, кто за годы Пятилѣтки выдвинулся на работѣ, вышел из общественнаго небытія и страстно, но еще затаенно, мечтал зажить хорошо. «Петр Первый» стал настольной книгой выдвиженцев пятилѣтки. Соціальный оптимизм их перекликался с оптимизмом выдвиженцев Петра. Еще вчера они себя чувствовали одинокими и как бы затерянными в обширных хоромах исторіи Государства Россійскаго. Воспитанные на исторіи Покровскаго, на том, что Октябрьская революція не имѣет «прецедентов» ни в исторіи Россіи, ни в исторіи других стран міра, выдвиженцы Пятилѣтки чувствовали себя неувѣренно. Но пришел Толстой, взял их под руку и сказал ободряюще: не робѣйте, у вас есть предшественники, и как тѣ были прогрессивны для своего времени, так прогрессивны вы для нашей эпохи.

Роман «Петр Первый» знаменует собою важную вѣху в развитіи совѣтскаго историческаго романа. От этого произведенія ведет свое начало ревизія историческаго прошлаго, во многом полярная той, которая была предпринята писателями періода Нэп-а. Эта ревизія совпала с опубликованіем извѣстных «Замѣчаній» Кирова, Жданова и Сталина, сурово раскритиковавших учебники исторіи за их «отвлеченный и схематическій характер». Начался поход против «вульгарных соціологов». В результатѣ совмѣстных усилій нѣсколькихъ коллективов преподавателей в 1936 году вышел под редакціей А. Шестакова новый «Краткій курс исторіи СССР», во многом вернувшійся к дореволюціонному типу учебника русской исторіи.

Вторая половина 30-х годов в художественной литературѣ характеризуется большим количеством произведеній на историческія темы. Показательны самыя их заглавія: «Ледовое побоище», «Суворов», «1812-ый год», «Минин и Пожарскій», и в годы нынѣшней войны «Дмитрій Донской» и нѣсколько произведеній об Иванѣ Грозном. Измѣнился самый выбор героев: не бунтари, а собиратели, строители русскаго государства, защитники его границ поставлены в центрѣ этих романов.

Было бы упрощеніем думать, что эта радикальная перемѣна была плодом только директив сверху. Директивы, конечно, были, но ими одними нельзя об'яснить этот поворот. Какія то глубокія перемѣны произошли в жизни и настроеніях молодого общества на исходѣ 20-х и в началѣ 30-х годов, которыя подкрѣпляли эти директивы.

Успѣхи индустріализаціи сопровождались важным соціологическим явленіем: ростом и укрѣпленіем руководящаго

слоя хозяйственников, инженеров, администраторов. В соціальном отношеніи слой этот был очень разнороден: здѣсь были выходцы из крестьян, из рабочих, из городской интеллигенціи, но немало и дѣтей прежде господствовавших классов. Несмотря на это различное соціальное прошлое, их настоящее руководящее положеніе в жизни страны требовало максимальнаго сплоченія, которое могло возникнуть только в результатѣ большой об'единяющей идеи. Если бы индустріализація была осуществлена на революціонно-демократических путях, такой всеоб'единяющей идеей могла бы стать идея соціалистическаго преобразованія общества. Но реальная индустріализація была осуществлена в бурѣ насильственной коллективизаціи милліонов крестьян. С самаго начала в ней сильна была идея «октроированнаго» соціализма, своеобразнаго просвѣщеннаго абсолютизма. Вот почему уже с самаго начала 30-х годов энергично разрабатывалась идея примата соціалистическаго государства, в которой удареніе стояло на «государствѣ», а «соціалистическое» было скромным прилагательным. Эта идея примата государства, которому все можно, во имя котораго можно требовать самых тяжких жертв — стала тѣм магнитом, который поборол центробѣжныя устремленія внутри руководящаго слоя совѣтскаго общества.

Именно тогда и возникла потребность извлечь из русской исторіи примѣры, когда отдѣльные вожди, полководцы, цари — Александр Невскій, Иван Калита, Минин и Пожарскій, Дмитрій Донской, Иван Грозный — преданные идеѣ государства, спасали Россію.

Наряду с этим возникла потребность ввести молодое совѣтское общество в права наслѣдства всей прошлой русской культуры. Первая попытка была успѣшно осуществлена во время Пушкинскаго юбилея в 1937 году. Даже при бѣглом знакомствѣ с тѣм, что было написано к этому юбилею, бросается в глаза, что в стремленіи оживить память великаго русскаго поэта совпали желанія оффиціальных руководителей совѣтской политики и широких кругов общества. Порастрясшись на ухабах и колдобинах трудных дорог, молодое общество словно впервые выѣхало на просторный большак и, завидя вдали Пушкинскій дом, обрадовалось ему так, как еслибы это был давно взыскуемый отчій дом.

Пушкинскій юбилей открыл цѣлую эру литературно-политических юбилеев: Салтыкова-Щедрина, Добролюбова, Писарева, Бѣлинскаго, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и т. д. Словно отчасти сбывалась мечта Некрасова о времени, «когда

мужик не Блюхера и не Милорда глупаго, Бѣлинскаго и Гоголя с базара понесет».

Это освоеніе культурнаго наслѣдства выражалось главным образом в переизданіи классиков в огромных тиражах. Хуже обстояло дѣло с работами о классиках совѣтских критиков и публицистов. Эти их работы штампованы и вялы, что, повидимому, понимают лучшіе среди литературных критиков. Недаром из этой среды одно время довольно громко раздавались голоса протеста против казенной «юбилейной литературы». Указывая на то, что эта литература возникла как реакція против «вульгарной соціологіи», Б. Кузьмин (в «Литературной Критикѣ») подчеркивал общую обоим теченіям черту: «вульгарные соціологи» в каждом писателѣ разоблачали «дворянина», «буржуа» и «мѣщанина», а критики-юбилейщики перегибают палку в другую сторону: всѣх писателей прошлаго они награждают титулами «народных», «без всякой попытки разобраться в исторических особенностях их міровоззрѣнія и в об'ективной художественной цѣнности их творчества». Кузьмин не договаривает до конца, но вывод напрашивается сам собой: внѣ живой и свободной переклички между думами и мечтами писателей прошлаго с настоящим, не может быть ни дѣйствительнаго освоенія культурнаго наслѣдства, ни дальнѣйшаго развитія.

Историческія произведенія 30-х годов и, особенно, появившіяся в самое послѣднее время, сплошь и рядом дают героев русской исторіи не только в дореволюціонной, но и в дореволюціонно-консервативной трактовкѣ. Таков Александр Невскій в поэмѣ К. Симонова «Ледовое побоище»:

«Сидѣл нахохлившись высоко
В огромном боевом сѣдлѣ,
Как маленькій и сильный сокол,
Сложившій крылья на скалѣ».

Слушая разговоры своих дружинников, о том, что лучше бы бой рѣшать поединком вождей, Симонов подсказывает Александру Невскому мысль, что он не может рисковать своей жизнью, ибо

«Сегодня он спасал не город,
Не вотчину, не свой удѣл...
Сегодня силой всенародной

Он путь ливонцам закрывал.
И тот, кто рисковал сегодня,
Тот всею Русью рисковал».

Эта трактовка типична для огромнаго большинства произведеній послѣдняго времени. Князья Рязанскіе и Владимирскіе в романѣ В. Яна «Батый», Дмитрій Донской в романѣ С. Бородина, Иван Грозный в романѣ В. Костылева — не только выдающіеся полководцы, они изображены как носители идеи народной монархіи, столь дорогой сердцу первых славянофилов. Когда Дмитрій уѣзжает на поле брани, жена его Евдокія отправляется в собор, гдѣ молится и горюет среди сотен плачущих простых женщин из народа. Княжна Прокуда, воспитанница князя Георгія Владиміровича Суздальскаго, учится в греко-русской школѣ вмѣстѣ с мальчиками из народа (в романѣ В. Яна «Батый»). Мальчиков просит Прокуда раздобыть ей зипунишко да порты, хочет она переодѣться мальчиком и уйти в лѣс: «Буду биться с татарами, пока мы их не выгоним». Здѣсь перекличка с совѣтскими дѣвушками-партизанками настолько очевидна, что даже самые благожелательные критики вынуждены были предостеречь писателей от чрезмѣрнаго перенесенія настоящаго в далекое прошлое.

Одна особенность, однако, выгодно отличает совѣтскіе историческіе романы от исторических произведеній дореволюціонной эпохи. Пусть в них спорна историческая правда главных героев, но совѣтским писателям удается общій фон изображаемой ими эпохи. Писатели періода «нэп-а» изображали бунтарей и страшную безправную жизнь народа. Историческій роман новѣйшаго времени, взяв главной темой рост и развитіе русскаго государства, остался вѣрен нэповской традиціи в изображеніи народных масс, но сумѣл показать глубинный патріотизм, живущій в этих народных низах. Даже разбойники, «гулящіе люди» у Яна в минуту смертельной опасности идут сражаться за родную землю: «И мы, мужики, будем с ними драться и гнать из нашей земли, — угодно-ли это князьям или нѣт».

Этот нутряной патріотизм народных низов хорошо показан в повѣсти В. Шкловскаго «Минин и Пожарскій» в сценѣ в земской избѣ, когда Минин призывает населеніе организовать народное ополченіе, требуя пожертвованій в размѣрѣ «третьей деньги». Предложеніе Минина встрѣчает протест болѣе прижимистых людей: «Вишь, спѣл, да и сѣл. А деньги

нам давать». И вдруг проталкивается вперед крестьянин, на ходу разматывая портянку и извлекая запрятанную монету, со словами: «Даю тебѣ деньгу, не третью, а одну, я ее с Архангельска нес»... Художественное чутье подсказало Шкловскому необходимость нѣсколько разрядить взрыв патріотических чувств маленькой деталью: приказный дьяк, наблюдая, как без счета сыпятся пожертвованія, совѣтует Минину сейчас же организовать их запись, а не то — говорит он — «мы же сами тебя послѣ обманем».

Нельзя не коснуться и другой особенности новѣйших исторических произведеній. Писатели прибѣгают к формѣ историческаго романа, чтобы обсудить с современниками тѣ щекотливые вопросы, о которых нельзя говорить открыто. И, это обстоятельство дѣлает эти историческія произведенія такими динамичными и остро-современными.

Большинство их исходит из одной общей предпосылки: русское государство во всѣ критическіе моменты спасали вожди. Но спасеніе удавалось только благодаря преданности народных масс своей землѣ: «Надежен в черную годину мужицкій кованый топор» — восклицает Симонов в поэмѣ «Ледовое побоище»; Шкловскій заканчивает свою повѣсть словами крестьянина: «Пусть помнят люди, как отбили от врагов мужики государство. Раскроена была Россія. А мы сшили». Эти напоминанія звучат очень настойчиво и они, конечно, не случайны. В критическіе моменты исторіи в правящих кругах всегда вспыхивали опасенія: как-то поведет себя угнетенный ими народ, не воспользуется-ли он войной, чтобы свести с ними счеты? Опасенія эти, повидимому, не были чужды и верхам совѣтскаго общества, и они подсказали писателям мысль глубже вникнуть в психику народных масс. Много вниманія удѣлил этому вопросу Бородин в романѣ «Дмитрій Донской», удостоившемся Сталинской преміи.

С юных лѣт великій князь Московскій Дмитрій носится с мыслью покончить раз и навсегда с позором татарскаго ига. К той же цѣли стремится и духовенство в лицѣ Сергія Радонежскаго, и других служителей церкви, и горожане, и крестьяне и даже разбойники. Опасаясь новаго набѣга татар на Москву, Дмитрій велит выстроить в Кремлѣ Тайницкую башню с потаенным подземным ходом. Чтобы обезпечить тайну этого подземнаго выхода, всѣ, кто участвовали в постройкѣ, обманным образом выводятся из города и их убивают в лѣсу. Спастись удается только одному зодчему Кириллу Бородѣ. Вѣроломство Дмитрія вызывает в Кириллѣ отвращенье и ненависть

к Дмитрію. Вѣсть о предстоящем рѣшительном столкновеніи с Мамаем порождает в Кириллѣ мучительный конфликт. Он понимает, что если пожелать побѣды над татарами, это приведет к вящему возвеличенію Дмитрія: «Не будет ему никого равнаго. Будет на устах его ухмылочка... Нѣт, побить бы его, изничтожить, унизить! Чтобы бѣден вернулся, чтобы стыдно было перед народом себя показать!» Но мстительныя мысли внезапно обрываются, когда Кирилл вспоминает о народѣ: вѣдь в случаѣ пораженія «Русь вновь наплачется, под басурманским гнетом навѣки сгинет». И Кирилл молится о дарованіи побѣды «воинству нашему». Геройски сражается Кирилл против Мамая вмѣстѣ с родными ему рязанскими людьми и даже спасает князя от смерти.

Кирилл — это «несогласный гражданин» отдаленной от нас эпохи. Интересно описаніе встрѣчи его с Дмитріем в момент наивысшаго торжества князя на Куликовом полѣ. Дмитрій узнал зодчаго и назвал его братом, но Кирилл огрызнулся: «Какіе же мы братья? Я во прахѣ лежу, ты на конѣ скачешь. Любо те, что столько нас полегло?» На это Дмитрій отвѣтствует: «Немощен, а лют! Смири гордыню, бо смертный час лих и близок. Отнынѣ жизнь повернула по-новому. Не для чего в нѐе старые грѣхи тянуть. Отлежишься — еще будешь строить. Может, башни и не понадобятся, станем терема ставить без стѣн, без бойниц, среди открытаго поля, не сторожась врага». Сказав это, Дмитрій тронул коня и от'ѣхал. Раненый Кирилл ему вдогонку крикнул: «Терема? А на чьих костях?» — Но князь уже не слышал его.

Роман Бородина появился в началѣ нынѣшней войны, в самый тяжкій ея період отступленія Красной Арміи. И снова — как много раз в исторіи — рѣшающим фактором спасенія страны явился героизм народа, о котором так кстати напомнили эти историческія произведенія. Но их содержаніе не исчерпывается этим: хотя и прикровенно, в них поставлены вопросы, на которые обязана отвѣтить и власть.

В. Александрова.

ПО СОВѢТСКИМ ЖУРНАЛАМ

Факт общеизвѣстный: нигдѣ толстые журналы не играли в былое время такой роли, как в Россіи, ничто не отражало так полно русскую общественную, политическую и литературную жизнь. Достаточно вспомнить «Современник» Пушкина, а потом Чернышевскаго и Добролюбова, «Отечественныя Записки» Бѣлинскаго, Некрасова, позднѣе и Салтыкова, «Русское Слово» Писарева, Гоголя, Тургенева, Достоевскаго и Толстого, основныя вещи которых прошли через толстые журналы их времени, «Вѣстник Европы», «Русскую Мысль», «Русское Богатство», «Начало», «Жизнь», «Мір Божій» и «Современный Мір», «Завѣты» — с каждым из этих журналов связана цѣлая общественная эпоха русской жизни.

Существуют, как извѣстно, толстые русскіе журналы и в наши дни. Но смѣшно их сравнивать с упомянутыми выше журналами по внутреннему значенію и по общественной роли. Толстые русскіе журналы и при царской цензурѣ гораздо богаче и полнѣе отражали русскую жизнь, чѣм это дѣлают теперешніе совѣтскіе журналы, которые, как вообще вся совѣтская литература (и даже просто все печатное слово), являются лишь частью правительственной, монопольной прессы.

Нынѣшніе совѣтскіе толстые журналы — литература особого рода, ее надо у м ѣ т ь читать, как и вообще современную совѣтскую литературу (журналы, газеты, книги и даже... каталоги). И не только в том смыслѣ, что надо умѣть читать между строчками — эту манеру письма, а тѣм болѣе так называемый эзоповскій язык можно считать несуществующими, так как они представляют для авторов большую просто таки личную опасность; за это нѣкоторые из весьма извѣстных совѣтских писателей дорого уже и заплатили: их имен мы давно в совѣтской прессѣ не встрѣчаем... Надо хорошо знать всѣ тонкости совѣтскаго политическаго быта, чтобы понять, какое значеніе имѣет появленіе той или другой вещи, той или другой темы, статьи, книги, а иногда и просто короткой критической замѣтки в том или другом изданіи. Критическій разбор, напечатанный в «Литературѣ и Искусствѣ», имѣет одно значеніе

— но та же статья, напечатанная в «Правдѣ», имѣет уже другое значеніе. Одно дѣло статья или замѣтка, напечатанная только в «Извѣстіях», другое дѣло статья, напечатанная только в «Правдѣ», и опять таки совсѣм другое, если статья напечатана одновременно и в «Извѣстіях» и в «Правдѣ»... В совѣтских литературных кругах — да и не только литературных — всѣ эти тонкости очень хорошо знают.

Что же представляют собой совѣтскіе журналы, что из них можно узнать и по ним понять? Разумѣется, пред'являть к ним тѣ весьма высокія требованія, с которыми мы привыкли подходить к прежним толстым русским журналам, не приходится. Отражать общественную жизнь — да гдѣ она, эта общественная жизнь в современной Россіи? — изучать по толстым совѣтским журналам общественныя и политическія настроенія, — обо всем этом просто наивно и думать. Совѣтскіе журналы это своего рода расширенный и улучшенный «Правительственный Вѣстник» старых времен. Тут имѣются, впрочем, и оттѣнки. Почему именно эту тему, а не другую, трактуют сейчас совѣтскіе писатели? Здѣсь позволителен и вопрос — не только почему ту или другую тему разрѣшили затронуть, но и почему эту, а не какую-либо другую, сверху указали? Наглядным примѣром является хотя бы исторія с нашумѣвшей в 1942 году пьесой Корнейчука «Фронт». В ней, как извѣстно, новый и молодой талантливый командир противопоставлен герою гражданской войны (брату!) и его побѣждает. «Господи, — восклицает он, — когда, наконец, переведутся на нашей землѣ дураки, невѣжды, подхалимы, простофили, подлецы?... Надо бить их, этих самовлюбленных невѣжд, бить в кровь, вдребезги и поскорѣе замѣнить их новыми, другими, молодыми, талантливыми людьми. Иначе можно загубить наше великое дѣло». Кого имѣл в виду автор? Буденнаго? Ворошилова? На мгновеніе совѣтскіе читатели растерялись. У них на глазах вдруг открыто стали поносить коммунистов, героев гражданской войны. Какая неслыханная смѣлость! Скоро, однако, дѣло раз'яснилось. «Фронт» был поставлен в десятках совѣтских театров, и всѣ поняли, что никакой смѣлости Корнейчук не проявил, а написал свою пьесу по указанію из Кремля. Смѣлость автора тут об'яснялась очень просто — странѣ необходимо было раз'яснить рѣзкую смѣну командованія, новую внутреннюю военную политику. Этот эпизод бросает яркій свѣт на роль совѣтской литературы, которая, в совѣтских условіях — просто одно из орудій правительственной политики.

Это только примѣр того, как слѣдует смотрѣть и на толстые совѣтскіе журналы. В них можно искать лишь отраженіе (неизбѣжно неполное и однобокое) дѣйствительности. По ним мы должны д о г а д ы в а т ь с я о том, что происходит в правительствѣ и в странѣ, очень часто под скрывающим дѣйствительность покровом. Ибо свойство всякой литературы таково, что даже в замордованном видѣ она живет своими особыми внутренними законами и дает возможность догадаться о скрытых процессах, даже понять их.

Всѣ эти — весьма неполныя — об'ясненія должны помочь понять, почему в настоящем обзорѣ журналов отмѣчаются тѣ или другія литературныя произведенія. Выбор их может показаться случайным и суб'ективным. Это не «обзор», а всего лишь отбор и выборка тѣх вещей, которыя пишущему показались болѣе характерными, или болѣе интересными. Не слѣдует забывать еще и того, что за время войны сильно сократилось самое количество толстых журналов — по существу их сохранилось лишь три: «Новый Мір», «Октябрь» и «Знамя». Остальные («Красная Новь», «Звѣзда», «Молодая Гвардія») либо совсѣм не выходят, либо выходят с большими перерывами.

Три вещи показались мнѣ наиболѣе интересными и характерными за эти послѣдніе месяцы, как отраженіе дѣйствительности. Первая: А. Бек — «Панфиловцы на первом рубежѣ. Повѣсть о страхѣ и безстрашіи» («Знамя», 5-6, 1943 г.). Это не столько повѣсть, сколько художественный репортаж — разсказ о защитѣ Москвы в октябрѣ и ноябрѣ 1941 года, когда нѣмцы дошли до Волоколамска, гдѣ их впервые и повернули обратно. Москва была спасена именно там и тогда. В эти тяжелые дни октября нѣмцы прорвались под Вязьмой и двигались на Москву. Подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-ая стрѣлковая дивизія, нынѣ извѣстная как 8-ая гвардейская имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Во время своего второго, уже ноябрьскаго, наступленія на Москву нѣмцы вбивали клин в том направленіи, гдѣ опять таки дрались панфиловцы. В семидневном сраженіи под Крюковым, в 30 километрах от Москвы, они, вмѣстѣ с другими частями Красной Арміи, сдержали напор нѣмцев и, «круто поворачивая исторію», отбросили врага от Москвы. Это также повѣсть и о том, как за три мѣсяца перед этим генерал-майор Панфилов в далеком Казахстанѣ готовил свои части для боя. Разсказ об этом не менѣе интересен и значителен, чѣм изображеніе самого боя с нѣмцами. И только ознакомившись с ним, понимаешь,

чего требует от человѣка современный бой и что представляют из себя тѣ люди, которые сейчас с нѣмцами на русском фронтѣ бьются.

Дивизія Панфилова рождалась в Казахстанѣ. Пустующія там лѣтом школы превратились в формирующіе войсковые пункты. Туда в эти дни приходили с котомками и чемоданчиками призванные в армію люди из городов и окрестных колхозов. Это были зачастую немолодые, тридцати-тридцатипятилѣтніе, в большинствѣ не бывшіе на военной службѣ люди.

Однажды заполночь Панфилов зашел в комнату, гдѣ дежурил разсказчик — солдаты спали. — «Думал о вас, товарищ Момыш-улы, думал, — сказал он. — Батальоном, товарищ Момыш-улы, нелегко командовать... Общевойсковой тактикой вы интересовались? Читали что-нибудь об этом?» — Опрошенный перечислил кое-что из прочитаннаго. — «Да, батальоном вам нелегко будет командовать», — повторил Панфилов. — Возможно, — выпалил офицер. — Но умереть сумѣю с честью, товарищ генерал. — «Вмѣстѣ с батальоном?» — Вмѣстѣ с батальоном. — Неожиданно Панфилов разсмѣялся.

— «Благодарю за такого командира... Нѣт, товарищ Момыш-улы, сумѣйте-ка принять с батальоном десять боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон. Вот за что солдат скажет вам спасибо. Я сам солдат, товарищ Момыш-улы ... Солдату умирать не хочется ... Он идет в бой не умирать, а жить. И командиры ему нужны такіе ... А вы этак легко говорите: «умру с батальоном» ... В батальонѣ, товарищ Момыш-улы, семьсот человѣк ... Как же я их вам довѣрю? ... Возьметесь вести их в бой не умирать, а жить?» — Возьмусь, товарищ генерал. — «Ого, вот отвѣт солдата. А знаете ли вы, что для этого надо?» — Разрѣшите, товарищ генерал, просить, чтобы вы это сказали ... — «Хитер ... Хитер ... Во-первых, товарищ Момыш-улы, вот это ... » он похлопал по лбу. — «И нужна еще одна очень жестокая вещь ... Очень жестокая. Дисциплина!»

Он не был мягок. Однажды, привыкнув, очевидно, к его постоянному «садитесь, пожалуйста, садитесь», штабной командир, войдя к Панфилову, сѣл без приглашенія. «Встаньте!» — рѣзко сказал Панфилов. — «Выйдите отсюда. Немного подумайте за дверью, потом войдите снова».

А вот и примѣр «жестокой дисциплины» для цѣлой части.

Вечером был получен приказ: выступить с разсвѣтом в 50-километровый марш и, к исходу слѣдующаго дня, вновь продѣлав тѣ же 50 километров, вернуться. Люди с вечера

готовились к маршу, ночью отдыхали, а на зорькѣ, когда еще не выкатилось солнце, батальон выстроился. Бойцы стояли в полном походном снаряженіи: в скатках, с противогазами и саперными лопатками, со стальными касками, притороченными к вещевым мѣшкам. На поясных ремнях, слегка оттягивая их, висѣли гранаты и подсумки с боевыми патронами, — по 120 на бойца. Батальон двинулся — командир батальона верхом. Пятьдесят километров по іюльскому солнцу —нелегкая дистанція. Роты растягиваются, кое-кто начинает отставать. Замѣчанія не помогли, колонна растягивается все длиннѣе. — «Передать колоннѣ: командира пулеметной роты в голову колонны». — Через четверть часа прибѣжал, запыхавшись, длинноногій Краев. — «Товарищ комбат, явился по вашему приказу!» — «Почему ваша рота растянулась? Когда будете соблюдать дистанцію? Пока не наведете порядок, до тѣх пор буду вызывать в голову колонны! Все. Идите!» — А вѣдь бѣжать в обгон батальонной колонны нелегко. Это почти километр... Таким же манером был вызван командир второй роты Севрюков. Это был немолодой человѣк, до войны главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Атѣ. Он не сразу отдышался. Выслушав, Севрюков сказал: — «Людям, товарищ комбат, очень тяжело. Нельзя ли сложить часть груза на повозки?» — В этом ему было рѣзко отказано. — «Но тогда как же, товарищ комбат, быть с отстающими? Как заставить, если человѣк не может?» — «Чего не может? Выполнять приказ?» — Севрюков промолчал. Теперь он устало шагал впереди роты. От сѣроватых, аккуратно подстриженных висков по запыленному лицу скатывались струйки пота. Неужели надо, чтобы он еще раз бѣжал? Вѣдь ему так трудно это! Но как же быть? Он жалѣет людей, его пожалѣют, а потом... Что будет там —в боях?

Через пятьдесят километров пришли на назначенное мѣсто. Люди устали. Послѣ команды «Разойтись!» всѣ пластом повалились на траву. Всѣ думали: скоро раздадут обѣд, поѣдим и спать. Но не тут-то было! Был отдан приказ: дров для кухонь не готовить, продуктов в котлы не закладывать, а раздать сырыми по установленной красноармейской нормѣ бойцам на руки. Раздались голоса: — «У нас есть кухня!» — «Замолчать! Исполнять, что сказано! Пусть каждый боец сам себѣ готовит ужин!» — И вот, в широкой казахстанской степи, на берегу рѣки, запылало нѣсколько сот костров. Нѣкоторые были так утомлены, что раскисли, не стали варить, а повалились спать голодными. У нѣкоторых подгорѣла каша, ушел суп —

готовить не умѣли... Утром опять кухни не были разожжены, пайки были розданы вторично бойцам на руки. — «Вы, товарищи, недовольны, что марш был такой длинный, такой тяжелый. Это сдѣлано нарочно. Нам предстоит воевать, предстоит пройти не 50 и не 100, а много сотен километров. Это цвѣтики, а ягодки будут впереди. Сырые продукты вам тоже были выданы нарочно. Вы думаете, что в бою кухня будет всегда у вас под боком? Будете голодать, будете сидѣть без курева! Это я вам обѣщаю. Поход на пятьдесят километров, два пуда солдатской поклажи на себѣ, а еще вари сам похлебку в котелкѣ. Когда варили, вы ненавидѣли меня! Вѣрно?» — Раздались голоса: — «Вѣрно, товарищ комбат! Вѣрно!» — Между комбатом и бойцами пробѣжала искорка, заструился ток. Бойцы теперь понимали комбата, комбат понимал их. Развѣ можно описать, как мила сердцу эта искорка.

Назад люди пошли не по шоссе, а были повернуты на 100—200 шагов в сторону. На пути камни — иди по камням; овраг — пересѣкай; песок — шагай! Людям трудно — но так нужно для войны, так нужно для побѣды... Возвращающіеся батальоны встрѣчал на малорослом уральском маштачкѣ генерал Панфилов. Увидя генерала, всѣ подтянулись; роты по командѣ дали строевой шаг; у усталых, но марширующих в ногу бойцов были гордо вскинуты головы: вот каковы мы! Панфилов улыбнулся. От маленьких глаз по загорѣлой, словно прожареной кожѣ побѣжали мелкія морщинки. Привстав на стременах, он крикнул: — «Хорошо идете! Спасибо, товарищи, за службу!» — «Служим Совѣтскому Союзу!» — Батальон гаркнул так, что маштачок шарахнулся. Панфилов невольно подхватил повод, покачал головой и засмѣялся. Это были уже не тѣ люди, что впервые недѣлю назад выстроились здѣсь в кепках, пиджаках и майках. И не тѣ, что в новеньком, неумѣло пригнанном походном снаряженіи выходили на разсвѣтѣ в первый большой переход, —теперь это были солдаты, с честью выдержавшіе первое воинское испытаніе.

Что же удивительнаго в том, что, когда эти части прибыли под Москву (13 октября, 1941 г.), онѣ оказались на высотѣ положенія. «Великая двухмѣсячная битва под Москвой начиналась. В эти два мѣсяца мы, первый батальон Талгарскаго полка, приняли тридцать пять боев; воевали под Волоколамском, под Истрой, под Крюковым; перебороли и погнали нѣмцев». Почему так произошло, становится понятным послѣ этого разсказа «о страхѣ и безстрашіи».

Очерки Арк. Первенцева «По Уралу» («Октябрь», 6-7,

1943) говорят о тылѣ. Всѣ они овѣяны особым уральским — чистым и прозрачным, как студеный ключ — воздухом, который хорошо помнит каждый, кто хоть раз на Уралѣ побывал. «Когда мы вышли из вагона и спрыгнули в сугроб, разсыпавшійся под нашими ногами, как скользкій и скрипучій картофельный крахмал, Горюнов крякнул от удовольствія. — Снѣг то какой, уральскій. А какая картина кругом! — Мы стояли на вершинѣ горы. Сіяющія под солнцем рельсы убѣгали к востоку, к Азіи. Сіяли горы, лѣса, прослоенные снѣгом, сугробы, крыши поселка. Казалось, кругом были смѣло и щедро разсыпаны милліоны горстей алмазов или каких-то еще болѣе ярких драгоцѣнных камней. — Чудо! — воскликнул я. — То-то, — удовлетворенно замѣтил Горюнов, и на лицѣ его появилась хорошая улыбка. — Богатство! — ...Паровозик узкоколейки с прицѣпленным к нему вагончиком стоял на отводной вѣткѣ. Паровозик словно игрушечный. Из окошка высовывается дѣвушка-машинист, у нея миловидное круглое личико, вымазанное сажей, она смѣшлива, но, завидя новое начальство, застывает с серьезным выраженіем на лицѣ. При видѣ ея щек, промазанных липкой сажей, и лихо торчащих усиков невольно улыбаешься. Тогда она тоже весело хохочет и ныряет в кабину паровоза. Завод славится своими женскими паровозными бригадами. Тридцать восемь километров узкоколейки — жизненный нерв этого стараго уральскаго завода — держат в руках женщины». — «Паровозик мчится берегом рѣки. Она извивается у наших ног голубыми заснѣженными льдами, дымит промоинами, снѣжная пыль вьется за нашим раскачивающимся вагончиком и залетает в окно, блестящая и цвѣтистая. Чего только не дѣлает горное солнце Урала! Вот уже нѣсколько дней мы носимся по сказочным горам и долинам, осыпанным этим радужным спектром. Щеки бронзовѣют на воздухѣ, легкія очищаются, у всѣх членов «экипажа» нашего салон-вагона безслѣдно исчезли завезенные из прикамья насморки, начатки ангин и тому подобныя хворости... Дѣвушка-машинист лихо, так, что визжат колеса, осаживает свой паровозик на станціи и машет рукой, провожая нас»...

На заводѣ разсказчик побывал на домнѣ. «К нам приблизился обермастер. На лицѣ его я увидѣл удовлетвореніе. Плавка удалась. — Чугун-то бѣлый, — сказал кто-то из посѣтителей. — А я думал — красный. — Уральское молочко, — сказал обермастер, снял рукавицы и вынул кисет. — Гитлера поить... Вот так, через каждые четыре часа, доим свою коровку. — Зачарованно я смотрю на выползающій из летки первый

расплавленный металл. Извиваясь медленно и лѣниво, словно степной желтобрюх, виляет он туда и сюда в поисках болѣе удобнаго пути и, наконец, ныряет в гнѣздо отстойника. Крутится тѣло змѣи, а голова, упавшая в яму, тычется в стѣнки и, не найдя выхода, становится все больше и больше. Шлак пузырится, вспыхивают острые голубые огоньки. Теперь это уже не смирный и лѣнивый желтобрюх, теперь это дракон, готовый к прыжку...»

Но не столько о металлѣ говорится в этих очерках, сколько об уральских людях.

«Перед посѣщеніем завода мы завернули в поселковый совѣт. Предсѣдатель совѣта, черненькая женщина небольшого роста, нѣсколько смутилась, увидѣв такое обиліе новых людей. До войны она была депутатом совѣта и с уходом предсѣдателя в армію выбрана на его пост. Видно было, что она вполнѣ освоилась с занимаемой должностью. Я с любопытством разсматривал эту женщину — хозяйку территоріи, равной небольшому европейскому государству. Дѣла были одни — помощь арміи, фронту. Гора давала чугун высокаго качества, для производства чугуна нужны были руда, древесный уголь, транспорт и, главное, люди. На днях желѣзнодорожная станція была забита рудой и пришлось обратиться за помощью к женам красноармейцев. Онѣ расчистили станцію. — Очень трудно было, — сказала предсѣдатель, поджав губы. — Мороз. Почти на себѣ пришлось все таскать. Справились удачно... — Ишь какія уралки, — сказал Горюнов, — когда мы поднимались к заводу, — а так, с виду, тщедушная бабенка. Горшок не поднимет...»

В очеркѣ «Маруся» перед нами семнадцатилѣтняя колхозница, строгая дѣвушка с ѣдким языком. Предсѣдателя колхоза за возню с бумажками Маруся прозвала «абсолютным канцеляристом». А когда кто-то замѣтил, что он подписывается, как Наполеон — одной буквой с закорючкой, сказала: «Не Наполеон он, а Вконтореон!» — «Вслух прозвала, — жаловался предсѣдатель, — приклеили потом мнѣ это прозвище даже в области. А отчего все? Вы думаете, я люблю эти самыя бумажки? Ошибаетесь, ежели так думаете. Боялся я их, бумажек. Как получу конверт, так дрожу. Я за этими бумажками ни земли, ни скотины, ничего не видѣл. Смотрю на поле, и рисуются у меня всякія графы, цифры, проценты. Иногда оторопь брала, прямо скажу, паралич. Малограмотный я, а тут затянули бумажки меня, как в омут». — Колхоз был «отстающій». Каким-то образом Маруся попала на фронт. — «Когда ее

забрали, — признавался предсѣдатель, — вздохнул я свободно; ушла, мол, с глаз долой, и слава Богу. Злобы-то особой на нее не было, но досада за настырность ея». — На фронтѣ Марусю ранило, ногу у нея отняли повыше колѣна. И вот оттуда, «за большія тысячи верст», пишет Маруся письмо в родной колхоз. — «Лежу на спинѣ и утром и вечером, смотрю в рупор, который висит передо мной и не слышу «Зари» (названіе колхоза)... «Урал» (другой колхоз, сосѣдній) был, а «Зари» нѣт и нѣт. Как будто и нѣт такого колхоза на бѣлом свѣтѣ. Мнѣ бы наплевать на все, надоѣло с вами возиться еще там, но постыдитесь своих... Каждый своим колхозом гордится, а вы вродѣ безродные какіе. Нельзя относиться безразлично к требованію момента, когда мы должны разбить врага во что бы то ни стало. Ну, не можете собрать деньги на самолеты, дорого вам кажется, так соберите хотя на минометы. Вы должны поглядѣть, что такое нѣмецкій минометный огонь. Каждый из вас знает, какой бывает первый весенній дождь на Камѣ. Грома только здѣсь больше, чѣм дождевого грома, и сколько осколков! Вот из такой одной пушки и меня ударило. Но не жалѣю о своей ногѣ, жалѣю вас. Не понимаете вы еще, что такое жизнь и смерть, и что такое общее сплоченіе. Неужели не стыдно вам?» — Письмо было прочитано на собраніи самого колхоза — нужныя деньги тут же были собраны.

Повѣсть Валентина Катаева «Жена» («Новый Мір», 10-11, 1943) шире — как географически, так и тематически. Построена она нѣсколько искусственно, так как написана в формѣ живого разсказа случайной попутчицы на автомобилѣ, по дорогѣ на фронт, и это ослабляет впечатлѣніе. Нина Петровна Хрусталева, молодая женщина 22-х лѣт, ѣдет на фронт в поисках могилы мужа, убитаго нѣсколько мѣсяцев тому назад. Территорія эта — возлѣ Орла — была занята нѣмцами и только недавно освобождена русскими войсками. Нина Петровна — инженер одного из волжских заводов, работающих на фронт. Молоденькой студенткой, за два года до войны, она, вмѣстѣ со своей подругой, тоже студенткой, купила в разсрочку путевку, и обѣ отправились в один из крымских домов отдыха, в бывшій Георгіевскій монастырь, близ Севастополя. Живо передана сцена от'ѣзда молодежи на московском вокзалѣ и впечатлѣнія от пути — раскаленный переполненный вагон, проносившіяся в облаках пыли подмосковныя дачи, сѣдыя сосны, кіоски, волей-больныя сѣтки, «Гастрономы» и досчатыя платформы с гуляющими дачниками. Потом Харьков, за ним необозримыя хлѣбныя поля и украинскія хатки с толстыми

камышевыми крышами и выбѣленными стѣнами, посинѣвшими от пронесшагося ливня. А там дальше станція Синельниково — и восхитительная перемѣна в природѣ: теперь в окна лился знойный и вмѣстѣ с тѣм нѣжно-сухой воздух. «Поѣзд вырвался из послѣдняго туннеля. Я бросилась к правому окну и ахнула, увидѣв перед собой внизу севастопольскую бухту, такую яркую среди высоких пыльно-розовых берегов, точно она была налита зеленой краской». Это описаніе напоминает один из бунинских разсказов, гдѣ также передана смѣна впечатлѣний от поѣздки из Москвы в Крым. Все это хорошо знакомо каждому, кто этот путь сдѣлал хоть один раз... Дальше идет разсказ о милом и наивном романѣ, закончившемся, как кончаются всѣ благополучные романы. Но через три года Андрея Васильевича, работавшаго до войны в гражданском воздушном флотѣ, отправили на фронт, гдѣ он вступил в военную авіацію. Нина Петровна стала работать на заводѣ инженером. Интересна обстановка работы и характеристика отдѣльных лиц, на нем работавших, в то і числѣ и занятых соревнованіем маленькой Муси, дѣвушки-подростка, и испанскаго мальчика по имени Хозе, котораго всѣ попросту называли Хозя.

В разсказѣ этом есть одна потрясающая сцена, которую нельзя читать без волненія. Нина Петровна уже получила извѣщеніе о смерти мужа, но скрывала ото всѣх новость, не желая из гордости с кѣм бы то ни было дѣлиться своим горем. Был на заводѣ старый рабочій, лучшій стахановец шлифовальнаго цеха. Был это человѣк упрямый, к другим недоброжелательный — «непріятный старик с дурным характером», как о нем отзывалась сама Нина Петровна. К ней, как к инженеру, старик Волков относился иронически и называл ее не иначе, как «уважаемая барышня» и «товарищ командир производства». Любил ставить ее в процессѣ работы в затруднительное положеніе и тогда с наслажденіем над ней издѣвался. Но работник был первоклассный. И вдруг произошло нѣчто невѣроятное. «Вбѣжала ко мнѣ за перегородку бракеровщица Женя Антипова. — Нина Петровна, посмотрите, ради бога. Что-то невѣроятное! — Что случилось? — Брак. — У кого? — У Волкова. — Ты с ума сошла. — Провѣрьте сами». Провѣрка подтвердила сообщеніе — Волков, знаменитый стахановец, «запорол деталь». — «Странно, — сказала я. — И большой процент брака? — Все брак, — отвѣтила Женя, и губы ея задрожали. — Покажи! — крикнула я, не узнавая своего голоса. Пятьдесят тысяч испорченных роликов — не только для цеха, но и для всего завода это была катастрофа.

Волков стоял, сгорбившись у своего станка и продолжал работать... — Что это значит? — сказала я. — Вы понимаете, что вы сдѣлали? Сію минуту остановите станок! Я вам приказываю! — Он молчал и не двигался с мѣста. — Вы просто пьяны! — крикнула я, — отойдите от станка. — Я почувствовала, что кровь бросилась мнѣ в голову и я начала кричать на весь цех. Меня охватила такая ярость, что еще немного и я бы ударила его по лицу. — Развѣ вы не видите, что он вдребезги пьян? — Никак нѣт, — побѣлѣвшими губами проговорил Волков, ставя ноги смирно, по-солдатски»... Сказалось все пережитое за это бремя, когда она втихомолку переживала свое горе. Но Волков и в самом дѣлѣ не был пьян. Оказывается, он получил извѣстіе, что вся семья его в Тульской области истреблена нѣмцами — жена, старшій брат, двѣ дочери и маленькій внучек. «Боже мой, — шептала я, стискивая пальцы. Я вспомнила, как кричала на Волкова и как он, молча, стоял передо мной, поставив ноги смирно, как у него тряслись большія старыя руки». Бросилась к нему в барак. — «Василій Федорович, голубчик — я вѣдь ничего не знала про ваше горе. Ради бога, простите меня, если можете. — С того дня, как я узнала о гибели Андрея, я еще ни разу не плакала. Но сейчас что-то вдруг рванулось во мнѣ. Я бросилась, схватила, стиснула худую шею Волкова, припала лицом к его заношенному пиджаку и зарыдала. Плакала я об Андреѣ, о себѣ, о нашей любви, о нашем погубленном счастьѣ. Плакала и об испанском мальчикѣ Хозе, отец котораго погиб под Мадридом, сражаясь за свободу и независимость своей родной страны. Плакала о поруганной, оскорбленной землѣ. Плакала о Волковѣ, о его замученной, истребленной семьѣ и о его любимой Наташкѣ, принявшей еще перед смертью такой позор и такія муки. К утру я совсѣм обезсилѣла физически. Но зато душевно за эту ночь я необычайно выросла и окрѣпла. Теперь я точно знала, для чего живу и что мнѣ надо дѣлать».

Из других вещей слѣдует отмѣтить напечатанныя в «Октябрѣ» части огромнаго «историческаго повѣствованія» Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев». Повѣсть написана искусно, сильной и жирной краскои, с использованіем огромнаго историческаго матеріала. Язык сочный — может быть даже слишком сочный (напр. — «Шутник! — засмѣялась сквозь ноздри императрица», кн. 4-5, стр. 48 — вещь вряд ли возможная даже для императрицы!). Крѣпостной Петербург со страшным бытом рабочаго люда того времени, жизнь вельмож и блистательнаго двора, Екатерина в Эрмитажѣ и крѣ-

постные рабочіе на уральских заводах, густѣйшій соціальный заказ, идеализированный Хлопуша... Но не о Шишковѣ ли недавно писал Тарле, указывая на «страстишку», которой подвержены совѣтскіе историческіе романисты, любящіе «безвкусное обиліе бутафоріи»? «Облюбует романист, напримѣр, 18-ое столѣтіе — и читателю просто не продохнуть от фижм, мушек, менуэтов и петимэтров, брилліантовых табакерок, без коих «негоже нам, государи мои, табашное зелье обонять» и т. д. без конца»... Именно так написан и «Пугачев». Екатерининскій двор (фижмы, мушки, менуэты, пируэты) написан высоким «штилем», наоборот — мір крѣпостных, пугачевских казаков и самого Пугачева — стилем низким, «подлым» («таперь», «перетырка», «скосоротился», «всхохотал», «талалакать», «взмыкивать»(?). «Но вѣдь давно извѣстно, — правильно замѣчает Тарле, — что чѣм автору легче писать, тѣм обыкновенно труднѣе бывает читателю читать»...

Другая историческая повѣсть — «Пушкин на югѣ» Ивана Новикова (в «Новом Мірѣ). Здѣсь тоже видно прилежное изученіе эпохи и среды — и все это читается с интересом, но плохо, когда автор начинает вслух за Пушкина думать!

Совсѣм неудобочитаемый матеріал дал извѣстный кинематографическій постановщик С. М. Эйзенштейн — «Иван Грозный» — кино-сценарій. От «Потемкина» к «Ивану Грозному»! Удивительно, как полюбился в послѣднее время совѣтским романистам Иван Грозный! Они видят во времени Ивана Грознаго созвучную нам эпоху... Как они не понимают, что это компрометирует существующій режим? Не так давно писал о Грозном В. Костылев, потом взялся за него Алексѣй Толстой (кажется, не совсѣм удачно, так как пришлось начать сразу со второй части — первая в высоких сферах была забракована), И всѣ они исторію «пересматривают»... Чего добраго, доживем до полной реабилитаціи опричнины и застѣнка Малюты Скуратова. Лично Малюта Эйзенштейном полностью в эпилогѣ уже реабилитирован. Трудно представить себѣ что-либо болѣе нелѣпое и безвкусное. Не могу удержаться от того, чтобы не привести цитаты из предисловія Алексѣя Толстого (того, настоящаго) к «Князю Серебряному»: «Автор сознается, что при чтеніи источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодованіи не столько от мысли, что мог существовать Іоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него без негодованія»... Совѣтское «общество», очевидно, смотрит на Ивана Грознаго совсѣм другими глазами.

В заключеніе хочется указать на одного смѣлаго критика (В. Перцов: «Писатель и его герой в дни войны». «Октябрь», № 6-7). Говоря об одном из «героев нашего времени», г-жѣ Вандѣ Василевской и ея прославленном произведеніи «Радуга», за которую она получила денежную «сталинскую премію», и отмѣчая, что это, разумѣется, «произведеніе суровой правды», критик указывает, что «в повѣсти Ванды Василевской рядом с образами большой художественной выразительности есть такіе, которые вызывают внутренній протест своим нарушеніем художественной правды». И приводит слѣдующій примѣр. — «Подожгите хату! (в ней спрятались нѣмцы). — Это твоя хата? — Моя, чья же еще? Поджигайте, поджигайте! — В хатѣ никого нѣт? — Ребенок... Старшіе-то выскочили, а там... в люлькѣ... — Ну, так как же? Спятила ты, баба, что ли? — Она схватила красноармейца за рукав. — Ничего, родимый, ничего! Не пропадать же вам всѣм из-за моего ребенка... (!?! В. З.). Я мать, я тебѣ говорю — поджигай хату! — Опомнись, мать! Что ты! — Подожги хату! Я не жалѣю, чего же тебѣ-то».

И критик уже от себя добавляет: «Эта сцена кажется невѣроятной: не может мать предлагать поджечь избу, в которой находится ея дитя. Ощущеніе фальши, внутренній протест вызывает та легкость, с которой мать в изображеніи Ванды Василевской рѣшается пожертвовать своим ребенком. Этого не было и не могло быть никогда».

Эта фальшь невольно характеризует в глазах читателя и самого автора.

В. Зензинов.

СОВѢТ МИНИСТРОВ В 1915-1916 ГОДАХ

(Из воспоминаній*)

I.

В январѣ 1915 года мнѣ пришлось вступить равноправным членом в Совѣт Министров. Патріотическій под'ем, в началѣ войны охватившій почти всѣ слои населенія, шел быстро на убыль. В законодательных палатах и, в особенности, в Государственной Думѣ, недовольство порядком управленія и, в частности, дѣйствіями Военнаго Вѣдомства, проявлялось все чаще. Члены Думы нерѣдко ѣздили на фронт, как участники разных организацій помощи раненым — иные при Красном Крестѣ, другіе при Земском Союзѣ. Послѣдній, под руководством кн. Львова, не пропускал случая подчеркивать всѣ недостатки работы и настойчиво предлагал военному командованію свои услуги гдѣ только мог, чтобы замѣнить нормальную организацію, в виду ея дефектов.

По настоянію членов Думы, получивших тревожную информацію на фронтѣ о положеніи военнаго снабженія, было устроено в зданіи Государственной Думы нѣсколько секретных засѣданій, на которыя являлись члены и лидеры фракцій Государственной Думы. Генерал Сухомлинов, давая об'ясненія, не имѣл мужества или по своему характерному легкомыслію не считал нужным раскрыть всю дѣйствительность. Он старался успокоить встревоженное собраніе увѣреніями, что заказы всѣ сдѣланы и если потребности войны превзошли всѣ предположенія и расчеты, то это произошло и у наших союзников. Он не рѣшился раскрыть всю правду, что многіе наши военные заказы в Англіи и Франціи остались не исполненными,

---

*) Неопубликованныя воспоминанія гр. П. Н. Игнатьева охватывают всю его жизнь — от дѣтства до эмиграціи. Центральная часть воспоминаній посвящена работѣ автора и его сотрудников по вѣдомствам земледѣлія и народнаго просвѣщенія. С разрѣшенія автора мы печатаем главы, относящіяся к политическому кризису 1915-1916 годов. **Ред.**

а заготовленное обращено было на свои нужды, вопреки увѣреніям до войны Крезо, Викерса и Армстронга и соотвѣтствующих послов, а первые американскіе заказы нерѣдко оказывались исполненными с дефектами, под вліяніем дѣйствій германских агентов. Нѣкоторые члены Думы знали больше, чѣм предполагал министр, и результат этих засѣданій оказался болѣе чѣм отрицательный. Это легкомысліе военнаго министра все чаще вызывало подозрѣніе в измѣнѣ. Нѣт сомнѣнія, что тѣ личности, которыми был окружен Сухомлинов со времени его брака с г-жей Бутович, не могли внушать довѣрія. Особенно подозрительным еще в Кіевѣ казался нѣмец Альтшилер, оказавшій какія-то услуги г-жѣ Бутович во время ея леченія на одном из курортов Германіи. Послѣ перехода Сухомлинова в Петербург и его брака, этот суб'ект появился и в Петербургѣ и был постоянным гостем в домѣ военнаго министра. Но Сухомлинов настолько был под вліяніем своей, сравнительно молодой, жены, что ничего не замѣчал. В Совѣтѣ Министров к Сухомлинову относились отрицательно. Но во главѣ Совѣта был старец Горемыкин, не проявлявшій никакой иниціативы.

А. В. Кривошеин старался постепенно проводить в Кабинет новых лиц, болѣе сочувствующих его взглядам на возможность поддержать хоть часть довѣрія к правительству. Но это втягивало его в закулисную интригу, которой, по своей натурѣ, я упорно сторонился. Вот почему, хотя я в общем сочувствовал взглядам Кривошеина и в Совѣтѣ старался его поддерживать, я никак не мог себя заставить принимать участіе в его политической игрѣ. Я весь ушел в свою работу.

И среди университетской молодежи началась перемѣна настроеній. Крайнія группы, притихнувшія в началѣ войны и воздерживавшіяся от открытых выступленій, стали проявлять все большую энергію. Все чаще проявлялись пораженческія тенденціи.В дѣйствіях разных министерств не было согласованности. Студенты разных высших учебных заведеній, находившихся в вѣдѣніи разных министерств, встрѣчали разное к себѣ отношеніе, а военное вѣдомство не считало нужным в своих мѣропріятіях по призывам сговариваться с подлежащими властями, что вызывало раздраженіе в средѣ молодежи.

Кромѣ того, что в средѣ правительства не было единенія и весь кабинет в своем премьерѣ не видѣл руководителя об'единенной политики, Совѣт Министров имѣл постоянныя тренія и столкновенія со ставкой. Послѣдняя старалась все большую территорію Россіи считать находящейся в предѣлах военных дѣйствій и стремилась проявлять там свободу управленія, не

считаясь с директивами подлежащих министерств и всего кабинета. Это двоевластіе вносило чрезвычайную путаницу и мѣстныя власти нерѣдко становились в тупик от разнорѣчивых распоряженій. Часто Совѣту Министров приходилось обсуждать и стараться ликвидировать ту путаницу, которую вызывали распоряженія генерала Янушкевича, начальника штаба ставки. Но, к несчастью, очень часто это не удавалось, в виду того, что эти распоряженія прикрывались авторитетом главнокомандующаго — вел. князя Николая Николаевича.

Чаще стали проявляться в веденіи дѣл вліянія разных, по меньшей мѣрѣ, темных личностей, в родѣ князя Андроникова и Распутина. Основа возможности таких вліяній лежала, как мнѣ кажется, в том отчужденіи, которое установилось между верховной властью и населеніем со времен «гатчинскаго сиженія» императора Александра III. Это давало возможность всяким интриганам выставлять своих кандидатов на открывавшіяся высшія ваканціи. Одним из таких путей к достиженію этой цѣли и было то вліяніе, которое Распутин возымѣл на Императрицу и ея окруженіе, в связи с болѣзнью Наслѣдника. Раз вообще возможные кандидаты были люди для верховной власти почти всегда совершенно неизвѣстные — двери для вліянія интриг оставались открытыми, особенно в виду все больше развивавшагося недовѣрія к интеллигентным слоям населенія.

В развитіи этого недовѣрія значительную роль играло нашептываніе дѣятелей «союза русскаго народа», выступавших в качествѣ представителей толщи населенія, не отравленнаго оппозиціонным настроеніем.

Уже ко времени моего вступленія в кабинет часть членов считала нужным прислушиваться к этим вліяніям. Большинство относилось к ним отрицательно, но не имѣло возможности положить им предѣл. Кривошеин думал, что, подобрав довольно сильное большинство сторонников его взглядов, ему удастся ввести дѣятельность кабинета в болѣе нормальное русло, но у него не хватало того, что он сам называл «дерзновеніем», и его личное вліяніе было не достаточно сильно.

Правда, ему постепенно удалось усилить свое положеніе в Совѣтѣ Министров, располагая большим числом голосов, присоединявшихся к его мнѣнію, но, по существу, это большей частью лишь обостряло борьбу в предѣлах кабинета и скорѣе еще больше разваливало единство управленія.

Все происходившее в Совѣтѣ Министров, конечно, становилось постепенно извѣстным Государственной Думѣ. В то

время, как администрація блистала раз'единеніем, в предѣлах Государственной Думы усиливалось стремленіе создать большинство, об'единенное в общем пониманіи основных государственных задач. Это стремленіе вылилось в образованіе «прогрессивнаго блока», в который входили члены Государственной Думы от кадетской партіи до значительной части націоналистов. Внѣ блока остались оба крайних крыла — лѣвый сектор и крайніе правые с примыкавшей к ним частью націоналистов.

Кривошеин полагал, что слѣдует употребить всѣ усилія, чтобы выработать общую программу работы с «блоком». Правда, нѣкоторыя требованія блока, о которых шли неофиціальные разговоры, он признавал непріемлемыми, но полагал, что путем откровенных переговоров и взаимных уступок можно во время войны все же достигнуть необходимаго соглашенія. К несчастью, И. Л. Горемыкин и поддерживавшіе его члены Совѣта этому не сочувствовали, вслѣдствіе чего, если и были кое-какія попытки столковаться, не было необходимой искренности и принципіальнаго убѣжденія в необходиммости соглашенія. Вот почему каждый министр устанавливал с законодательными палатами тѣ отношенія, какія он лично считал полезными.

При таких условіях приходилось мнѣ принимать Министерство Народнаго Просвѣщенія, которое при моем предшественникѣ совершенно оторвалось от Государственной Думы и все послѣднее время вело глухую борьбу с нею. Министр Кассо не появлялся в стѣнах Думы. Как я докладывал Государю в день моего вызова для предварительнаго разговора о принятіи мною должности министра, я иначе не представлял себѣ свою работу, как в полном единеніи с Государственной Думой. Государь выразил одобреніе и надежду, что это мнѣ удастся. Вот почему я считаю, что лично Государь желал видѣть дружную работу между администраціей и законодательными палатами, но, увы, застращиванія лиц из его окруженія и нѣкоторых членов Совѣта Министров якобы непріемлемыми требованіями Государственной Думы имѣли часто пагубное вліяніе на его слабый характер.

II.

Насколько работа в Министерствѣ Народнаго Просвѣшенія и с законодательными палатами была интересна и увлекательна, настолько тяжела была работа в Совѣтѣ Министров. Она отнимала массу времени от производительной работы и страшно переутомляла всю нервную систему, так как требовала

постояннаго напряженнаго вниманія, главным образом, для того, чтобы не упустить каких-либо подвохов.

Первое время, до второй половины 1915 года, было еще легче. Особенно первые мѣсяцы моего присутствія в Совѣтѣ, когда вліяніе Кривошеина было достаточно сильно, можно было спокойно внимать текущей политической работѣ. Я лично мало принимал в ней участія. Однако, волей-неволей приходилось прислушиваться и стараться уяснить свое отношеніе к тѣм политическим вопросам, в рѣшеніи коих я был обязан формально принимать участіе.

Но фактически мнѣ сравнительно мало приходилось принимать участіе в рѣшеніи главнѣйших вопросов этого характера, так как Вѣдомство Просвѣщенія не привлекалось к их рѣшенію, когда эти рѣшенія принимались или Верховным Главнокомандующим или же личным указом Государя. Тогда подготовительныя совѣщанія собирались лишь из представителей нѣкоторых, наиболѣе заинтересованных, вѣдомств. Этот способ верховнаго управленія — выдѣленіе небольшой группы заинтересованных министров в особое совѣщаніе — постепенно входил в обычай с начала войны.

В первые же мѣсяцы 1915 года состав Совѣта Министров стал постепенно измѣняться. Одним из первых ушел Тимашев и был замѣнен кн. Шаховским. Не думаю, чтобы эта замѣна была полезна: Тимашев, на мой взгляд, составившійся, правда, за весьма краткое наше знакомство, был человѣк с наилучшими намѣреніями, но, к несчастью, в этой отвѣтственной области, в столь сложное и для торговли и для промышленности время, он совершенно не был подготовлен и у него не хватало ни силы воли, ни вѣры в свое дѣло. Прежнее, отрицающее всякую активную дѣятельность правительства в экономической области, вліяніе графа Коковцева так и застыло в нем, проявляясь в его апатичном отношеніи к болѣзненным явленіям в области русской промышленности. Необходимо было влить в вѣдомство энергію, трудоспособность и желаніе направить силы страны на служеніе гигантской борьбѣ и удовлетвореніе потребностей народа. Кривошеин это сознавал, но, увы, у него не хватило силы вліянія провести дѣйствительно подходящее лицо. Совершенно загадочно, каким образом князь Шаховской был поставлен на этот пост. Офицер гвардейскаго экипажа, он был привлечен Рухловым, министром путей сообщенія, к управленію водными путями. Он проявил на этом мѣстѣ юный порыв и кое-что было дѣйствительно им сдѣлано. Но, человѣк без теоретической и практической подготовки, он дальше

порывов далеко не ушел. Вѣроятнѣе всего, что в его назначеніи сыграла значительную роль его способность прислушиваться к господствующим на верхах вѣяніям. Кривошеин как-будто этой кандидатуры не ожидал, но и не препятствовал ея прохожденію, получив успокоительныя увѣренія от своего пріятеля Рухлова. В слѣдующих измѣненіях состава Совѣта Министров Кривошеин уже принимал болѣе активное участіе, так как видѣл, что с замѣной Тимашева Шаховским положеніе не измѣнилось к лучшему. Отношенія Кривошеина к Маклакову, министру внутренних дѣл, к тому времени были уже таковы, что они друг другу не подавали руки.

Вскорѣ послѣ Пасхи мѣсто Маклакова занял князь Н. Б. Щербатов, до того времени бывшій во главѣ коннозаводства, Саблера замѣстил А. Д. Самарин и Щегловитова — Александр Хвостов.

Нѣт сомнѣнія, что кандидатуры кн. Щербатова и Самарина особенно горячо поддерживались Кривошеиным. Ему казалось, что привлеченіем этих лиц, имѣвших немалое значеніе в качествѣ губернских предводителей дворянства (Щербатов — Полтавскаго, Самарин — Московскаго), создавалась нѣкоторая связь между правительством и общественностью. Будь это сдѣлано раньше, эти предположенія могли бы оправдаться, но время было упущено, да и к тому же это были представители лишь дворянских групп, уже значительно потерявших свое общегосударственное значеніе.

Отношенія с Государственной Думой к тому времени были значительно испорчены и, без сомнѣнія, появленіе этих двух дѣятелей не могло не имѣть нѣкотораго умиротворяющаго значенія; особенно в этом смыслѣ имѣл значеніе уход Маклакова. На порчу отношеній с Думой главное вліяніе, конечно, имѣли наши неуспѣхи на фронтѣ и тѣ крупные недостатки в нашей подготовкѣ к войнѣ, какіе постепенно стали открываться.

Недовѣріе к общественным силам и вообще к самодѣятельным силам — старый наш грѣх. И он лежал не только на государственной власти, не довѣрявшей ни организованной общественности, ни отдѣльным энергичным дѣятелям нашей промышленности и торговли; этот грѣх был свойствен и самой русской организованной общественности, русскому интеллигенту. Индивидуальныя творческія силы давно попали под подозрѣніе в глазах большинства русских обывателей. К несчастью, это недовѣріе в значительной степени оправдывалось тѣм взрывом спекулятивной наживы, какой проявился

чуть-ли не с начала войны и шел страшно расширяясь. Но, увы, и позднѣйшее привлеченіе к дѣлу снабженія болѣе широких слоев населенія тоже не остановило этого стремленія использовать войну, как средство наживы. Организаторских способностей в странѣ почти не оказалось. Правда, армію впослѣдствіи удалось снаблить, но цѣною каких средств! И, главным образом, снабжались мы заграничными силами. Но в то время не только всѣ члены Государственной Думы, но и подавляющее большинство русских людей, лишь с глубоким осужденіем могли отнестись к нежеланію представителей власти поднять настроеніе страны и всѣ были убѣждены, что еще возможно исправить всѣ дефекты общей дружной работой.

Надо отдать справедливость энергіи и настойчивости предсѣдателя Государственной Думы. Он повел упорный личный поход против Сухомлинова, открыто говоря, что ему нужно уйти. Я помню одну сцену при спускѣ весною 1915 года большого военнаго судна, гдѣ присутствовал чуть-ли не весь состав Совѣта Министров (это был один из новых дредноутов). М. В. Родзянко подошел прямо к военному министру и о чем-то горячо говорил с ним. Послѣ этого смущенный Сухомлинов подошел к нам и сказал, что предсѣдатель Государственной Думы опредѣленно говорил ему, что он должен подать в отставку, чтобы не скомпрометировать Верховную власть.

В Совѣтѣ Министров Сухомлинов уже поддержки не находил, так как слишком ясно было его легкомысленное отношеніе к дѣлу. Он скоро был замѣнен Поливановым.

Выбор Поливанова, в данную минуту, был одним из наиболѣе желательных, так как Государственная Дума ему довѣряла. Он долгое время был помощником военнаго министра при Сухомлиновѣ и, слѣдовательно, был вполнѣ в курсѣ дѣла. Это назначеніе вмѣстѣ с тѣм усилило положеніе Кривошеина, так как Поливанов всецѣло примкнул к его сторонникам.

Таким образом к началу лѣта 1915 года состав Совѣта Министров значительно улучшился и болѣе общественно настроенное направленіе, возглавляемое Кривошеиным, располагало довольно значительным большинством. Между прочим для установленія болѣе близких отношеній с законодательными палатами и введенія их в курс дѣла были установлены особыя совѣщанія при нѣкоторых министерствах, близко соприкасающихся с военными потребностями: при Военном Министерствѣ по дѣлам снабженія военным и морским, при

Министерствѣ Земледѣлія, при Министерствѣ Торговли и Промышленности.

Эти совѣщанія состояли из представителей заинтересованных вѣдомств и законодательных палат, а также Земскаго и Городского Союзов. Для примиренія с общественностью было санкціонировано положеніе о военно-промышленных комитетах, стали считаться с Земским Союзом и его предсѣдателем князем Львовым. Отношенія с Государственной Думой нѣсколько улучшились.

Лѣтом 1915 года в Совѣтѣ Министров началась политическая борьба между двумя теченіями — Горемыкина, поддерживавшагося Александром Хвостовым и опиравшагося на вліяніе Государыни, и всѣх остальных членов Кабинета с Кривошеиным во главѣ. Сазонов примыкал к Кривошеину и нашей группѣ, хотя во многом с нами расходился. Кн. Шаховской сыграл довольно безличную роль: он примыкал к нашей группѣ, но личныя отношенія к Горемыкину заставляли его в серьезные моменты примыкать к Ивану Логгиновичу. Казалось в общем, что состав Совѣта Министров представлял довольно благопріятныя условія для плодотворной работы, но эта надежда оказалась непродолжительной.

С Горемыкиным стала происходить перемѣна, крайне вредно отразившаяся на всей дѣятельности Кабинета. Горемыкин, по характеру своему крайне лѣнивый, а политически безмѣрно осторожный, стал тяготиться той активной дѣятельностью и напряженной работой, которой требовал от него Кривошеин. К тому же стали проявляться все болѣе интенсивно постороннія вліянія на него. С конца мая стало проявляться стремленіе Горемыкина противодѣйствовать намѣреніям Кривошеина.

С другой стороны, раз уже пошли на контакт с законодательными палатами и общественностью, правительству необходимо было сговориться между собою по цѣлому ряду принципіальных вопросов, дабы имѣть опредѣленную общую и обязательную для всѣх программу дѣйствій. Но Горемыкин принципіально не допускал программнаго обмѣна мнѣній в засѣданіях Совѣта и заполнял время разсматриваніем отдѣльных текущих дѣл. Засѣданія на Елагином островѣ, на дачѣ предсѣдателя Совѣта Министров, становились все болѣе формальными. В теченіе лѣта неоднократно Его Величеству угодно было собирать в Царском Селѣ общія засѣданія Совѣта Министров для выясненія общих вопросов, но дальше их постановки дѣло не шло. Предметом разговоров были все

болѣе малозначительные вопросы. Напрасно нѣкоторые министры, как Щербатов, даже Сазонов, возбуждали вопрос о программѣ, об общности дѣйствій, напрасно Щербатов подчеркивал растущее недовольство в странѣ

Все чаще стали мы до или послѣ засѣданій Совѣта Министров собираться на Аптекарском островѣ на дачѣ А. В. Кривошеина и здѣсь, в сущности, намѣчался в главных чертах путь нашего поведенія. Чаще всего здѣсь собирались Поливанов, Сазонов, Барк, Харитонов, Щербатов, Самарин и я.

Между тѣм положеніе все болѣе осложнялось: на фронтѣ послѣдовали значительныя неудачи, наши крѣпости сдавались почти без сопротивленія, армія терпѣла от недостатка снабженія, пополненія шли на фронт без вооруженія — с котомками и палками. Настроеніе в законодательных палатах значительно поднималось и можно было всегда ожидать разных выступленій, направленных и против предсѣдателя Совѣта Министров, безцвѣтная роль котораго все болѣе выяснялась, и общей неясной политики государственной власти. Депутаты, возвращавшіеся с фронта, повѣствовали о тѣх бѣдствіях, какія пришлось претерпѣвать нашим войскам.

Предстояло собраніе Государственной Думы, по случаю годовщины начала войны. Считалось, что это собраніе необходимо для под'ема общаго настроенія. Нужно было и представить странѣ, что дѣлается для возстановленія боеспособности арміи, и нѣсколько влить мужества в уже колеблющіяся души. Но Горемыкин носился с мыслью не собирать Думы или предрѣшить, что в случаѣ каких-либо нежелательных выступленій произвести ея роспуск. Этот вопрос был поднят им в началѣ іюля, во время засѣданія Совѣта Министров. Горемыкин ссылался на то, что заграницей в то время общих собраній законодательных палат не было и дѣйствовало правительство при содѣйствіи комиссіи из членов законодательных палат, что теперь такія совѣщанія образованы и у нас и потому нѣт основанія законодательным палатам длительно засѣдать.

Горемыкин стал спрашивать мнѣнія членов Совѣта. Когда очередь дошла до меня, я, волнуясь, сказал, что дѣйствительно, по римской пословицѣ во время войны законы молчат и западныя государства этого отчасти придерживаются. Но мы лишены этой возможности, так как наше правительство не заслуживает довѣрія націи, оно не может располагать судьбами ея, и за ним не пойдут, а в эту тяжелую минуту, когда нужен под'ем всѣх сил страны, такой отказ от созыва законодательных палат, особенно Государственной Думы, которой еще

вѣрят, может имѣть послѣдствіем полную апатію в странѣ. Я понимаю, что созвав Думу, можно требовать от нея не затягивать своей сессіи и ограничиться лишь крайне необходимым, но для этого нужно, чтобы правительство предстало перед Думой во всеоружіи общей опредѣленной программы дѣйствій, ясной для страны. Такое правительство, пользующееся авторитетом, могло бы смѣло не считаться с обструкціей, чинимой безпокойными элементами Думы, распустить ее, в случаѣ ея сопротивленія, и взять на себя отвѣтственность перед страной.

Программы такой у нас нѣт, мы плывем по волѣ волн, разрѣшая тѣ вопросы, которые до нас докатываются, а большинство вопросов разрѣшается отдѣльными властями за свой страх и совѣсть. Такое правительство, какое мы из себя представляем, не имѣет права распускать Думу перед лицом надвигающагося врага. Кривошеин и Самарин меня поддержали. Поливанов через стол молча переслал одобрительный кивок. В первый раз активное выступленіе предсѣдателя Совѣта Министров встрѣтило неодобреніе.

Под вліяніем всѣх этих событій, у большинства членов Кабинета, собиравшагося на дачѣ А. В. Кривошеина, была намѣчена мысль, что Горемыкин должен оставить свой пост и на его мѣсто должен быть поставлен генерал с моральным авторитетом, с опредѣленной программой. Намѣчался Поливанов. Если бы Государственная Дума не пожелала с ним работать, он имѣл бы право распустить ее. Нам представлялось, что наличность генерала во главѣ правительства придала бы послѣднему извѣстный авторитет перед лицом страны и союзников.

III.

Приблизительно в іюлѣ 1915 года появились взволновавшіе всѣх слухи об осложнившихся отношеніях между Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем и Царским Селом. Насколько мнѣ извѣстно, лица, окружавшія двор Ея Величества, а также проходимцы, сгруппировавшіеся за спиной окончательно уже одряхлѣвшаго Горемыкина, стали проводить мысль об опасности того вліянія и авторитета, которые пріобрѣтал Великій Князь в арміи и в странѣ. Говорили о каких-то возникших подозрѣніях, будто бы Великій Князь, возмущенный вліяніем на Государя Государыни и окружавшей ее атмосферы, имѣл намѣреніе произ-

вести дворцовый переворот. Все чаще возникали слухи о желаніи Государя взять на себя верховное командованіе арміей. Да и сам Государь стал высказываться в этом смыслѣ.

Наконец в том же засѣданіи Совѣта Министров, гдѣ Горемыкин настаивал на необходимости роспуска Государственной Думы, нам стало извѣстно, что Верховный Главнокомандующій смѣняется и Государь желает взять командованіе в свои руки. Никто из нас не ожидал ничего хорошаго от такой перемѣны, тяжкими послѣдствіями грозила она. Члены Совѣта Министров настояли перед Горемыкиным, чтобы Государь согласился выслушать мнѣніе Совѣта Министров по этому поводу.

Мы были собраны в Царском Селѣ и Совѣт единодушно высказался против такого рѣшенія Государя. Мы были убѣждены в том, что это слишком крупная моральная ставка: если, что было болѣе чѣм вѣроятно, никакого улучшенія в наше военное положеніе она не внесет, то роковыя послѣдствія ея могут быть громадны. В случаѣ дальнѣйших неуспѣхов обвиненія будут падать уже не на неудачных исполнителей воли Монарха, а на самого Монарха, чего не должно быть с точки зрѣнія охраны монархическаго принципа. Говорили, главным образом, Кривошеин и Щербатов. Я заявил о своем полном согласіи с высказанными сужденіями. На этом же засѣданіи было указано, что продолжать прежнюю политику невозможно. Необходима программа и сила воли твердо слѣдовать ей.

Государь, однако, остался непоколебимым, заявив, что в минуту опасности для Родины, он должен быть с арміей. Мы еще надѣялись, что это рѣшеніе измѣнится. Но на слѣдующем засѣданіи Совѣта Министров выяснилось, что перемѣны не будет. Тогда, послѣ засѣданія, большинство министров — всѣ, кромѣ Горемыкина и Хвостова — собрались на дачѣ у Кривошеина с цѣлью обсудить то положеніе, которое слѣдует занять. Думали о посылкѣ всѣми прошенія об отставкѣ, но затѣм высказались за предпочтительность коллективнаго письма Государю, чтобы еще раз оттѣнить наше отношеніе к дѣлу.

Вечером собрались всѣ министры, кромѣ Горемыкина и Александра Хвостова, у Сазонова в Министерствѣ Иностранных Дѣл и здѣсь было редактировано слѣдующее письмо:

«Всемилостивѣйшій Государь!

Не поставьте нам в вину наше смѣлое и откровенное обращеніе к Вам. Поступить так нас обязывает вѣрноподдан-

ническій долг, любовь к Вам и Родинѣ и тревожное сознаніе грознаго значенія совершающихся нынѣ событій.

Вчера в засѣданіи Совѣта Министров под Вашим личным предсѣдательством мы повергли перед Вами единодушную просьбу о том, чтобы Великій Князь Николай Николаевич не был отстранен от участія в верховном командованіи арміей. Но мы опасаемся, что Вашему Императорскому Величеству не угодно было склониться на мольбу нашу и, смѣем думать, всей вѣрной Вам Россіи.

Государь, еще раз осмѣливаемся Вам высказать, что принятіе Вами такого рѣшенія грозит, по нашему крайнему разумѣнію, Россіи, Вам и династіи Вашей тяжелыми послѣдствіями.

На том засѣданіи воочію сказалось коренное разногласіе между предсѣдателем Совѣта Министров и нами в оцѣнкѣ происходящих внутри страны событій и в установленіи образа дѣйствій правительства.

Такое положеніе во всякое время недопустимо, в настоящіе дни — гибельно.

Находясь в таких условіях, мы теряем вѣру в возможность с сознаніем пользы служить Вам и родинѣ.

Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣйшіе слуги: Харитонов, Кривошеин, Барк, Граф Игнатьев, Самарин, Сазонов, Князь Шаховской, Князь Щербатов».

В редакціи письма принимали главное участіе Харитонов, Кривошеин, а засим всѣ болѣе или менѣе помогали. Начисто переписал письмо Барк. Кромѣ Горемыкина, Хвостова, графа Фредерикса, также не присутствовавшаго на совѣщаніи, не подписали письма военный и морской министры, по общему соглашенію всѣх остальных, хотя они и присутствовали и содержаніе письма одобрили. Мы находили, что генералам, руководящим снабженіем арміи, нельзя было принимать участіе в таком коллективном заявленіи.

Письмо было на слѣдующій день утром доставлено министру Императорскаго Двора и в тот же день вручено Государю.

В тот же день в Зимнем Дворцѣ, под предсѣдательством Государя, состоялось общее торжественное собраніе членов всѣх особых совѣщаній и видных лидеров Государственной Думы. Правда, общее настроеніе было испорчено уже состоявшимся указом о смѣщеніи Великаго Князя и вступленіи лично Государя в командованіе арміей. Были лица, скептически относившіяся к дѣятельности и роли бывшаго Верховнаго

Главнокомандующаго, но всѣ сходились в убѣжденіи, что эта перемѣна является жуткой ставкой на грозную неизвѣстность.

Значительно смягчило это настроеніе самое совѣщаніе, засим, послѣ совѣщанія, общій раут, на который вышли и Государыня с Наслѣдником. Они обходили всѣх членов этого совѣщанія. Меня поразило то волненіе, какое охватило, между прочим, Андрея Ивановича Шингарева, когда к нему подошел Наслѣдник: он о чем-то с ним говорил, а засим поцѣловал руку Наслѣдника. Это собраніе показало мнѣ, что могла бы сдѣлать Верховная Власть, если бы отрѣшилась от традицій послѣдних царствованій и рѣшилась стать вплотную к населенію. Верховной Власти такое общеніе было крайне легко, но, увы, пребываніе в Гатчинѣ, жизнь постоянная в Царском Селѣ, без общенія даже с высшими служилыми кругами, установили грань, которую, повидимому, не было сил перейти.

Во время общаго пріема лишь одни только министры, кромѣ предсѣдателя Совѣта, не удостоились ни единаго знака вниманія. Видимо, письмо уже было прочитано.

Его Величество в тот же день уѣхал в Ставку и принял верховное командованіе над арміей.

Понятно, что отношенія министров к предсѣдателю Совѣта стали совершенно невозможными. Горемыкин общался лишь с одним только Хвостовым, игнорируя всѣх остальных и в особенности Кривошеина. Мы продолжали иногда совѣщаться у Кривошеина, но, видимо, дѣло шло к той или иной развязкѣ. Тут еще у Самарина вышел серьезный конфликт с Государем из-за прославленія святителя Питирима в Тобольскѣ, по поводу самовольных дѣйствій епископа Варнавы, друга Распутина. Епископ Варнава, несмотря на указ Синода, признававшаго это прославленіе несвоевременным и предписавшаго отложить его, снесся телеграммой со Ставкой и оттуда получил разрѣшеніе прославить святителя на всенощном богослуженіи. Синод, не зная факта сношенія со Ставкой и полученнаго оттуда разрѣшенія, вынес осуждающее Варнаву рѣшеніе и требовал от него об'ясненій и суда над ним.

Щербатов в своих докладах представлял внутреннее состояніе масс в мрачных красках и даже указывал на успѣхи революціоннаго движенія, как во всей арміи, так и даже в частях личной охраны, отмѣчая значеніе появленія Распутина при Дворѣ и приписываемаго ему вліянія на событія. Все это страшно сгущало атмосферу.

В серединѣ сентября весь состав Совѣта Министров был вызван в Ставку. Видимо, это должно было быть отвѣтом на наше письмо. Думаю, что надѣялись примирить нас с предсѣдателем Совѣта.

Засѣданіе вышло крайне тягостное. Государь произнес рѣчь, прочитанную по писанному конспекту, в которой он говорил о необходимости, в эту тяжелую для страны минуту, общей дружной работы всего состава министров и высказал неудовольствіе по поводу происходящаго в нашем составѣ разномыслія. Нам также, подписавшим обращеніе к нему, ставилось на вид, что такіе поступки неправильны. Весь тон обращенія носил характер выговора, при чем, увы, видимо совершенно игнорировались тѣ обстоятельства, которыя заставили нас стать на этот путь.

Первым заговорил Сазонов. Свое выступленіе он мотивировал тѣм, что его положеніе по отношенію к иностранным миссіям дѣлается совершенно невозможным. Он понимает, что никакого вмѣшательства с их стороны во внутреннія дѣла страны не может быть допущено, но, как союзники, они не могут не слѣдить за всѣм тѣм, что у нас дѣлается, и их не может не тревожить явное отсутствіе об'единенности во внутренней политикѣ. Сазонов ссылался на опыт западнаго государственнаго строя, гдѣ азбукой государственнаго управленія считается необходимость выработки общаго опредѣленнаго плана для кабинета. По этому плану подбираются и соотвѣтствующіе исполнители. Тогда и возможно говорить об об'единенном правительствѣ, столь необходимом для сильной власти. Теперь же этого нѣт. Союзники обращаются к нему с тревожными вопросами. Министру иностранных дѣл приходится лишь краснѣть, отмалчиваться или давать об'ясненія, никого не успокаивающія, так как он сам видит, что руководства политикой нѣт. И это, как показывает западно-европейскій опыт, быстро ведет к гибели.

Послѣ Сазонова говорили Харитонов и Кривошеин (послѣдній лишь нѣсколько слов), иллюстрируя сказанное Сазоновым и подчеркивая отсутствіе направляющей дѣятельности предсѣдателя Совѣта Министров.

На этом все может быть и окончилось бы, но Горемыкин почему-то нашел нужным подлить масла в огонь и от себя сказать нѣсколько слов, мало, в сущности, связных и понятных, но в общем сводившихся к желанію подчеркнуть, что все это недоразумѣніе основано на личных выпадах против него, Горемыкина. Закончил он свою рѣчь призывом работать, по

обычаю русскаго дворянства, не только за страх, но и за совѣсть.

Эти слова «за страх» взволновали всѣх и Самарин был выразитепем общаго возмущенія. Он взволнованно попросил слова у Государя и горячо протестовал против сдѣланнаго намека на «страх». Лучшее дворянство служило Государю и странѣ по совѣсти, а страх имѣло перед своей моральной отвѣтственностью и не боялось говорить правду перед Царем и за правду складывать свои головы.

Тѣм или иным способом всѣ выразили свою полную солидарность с возмущеніем Самарина.

Атмосфера сдѣлалась слишком напряженной, ясно было, что не только нѣт никакого примиренія, но отношенія еще болѣе обострялись. Засѣданіе вскорѣ за тѣм было закрыто Государем общей фразой, приглашавшей работать дружно на пользу родины. Однако, это засѣданіе было началом конца такой работы.

Наше возвращеніе в Петроград было типичным. Никто в вагон Горемыкина, кромѣ Хвостова, не заходил. Они ѣхали все время вдвоем. Остальные министры большую часть дороги сидѣли в вагонѣ у военнаго министра. Кривошеин был сильно удручен. Раз в пути Горемыкин пришел в вагон военнаго министра. Гробовое молчаніе, встрѣтившее его при его появленіи, было отвѣтом на его безтактность.

Кривошеин чувствовал, что при данных условіях его дни сочтены. Немного времени прошло, и весь состав Совѣта Министров подвергся измѣненію: ушел Харитонов и был замѣнен Покровским, уволен был Щербатов и замѣнен Алексѣем Хвостовым; Самарин был замѣнен Волжиным, Кривошеин — Наумовым, Поливанов — Шуваевым.

Таким образом, тот состав Совѣта Министров, который мог нѣсколько успокоить Государственную Думу, был постепенно измѣнен и лучшія его силы ушли, замѣненныя или лицами совершенно неподготовленными, как Наумов, или неспособными, хотя и честными людьми, как Шуваев, или же вредными людьми, как Раев, замѣнившій впослѣдствіи Волжина, и в особенности Алексѣй Хвостов. Мое положеніе стало особенно тяжелым, так как я никогда не скрывал своих симпатій к Кривошеину и своей антипатіи к тому моральному и политическому настроенію, которое сгущалось вокруг Горемыкина. Об этом я говорил и на докладах Государю. Для меня рѣшительно непонятно, почему меня тогда же не смѣстили.

IV.

3-го сентября я был принят Ея Величеством. Этот пріем был вызван тѣм, что при поступленіи на должность министра, я обязан был представиться. Об этом мною было заявлено еще в январѣ, но принят я был лишь 3-го сентября и то послѣ повторнаго напоминанія. Этот пріем произвел на меня большое впечатлѣніе, вылившись в форму, для меня совершенно неожиданную, а потому я записал наш разговор, немедленно послѣ возвращенія домой, насколько позволяла мнѣ память.

Государыня приняла меня в своей гостиной, одѣтая в форму сестры милосердія. Начался разговор с вопросов о моем братѣ, командирѣ Преображенскаго полка, о полкѣ вообще, а засим Ея Величество сказала: «Там всѣ исполняют доблестно свой долг, на фронтѣ совсѣм другое настроеніе бодрое, хорошее; да так оно и во всей Россіи, только в Москвѣ и Петроградѣ Бог знает что. Дума и печать говорят всякія мерзости. Как это министр внутренних дѣл допускает, чтобы печать помѣщала такія вещи? Нападают и на меня, что я нѣмка, это мнѣ все равно, но стараются сдѣлать больно Государю. Что Государственная Дума говорит про правительство, что она хочет, чего добивается?»

Я отвѣтил: «Ваше Величество, Дума желает видѣть в такую жуткую минуту перед собой правительство активное, а не отсутствіе такового».

— «Вы всѣ нападаете на Горемыкина, он честный слуга Государя и Государь его любит. Кого же хотят? — Гучкова? Он ненавидит Государя, стремится устроить республику и стать ея президентом».

Я протестовал, заявив, что едва-ли правильно было бы считать, что Горемыкин имѣет монополію преданности Его Величеству, и мнѣ, бывшему солдату Преображенскаго полка, имѣвшему счастье служить при Его Величествѣ в полку, это особенно тяжело. Что касается Гучкова, то, без сомнѣнія, в нем есть склонность к авантюризму. Он бросался во всѣ стороны до войны буров включительно, но у него есть и черты, которыя, казалось бы, слѣдует цѣнить в русском человѣкѣ, онѣ так рѣдки у нас. Главное — это энергія. Но у него есть, кромѣ всѣх других свойств, горячая любовь к родинѣ. Он это неоднократно доказывал своими дѣйствіями и потому я не могу признать справедливыми, увы, довольно распространенныя обвиненія его в нелюбви к Государю.

Сейчас дѣло не в том или ином лицѣ. Вѣдь невозможно допустить, чтобы государство оставалось без правительственной исполнительной власти. Всякій энергичный человѣк, видя безглавое, безвольное правительство, в такую опасную для Россіи минуту считает своим долгом помочь этой разрухѣ; еще болѣе опасным является то, что всякія самочинныя организаціи, из любви к родинѣ и из чувства самосохраненія, стремятся занять пустое мѣсто правительства. Горемыкин, без сомнѣнія, почтенный человѣк, но не сумѣл, вслѣдствіи своей бездѣятельности, вызванной, вѣроятно, возрастом, сохранить необходимый авторитет среди нас, его сотрудников, и в Думѣ, да и вообще на Руси.

— «Так кого же вам нужно: Гучкова, Родзянко?»

—«Теперь военное время и может быть наилучшим разрѣшеніем вопроса было бы привлеченіе во главу правительства какого-либо генерала, достаточно популярнаго, выдвинутаго этой войной», — отвѣтил я.

— «Зачѣм всѣ нападают на Горемыкина? Он предан своему Государю. Вы всѣ должны ему помочь, всѣ должны исполнять свой долг».

— «Мы всѣ и будем исполнять свой долг не за страх, а за совѣсть и по мѣрѣ наших сил, но мы не должны скрывать того отсутствія правительства, отсутствія управленія страной, какое мы видим. Раз нѣт главы, который должен направлять политику, — нѣт правительства и мы, по долгу совѣсти, должны представлять это Государю и на этом настаивать, вот почему помогать Горемыкину мы не можем, это было бы против совѣсти».

— «Нужно больше мужества, министр внутренних дѣл слишком много позволяет писать и болтать, надо больше настойчивости и строгости», замѣтила Императрица.

— «Конечно», — сказал я, — «возможно введеніе диктатуры и управленіе страной этим, внѣ нормальных законов лежащим, порядком. Такой способ в наших необыкновенных условіях мыслим, но для этого нужен человѣк ума и воли, но, главное, нужно располагать войском, которое бы слѣпо шло за своим повелителем. Теперь такого войска нѣт. Войско это, при нынѣшней численности арміи и ея составѣ, — это вооруженный народ, милиція. Старые кадры легли на полях Галиціи, Царства Польскаго и Восточной Пруссіи. Опереться на войско в борьбѣ с внутренним настроеніем теперь никакой диктатор не может. Есть другой способ управленія, когда правительство опирается на общество, дѣйствует в тѣсном единеніи с обще-

ственными силами и тѣми, кому есть что терять от безпорядка, от нестроенія, и кто в сильной, правомѣрной, общественно настроенной власти видит свое спасеніе от всяких эксцессов толпы и от опасности внѣшней. Так управляют во всѣх странах, а в переживаемые историческіе моменты в особенности».

— «Вездѣ сплотились для работы на войну и за своего Государя, а у нас только умѣют бранить. Государь должен был уѣхать на фронт, легко-ли ему знать, что здѣсь дѣлается. Вы всѣ должны ему помочь».

— «Мы всѣ исполним свой долг до конца, но наши усилія будут безполезны — нѣт руководителя во главѣ правительства. Дума видит эту разруху и из любви к родинѣ, из чувства самосохраненія, старается найти выход из содавшагося положенія».

— «Государь не может уступить, дать немного — захотят большаго. Гдѣ остановиться и что останется от власти Государя?»

— «Он останется всегда Государем и Царем православным, какими всегда знала и любила царей во всѣ вѣка Россія».

Послѣ повторнаго уговора помочь Горемыкину и высказаннаго мною сомнѣнія, чтобы можно было теперь исправить то, что так основательно испорчено, и что едва ли могут сейчас установиться взаимно довѣрчивыя отношенія, столь необходимыя для совмѣстной, планомѣрной и энергичной работы. Государыня сказала: «Вѣдь Вы знаете, что дѣлают с полком, если между командиром и офицерами происходит нѣчто подобное случившемуся в Совѣтѣ Министров — его раскассируют».

«Мы только этого и просили», отвѣтил я.

Весь разговор длился около 45 минут.

С этого времени, судя по опубликованным письмам Государыни, росло недовольство Императрицы по отношенію ко мнѣ, либеральному Игнатьеву, которое закончилось лишь 27 декабря 1916 года — моей отставкой.

V.

20-го января 1916 года был получен указ о назначеніи Штюрмера предсѣдателем Совѣта Министров.

На слѣдующій день я по телефону спросил Штюрмера, когда он может меня принять. Было назначено в 7 часов вечера на его частной квартирѣ.

Наш разговор носил опредѣленный характер. Я заявил, что люблю свое дѣло и могу работать только в том направленіи, в каком работал до сих пор. Измѣнить свои взгляды на Государственную Думу и общественность я не могу и не желаю, так как это мои основные принципы, а потому, думается мнѣ, самое лучшее нам разстаться. Я просил Штюрмера считать мой портфель свободным, если он не может согласиться с моим направленіем работы. Однако, к моему глубокому удивленію, Штюрмер стал упорно возражать. Он сказал мнѣ, что не видит основанія нам разставаться и что если он со мною по нѣкоторым вопросам, видимо, расходится, то во всяком случаѣ приложит всѣ силы, чтобы войти в контакт и сговориться с общественностью. Я выразил сомнѣніе, чтобы это было теперь уже возможно без коренного измѣненія точки зрѣнія правительственной власти на общественность. Заплатами дѣла не поправишь. Я заявил Штюрмеру, что если он не будет мѣшать мнѣ работать, то я попробую вести дѣло, которое я полюбил. Однако, я сомнѣваюсь в том, что при создающихся условіях возможно будет мнѣ работать, а потому сочту долгом представить свои соображенія Государю и испросить его указаній и, если мое направленіе не вполнѣ соотвѣтствует его видам, я буду настаивать на своей замѣнѣ.

На слѣдующій день при докладѣ я стал просить Государя отпустить меня, так как я потерял надежду что-либо сдѣлать при сложившихся обстоятельствах, а занимать свой пост безцѣльно не могу, да и к тому же здоровье не крѣпкое и пора мнѣ смѣну дать.

На это мнѣ было сказано, что надо продолжать работать, из окопов не бѣгут вѣрные их защитники.

На это уже не приходилось возражать и я отвѣтил, что покидать окопы у Чернышева моста было бы теперь с моей стороны неправильно, не позволяют мнѣ настаивать на своей просьбѣ, но работать против совѣсти я не буду, я буду безповоротно стремиться к тѣм цѣлям, к каким я до сих пор шел и тѣми же путями; измѣниться я не могу.

На это мнѣ было сказано, что Штюрмер именно призван установить соглашеніе между Думой и правительством, сгладить отношенія с обществом.

Я замѣтил, что цѣль правильная, но пригоден ли избранный способ, покажет ближайшее будущее.

Доклад закончился фразой: «продолжайте работать по прежнему».

Мой отвѣт был: «слушаюсь, буду сидѣть и исполнять свой долг в окопах у Чернышева моста».

Таким образом пришлось пребывать в составѣ этого новаго министерства; я, однако, предупредил о своем несогласіи с общим направленіем.

Не могу не отмѣтить, что, желая, вѣроятно, подчеркнуть правдивость своего увѣренія, Штюрмер истребовал от всѣх министров программныя, по дѣятельности каждаго вѣдомства, соображенія. План дѣятельности Министерства Народнаго Просвѣщенія он помѣстил почти полностью в своем обращеніи к Государственной Думѣ, по поводу возобновленія ея сессіи. Вообще, первое время, несмотря на ухудшившійся значительно состав министров, Штюрмер старался установить болѣе нормальныя отношенія. Его вступительная рѣчь была попыткой, хотя и слабой, найти общій язык.

Штюрмер, однако, совершенно не был в курсѣ дѣла, а потому оно и не могло наладиться. Вмѣстѣ с тѣм Штюрмеру хотѣлось играть нѣкоторую фактическую роль, в особенности в области иностранных сношеній. Вот почему его отношенія с Сазоновым очень скоро стали обостряться.

Перемѣны в министерствах не остановились. Считавшійся формально министром путей сообщенія Рухлов фактически с лѣта 1915 года находился в отпуску для лѣченія в Ессентуках. Все время этого страннаго, в столь сложное время, отпуска министерством управлял Думитрашко. Наконец Рухлов был смѣщен и на его мѣсто назначен Александр Трепов.

Сошел с политическаго горизонта Алексѣй Хвостов, послѣ его исторіи с Распутиным. Его замѣнил Александр Хвостов, а пост министра юстиціи занял Макаров.

Работа в Совѣтѣ Министров дѣлалась для меня крайне тяжелой, напряженной и нервной. В сущности, только с одним Покровским мы были болѣе или менѣе единомышленны. Но Покровскій, при всѣх своих больших качествах, по существу был человѣком апатичным, мало интересующимся общей политикой и во всяком случаѣ не человѣком борьбы.

С Барком у меня были также недурныя отношенія, но и он вести политическую борьбу не мог, да и по своим политическим убѣжденіям не мог не примыкать по многим вопросам к группѣ лиц, болѣе право настроенных.

Наумов, хотя и общественно настроенный, по своим политическим убѣжденіям тоже был правѣе Покровскаго и меня и в политической жизни был совершенным новичком.

Сазонов почти стушевался и даже старался не принимать

участія в засѣданіях Совѣта, предоставляя Нератову замѣщать его.

Относиться совершенно безучастно ко всему, что рѣшалось в Совѣтѣ Министров, я не мог, а вмѣстѣ с тѣм я совершенно не был приспособлен не только к веденію систематической политической борьбы в качествѣ руководителя, но и вообще не был подготовлен к такой борьбѣ. Мнѣ хотѣлось лишь провести в жизнь тѣ реформы, которыя я себѣ намѣтил в вѣдомствѣ. Моя роль в Совѣтѣ заключалась в том, чтобы слѣдить за тѣм, что там говорится, и рѣзкими выступленіями мѣшать проведенію того, что, по моим убѣжденіям, было неправильно или вредно. Я сознавал, что большой пользы это приносить не могло, так как являлось выступленіями спорадическими и я чувствовал, что за кулисами могут продѣлывать все, что угодно, без нас.

В моих выступленіях нерѣдко меня поддерживал Наумов, почти всегда Покровскій, но наиболѣе серьезныя дѣла до Совѣта и не доходили.

Было организовано совѣщаніе предсѣдателей особых совѣшаній, которые в сущности все и дѣлали.

Первую скрипку стал играть все энергичнѣе Александр Трепов, человѣк, безусловно, неглупый, энергичный, но крайне скрытный и склонный к интригѣ.

Чувствовалось, что он ролью Штюрмера не доволен, но поддерживает его, как принадлежащаго к той же группѣ праваго крыла Государственнаго Совѣта. В первую голову он стал вести борьбу с Сазоновым, считая его человѣком лѣвых убѣжденій, находящимся под вліяніем П. Н. Милюкова. Это ему удалось. Сазонов вышел в отставку, но замѣщен не был, так как Штюрмер сам взял на себя управленіе министерством иностранных дѣл.

Этот 1916 год был самым тяжелым в моей жизни. Постоянное нервное напряженіе, чувство, что что-то скрывается, за что принимаешь на себя нѣкоторую нравственную отвѣтственность, и вмѣстѣ с сим сознаніе собственнаго безсилія и неумѣнія вести борьбу против этого зла, — совершенно разстроили мои силы.

Гр. П. Н. Игнатьев.

(Окончаніе слѣдует)

ВОСПОМИНАНІЯ О М. П. ДРАГОМАНОВѢ

А. Баулер

ПРЕДИСЛОВІЕ

А. Баулер — литературное имя Александры Васильевны Гольштейн (Holstein), рожденной Баулер, по первому мужу Вебер. Прожившая «от крѣпостного права до большевиков» (родилась в 1850, умерла в 1937 г.), А. В. Гольштейн была одной из самых замѣчательных русских женщин старшаго — для нас — поколѣнія.

В сущности говоря, А. В. принадлежала к таким же значительным фигурам русской эмиграціи, как в болѣе раннее время Герцен и Огарев и люди их круга, хотя и пользовалась она гораздо меньшей извѣстностью.

А. В. выѣхала из Россіи в началѣ 1870-х годов и застала еще в живых Бакунина, идеи и личность котораго на нѣкоторое время ее вполнѣ захватили. Отрывок воспоминаній А. В. о Бакунинѣ, помѣщенный когда-то в «Былом» (1907, іюнь) дает яркій образ Бакунина, каким его увидѣла А. В., — уже старца, но все еще неукротимаго.

Вмѣстѣ с Владиміром Августовичем Гольштейн, за котораго она потом вышла замуж, А. В. приняла участіе в одной из попыток возстанія, предпринятой итальянскими Бакунистами. Этот случай ея жизни разсказан в воспоминаніях ея сына, лектора Вебера. Едва избѣжав ареста и смерти, А. В. переѣхала затѣм в Швейцарію, а потом в Париж, гдѣ уже и обосновалась со своим вторым мужем, В. А. Гольштейном, котораго она всегда называла просто «Гольштейн».

Хотя в теченіи своей парижской жизни А. В. и продолжала интересоваться политикой, активнаго участія в революціонных дѣлах она больше, сколько я знаю, не принимала, тѣм болѣе, что и взгляды ея становились постепенно болѣе умѣренными, как то видно и из печатаемых здѣсь ея воспоминаній о Драгомановѣ. Вообще, она и не могла бы жить исключительно политикой: — ея интересы были всегда очень широки, она

интересовалась и литературой и живописью и соціологіей и философіей (одно время в особенности философіей буддизма). У нея самой был несомнѣнно крупный литературный талант. К сожалѣнію, воспоминанія ея об ея дѣтствѣ в деревнѣ изданы были только по-англійски (в переводѣ Доры Монтефіоре). При всей властности и страстности ея натуры, в ней никогда не было узости и мелочной предвзятости.

К людям — и своего поколѣнія и к молодежи — у нея был живой интерес и большая чуткость. Вмѣстѣ с тѣм она далеко не всѣх «признавала», но раз «признав» была уже дружбѣ вѣрна. Можно сказать, что у нея был особый дар «большой» дружбы, котсрый рѣдко у кого бывает, в особенности в наше время. Дружескія отношенія были для нея не поводом только к пріятному препровожденію времени, а всегда чѣм-то значительным. Дружба с ней была скорѣе духовным сотрудничеством, двигавшим людей всегда куда-то вперед.

В числѣ ея близких друзей были и «пріютинцы», о которых она упоминает в печатаемых ниже воспоминаніях. Содружество или «братство» «пріютинцев» возникло в концѣ 188●-х годов в Петербургѣ. В основѣ «братства» был кружок студентов и молодых преподавателей Петербургскаго университета и их друзей. В кружкѣ были и юноши и дѣвушки. Многіе со временем переженились.

В «братство» входили между прочим: братья С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбург, кн. Д. И. Шаховской, А. Н. Сиротинина (вышедшая затѣм замуж за Д. И. Шаховскогс), В. И. и Н. Е. Вернадскіе, И. М. и М. С. Гревс, А. А. Корнилов и др. На фонѣ чисто политическаго, при том обычно соціалистическаго уклона тогдашних кружков, «братство» представляло собою явленіе исключительное. Это было об'единеніе во имя нравственных начал. Хотя конечной цѣлью устремленій братства и было «служеніе народу» или даже «переустройство человѣчества», но путь к этому должен был вести прежде всего через самоусовершенствованіе и духовную работу над собой членов самаго «братства». В этом отчасти проявлялось вліяніе Л. Н. Толстого, душевный переворот котораго как раз и произошел в тѣ же приблизительно годы. Как и Толстой, члены «братства» проповѣдывали «опрощеніе» и необходимость физическаго труда. Одно время у них был даже план купить имѣніе для совмѣстной обработки земли. Имѣніе, намѣченное для этой цѣли, называлось «Пріютино», — отсюда и названіе братства. Предпріятіе это, впрочем, по разным причинам не осуществилось.

При всем том «пріютинцы» отнюдь не были «толстовцами»: умственный трудъ былъ с их точки зрѣнія цѣннѣе физическаго; ни культуры, ни государства они не отвергали. Девизом их было: «потреблять как можно меньше и производить как можно больше». О пріютинском братствѣ разсказал один из членов его, А. А. Корнилов, в статьѣ «Молодые годы Ф. Ф. Ольденбурга» (Русская Мысль, августъ 1916 года); о «пріютинцах» упоминается также в недавно вышедшей книгѣ О. Кайдановой «Очерки по исторіи народнаго образованія в Россіи и СССР», т. I (1938), стр. 89.

Воспоминанія свои о М. П. Драгомановѣ А. В. Гольштейн начала писать по моей просьбѣ незадолго до своей смерти. Они остались, видимо, не совсѣм отдѣланными. Послѣ ея смерти ея сын, докторъ Вебер, переслал мнѣ найденную им в бумагах ея рукопись. Приношу ему за это благодарность. Считаю нужным отмѣтить, что в текстѣ Воспоминаній редакція «Новаго Журнала» сдѣлала небольшія сокращенія и стилистическія измѣненія.

Г. В. Вернадскій.

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ

М. П. Драгоманов был одним из самых видных членов русской политической эмиграціи 19-го вѣка. Я познакомилась с ним не сразу послѣ его эмиграціи в 1876 году. Мы тогда жили в Парижѣ, а Драгоманов пріѣхал в Женеву. О его пріѣздѣ тогда уже много говорили. Отрицая всякіе чины, титулы и званія, эмигранты очень гордились, когда в их среду входили люди с положеніем, — полковник Соколов*) был всегда украшеніем эмиграціи, не представляя из себя ровно ничего. Теперь в эмиграцію входил настоящій профессор университета, профессор исторіи! Мнѣ о нем прежде всѣх сказал П. Л. Лавров, котораго я знала с дѣтства. Лавров говорил о нем с опасливым недоброжелательством. Такое враждебное отношеніе к Драгоманову было удѣлом всей его эмигрантской жизни. Никогда ему не удавалось угодить эмигрантам, может быть потому, что он никогда об этом не заботился. Враждебное

*) Н. В. Соколов, в 60-х годах сотрудник «Русскаго Слова», автор конфискованной книги «Отщепенцы». Стал эмигрантом в 1872 году послѣ бѣгства из ссылки, примыкал к «бакунистам». (Ред.).

отношеніе нас, тогда молодых людей, может об'ясниться умонастроеніем тѣх времен. Всѣ мы были тогда болѣе или менѣе соціалистами, очень плохо знавшими что такое соціализм. Мы вѣчно боялись «отстать от вѣка», искали какого-то «послѣдняго слова». Либерализм шестидесятых годов устарѣл, соціализм стал этим послѣдним словом. Мы уже знали, что есть Карл Маркс, необыкновенная книга «Капитал», книга трудная для людей неподготовленных. Казалось, что соціализм и есть настоящій способ создать благополучіе «народа». А «народ» в тѣ времена это были мужики, пожалуй рабочіе, всѣ остальныя сословія как будто не существовали или были враждебны «народу». Так могли думать молодые недоучки, а Лавров? Он был не молод, был профессором механики в Военной Академіи. Хотя Драгоманов называл его «ученым из кадет», но от него можно было требовать вдумчивости и серьезнаго отношенія к вещам. В Россіи он был либералом, заграницей приблизился к марксизму. Нетерпимость молодежи охватила его: все, что не с нами, то против нас. Таков был партійный дух, хотя партій не было.

Драгоманов пріѣхал в Париж и всѣх удивил: он сдѣлал визиты всѣм эмигрантам, был и у нас.

Наше первое впечатлѣніе было прекрасное. Драгоманов особенно понравился Гольштейну, — отчасти, думала я тогда, от особой нелюбви к Лаврову: раз Драгоманова Лавров не признает, значит Драгоманов хорошій человѣк. Но помимо всяких сторонних соображеній сразу прельщала манера Драгоманова себя держать. В его поведеніи не было ничего свѣтскаго, никакой любезности, но совсѣм особая, спокойная простота, как бы внушенная абсолютным сознаніем своего достоинства. Никакой профессорской важности. Разговор простой, с пріятным юмором, или не злой насмѣшкой; внимательное выслушиваніе чужих мнѣній, — что позволяло настоящій обмѣн мыслей. Все это вызывало симпатію. Его наружность подтверждала и усиливала впечатлѣніе. Это был человѣк средняго роста, с пріятным лицом. Красивым его нельзя было назвать, но широкій, высокій лоб, наверх зачесанные каштановые волосы, и особенно большіе, глубоко сидѣвшіе глаза, зоркіе и насмѣшливые, дѣлали это лицо значительным, не обыкновенным.

Эмигранты того времени всегда переѣзжали из одной страны в другую, искали вѣчно мѣста, гдѣ «оскорбленному есть чувству уголок», а его не было нигдѣ, кромѣ далекой и недоступной родины.

Не помню в каком году переѣхали и мы из Парижа в Женеву. С этого времени и начинается наша тѣсная, сердечная дружба со всей семьей Драгоманова, но особенно с ним самим.

Михаил Петрович был уроженец Полтавской губ., сын небогатых дворян помѣщиков. Его родители были украинцы. Сам он был типичным хохлом по всему складу своего ума и характера. Склад ума Михаила Петровича, по моему мнѣнію, был малороссійскій. Никогда я в Малороссіи не была, но знала довольно много украинцев и всегда мнѣ казалось, что они значительно отличаются от нас, великороссов. Среди них мало видѣла фантазёров, они всегда казались мнѣ даже лишенными фантазіи, граничащей с мистикой, в широком смыслѣ этого слова. Они реалисты. Даже у Шевченки, кажется мнѣ, нѣт чего-то заходящаго за дѣйствительность, как у великорусскаго поэта, даже второстепеннаго, исключая, может быть, Некрасова, про котораго многіе когда-то говорили, что его поэзія — передовыя статьи в стихах... Михаил Петрович обладал большим умом, точным, логичным, раціональным, рѣдко отходившим от дѣйствительности. Приведу один примѣр, который мнѣ говорит очень много. Раз говорили о безсмертіи души, в которое Драгоманов не вѣрил. Он мнѣ привел слова своей матери, или тетки — не помню: «как же, Мишенька, вѣрить в это, когда всякій мертвец так смердит?» Михаил Петрович говорил это, конечно, насмѣшливо, но с явным одобреніем. Конечно, у него были другія основанія не вѣрить в безсмертіе души, но такой крайній реализм, такая полная невозможность отдѣлиться от видимой и ощущаемой дѣйствительности, казались ему пожалуй и правильными. Его собственная мысль была глубокой и совершенно самостоятельной; он никогда не соображался с какими бы то ни было ходячими, общепринятыми сужденьями. Так он думал, и что бы ни думали другіе, это ему было совершенно безразлично. Рѣдкая самостоятельность мысли принесла ему много непріятностей, но он думал и говорил только свое. Он часто с восторгом повторял слова Лютера: "Hier stehe ich; ich kann nicht anders", очевидно примѣняя это и к себѣ.

Большим недостатком склада его ума было отсутствіе эстетическаго чувства. Он думал, что во всяком литературном произведеніи болѣе всего важно, какую «идею» оно выдвигает. Так, он не только не цѣнил, а прямо не любил и не признавал Пушкина. «Нечего вам, кацапы, хвастаться своим Пушкиным», говорил он. «Ни у одного народа, кромѣ вас, нѣт поэта, который воспѣл бы донос, а вот Пушкин воспѣл, а вы

восторгаетесь и этими стихами». Это относилось к «Полтавѣ» и Драгоманов не без негодованія цитировал «донос на гетмана злодѣя царю Петру от Кочубея» и т. д. В представленіи Пушкина Мазепа был настоящій злодѣй — возможно, что для Драгоманова Мазепа был иным. Вѣдь Рылѣев в своей поэмѣ «Войнаровскій» смотрѣл на Мазепу как на «патріота неудачника». Лично от Драгоманова я не слышала мнѣнія о Мазепѣ, а может быть и забыла. Драгоманов не понимал великой красоты стиха «Полтавы», и это об'ясняется отсутствіем у него эстетическаго чувства. Он любил Тургенева, лично его знал и считал самым знаменитым русским писателем, но Гончарова не любил и, посколько помню, никого другого из русских писателей. Таков был он и в музыкѣ... Он совершенно не понимал глубины великорусских народных пѣсен, но любил украинскія народныя пѣсни. Великих музыкантов, как Бетховен, Моцарт и проч. он слушал с интересом, но и эти гиганты его не захватывали. То же можно сказать и про живопись или скульптуру. Он смотрѣл картины с интересом, потому что серьезно интересовался всяким проявленіем жизни и человѣческой дѣятельности. В картинах его интересовал «сюжет», все остальное оставалось ему чуждым.

Странно, что ученый филолог был совсѣм не способен к иностранным языкам. Послѣ долгой жизни в странѣ французскаго языка он так и не выучился хотя бы порядочно говорить по-французски. А теоретически он знал французскій язык прекрасно, мог поправлять ошибки в классных сочиненіях своих дѣтей. Ему был чужд дух языка, пониманіе его оттѣнков. Так, напр., однажды он говорил небольшую рѣчь по-французски на могилѣ одной русской дѣвушки трагично умершей, и начал эту рѣчь просто словами: ::"Cette fille", к великому смущенію присутствовавших французов и нѣкоторых русских, говорившихся по-французски на том нарѣчіи, что нѣкоторые французы называли: "le charmant jargon de la Néva", (без ироніи, в большую похвалу). Читал он свободно и по-англійски и по-итальянски. Прибавлю, что отлично знал и помнил латинскій язык. Как часто с серьезными замѣчаніями он поправлял моему сыну его классные переводы с французскаго языка на латинскій.

Тот, кто никогда не слышал разговора Драгоманова и только читал его статьи или брошюры, не может имѣть представленія о том языкѣ, на котором говорил Михаил Петрович. Собесѣдник он был неподражаемый, веселый, остроумный, изящный. Какія-то самыя неожиданныя слова и выраженія

сыпались, увлекали, побѣждали даже совсѣм враждебных ему людей. В спорах он был непобѣдим, если отстаивал то, что считал важным, и спорил серьезно. Его желѣзная логика, при внимательном пониманіи мысли противника, не злыя, но мягкія насмѣшки и шутки, быстро заставляли противника сдаться. Если противник был умный человѣк, лишенный мелкаго самолюбія, то часто оставался с отличным мнѣніем о Драгомановѣ, а иногда даже подпадал под его вліяніе; но самонадѣянные, самолюбивые люди становились его врагами. Драгоманов с этим не считался и в отвѣт на недружелюбныя выходки только посмѣивался своим коротким, точно затаенным смѣхом.

От красоты и блеска разговора Михаила Петровича нѣт и слѣда в его писаніях. Язык их тяжелый, даже неуклюжій, сухой. Нѣкоторые думали, что это зависит от того, что он писал на великорусском языкѣ, а не на своем природном малороссійском. Но настоящіе хохлы, из крестьян, говорили, что Драгоманов совсѣм плохо говорит по-украински, что понятно при его великорусском образованіи, от первых классов гимназіи до магистерской диссертаціи. Думается, что и тут главную роль играл его недостаток — отсутствіе эстетическаго чувства. Он считал форму чѣм-то очень второстепенным. Когда я ему раз сказала, что ему надобно было бы отдѣлать язык своих сочиненій, он совершенно серьезно отвѣтил: «Книга, сударыня, не проститутка и никаких украшеній не требует».

В личной жизни Михаил Петрович был прежде всего примѣрным семьянином, прекрасным отцом и мужем. Его жена, Людмила Михайловна, носила еще слѣды рѣдкой красоты. По матери, кажется, она была полькой. Драгоманов часто шутя говорил: «Наша Людмила не без польской интриги», Людмила Михайловна сердилась. Своих мыслей у нея было мало, она усвоила всѣ взгляды мужа. В практической жизни разбиралась отлично, и без нея Драгоманову пришлось бы плохо.

В тѣ времена среди эмигрантов еще не забывалось «хожденіе в народ» и связанное с этим «опрощеніе» жизни. Многіе эмигранты из помѣщиков, привыкшіе к болѣе или менѣе комфортабельной жизни, в Женевѣ жили почти без мебели и элементарных удобств. Благодаря Людмилѣ Михайловнѣ, ея заботам, работѣ, ея практичности, жизнь Драгомановых была «приличная» — их дешевая, но хорошая, довольно просторная квартира была хорошо меблирована, хотя и дешевой мебелью. И ѣда у них была «настоящая»: Людмила Михайловна ухитрялась ежедневно имѣть недурной обѣд, с супом, мясом, зеленью. А денежныя их средства состояли из крошечнаго дохода Люд-

милы Михайловны с какого-то имѣньица в Россіи и заработка Михаила Петровича от статей в «Вѣстникѣ Европы». В эмиграціи за эту «буржуазную роскошь» Драгомановых осуждали!

У Драгомановых было трое дѣтей: старшая дочь Лидія, которая была почти барышней (лѣт 11—14?), вторая дочь Аріадна и сын, родившійся гораздо позднѣе. Михаил Петрович об'явил, что сына назовет настоящим славянским именем — Свѣтозаром, потому что всѣ «Борисы и Владиміры» ему надоѣли и стали уже, — со смѣхом прибавлял он, — именами не русскими, а еврейскими. «Свѣтозара — говорил он, — я посвящаю Александрѣ Васильевнѣ (мнѣ) и Кузьмѣ». Кузьма, который никогда не был «Кузьмой», а Антоном Михайловичем Ляхоцким, был полноправным членом Драгомановской семьи.

Как с точностью опредѣлить политическіе взгляды Михаила Петровича? Мы тогда думали и говорили — не без осужденія, — что он «либерал». Для Россіи он считал необходимым прежде всего конституцію. Конечно, он был украинофилом, но никогда не был тѣм, что впослѣдствіи называлось самостійником. Раздѣленія Россіи он отнюдь не желал. Россія ему представлялась как единое цѣлое — федеративное государство с самоуправляющимися отдѣльными частями. «С кацапами, — говорил он иногда, — мы, украинцы, всегда сживемся, у нас и вѣра одна, а вот с поляками это труднѣе». Но ненависти ни к полякам, ни к евреям он никогда не имѣл. Он не терпѣл вообще никакого «человѣконенавистничества». Желал ли он для Россіи республики? Не знаю, во всяком случаѣ республиканскаго пафоса у него, насколько помню, не было. Революціонером тоже не был лично, но разумѣется революціи не отрицал. К самодержавію относился враждебно. Тѣм не менѣе, когда был убит Александр II-ой и эмигранты в Женевѣ устроили какое-то собраніе для чествованія этого событія, Драгоманов отказался присутствовать на этом собраніи и отвѣтил приглашавшим его: «Я не краснокожій и не могу плясать над трупом врага». Он говорил: «Вчера уничтожилось крѣпостное право, а вы хотите сегодня вчерашним крѣпостным, да еще безграмотным, соціализм проповѣдывать!»

Его политическіе взгляды вызывали в массѣ эмигрантов рѣзкое неодобреніе, но выдающаяся личность Драгоманова все же внушала почтеніе. Его побаивались, боялись его ума, его колючаго языка. Русскій террор вызывал восхищеніе не только в русских кругах, но и во французских. Elisée Reclus, извѣстный географ, высказывал восторг: "J'admire ces jeunes filles et ces jeunes gens qui vont, risquant leure vie, tuer les

ennemis du peuple", — говорил он. И вдруг Драгоманов, русскій, не признает террора. Он говорил, что всякій человѣк может совершить политическое убійство, это его дѣло, за него он лично и отвѣчает. Но включать террор в программу партіи он считал непозволительным.

Если Драгоманова осуждали за «буржуазныя наклонности», то в его отношеніи к террору видѣли явную вражду к революціи, — преступленіе, которое не прощалось. Драгоманов написал брошюру, гдѣ высказал свои взгляды. Возмущеніе не знало границ. Многіе с Драгомановым перестали кланяться.

Около него образовался кружок. К нему принадлежала и я. Между нами и большинством эмиграціи происходили довольно частыя столкновенія, прекращались отношенія, создался раскол эмиграціи.

В личных отношеніях с эмигрантами Драгоманов был неизмѣнно дружествен. Несмотря на свои ограниченныя средства, всегда помогал денежно, давая в долг — очень часто без отдачи; всегда давал совѣты, когда кто-нибудь писал статьи; иногда справлялся в публичной библіотекѣ; часто, по просьбѣ автора, посылал статьи в журналы с рекомендаціей. Не стоит и говорить о всегда привѣтливом пріемѣ в домѣ Драгомановых всѣх и каждаго.

Вражда эмигрантов, кажется, его удручала. Он стал чаще бывать у нас, точно ему было легко с людьми, не только его не осуждавшими, но согласными с его мнѣніем и его глубоко уважавшими. Волненія того времени были одной из причин серьезной болѣзни, которая свела его в гроб через нѣсколько лѣт. Так думала и говорила мнѣ его жена, так думали и мы.

Интересно, что настоящіе террористы в Россіи относились к нему иначе, чѣм женевскіе революціонеры. Мы, люди давно близкіе к Михаилу Петровичу, знали, что он видится с людьми, тайно пріѣзжавшими из Россіи. Видѣлся он с ними не в Женевѣ. От времени до времени Драгоманов вдруг уѣзжал куда-то. Куда? Никто этого не знал, да и не спрашивал. Возвращаясь, он иногда говорил неопредѣленно: «А в Россіи плохо», или «А в Россіи все же стало лучше». Ничего больше он не говорил, мы ничего не спрашивали.

Мнѣ казалось и кажется вѣроятным, что Драгоманов видѣлся с Желябовым, или сносился с ним через кого-нибудь из пріѣзжавших заграницу*). Когда на него накинулись за

*) Факт сношеній Драгоманова с Желябовым, о которых догадывалась А. В. Баулер, в настоящее время установлен. Трудно ска-

его брошюру о террорѣ, он сказал мнѣ: «Дурачье! Вѣдь я писал эту брошюру по порученію Желябова, просившаго меня именно так об'яснить на западѣ русскій терроризм». Лгать Драгоманов не мог, да еще близким людям, перед которыми ему было бы совершенно безсмысленно оправдывать свое поведеніе, ими всемѣрно признаваемое правильным.

В числѣ людей, стоявших тогда на сторонѣ Драгоманова, — их было немного — назову прежде всѣх Кравчинскаго, убившаго Мезенцева. Кравчинскій, сблизившись с Драгомановым, стал конституціоналистом, т. е. «драгомановцем», как начали называть раздѣлявших мнѣніе Драгоманова о террорѣ. Хотя, как я сказала, «драгомановцев» было немного, но память измѣняет мнѣ и я боюсь, что не всѣх помню.

Назову Ф. К. Волкова, литератора, украинофила будто бы непримиримаго, но скептика во всем, и Зелинскаго, котораго Драгоманов называл «читателем», потому что Зелинскій много читал, всегда помнил прочитанное и мог точно сказать, в каком журналѣ и в каком мѣсяцѣ была помѣщена та или другая статья*). «Драгомановцами» были Гольштейны. К этим людям надо прибавить нѣсколькихъ человѣк, опасливо сочувствовавших, не активных и не входивших в тѣсное общеніе ни с «драгомановцами», ни с Драгомановым, и, конечно, А. М. Ляхоцкаго — Кузьму, настолько близкаго к семьѣ Драгоманова, что он мог считаться членом этой семьи, но эта близость никогда не мѣшала ему имѣть свое мнѣніе, всегда независимое.

Время шло и совершились два факта, имѣвшіе очень большое вл яніе на жизнь Драгоманова.

Старшая дочь его Лидія вышла замуж за болгарина Шишманова, кажется профессора Софійскаго университета. Надо сказать, что в то время в Женеву пріѣзжало много болгар студентов и почти всѣ они познакомились с Драгомановым, постоянно у него бывали и очень цѣнили его ум, его идеи, и просто его, как удивительнаго и хорошаго человѣка. На эту болгарскую молодежь Драгоманов имѣл очень большое вліяніе.

зать, о какой «брошюрѣ» идет рѣчь, т. к. Драгоманов нѣсколько раз печатно выражал свои взгляды на террор. (Ред.).

*) Ф. К. Волков был учеником Драгоманова по Кіевскому Университету и членом Кіевской Громады. Позднѣе он был хранителем этнографическаго отдѣленія Музея Александра III и профессором Петербургскаго Университета по антропологіи и этнографіи. О. В. Зелинскій, революціонер 70-х г.г., был в эмиграціи с 1879 года (Ред.).

С этим совпало оскудѣніе денежных средств Кіевской Громады, поддерживавшей изданія Михаила Петровича.

Шишмановы задумали перевести отца в Софію и устроили приглашеніе его профессором в Софійскій университет. Драгоманову казалось, что его дѣятельность заграницей уже почти невозможна и он предложеніе принял.

Нас в Женевѣ уже давно не было — мы снова переѣхали в Париж. О своем рѣшеніи Михаил Петрович написал и в письмѣ чувствовалось, что переѣзд в Болгарію его не восхищает. Писал, что пріѣдет в Париж проститься — и пріѣхал.

Тѣм временем в Парижѣ мы узнали о сушествованіи «пріютинцев» через пріѣхавшаго в Париж Вернадскаго; кажется мнѣ, что кромѣ него никто из «пріютинцев» в Парижѣ не был. Драгоманов и Вернадскій сошлись сразу и очень близко. Они вдвоем ѣздили в Медон и там цѣлый день ходили по лѣсу и разговаривали. Послѣ этого разговора, смысла котораго я не знала, Михаил Петрович сказал мнѣ: «очень жалѣю, что Вы не сказали мнѣ, что знаете таких русских людей, — если бы я знал их раньше, я бы не уѣхал в Болгарію, а работал бы с ними». Эти слова, которыя помню точно, показывают, как ошибочно мнѣніе, что Драгоманов был ненавистником великороссов и украинцем самостійником, употребляя современный термин. Хочется сказать, что Украина была его родиной, а Россія его отчизной.

Послѣ от'ѣзда Драгоманова в Софію, украинская типографія в Женевѣ осталась без всякой поддержки и Кіевской Громадѣ не была нужна. Антон Михайлович Ляхоцкій — Кузьма, упорный хохол, не хотѣл, чтобы зря пропало «громадское добро», он оставил типографію за собой, и многіе годы содержал ее всякими работами, какія ему попадались, печатал все, что дают, а не только революціонныя изданія.

Мы тогда жили на Avenue Wagram. Когда я уѣзжала с дѣтьми лѣтом, в этой квартирѣ оставался только мой муж. Иван Михайлович Гревс, тогда пріѣзжавшій на лѣтнія вакаціи в Париж, всегда останавливался в этой квартирѣ. Послѣ своего от'ѣзда в Софію, Михаил Петрович тоже лѣтом пріѣзжал в Париж и тоже жил на «Ваграмкѣ», как называлась эта квартира на семейном жаргонѣ.

Не помню точно, когда выяснилось, что Михаил Петрович болен, что у него расшіреніе аорты (от него он и скончался). Это было или незадолго до его от'ѣзда в Софію или уже в Софіи. Знаю только, что он ѣздил в Германію к какому-то знаменитому доктору, который эту болѣзнь опредѣлил. Михаил

Петрович разсказывал об этом своем визитѣ со смѣхом: «Умный нѣмец. Говорит мнѣ sprechen Sie nicht. А я ему говорю, как же я могу не sprechen, когда я профессор? А он сейчас же меня утѣшил: dann schreien Sie nicht — ну, это я могу». И очень смѣялся, хотя думается, что он отлично знал серьезность своего положенія. Для нас это был большой удар. Мы знали, что его дни сочтены, и когда он уѣзжал назад в Софію, было тяжело, все думалось: увидимся ли мы еще?...

Возвращаясь к жизни Драгоманова на «Ваграмкѣ» с Гревсом и Гольштейном скажу, что жили они не только дружно, но весело. Шутили друг над другом, писали стихи.

Драгоманов сразу очень полюбил и оцѣнил Гревса. Он мнѣ раз сказал, что таких людей он в жизни встрѣчал мало; «да их и на свѣтѣ мало», — прибавил он. Гревс тоже полюбил Драгоманова, но оцѣнил его как ученаго выше его настоящей цѣнности, что происходило от особенности характера Ивана Михайловича. Скромность вообще, конечно, добродѣтель, но у Гревса она была пороком. Себя он никогда не дооцѣнивал, всегда в себѣ сомнѣвался, а других считал выше себя.

Гольштейн и Драгоманов, два поэта мужской коммуны на «Ваграмкѣ», всегда писали стихи на Гревса. Не знаю Гольштейн или Драгоманов написал слѣдующее стихотвореніе:

Ходит Гревс в волненіи
Не находит мѣста.
Мучают сомнѣнія,
Мучает дигеста.
Отзыв дал мнѣ мѣткій
Лапа Данилевскій,
Что вся суть исторіи
В формулах, в табличках.
Вот он какой Лапа
Не то, что Аничков.
Надо было б справиться,
Нѣт ли тут обманов,
Что об этом думает
Вячеслав Иванов?

Всѣ стихи Драгоманова, написанные его рукой, я передала Ляхоцкому-Кузьмѣ, который напечатал их на отдѣльном листѣ. Куда они дѣвались послѣ смерти Кузьмы, не знаю.

Стихи писались на всѣ случаи жизни на «Ваграмкѣ».

Крупных событій не было, писали на всякій маленькій случай. Так Драгоманов написал:

Этот Гревс всегда премило
Трудный разрѣшит вопрос:
Чайник лопнул у Людмилы,
Он ей свой сейчас принес.

В другой раз по случаю от'ѣзда Леони, нашей прислуги, которая им служила, Драгоманов написал довольно длинное стихотвореніе, начало его не помню. Оно начиналось хвалой Леони и всѣх удобств, ею доставлявшихся, и кончалось так:

А вчера без той дѣвицы
Двѣ ученыя тупицы
Чуть чуть кухню не сожгли,
А провизій не нашли.

Гревс обидѣлся не за себя, а за Драгоманова и совершенно серьезно сказал ему, прочитав стихотвореніе: «Зачѣм вы, Михаил Петрович, себя тупицей назвали? Это не хорошо, вы сами знаете, что это неправда». Про себя, я увѣрена, Гревс думал, что он тупица или нѣчто в этом родѣ.

Так забавлялись пожилые, умные и ученые люди во время лѣтних вакацій в Парижѣ.

При всяком своем пріѣздѣ из Софіи Драгоманов вспоминал об этой жизни на «Ваграмкѣ», в сущности, помнил ее почти до конца своей жизни.

Послѣ от'ѣзда Драгоманова в Софію, общенія между нами было мало. Писали мы друг другу рѣдко. У меня составилось убѣжденіе, что жизнь Михаила Петровича в Болгаріи была неинтересная.

Его неизлѣчимая болѣзнь шла вперед и погубила его. Он скончался в Софіи в 1895 году. Сколько лѣт он прожил в Болгаріи, не помню*).

В Женевѣ Кузьма (Ляхоцкій) до своей смерти поддерживал украинскую типографію и свято чтил память своего друга и учителя.

---

*) Драгоманов переселился в Болгарію в 1889 году. (Ред.).

РОССІЯ И АМЕРИКА

(Причины промышленной отсталости Россіи).

«Догнать и перегнать Америку»

(Один из совѣтских лозунгов).

При первом взорѣ на карту, невольно обращаешь вниманіе на наличіе большого сходства в географических условіях Соед. Штатов Америки и Россіи. Обѣ страны представляют собою континенты, широко раскинувшіеся с запада на восток и с сѣвера на юг, с большим разнообразіем климатических особенностей. Обѣ страны обладают и равнинами, годными преимущественно для земледѣлія и скотоводства, и горными хребтами, богатыми лѣсом и горными залежами, районами бездождными, требующими искусственнаго орошенія, и районами, изобилующими влагою. Как Россія, так и Америка, дѣйствительно изобилуют всѣми видами природных богатств, могут сами себя кормить и одѣвать, могут вести самодовлѣющее хозяйство, и если и нуждаются в ввозѣ нѣкоторых продуктов, как, напримѣр, резины или кофе, то всегда могут пріобрѣсти их, располагая крупными излишками других продуктов. И Россія и Америка расположены таким образом, что территоріи их простираются к двум океанам, и границы их обращены и к Востоку и к Западу, к Пасифику и к Атлантикѣ, как бы предназначая их — быть связующею силою во взаимодѣйствіи народов Запада и Востока. И развитіе обѣих стран происходило путем колонизаціи, которая распространялась сама собой, естественными передвиженіями населенія, а не в порядкѣ иниціативы государства. Все это связано с географическими условіями, а сходство их у Россіи и Америки уже давно замѣчено и на нем нѣт надобности дольше останавливаться.

Но, несмотря на несомнѣнное сходство, еще болѣе велико различіе двух стран в их п р и р о д н ы х условіях. Развѣ можно сравнить масштабы Россіи с масштабами С. Ш. А. и разстояніе и путь от Сан-Франциско до Нью-Іорка с разстоя-

ніем и путем от Ленинграда до Владивостока? Или — дикія тундры и лѣса сѣверной Сибири с сѣверными штатами Америки? Обширную полосу сѣвера Европейской и Азіатской Россіи правильнѣе было бы сравнивать с Канадою, а не с С. Ш. А., на территоріи которых вовсе нѣт таких суровых по климату и условіям жизни районов. Равным образом нѣт в С. Ш. А. и таких пустынных, малопригодных для культурной жизни солончаковых степей, как тѣ, что занимают обширный заволжскій район, переходя в мертвыя земли вокруг озера Балхаша.

Достаточно этого краткаго перечисленія, чтобы стало ясно, насколько сложнѣе государственная и хозяйственная жизнь Россіи, по сравненію с условіями С. Ш. А. Разстоянія играют очень большую роль как в экономической, так и в административно-политической жизни государства, а если при этом приходится вести тяжелую борьбу с суровою природою, как это требовалось в Сибири, или с чуждыми и враждебными народностями, как это было на югѣ Россіи, на Кавказѣ и в Туркестанѣ, то географическія условія, разстоянія, условія сообщенія, климат, природа пріобрѣтают еще большее значеніе. В Россіи всѣ экономическія задачи: обезпеченіе промышленности углем, желѣзом, хлопком, нефтью были всегда много сложнѣе, чѣм в С. Ш. А. вопреки поверхностному впечатлѣнію. Экономическая географія Россіи гораздо менѣе благопріятна, чѣм в Америкѣ.

Но, быть может, самое важное, поскольку мы говорим о географіи, это положеніе страны по отношенію к морям. В этом отношеніи преимущества С. Ш. А. настолько явны, что они не могут не броситься в глаза. С. Ш. А. имѣют свободные выходы в открытые океаны, имѣют по нѣсколько прекрасных незамерзающих портов как в Атлантическом, так и в Тихом океанах. Между тѣм Россія в теченіи всей своей исторіи стремилась получить свободные выходы в моря, но так и не обезпечила себѣ столь важной для развитія промышленности независимости в морских сообщеніях. Морскіе порты, либо замерзают, как Архангельск, С.-Петербург, Владивосток, — либо находятся на морях, выходами из которых, как это имѣет мѣсто в отношеніи Чернаго и Балтійскаго морей, обладают другіе, которые могут закрыть их в случаѣ войны, как это и происходит теперь.

В результатѣ обширности русских пространств, та сѣть желѣзных дорог, которая густо покрыла бы любую из европейских стран и могла бы связать всѣ жизненные центры С. Ш. А., в Россіи протягивает только тонкія нити через огромныя

ея пространства и совершенно недостаточна для того, чтоб обезпечить промышленное развитіе страны и связать окраины с центром и морскими портами.

Естественныя богатства Россіи разбросаны, как уже сказано, в разных мѣстах страны таким образом, что нигдѣ почти, кромѣ развѣ Донецкаго бассейна, не обезпечивают в полной мѣрѣ развитія промышленности. Кавказ дает нефть, но не дает желѣза, и Кавказскую нефть приходится перебрасывать по Волгѣ и желѣзным дорогам в центральные районы. Урал, особенно южный, бѣден углем, и для развитія Магнитогорска пришлось связать его с Кузнецким бассейном, протянув путь через обширный район на сотни километров. Недостаток топлива в районах, гдѣ находятся залежи минеральных богатств, только отчасти мог быть искуплен электрификаціей, для осуществленія которой требуется время и средства. Во всѣх этих отношеніях С. Ш. А., с их поразительно удобным расположеніем угольных и других копей в сѣверо-восточном углу страны, близком к портам Атлантическаго океана, имѣют несомнѣнныя и очень серьезныя преимущества.

Что касается количественнаго соотношенія рессурсов Россіи и Америки, то этот вопрос, по свидѣтельству авторитетных лиц, не поддается точному опредѣленію. Несмотря на очень широкое развитіе геологическихъ изслѣдованій в Россіи в період 1923-1940 г.г., подсчеты естественных рессурсов еще очень далеки от точности. Многіе районы все еще не обслѣдованы, а потребности Россіи, в связи с ея промышленным развитіем, быстро увеличиваются. Запасы нефти, желѣза, мѣди в Россіи совершенно достаточны для ея потребностей и дальнѣйшаго развитія на много лѣт вперед, но нѣт данных, чтобы Россія в отношеніи этих запасов была богаче С. Ш. А. Первое мѣсто принадлежит и, повидимому, останется за Россіей в отношеніи добычи марганца и платины и очень видное мѣсто в производствѣ хрома, азбеста и, пожалуй, боксита, но в отношеніи каменнаго угля Россія опредѣленно много бѣднѣе С. Ш. А. «Распространенное мнѣніе о баснословных богатствах Россіи — пишет нам П. П. Гудков, — не имѣет под собою серьезнаго основанія. С увѣренностью можно считать нашу родину богатой только сравнительно с Европейскими странами, Китаем и Японіей».

Чтобы не быть голословными, приведем нѣсколько шифр из справки, полученной нами от проф. П. П. Гудкова.

По докладу G. C. Gester'a на годичном с'ѣздѣ американской ассоціаціи геологов-спеціалистов по нефти, состоявшемся

в мартѣ 1944 года, русскіе запасы нефти составляют 12-16% міровых, а американскіе (С. Ш. А.) — 43,48-54,34% (цифры показывают осторожные и оптимистическіе подсчеты).

С углем дѣло обстоит еще менѣе благопріятно. Русскіе запасы — 7,7%, а С. Ш. А. — 51% міровых, при чем в С. Ш. А. богатѣйшіе запасы металлургических углей 2.175.205 милл. тонн, а в Россіи их только 471.133 милл. тонн.

Выплавка желѣза в СССР в 1936 г. составляла 14.570.497 тонн, а в С. Ш. А. — 32.449.225 тонн. Если б Россія сравняла душевое потребленіе с потребленіем С. Ш. А., она должна была бы производить в год 35.500.000 тонн желѣза. Установленные запасы желѣза в С. Ш. А. и в СССР почти одинаковы, но возможные запасы С. Ш. А. превышают возможные запасы СССР не меньше, чѣм в 10 раз.

Россія обладает марганцем, хромом, азбестом и графитом, которых нѣт или мало в С. Ш. А. и нуждается в импортѣ олова и сурьмы. Но уступая С. Ш. А. по богатству запасов, Россія, в смыслѣ самообезпеченности, превосходит всѣ остальныя государства, кромѣ Великобританіи, если к послѣдней пріобщить всѣ доминіоны и колоніи.

Если теперь от сопоставленія природных условій С. Ш. А. и Россіи, минуя пока труд, перейдем к капиталу, как фактору промышленнаго развитія страны, то в этом отношеніи С. Ш. А. также во много превосходит Россію. Это тоже требует поясненія. Причины, почему Россія не накопила таких богатств, как молодая заокеанская республика, не для всѣх ясны.

Но если задуматься над ходом исторіи Россіи, остановиться над тѣм, сколько дорогих и разорительных войн пришлось ей вести, чтоб составить то огромное и сложное цѣлое, которое получило названіе Россійской Имперіи, а теперь Союза Совѣтских Соціалистических Республик, то становится сразу понятным, как велико и в этом отношеніи различіе между Россіей и С. Ш. А., не в пользу первой. Распространеніе Россіи на юг и на восток было совершенно естественным не только, как завоеваніе тѣх малонаселенных пространств, куда естественно стремились излишки населенія в поисках богатых земель, простора и благопріятнаго климата, и не только для достиженія естественных границ и выходов в моря. Есть очень вѣскія экономическія причины, в силу которых это распространеніе было жизненно необходимо. Кавказ необходим Россіи из-за нефти. Без Украины, о завоеваніи которой мечтала Германія, центральная Россія оказалась бы зависимою от других стран в отношеніи продовольствія и снабженія желѣзом. Без Турке-

станскаго хлопка она не могла бы обезпечить развитія мануфактурной промышленности. Оставшись только в центральной и сѣверной частях Восточной Европы, Россія была бы обречена на безнадежно зависимое от Западной Европы положеніе.

Но для того, чтобы отстоять самое свое существованіе и обезпечить свою политическую и экономическую независимость, Россіи пришлось вести почти непрерывныя войны. Хотя перечисленіе войн может наскучить, но без подробнаго перечисленія их не остается правильнаго представленія о том, как ими истощалась страна.

В XI и XII в.в. шли почти непрерывныя войны с половцами и кипчаками, причем часто затяжныя, продолжавшіяся, напр., с 1103 по 1116 г.г., в 1149-1150 г.г., в 1165, 1168, 1170 г.г., с 1183 по 1185 г.г. (время, описанное в «Слово о полку Игоревѣ»), в 1191, 1195 и 1202 по 1215 г.г.

В то же время Русь подвергается опасности со стороны Запада, особенно от Ливонскаго ордена меченосцев и свеев (шведов) на сѣверо-западѣ.

За время с 1201 по 1225 г., принимая во вниманіе монгольское нашествіе в 1224 г., Россія потеряла 495 тысяч человѣк, что для того времени было огромною убылью населенія.

В теченіе двухсот лѣт со времени нашествія Батыя в 1237 и 1240 г.г. Россія несла на своих плечах татарское иго и отдавала излишки своих доходов татарским ханам. Но в то же время она вынуждена была вести войны с западными врагами, которые пытались воспользоваться слабостью расчлененной и порабощенной Руси, чтоб оттѣснить ее от Балтійскаго моря. Александр Невскій вел войну со шведами и Ливонским орденом (1240). С 1245 года начинаются постоянныя столкновенія с литовцами, переходящія время от времени (1251-1252, 1285-1286, 1320-1321) в войны продолжительностью до двух лѣт каждая. Одновременно начинаются затяжныя войны и со шведами. Как и литовцы, они стоят на пути сближенія Россіи с Европою. Войны со шведами были не менѣе упорны, как показывают слѣдующія даты: 1276-1277, 1311—1313, 1317-1318, 1337-1338, 1348—1350.

Русско-литовскія войны продолжаются в теченіе всего 14 и 15 в.в. Наиболѣе серьезны войны, происходившія в 1335-1359 г.г., 1368—1372 г.г. (Ольгерд), 1365 г., 1395-1396 г.г., 1401—1408 г.г., 1426—1428 и 1445 г.г. Особенно тяжелый боевой період выпал на время 1368—1375 г.г. (время Дмитрія Донского) и потом 1376—1382 г.г.

Русско-литовскія войны продолжались и далѣе в концѣ

14 вѣка и в 15 вѣкѣ, причем опять-таки нѣкоторыя из них затягивались на ряд лѣт. В том же 15 вѣкѣ происходил и поход на Казань (1467—1469) и война с Новгородом (1471). Сверженіе татарского ига произошло в 1480 г. и, освободившись от опасности с востока, но еще не очистив его от татар, Московская Русь начинает еще болѣе упорную борьбу с Литвою и Шведами, отрѣзавшими Русь от Европы. При Иванѣ III войны с Литвою продолжаются 18 лѣт, почти непрерывно с 1482 по 1500 г.г.

Преемственно 16-й вѣк в исторіи Россіи продолжает осуществлять задачи, поставленныя предыдущим вѣком. При Василіи III, а затѣм при Иванѣ Грозном происходят войны с Казанью (1523-1524, 1551-1552 — паденіе Казани), с Крымскими татарами (1515-1523 и 1554-1559 г.г.), с Литвою (особенно длительныя 1512-1522 г.г. и 1534-1537 г.г.), а потом с Польшею в період 1563-1582 г.г., а также с ливонцами и шведами в період 1554-1582 г.г. и 1590-1593 г.г.

Дальше слѣдует Смутное время, потрясшее Русь до основанія и сопровождавшееся вторженіем поляков и разореніем ими страны*).

Непосредственно за ним опять начинаются войны: со Швеціей с 1614 по 1617 г., с Польшею в 1617-1618 г. и потом 1632-1634 г.г., с Крымом в 1632-1641 г.г.

Со второй половины 17 вѣка начинаются сѣверныя войны (1651-1660), войны с Польшею из-за Украины (1654-1655 и 1658-1677); затѣм с Турціей (1678-1679) и, наконец, войны Петровскаго періода, закончившіяся паденіем Азова, занятіем западнаго и южнаго берегов Каспійскаго моря, разгромом шведов под Полтавою и укрѣпленіем Россіи на берегах Невы и Финскаго залива. В то же время была занята Камчатка и завершилось распространеніе Россіи до берегов Тихаго океана**).

---

*) «Люди польскіе», говорится в одной челобитной начала 17 в., — «нас сирот твоих, в Закубежской волости многих людей на смерть пересѣкли и животишка наши всѣ поймали; а кои — крестьянишка остались, и они со страху и с ужасту скитаютца по лѣсу и болоту душой и тѣлом, хлѣбишко наше рожь и яра не жата и озимая не сѣяна».

**) Завоеваніе Восточной Азіи проходило постепенным распространеніем русскаго владычества при посредствѣ смѣлых походов на крайній сѣвер и потом на юг к Амуру Дежнева (1648-1649), Полякова (1643-1646), Хабарова (1649-1651), Стадухина (1649-1652).

Но уже в концѣ 17 вѣка происходят первыя столкновенія с сосѣдями Россіи в Азіи. В 18 вѣкѣ она утверждается во всей Сибири и проникает в Среднюю Азію, а в Европѣ продолжает еще борьбу на югѣ с Турціей и на Западѣ с Польшей, Австріей и шведами. Наиболѣе извѣстныя из этих войн 1736-1739 г.г. (русско-австро-турецкая война), 1768-1774 г.г. (русско-турецкая и русско-польская), 1787-1791 г.г. (русско-польская) и 1788-1790 г.г. (русско-шведская).

19 вѣк не дает Россіи передышки. Начинается он участіем Россіи в коалиціи и итальянским походом Суворова, потом войною с Франціей 1805-1807, с Турціей 1806-1812 г.г. и Отечественною войной 1812-1815 г.г. Потом начинается завоеваніе Кавказа, требующее длительных усилій с 1816 по 1864 г.г., ряд войн с Турціей 1828-1829, 1877-1878 г.г., тяжелая Крымская кампанія и, одновременно, почти непрерывныя с 1839 по 1884 г.г. войны в Средней Азіи.

А 20 вѣк открылся русско-японской войною 1904-1905 г.г. и затѣм Россія была вовлечена в первую и, еще болѣе тяжелую, вторую міровую войну, пережив в промежуткѣ между ними грандіозную революцію, сопровождавшуюся кровавыми гражданскими войнами.

Как, при таких условіях, могла Россія накоплять капитал? Богатѣли отдѣльныя лица, но нація в цѣлом не успѣвала оправиться от одного несчастья, как уже надвигалось другое, не успѣвала наладить жизнь, как уже вновь разорялась.

Сравним теперь исторію распространенія С. Ш. А. на западном побережьи Америки, присоединеніе Калифорніи, завоеваніе Гаваев и Филиппин с исторіей національных усилій Россіи в ея борьбѣ за существованіе против татар, шведов, поляков, в ея борьбѣ за доступы к морю и за безпрепятственныя сношенія с Европою, ея борьбѣ за Кавказ и Среднюю Азію, необходимыя ей для обезпеченія ея народнаго хозяйства. Покоренная Россіей Сибирь и даже Туркестан требовали огромкак колонизація американцами богатой золотом и нефтью и жизни и для использованія их природных богатств, в то время как колонизація аммериканцами богатой золотом и нефтью и плодородной Калифорніи, и включеніе ея в состав Соединенных Штатов дало им новыя огромныя богатства, доставшіяся почти без труда и затрат.

Мы видим, таким образом, что Америка имѣла преимущества по сравненію с Россіей не только в отношеніи размѣщенія

природных богатств и не только с точки зрѣнія внутренних и морских сообщеній, но и в отношеніи исторических условій образованія и расширенія государства, обезпеченія безопасности, пріобрѣтенія им необходимых территорій, возможности спокойнаго труда, осуществленія больших хозяйственных планов, увеличенія народнаго дохода и возможности для государства использованія крупных средств на благоустройство страны, взамѣн веденія войн и военных укрѣпленій*).

Но этим еще не ограничивается различіе в условіях развитія и существованія С. Ш. А. и Россіи. Есть еще один важный фактор в экономической жизни, помимо природы и капитала. Этот фактор — т р у д . Он опредѣляется количеством и качеством населенія, его склонностями, физическими силами и способностямми.

Населеніе С. Ш. А. составилось из предпріимчивых колонистов, людей рѣшительных и смѣлых, можно сказать, из отборных людей, которые и составили способный и здоровый народ. Основное ядро русскаго народа, наиболѣе многочисленное в его составѣ племя — великороссы (свыше 50 процентов всего населенія) являются потомками подлинных чудо-богатырей, побѣдивших суровую природу центральной Россіи и многочисленных врагов, пробившихся к морям, овладѣвших огромными просторами в Европѣ и Азіи. Оба народа даровиты и обладают громадною энергіей и жизнеспособностью. Неудивительно поэтому, что американцы сумѣли создать поразительную и передовую технику и легко овладѣвают всѣми достиженіями культуры, как только в этом встрѣтится надоб-

*) Для иллюстраціи того, как отразилась военная жизнь государства на его благополучіи, возьмем данныя о расходах Россіи по государственному бюджету 1724 года (год мирной жизни).

На армію и флот израсходовано 62,8 процента, на государственное хозяйство и администрацію 17,5 процента, на императорскій двор 2,9 процента, на просвѣщеніе и медицину 1 процент, на прочее — 15,8 процента.

Через двѣсти лѣт картина мало измѣнилась, с точки зрѣнія военных расходов. В 1938 году прямыя ассигнованія на армію в Совѣтской Россіи составили 27 милліардов, повысившись с 1935 года почти в 3 с половиной раза. Но это ассигнованіе не выражало дѣйствительнаго расхода, который был значительно болѣе высоким. Бюджеты отдѣльных комиссаріатов, особенно комиссаріатов тяжелой промышленности и военной промышленности, поглощали много милліардов, составляя в общем львиную долю расходнаго бюджета.

ность. В свою очередь русскіе поражают иностранцев своею приспособляемостью и способностями. Ознакомившись с заводами на Уралѣ во второй половинѣ 19 вѣка, один англичанин, управлявшій писчебумажной фабрикой, которую он, к величайшему своему удивленію, встрѣтил в Уральских горах, разсказывал, что в Англіи потребно многолѣтнее ученіе для образованія хорошаго писчебумажнаго работника, а в Россіи выучиваются в три мѣсяца тому, чему англичанин выучивается в три года. Отзыв этот приводит французскій историк Рамбо.

Однако, и в отношеніи населенія, а слѣдовательно и труда, в исторіи Россіи создались нѣкоторыя условія, которыя, по сравненію с американскими, менѣе благопріятствовали развитію промышленности.

Во-первых, надо отмѣтить, что в С. Ш. А. существовало до 1863 рода рабство, в то время как в Россіи до 1861 года существовало болѣе слабое, чѣм рабство, крѣпостное право. Рабы пріобрѣтались и ставились на разныя работы, в зависимости от потребности. Благодаря рабству, бѣлые насельники новаго міра могли насаждать плантаціи и подымать землю, расширяя свое хозяйство. Крѣпостные прикрѣплены к землѣ, они неподвижны; обладаніе крѣпостными связывалось не с потребностями хозяйства, а с опредѣленным имѣніем, независимо от предпріимчивости его хозяина. Рабство в Америкѣ было создано частным интересом, оно служило цѣлям эксплоатаціи труда, а крѣпостное право поддерживалось государственною необходимостью, оно было средством организаціи военной и податной повинности, т. е. тѣх потребностей государства, которыя не играли значительной роли в американских колоніях.

Американцы, основывая новыя земли, столкнулись с индѣйцами. Они не могли или не старались приспособить их к своей культурѣ и, в концѣ концов, индѣйцам отведены были спеціальныя площади (reservations), гдѣ они продолжают свое существованіе, не сливаясь с остальным народом и не принимая его культуры. У нас же историческая необходимость заставила русскій народ включить в свой состав множество разных племен, стоявших на очень различных ступенях культуры. Они занимают опредѣленныя территоріи, имѣют свой особый быт, свой язык, свои вѣрованія и нѣкоторыя из них (узбеки, татары, грузины, армяне) свою очень своеобразную культуру. Они не разсѣялись по всей странѣ, а оставались на своих насиженных мѣстах, продолжая свой образ жизни и хозяйства и лишь постепенно ассимилируясь. Чуждое русским иноплеменное

населеніе Россіи состоит из болѣе чѣм ста народностей. Из них 47 народностей насчитывают свыше 20.000 человѣк каждая*) и составляют в настоящее время примѣрно третью часть всего населенія. Естественно, что пріобщать всю эту массу к общегосударственной жизни и хозяйству было нелегкой задачей и возможно было только послѣ того, как государство могло удовлетворить нужды основного населенія.

Присоединяя новыя территоріи, населенныя чуждыми народами, русское государство осложняло свои административныя и хозяйственныя задачи включеніем в свой состав новых національных групп, и в то же время долго не могло использовать их силы для своих государственных цѣлей. Богатѣйшія залежи разнаго рода необходимых для промышленности минералов, угля и нефти находятся, как мы уже знаем, в Закавказьи и в Туркестанѣ, т. е. в районах позднѣе всего присоединенных к Россіи, отдаленных от ея центров и населенных чуждыми народностями, которыя нужно было предварительно сплотить с русским народом и государством.

Но не одно только чуждое русскому народу населеніе русскаго государства долго не было пригодно для обслуживанія нарождающейся промышленности. Большая часть коренного населенія страны тоже оставалось долго неиспользованною в этой области. Землевладѣльческій класс, дававшій государству «служилых людей», составил особое привилегированное сословіе, дворян землевладѣльцев. Промышленность оставалась на втором мѣстѣ и с точки зрѣнія дворян была для них неподходящим занятіем («подлых то есть дѣло»).

Не было склонности к этим занятіям и у крестьян. Основная масса населенія страны состояла из исконных земледѣльцев, которые, при наличіи больших земельных просторов, разселялись по странѣ в качествѣ колонизаторов. Машинное хозяйство, при наличіи достаточнаго количества рабочих рук и при дешевом трудѣ, не представляется выгодным, а потому хозяйство велось, большею частью, примитивно, в то время как в Америку пріѣзжали колонисты из промышленных стран, знакомые с машинным хозяйством. Рабочих рук в Америкѣ было недостаточно (почему и возникло рабство), и было, поэтому, выгодно механизировать труд вездѣ, гдѣ только это было возможно. Необремененное налогами и не подвергавшееся разоренію

*) Об этом можно судить по числу 16 совѣтских республик, 22 автономных республик и 9 автономных областей, — всѣ они созданы по національному признаку.

войнами населеніе накапливало средства, которыя обращались на постройку заводов, желѣзных дорог, пароходов. Недостаток рабочих рук восполнялся машинами и, таким образом, происходил быстрый рост американской промышленности, в то время как русская промышленность, в силу всѣх описанных причин, развивалась медленно.

Естественно, что и предпринимательство в Россіи не находило достаточно благопріятных условій. Русскіе люди далеко не лишены предпринимательских способностей, доказательством чего может служить исторія колонизаціи русскаго сѣвера и Сибири, исторія промышленности в Московском районѣ и на Уралѣ, распространеніе русской торговли за Тихій океан, на Аляску, торговля с Китаем, проникновеніе русских на западное побережье Америки (Форт Росс, близ Сан-Франциско) и даже на Гаваи.

Рано стали возникать в Россіи акціонерныя обшества, и перед революціей в Россіи существовали уже грандіознаго масштаба концерны (Русскій Торговый и Транспортный Банк, Стахѣев и Ко., Бр. Данишевскіе и др.). Но поскольку вообще русская промышленность развивалась медленно и поскольку она обслуживала внутренній рынок, русскія предпріятія по общему правилу не достигали американских размѣров и масштабов и не пріобрѣтали мірового значенія на подобіе американских стальных, нефтяных и пароходных компаній и американских финансовых учрежденій.

Как уже указано, нѣкоторым тормозом развитію промышленности служили сословные предразсудки и бытовыя привычки крестьян и дворян-помѣщиков. Но, разумѣется, с точки зрѣнія темпов развитія промышленности в Россіи, гораздо существеннѣе то, что еще не назрѣло время для широкой замѣны физическаго труда машиною, что еще во второй половинѣ 19 вѣка в центрѣ Россіи русскія фабрики пользовались частично трудом кустарей, а деревня широко пользовалась продуктами собственнаго издѣлія. Что же касается окраин, богатых разнообразными залежами, то, как уже указано, позднее их присоединеніе к Россіи, неудовлетворительные пути сообщенія и чуждое, не знавшее русскаго языка, населеніе задерживали промышленное развитіе этих районов. К тому же они требовали больших капиталов на разработку естественных богатств и созданіе фабрик и заводов, а капиталов было недостаточно, и капитал давал хорошій барыш при его примѣненіи в несравненно болѣе легких условіях.

Все это показывает, что медленностью развитія промышленности Россія обязана, главным образом, причинам географическим, экономическим, историческим, но, во всяком случаѣ, не неспособности населенія, не отсутствію способностей у русских людей к организаціи и работѣ в промышленных предпріятіях . Опыт показал, что Россія обладает большим числом даровитых людей и может занять почетную роль в мірѣ не только в области литературы и искусства, но и в области техники.

Г. Гинс.

РЕВОЛЮЦІЯ В КИТАѢ, ЯПОНІЯ И СТАЛИН

(Из очерков по исторіи внѣшней политики Москвы).

6.

Борьба на югѣ Китая в 1925-1927 годах развертывалась на фонѣ мѣнявшейся и все болѣе и болѣе усложнявшейся обстановки, — как в других частях Китая, так и на международной аренѣ. Эта борьба и сама была важным фактором такого усложненія.

Стачки и демонстраціи в Шанхаѣ взорвали тот «паназіатскій » блок, который был наспѣх сколочен осенью 1924 года. Попытка об'единить Китай путем «верхушечнаго» сговора вождей тѣх группировок, которыя, при всем различіи их политических и соціальных программ, сходились на подчиненіи своей ближайшей дѣятельности задачѣ борьбы против «англо-саксов», потерпѣла крушеніе. Страна снова распалась на ряд почти независимых областей, в которых хозяйничали большіе и малые «милитаристы», враждовавшіе друг с другом. Наступленіе кантонских армій в теченіи зимы 1926-1927 года расчистило поле. Нѣкоторые из этих «милитаристов», — тѣ, что оперировали на югѣ, — были раздавлены и выброшены. Фын-Юй-сян, который держался в сѣверно-западных провинціях, — поближе к тракту на Москву, — соединился с кантонцами и вошел в президіум их Военнаго Совѣта. Что касается до остальных, — тѣх, кто дѣйствовал на сѣверо-востокѣ, — то они превратились в вассалов Чжан Цзо-лина, который еще болѣе окрѣп и безраздѣльно властвовал в Манчжуріи. Уже в ноябрѣ 1926 года, послѣ первых побѣд кантонцев, всѣ они собрались на совѣщаніе в Тяньзинѣ и создали об'единенную «Армію Умиротворенія Страны». Чжан Цзо-лин стал ея главнокомандующим.

К веснѣ 1927 года эти двѣ силы, — національно-революціонная армія Кантона и армія Чжан Цзо-лина, — занимали позиціи друг против друга на большой китайской равнинѣ, к сѣверу от Янцзыцзяна. Их борьба должна была рѣшить вопрос о том, какими путями пойдет об'единеніе Китая. Но расхожденія по этому вопросу шли по линіям не только вертикальным, отдѣ-

лявшим одну армію от другой, но и по линіям горизонтальным, проходившим внутри каждой из них, — причем эти линіи временами перекрещивались друг с другом.

Основной из таких горизонтальных линій внутри кантонской арміи была линія споров о не-капиталистическом пути развитія Китая. Мы уже знаем, что эти споры были лишь усложненной перелицовкой стараго спора,—только попыткой подвести соціальное обоснованіе под расовое пан-азіатское движеніе с цѣлью направить его в русло борьбы против «капиталистическаго міра трех континентов». Противников этой трактовки вопроса логика развитія приводила к разрыву с пан-азіатской идеологіей и к политикѣ соглашенія с капиталистическим міром в лицѣ, прежде всего, Америки. Из иных посылок исходили, но к тѣм же граням подводили и споры, шедшіе в лагерѣ Чжан Цзо-лина.

Этот послѣдній был человѣком, в прошлом полностью «сдѣланным» японцами. Это они обратили вниманіе на молодого и сообразительнаго начальника шайки хунхузов, который оказывал им цѣнныя услуги в дни русско-японской войны, — и заставили китайское правительство не только дать ему амнистію, но и принять его в китайскую армію вмѣстѣ со всѣми его товарищами. Это они затѣм путем систематической поддержки довели его до положенія полновластнаго диктатора Манчжуріи. Его власть была тѣм прочнѣе, что он систематически продвигал вслѣд за собою товарищей своих былых похожденій, замѣняя ими старозавѣтных китайских мандаринов. Тот факт, что они всѣ, вмѣстѣ с самим Чжаном, любили подчеркивать свое не-китайское, а монгольское происхожденіе, только оттѣнял соціальное значеніе совершавшейся перемѣны: по существу это было настоящее завоеваніе Манчжуріи шайкой хунхузов, вышедших из плебейски-монгольских низов туземнаго населенія, которое стояло во враждѣ к китайскому населенію немногочисленных городов края. Они и вели себя, как завоеватели, создавая основы своих личных состояній на путях «внѣ-хозяйственнаго присвоенія».

Свою поддержку им японцы оказывали потому, что Чжан был им исключительно полезен в дѣлѣ их внѣдренія в Манчжурію. В большой работѣ по расчлененію Китая, которую они вели, Чжан Цзо-лин был их вѣрнѣйшим помощником. С національными интересами Китая он в это время совершенно не считался, предавая и продавая их всюду, гдѣ это было ему выгодно.

Но за послѣдніе годы положеніе стало мѣняться. Період

«первоначальнаго накопленія» для Чжан Цзо-лина закончился. Из своего огромнаго состоянія (его опредѣляли в 60 мил. американских долларов) значительныя суммы он вложил в торгово-промышленныя предпріятія «своей» Манчжуріи. По этому же пути шли всѣ его соратники, и теперь всѣ они были по-истинѣ всесторонне заинтересованы в ея хозяйственном процвѣтаніи. Всѣ предпосылки для такового имѣлись. Широкими волнами на свободныя мачжурскія земли шли переселенцы из Китая. Сказочно быстро шло развитіе сельскаго хозяйства, лѣсного дѣла, добычи пушнины. Отовсюду приходили вѣсти об открытіи горных богатств. Возникали всевозможныя промышленныя предпріятія. В этой обстановкѣ и для самого Чжан Цзо-лина, и для всего новаго правящаго слоя, доходы, получавшіеся на путях нормальнаго хозяйственнаго развитія, становились и болѣе выгодными, и болѣе прочными, чѣм «внѣ-хозяйственные» доходы стараго типа. Для них Японія становилась препятствіем их собственному продвиженію вперед. Быть может, неожиданно для самих себя, но они начинали становиться китайскими патриотами, начинали вести политику защиты національнаго единства Китая (конечно, в ея манчжурском пониманіи) от японской агрессіи.

Эта новая политика Чжан Цзо-лина вполнѣ явственно проявляется в стремленіи привлечь иностранные капиталы, — но не японскіе, а англійскіе и особенно американскіе, — в манчжурскую промышленность, в горное дѣло и желѣзнодорожное строительство. Новыя дороги им строятся, как предпріятія, явно направленныя против интересов Южно-Манчжурской жел. дороги, которая принадлежала японцам.

Противо-японскій характер своих мѣропріятій Чжан Цзо-лин, конечно, должен был старательно скрывать, особенно в началѣ. Он должен был подготовить какія-то позиціи, прежде, чѣм его карты станут ясны японцам. Из знаменитаго меморандума Танаки мы знаем, что уловка эта Чжану удалась: анти-японскій характер желѣзнодорожнаго строительства Японія замѣтила с опозданіем:

> «Наш представитель, — писал Танака, — а равно представитель Южно-Манчжурской жел.-дор., недооцѣнивали возможности мукденскаго правительства. Когда мы интервенировали, было уже поздно, и дороги были закончены».

Японцы обычно весьма бдительны к своим интересам, — тѣм интереснѣе попытаться выяснить, почему на этот раз они

проглядѣли. Почти несомнѣнно, что Чжан Цзо-лин ввел их в заблужденіе, маскируя свою политику в цвѣта самаго яркаго анти-большевизма. Этот анти-большевизм в Манчжуріи японцы все время старательно разжигали. Даже тогда, когда в Токіо праздновали «весну» японо-совѣтскаго сближенія, в Манчжуріи анти-большевистская линія выдерживалась без послабленій. В Японіи имѣлись сторонники совмѣстной с Сов. Россіей внѣшнеполитической акціи, — но японцы, хозяйничавшіе в Манчжуріи, командованіе Квантунской арміи и управленіе Южно-Манчжурской желѣзной дороги, — своего отношенія к Сов. Россіи не мѣняли. На Манчжурію они всѣ смотрѣли, как на страну, которая должна находиться под исключительным вліяніем Японіи, и считали необходимым вести рѣшительную борьбу против усиленія в ней вліянія Россіи. Анти-большевизм был наиболѣе удобной формой такой борьбы: несмотря на всѣ ея тѣневыя стороны, политика старой Россіи, — особенно политика хозяйственная, — оставила в странѣ, в общем, благопріятныя воспоминанія; сравненіе с тѣм, что пришло позднѣе, эти воспоминанія только усиливало; анти-русских настроеній среди населенія почти не существовало, в настроеніях же анти-большевистских недостатка не было. Заглядывая надолго вперед, японцы, хозяйничавшіе в Манчжуріи, разжигали эти анти-большевистскія настроенія, стараясь развернуть их в настроенія анти-русскія.

Их старанія в этом направленіи Чжан использовал для своих цѣлей. Нѣт никакого сомнѣнія в том, что и он сам был рѣшительным противником большевиков, особенно озлобленным с того момента, когда они, в декабрѣ 1925 г., едва его не свалили, организовав возстаніе одного из наиболѣе довѣренных его помощников, ген. Го Сун-лина. Борьба против большевиков, несомнѣнно, полностью отвѣчала его личным настроеніям, и он вводил в нее элементы личной мести. И тѣм не менѣе, прослѣживая его поведеніе тѣх лѣт, нельзя не придти к выводу, что крикливая анти-большевистская фраза для Чжан Цзо-лина нерѣдко сознательно являлась прикрытіем, долженствующим маскировать основную задачу его политики: вытѣсненіе японцев. Его борьба против большевиков явно продиктована соображеніями внѣ-хозяйственнаго порядка, — даже тогда, когда она принимает форму отчужденія вспомогательных хозяйственных предпріятій Китайской Восточной желѣзной дороги. Хозяйственно по этой дорогѣ Чжан ударяет только потому, что он хочет бить по большевикам. Но его экономическая политика, в самой своей основѣ, стремится к

пріостановкѣ японскаго хозяйственнаго наступленія. Для борьбы именно против Японіи он привлекает американскіе и англійскіе капиталы, строит новыя дороги, принимает мѣры по ускоренію заселенія края китайскими колонистами.

Совѣтскіе дипломаты тѣх лѣт эту политику Чжана были склонны разсматривать, как показатель смѣны им одной внѣшне-политической оріентаціи на другую. Так, напр., Б. Семенов, тогдашній руководитель дальне-восточнаго отдѣла НКИД, в январѣ 1928 г. писал, что «прежняя безусловная оріентація» Чжана на Японію за послѣдніе два года постепенно «смѣнилась оріентаціей на Англію». («Междунар. Жизнь», янв. 1928, стр. 3). В дѣйствительности дѣло было много сложнѣе: Чжан шел по пути всѣх слабых и, начиная переходить к политикѣ обороны Китая от наиболѣе опаснаго врага, от Японіи, искал поддержки во-внѣ, — там, гдѣ он мог ее найти. Это была та же политика, которая в 1917-20 г.г. диктовала Ленину планы сдачи Камчатки в долгосрочную аренду Соед. Штатам. Танака болѣе правильно понимал это значеніе мѣропріятій Чжана, и писал о «китайской политикѣ борьбы с ядом при помощи яда», — с «ядом» японской агрессіи при помощи «яда» других, менѣе опасных «заморских дьяволов».

У китайцев есть старая поговорка — о том, что Китай — такое огромное море, что оно дѣлает солеными всѣ впадающія в него рѣки. Она сложилась в XIII-XIV вѣках и в ней народная мудрость подводила итог опыту с завоеваніем Китая монголами: необ'ятна была имперія Великаго Хана Кубилая («сто дней летѣть соколу», — писал о ней Марко Поло), но огромное китайское море осолонило и этот поток монголов-завоевателей, которые уже во втором-третьем поколѣніи начали вести не монгольскую, а китайскую политику. Чжан считал себя монголом и любил играть под Чингиз-Хана, вводя при своем «дворѣ» обычаи и нравы двора Страшнаго Темучина. Но его политика элементами національной китайской политики пропитываться начала буквально на другой день послѣ того, как она перестала быть политикой японскаго агента.

К веснѣ 1927 г. эти анти-японскіе элементы политики Чжан Цзо-лина выступают уже с полной ясностью. В его окруженіи складывается цѣлая партія, которая дѣлает и дальнѣйшіе выводы: сознательно стремится к сближенію с кантонцами, — на условіи, что послѣдніе откажутся от связи с коммунистами. Лидерами этой «партіи» были ген. Ян Юй-тин, начальник штаба Чжан Цзо-лина, и старшій сын послѣдняго, «молодой маршал» (в Манчжуріи была распространена при-

вычка присваивать этот пышный титул), Чан Суэ-лян. По этим именам ясно, как значительно было вліяніе этой партіи в лагерѣ Чжана. Это было вполнѣ естественно: в ея хозяйственной основѣ, программа Чжана дѣйствительно во многом сближалась с программой Чан Кай-шека: и тот, и другой стремились к объединенію Китая; и тот, и другой к этому объединенію хотѣли итти по пути развитія частно-хозяйственных, капиталистических отношеній, и в качествѣ ближайшей, конкретной задачи ставили привлеченіе в Китай иностранных, — в первую очередь, американских, — капиталов.

Именно так проходила основная линія горизонтальнаго дѣленія, создавая внутреннія группировки в обѣих арміях, которыя весною 1927 г. занимали позиціи друг против друга в долинѣ стараго Янцзыцзяна.

7.

С другой стороны не менѣе существенными были и перегруппировки, происходившія в эти годы в Японіи.

Правительство Като, подписавшее 20 января 1925 года договор с Сов. Россіей, было правительством національнаго единенія. В него входили представители обѣих основных политических партій Японіи, — как Кенсейкай, главою которой был сам Като, так и Сейюкай. К явленіям японской жизни часто плохо приложима европейски-американская политическая терминологія. Это затрудняет оріентировку в японских группировках. Но с рядом оговорок японскія партіи все же правильнѣе всего будет сравнивать с англійскими вигами и тори первой половины XIX вѣка, — эпохи Кобдена и борьбы против хлѣбных пошлин.

Кенсейкай была городской партіей и стремилась выражать настроенія, прежде всего, тѣх групп населенія, которыя были заинтересованы в промышленном развитіи страны. Прочно стоявшая на почвѣ капиталистических отношеній, наиболѣе европейская из всѣх японских группировок, эта партія выдѣлялась извѣстным либерализмом (весьма умѣренным!) в области внутренней политики: она стояла за устраненіе тѣх пережитков феодально-клановых отношеній, которые особенно рѣзко противорѣчили интересам промышленнаго развитія страны. Тот же промышленно-городской характер опредѣлял и основы внѣшней политики партіи: во главу угла она ставила развитіе внѣшней торговли, прежде

всего в области вывоза промышленных фабрикатов. В борьбѣ за рынки для послѣдних Японіи приходилось сталкиваться больше всего с Англіей и Америкой. Это дѣлало Кенсейкай партіей в основѣ анти-англійской и анти-американской. Совсѣм не случайно в ранней литературѣ японскаго имперіализма проповѣдниками движенія на юг, — в Индонезію и к Южным морям, — являлись преимущественно люди, так или иначе связанные с Кенсейкай и ея предшественницами. С Россіей, наоборот, она стремилась установить дружескія сношенія: русскій Дальній Восток, по существу, был для нея так же очень выгодным рынком сбыта.

Сейюкай, наоборот, была прежде и больше всего партіей японской деревни. Во главу угла она ставила интересы и нужды земледѣльческаго населенія страны, — так, как их видѣл ведущій слой японской деревни, феодально-клановое дворянство. Индустріализація страны ее далеко не прельщала. Во внѣшней торговлѣ ея интересы лежали преимущественно в области вывоза японскаго сырья и полу-фабрикатов, подѣлок кустарной промышленности и т. д. С Англіей и Америкой здѣсь приходилось встрѣчаться не как с враждебными конкурентами, а как с желанными потребителями. В соотвѣтствіи с этим из лагеря Сейюкай выходили, главным образом, сторонники мирнаго сожительства и даже союза с «англо-саксами». Их агрессивные планы были обращены, главным образом, на азіатскій континент, гдѣ они искали «пространство» для своего избыточнаго населенія. А это сталкивало их с Китаем и Россіей.

Особенности развитія Японіи привели к тому, что за каждой из этих партій стояло по гигантскому финансовому концерну: дѣла Сейюкай направлял концерн Мицуи; дѣла Кенсейкай —концерн Мицубиси. Эти концерны, в свою очередь, исторически были связаны с двумя крупнѣйшими «кланами», на которые распадалось японское дворянство, — Чосіо и Сацума, — и которые со старых времен поставляли кандидатов на командные посты: первый — в армію, второй — во флот. Отношенія складывались в стройную схему, которая помогала легко оріентироваться почти во всѣх областях японской жизни. Выпуклое приложеніе ея к вопросам внѣшней политики дал Чичерин, когда он, весною 1926 г., напутствовал Бесѣдовскаго, отправлявшагося совѣтником полпредства в Токіо:

> «Политическая жизнь Японіи проходит в борьбѣ двух концернов, — Мицуи и Мицубиси, отражаясь в борьбѣ

двух основных кланов, Чосіо и Сацума, сухопутной арміи и морского вѣдомства. Первый клан нам враждебен. Он желает расширить базу японскаго вліянія на азіатском континентѣ, — в Китаѣ, Манчжуріи и на совѣтском Дальнем Востокѣ. Второй клан вынужден считаться с неминуемым в будущем японо-американским столкновеніем, в котором флоту придется играть рѣшающую роль. Отсюда поиски нефтяной базы, пекинская конвенція 1925 г. с нами о сахалинской нефти и гарантія, с нашей стороны, японскаго тыла в случаѣ столкновенія с Америкой. Теперешній премьер Вакатсуки (он занял мѣсто умершаго Като в январѣ 1926 г. **Б. Н.**) и мин. иностр. дѣл Шидехара — сторонники Мицубиси и Сацума».

Эта схема, дѣйствительно, была вѣрна для многих десятилѣтій, — но как раз в 1924-1927 г.г. были взорваны самыя основы ея.

Событія в Шанхаѣ произвели огромное впечатлѣніе на Японію. Острота анти-японских настроеній испугала. Печать требовала защиты «японских интересов» и возмущалась поведеніем делегатов совѣтских профсоюзов. Армія настаивала на «рѣшительных мѣрах». Созданіе в Японіи «рабоче-крестьянской партіи», что всѣ разсматривали, как возстановленіе партіи коммунистической, подлило масла в огонь. По газетам ходила цитата из «Правды», которая в связи с созданіем «рабоче-крестьянской партіи» написала, что на Японских островах дают себя чувствовать «симптомы соціальных землетрясеній». На фонѣ токійских улиц, все еще лежавших полуразрушенными от недавняго землетрясенія не-соціальнаго, эта метафора звучала особенно удачно! Совѣтскій полпред в Токіо В. Копп пытался успокоить общественное мнѣніе. В газетах было опубликовано заявленіе, которое он сдѣлал в бесѣдѣ с Като, завѣряя, что совѣтское правительство обязуется считаться с интересами Японіи: он был активным сторонником далеко идущаго внѣшне-политическаго сотрудничества с послѣдней. В Москвѣ на его выступленія посмотрѣли косо, и он был отозван за нежеланіе в нужной мѣрѣ считаться с интересами коммунистическаго движенія. Конечно, это только обострило кризис. К. Хаусхофер, который в это время держал себя, как воспріемник совѣто-японскаго соглашенія, и со своей геополитической вышки в Мюнхенѣ внимательно слѣдил за событіями на Тихом Океанѣ, к концу 1925 г. был склонен считать сорванной политику большого совѣто-японскаго со-

трудничества. Подводя итоги уходящему году, он меланхолически резонировал:

> «Так отзвучал пролог к внѣшне-политическому сотрудничеству по построенію Евразіи... Неужели в Москвѣ серьезно думают, что на политической шахматной доскѣ земного шара можно вести согласную игру своих фигур с чужими, — если в то же время при помощи «соціальных землетрясеній» пытаются выбить почву из под ног у своих союзников? Неужели опыт с Германіей был недостаточен?»

Политика использованія «соціальных землетрясеній» дѣйствительно и на Дальнем Востокѣ вступала в тот же конфликт с политикой использованія конфликтов междугосударственных, в какой она вступила в Германіи в 1922-23 г.г. Сам Хаусхофер был отнюдь не против использованія соціальных антагонизмов в цѣлях внѣшне-политических, но он требовал послѣдовательнаго и продуманнаго подчиненія первых вторым: «землетрясенія» в лагерѣ врагов полезны и нужны; «землетрясенія» в лагерѣ друзей — вредны. В тогдашней политикѣ Сов. Россіи умѣнія правильно маневрировать он не видѣл, — и это настраивало его на пессимистическій лад:

> «Послѣ таких примѣров могут ли Совѣты удивляться, если государства, таким образом ими третируемыя, и все же предназначаемыя ими для роли партнеров во внѣшне-политической игрѣ, одно за другим возвращаются в сѣти мудраго государственнаго искусства капиталистических стран Запада?» («Цайтшрифт фюр Геополитик», декабрь 1925, стр. 946).

И он так горько скорбѣл о трудности вести общую с совѣтской дипломатіей внѣшне-политическую игру, что теперешнему читателю без комментаріев ясна значительность роли, сыгранной нѣмецкими дипломатами в подготовкѣ совѣто-японскаго соглашенія 1925 г.: они и тогда умѣли играть на использованіи антагонизмов междугосударственных, — несмотря на все отталкиваніе от антагонизмов соціальных.

До срыва японо-совѣтских отношеній дѣло, конечно, не дошло: моментов анти-совѣтскаго активизма в политикѣ Като не было и в намекѣ. Но частичнаго успѣха военная партія добилась: представители Сейюкай в августѣ 1925 года из

правительства ушли. Больших осложненій в политической жизни Японіи это не вызвало. Като имѣл большинство в палатѣ и без Сейюкай, а потому смог быстро создать новое правительство. Внѣшне разрыв мало ощущался. А между тѣм, если говорить о существѣ политики, то кризис августа 1925 года приходится считать датой исключительной важности: шанхайскія рѣчи московских профсоюзников не только взорвали кабинет національнаго единенія, созданный для борьбы против «англо-саксов», но и вообще похоронили идею далеко идущаго сотрудничества старой Японіи, — Японіи, представляемой ея старыми политическими партіями, — с Совѣтской Россіей для совмѣстной организаціи «тихо-океанскаго пространства». С т а р а я Японія к этой идеѣ больше не возвращается. Второй кабинет Като-Вакатсуки начинает поиски основ совсѣм новой внѣшней политики.

8.

Положеніе Японіи в этом отношеніи было исключительно трудным. У нея были острые конфликты с Америкой, которая закрыла свои границы для японской иммиграціи, и с Англіей, которая совершила «недружелюбный акт» (слова Като), возобновив постройку укрѣпленій в Сингапурѣ. Именно эти конфликты и острота раздраженія против нанесеннаго оскорбленія (так в Японіи расцѣнивали особенно поведеніе Америки) толкнули Японію на путь соглашенія с Сов. Россіей. Теперь приходилось хоронить и идею длительнаго сотрудничества с послѣдней. С представителями Сейюкай Като расходился в том, что он не хотѣл открыто и рѣзко выбросить эту карту из своей игры: его явно пугала возможность остаться в «блестящей изоляціи» при наличіи тяжелаго положенія внутри и остраго кризиса в Китаѣ. Но он явно перестает «русскую карту» считать надежной и сильной картой в своей игрѣ.

Опредѣляющим для политики Като с этого момента становится сознаніе полной изолированности Японіи и потому невозможности для нея пойти на какой-либо серьезный конфликт, — особенно на конфликт вооруженный. Именно эта особенность положенія, осознанная и большинством Тайнаго Совѣта, роль котораго в Японіи огромна, и значительною частью общественнаго мнѣнія, позволила правительству быть относительно послѣдовательным в проведеніи своей политики, — несмотря на постоянную оппозицію воинствующих милитаристов. Содержаніе этой политики состояло в том, что пра-

вительство стремилось свести к минимуму внѣ-хозяйственную акцію в Китаѣ, основное вниманіе направляя на развитіе акціи хозяйственной, — особенно торговли. Еще в декабрѣ 1925 года, когда возстаніе ген. Го Сун-лина поставило под угрозу существованіе Чжан Цзо-лина, и военная партія требовала вооруженнаго вмѣшательства в событія, Шидехара, безсмѣнный министр иностранных дѣл в правительствах Като-Вакатсуки, доказывал необходимость строить политику не на примѣненіи силы, а на

> «концентраціи нашего вниманія и энергіи на развитіи внѣшней торговли без несправедливаго нарушенія интересов какой бы то ни было націи. Не союзов, а экономической солидарности ищем мы в наших внѣшних сношеніях» *).

Опыт примѣненія этой политики в Китаѣ очень быстро дал положительные результаты: уклоненіе Японіи от участія в карательных дѣйствіях против китайских революціонеров в сильной мѣрѣ содѣйствовало паденію того анти-японскаго настроенія, которое с такой остротой проявилось в дни шанхайских стачек. В дни Сѣвернаго похода китайцы-революціонеры, как свидѣтельствуют наблюдатели (напр., Анна Стронг и др.), к японцам относились болѣе благопріятно, чѣм к остальным иностранцам. А это благопріятно отражалось на японском экспортѣ в Китай.

Эта политика Японіи в Китаѣ не могла не оказать вліянія на ея отношенія с Америкой. Послѣдняя почти сразу же послѣ шанхайских событій заняла, в общем, благожелательную позицію в отношеніи Кантона. В цѣлом рядѣ частных, но важных вопросов позиція, занятая Японіей, в это время оказывалась близка к позиціи, занятой Соед. Штатами, — и они выступали, как фактическіе союзники. А так как китайскіе вопросы в тѣ годы играли весьма важную роль в общей политикѣ этих двух стран, то это неизбѣжно должно было привести и к общему их сближенію. Показателем, как далеко зашло дѣло в этом направленіи, может служить позиція, занятая Японіей по отношенію к проекту разоруженій на морѣ, который был выдвинут Вашингтоном в началѣ 1927 г. Японскіе эксперты находили этот план для нея крайне невы-

(1) Цит. по E. E. N. Causton: Militarism and Foreign Policy in Japan. Boston, 1936, page 129.

годным. Принятіе его, несомнѣнно, понижало боевую агрессію японскаго флота. Но так как было ясно, что от отношенія к этому плану зависит очень многое в будущих отношеніях Японіи и Америки, то японское правительство к нему отнеслось в общем положительно. Во всяком случаѣ, именно так нью-іоркская пресса толковала соотвѣтствующія заявленія Шидехары в японской палатѣ (см., напр., «Н.-И. Таймс» от 20 февраля 1927 г.).

Конечно, нѣт нужды принимать все на вѣру в тогдашних заявленіях представителей японскаго правительства. Меньше всего слѣдует идеализировать мотивы его поведенія. Правительство Като больше, чѣм какое-либо другое правительство в исторіи Японіи, было «правительством концерна Мицубиси»: его предсѣдатель и мин. ин. дѣл были зятьями Ивасаки, главы концерна; два других министра стояли в прошлом в каких-то иных, но тоже весьма близких отношеніях к концерну. Это дѣлало правительство точным выразителем интересов именно групп японской буржуазіи, заинтересованных в скорѣйшей индустріализаціи страны. На путях индустріализаціи онѣ искали и выхода из хроническаго хозяйственнаго кризиса. К сближенію с Америкой эти группы стремились именно потому, что надѣялись там получить капиталы для этой индустріализаціи. Это было ясно и наиболѣе вдумчивым из наблюдателей-современников. Один из них, М. Галкович, совершенно правильно устанавливал, что

> «лозунг многих дѣловых людей современной Японіи — индустріализація с помощью Америки для завоеванія азіатскаго рынка» («Большевик», № 6, за 1927 г. стр. 54).

Цѣлый ряд шагов в этом направленіи уже был сдѣлан. Общее количество американских капиталов, вложенных в японскія предпріятія, к концу 1926 года опредѣлялось приблизительно в 100 мил. дол. Иокогава, директор одного из больших промышленных трестов, связанных с концерном Мицубиси, в началѣ 1927 г. заявлял в печати:

> «мы имѣем в Японіи цѣлый ряд японо-американских альянсов... Всѣ эти объединенія, в которых я лично заинтересован, дают в своей работѣ превосходные результаты».

Ими всѣми двигала, конечно, жажда прибыли. Но прибыль эту они хотѣли получить на путях свободной торговли,

свободной конкуренціи. В соотвѣтствіи с этим правительство, выражавшее их интересы, вело политику, которая, как говорит один из наблюдателей-американцев, «сочетала мир с бизнесом»*).

Этот курс внѣшней политики, конечно, не мог не отразиться и на политикѣ внутренней. Он вызывал все болѣе и болѣе острую оппозицію военщины, и это вынуждало правительство искать поддержку в демократических слоях населенія и думать об усиленіи позиціи послѣдних. Реформы, введенныя в 1925-26 г.г. (расширеніе избирательнаго права, сокращеніе численности арміи, демократизація офицерскаго корпуса, введеніе суда присяжных и т. д., правительство разсматривало, как только начало своей реформаторской дѣятельности. Бюджет на 1927 год был составлен с необычным для Японіи соотношеніем частей, предназначенных на армію и флот, с одной стороны, и на обслуживаніе соціальных и культурных нужд населенія, с другой; первая часть была необычно мала (всего 27%), вторая — необычно высока. А новый микадо, — Хирохито, в своей тронной рѣчи 25 декабря 1926 г. провозгласил начало новой эры, когда главной заботой правительства должны стать поиски рѣшенія проблем труда в соотвѣтствіи с принципами либерализма...

Иными словами: в Японіи тѣх лѣт можно было наблюдать ту самую взаимозависимость, которую историки встрѣчают и в других странах: политика мира во внѣ приводила к политикѣ демократических преобразованій внутри страны, а эта преобразовательная дѣятельность внутри страны, раз начатая, укрѣпляла правительство в рѣшимости проводить политику мира во внѣ.

9.

Оппозицію против правительства Като-Вакатсуки вела партія Сейюкай, которая в эти годы сама не выходила из состоянія остраго кризиса. В ней и раньше было весьма велико вліяніе крайних милитаристов. Именно это вызвало ея раскол в 1922-23 г.г., причем на выборах 1924 г. оппозиціонеры-противники милитаристов (группа Сейюхонто) получили даже больше мѣст, чѣм сторонники оффиціальной линіи (120 против 101). Послѣ 1924 г. партія сдѣлала ряд дальнѣйших шагов по

---

(2) Harry P. Howard: America's Role in Asia. N. Y. 1943, p. 134.

пути своего подчиненія милитаристам. Это сказалось на личном составѣ партійнаго руководства. Парламентаріи и люди, так или иначе связанные с частно-хозяйственной дѣятельностью и привыкшіе государственныя дѣла разсматривать под угломъ интересов частно-хозяйственных отношеній, были оттиснуты на задній планъ. На их мѣсто выдвинулись люди, вся психологія которых была опредѣлена их положеніем в аппаратѣ власти, — по военной или по гражданской линіи. Они утверждали примат государства над интересами частно-хозяйственной жизни, — не того или иного отдѣльнаго предпріятія, а над основными потребностями всего хозяйства, построеннаго на базѣ свободной конкуренціи. До идеи государственнаго хозяйства они еще не доходили. Вести строительство они собирались руками частных предпринимателей. Но эти частные предприниматели должны были быть подчинены далеко идущему контролю государственнаго аппарата. Это был тоталитаризм, — своеобразный, но вполнѣ опредѣленный тоталитаризм военно-бюрократическаго аппарата. С ними, навѣрное, мог бы согласиться наш русскій Побѣдоносцев, — если б он нашел в себѣ смѣлость выскочить из рамок не только политической экономіи Адама Смита, но и из норм стараго римскаго права. Побѣдоносцевы японскіе эту смѣлость находили, — в твердой вѣрѣ в неизбѣжность и необходимость для Японіи пройти через длинный и трудный період страшных войн, — войн за «жизненное пространство».

Особенно видную роль стал играть барон Хиранума. Среди лидеров Сейюкай именно ему принадлежала мысль «пойти в народ» молодого фашистскаго движенія, чтобы подчинить послѣднее руководству умудренных опытом бюрократов-тоталитаристов. Свой планъ он осуществил, — и «Общество Государственных Основ», которое он возглавил с 1925 года, дѣйствительно сыграло весьма значительную роль и в исторіи японскаго фашизма, и в исторіи Японіи вообще. Официальным главою партіи стал ген. Танака, — наиболѣе яркая фигура среди вождей крайней милитаристской партіи.

Эти сдвиги внутри Сейюкай проходили не без внутренней борьбы и сопротивленія. Оппозиціонеры из группы Сейюхонто все больше и больше сближались с Кенсейкай. Они продолжали поддерживать Като и послѣ выхода официальных представителей партіи из правительства. Только небольшая часть из них (24 депутата) вернулась обратно в партію. Остальные в 1927 году об'единились с Кенсейкай, которая послѣ этого приняла новое названіе: Минсейто.

В пониманіи значенія всѣх этих передвижек едва ли можно ошибиться. Старая схема, которую так стройно излагал Чичерин весною 1926 года, как раз в эти дни в значительной части уходила из жизни. Правительство Мицубиси, выросшее из клана Сацума, вопреки всѣм традиціям, теперь вело политику сближенія с Америкой и привлекало на свою сторону симпатіи крупнѣйших экспортеров шелка из концерна Мицуи, — но отбрасывало в ряды своих злѣйших врагов моряков-офицеров, которые его согласіе на Вашингтонскую программу разоруженій разсматривали, как акт прямой государственной измѣны. Эти офицеры-моряки из клана Сацума теперь становились под знамена пѣхотнаго генерала Танаки из клана Чосіо, который старую, традиціонную для Сейюкай политику наступленія на азіатском континентѣ сочетал с политикой непримиримой борьбы против Америки... От старых схем оставалось очень немногое, но отчетливо начинали вырисовываться основныя линіи новых группировок: за развитіе Японіи на путях частнохозяйственных, капиталистических отношеній или на путях тоталитаризма? Причем эта общая, почти отвлеченно-теоретическая постановка вопроса сразу же давала проекцію в область ближайших внѣшне-политических дѣйствій: за какую из двух внѣшних политик — за политику мира, и на морѣ, и на сушѣ, или за политику военных авантюр, и там, и здѣсь?

Правительство Кенсейкай пало в дни наиболѣе напряженной борьбы вокруг вопросов об отношеніи к Вашингтонскому проекту разоруженій и к событіям в Китаѣ, гдѣ продвиженіе кантонской арміи в район Нанкина-Шанхая вызвало ряд столкновеній с иностранцами. Но формальной причиной паденія, — и это очень характерно для тогдашней обстановки, — были не эти большіе вопросы. Настроеніе общественнаго мнѣнія было таково, что оппозиція явно не рисковала давать на них рѣшающій бой. Болѣе выгодной для нея оказался другой вопрос: как раз в это время по Японіи ударил финасовый кризис, в основном вызванный тѣми же китайскими событіями, которыя вызвали массовые крахи фирм, имѣвших дѣла с Японіей. Чтобы ослабить остроту кризисов, правительство рѣшило дать заем одному из крупнѣйших банков страны, — Формозскому. Сумма, о которой шла рѣчь, была весьма солидной (200 милл. іен), но солидным был и банк: это подтвердили позлнѣйшія событія, так как несмотря ни на что банк тогда выжил. Но банк этот связан с концерном Мицубиси... Как только о рѣшеніи правительства стало извѣстно, реакціонная пресса открыла бѣшенную кампанію, которая велась по образцам, к тому времени

уже провѣренным практикой нѣмецкаго фашизма: обвиненія в коррупціи на фонѣ вульгарной анти-капиталистической и анти-парламентарной демагогіи, умѣло приспособленной к уровню аудиторіи... Соотвѣтствующая атмосфера была создана. Тайный Совѣт небольшим большинством высказался против проекта, и правительство ушло в отставку (17 апрѣля 1927 г.). Банк вынужден был пріостановить платежи, вызвав ряд других банкротств. 21 апрѣля платежи пріостановили 15 банков. Правительство вынуждено было прекратить котировку іены и закрыть на нѣсколько дней всѣ банки. Разразился острый финансовый кризис. Странѣ это обошлось очень дорого, но Танака к власти пришел...

10.

В дѣятельности этого правительства, как и в дѣятельности правительства Като-Вакатсуки, вопросы внѣшне-политическіе с самаго начала заняли центральное мѣсто.

По существу, полная ликвидація «американскаго уклона» во внѣшней политикѣ Японіи была предрѣшена уже с момента прихода ген. Танаки к власти: сближеніе с Соед. Штатами было возможно лишь в случаѣ готовности Японіи пойти навстрѣчу вашингтонским планам разоруженія на морѣ, — но такое разоруженіе было совершенно непріемлемо для Танаки и для тѣх сил, которыя его вынесли на поверхность. Но и рвать с Соед. Штатами, — во всяком случаѣ рвать сразу же, — Танака не мог и не хотѣл: по подсчетам, Японія имѣла тогда американских кредитов значительно больше, чѣм на 100 милл. долл.; разрыв не только пріостановил бы приток новых кредитов, но и вызвал бы отлив старых. А на Танаку и без того сыпались нападки, что насущнѣйшіе хозяйственные интересы страны он приносит в жертву своей авантюристской внѣшней политикѣ. Его положеніе далеко не было прочным. Дошло до того, что палата депутатов 8 мая приняла резолюцію, возлагая на Тайный Совѣт ответственность за кризис: рѣшеніе. небывалое в исторіи Японіи.

С другой стороны, программа «позитивной политики» в Китаѣ, т. е. программа активнаго вмѣшательства в китайскія событія, защитником которой была Танака, логически обязывала его к борьбѣ против Сов. Россіи, которая поддерживала національно-освободительное движеніе в Китаѣ, с одной стороны, и к сближенію с Англіей, с другой. Эта послѣдняя в то время вела наиболѣе агрессивную политику против «южан» и

на этой почвѣ имѣла не мало треній с правительством Като-Вакатсуки. В печати говорилось о связях, которыя существовали между англійскими дипломатами и ген. Танака еще до прихода послѣдняго к власти. Даже сам этот приход иногда ставился в ту или иную связь с «англійскими интригами». Вѣрно это или нѣт, установить трудно, — но это и не так важно. Вполнѣ достаточно и безспорных фактов: заявленій о симпатіи со стороны англійских представителей в отношеніи Танаки, с одной стороны; аналогичных отвѣтных заявленій как самого Танаки, так и его друзей, с другой.

Послѣ прихода Танаки к власти, тяга к сближенію, естественно, проявилась с еще большей силой. Консервативная пресса Англіи восторженно привѣтствовала Танаку, не скрывая своих надежд, что этот приход коренным образом измѣнит всю обстановку на Тихом океанѣ. По выраженію одного совѣтскаго обозрѣвателя, нѣкоторыя из газет начали писать так, будто согласіе Японіи на возобновленіе англо-японскаго союзнаго договора уже лежало в их карманѣ. О совмѣстном англо-японском выступленіи против Гоминдана говорилось открыто, — и открыто же обсуждались перспективы большой войны на Дальнем Востокѣ, которая выростет из такого выступленія.

Но с этим рѣшеніем Танака не чувствовал необходимости спѣшить: одно дѣло ни к чему не обязывающія заявленія о симпатіи; совсѣм другое — союзный договор. Среди его друзей имѣлись и сторонники послѣдняго (старые консерваторы), — но было не мало и противников. К числу послѣдних принадлежали едва ли не всѣ «пан-азіаты». Они были против союза, не желая, чтобы Японія в глазах тихо-океанских народов стала отвѣтственной за политику Англіи, раздраженіе против которой в національно-революціонных группировках «тихоокеанскаго пространства» было исключительно велико. Один из видных представителей этого крыла «пан-азіатов», К. К. Каваками, доказывал, что при современном состояніи внѣшнеполитических отношеній Англіи представляется непрактичным ослаблять таким союзом положеніе Японіи в Китаѣ или портить отношенія с Сов. Россіей. В этих условіях самостоятельная политика свободных рук много выгоднѣе*). Аналогичные голоса звучали и с других сторон...

---

*) Статья в "The People" (орган индусских «пан-азіатов», выходившій в Лагорѣ) от 29 мая 1927 года (цит. «Цайтшрифт фюр Геополитик», август 1927 г., стр. 661). — Каваками в теченіи многих

В этой обстановкѣ Танака разрабатывал свою программу. Послѣ ряда подготовительных совѣщаній, на 27 іюня им было созвано большое совѣщаніе всѣх военных, дипломатов, администраторов, финансистов и промышленников, имѣвших отношеніе к японской дѣятельности в Китаѣ, Манчжуріи и Монголіи, в цѣлях установленія плана развитія континентальной имперіи. Даже по офиціальному сообщенію на конференціи обнаружилось существенное расхожденіе между военными и дипломатами. Газета «Хочи» (орган Кенсейкай) сообщала болѣе опредѣленно:

> «Выступавшіе дипломаты единодушно пытались разубѣдить Танаку, который возомнил себя хорошим дипломатом... Дипломатическое невѣжество Танаки было ярко выявлено...»*).

Конференція засѣдала 11 дней. Офиціальное сообщеніе было, как обычно, мало говорящим: признали необходимость сотрудничать с Китаем и Россіей на основѣ принципа открытых дверей и т. д. Но это, конечно, не были дѣйствительныя рѣшенія конференціи: свой вывод из работ послѣдней ген. Танака сдѣлал в особом меморандумѣ, который он представил Микадо 25 іюля 1927 года и который позднѣе, когда он был опубликован (осенью 1931 г.), пріобрѣл широкую извѣстность под названіем «меморандума Танаки». В свое время японское правительство пыталось оспаривать его подлинность, доказывая, что это — подлог, сдѣланный большевиками. В дальнѣйшем я покажу, что это обвиненіе — неправильно: «меморандум Танаки» — суровый обвинительный акт против дальне-восточной политики Сталина, и в Россіи он ни разу не был опубликован полностью. Если б большевики его поддѣлывали, то они сдѣлали бы его болѣе выгодным для себя. С другой стороны, защитники Японіи старались доказать, что этот меморандум выражает только личныя мнѣнія самого

лѣт жил в Соед. Штатах, принимал участіе в американской прессѣ, — в том числѣ и в соціалистической (его статьи в "Intern. Social. Review," Чикаго, 1901-1902 г.г.); был лично знаком и с Сунь Ятсеном и т. д. Позднѣе состоял сотрудником «Цайтшрифт фюр Геополитик» К. Хаусхофера, а еще позднѣе — был защитником японских захватов в Манчжуріи.

*) Цит. по «Правдѣ» от 5 іюля 1927 года.

Танаки, который был психически неуравновѣшенным человѣком и отвѣтственности за котораго Японія нести не может. В извѣстной мѣрѣ это, быть может, и правильно. Но этот психически неуравновѣшенный человѣк в теченіи свыше двух лѣт был руководителем японской политики и открыто в бесѣдах с журналистами развивал взгляды, шедшіе в направленіи тогда еще неопубликованнаго меморандума*). В этих условіях понятіе о неуравновѣшенности пріобрѣтает специфическій смысл: таким же неуравновѣшенным вѣдь является и Гитлер!

Программа, развитая в «меморандумѣ», дѣйствительно могла в свое время навести на мысли о психической неуравновѣшенности автора. В литературѣ японских милитаристов к тому времени накопилось уже немало авантюристических проектов, но всѣ они были планами агрессіи односторонней: или против континентальных сосѣдей Японіи, т. е. против Китая и Россіи, или против «сосѣдей» морских, против Англіи и особенно Америки. Грани, раздѣлявшія эти два лагеря, были намѣчены вполнѣ опредѣленно. В своих построеніях всѣ авторы держались старой аксіомы японскаго штаба, которая отрицала возможность войны на два фронта. Желаніе вести агрессію в одном направленіи обязывало к поискам длительнаго соглашенія в другом...

Танака сдѣлал попытку вырваться из пут этой старой аксіомы. Его конечныя цѣли шли очень далеко. Он считал необходимым бороться не только за полное подчиненіе Китая и русскаго Дальняго Востока; в порядок дня он ставил также «завоеваніе Индіи, Архипелага, Малой Азіи, Центральной Азіи и даже Европы». Его программа, — программа главы японскаго правительства, — полностью перенимала максимальные планы революціонных пан-азіатов, которые составлялись для нужд демагогической агитаціи. Он, конечно, понимал, что эта программа приводит к войнам в обоих указанных выше направленіях, с обѣими группами возможных противников: и против Америки («если мы, — пишет он, — хотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы должны будем сокрушить Соед. Штаты»), и против Сов. Россіи («в программу нашего національнаго роста входит, повидимому, необходимость вновь скрестить мечи с Россіей на полях Монголіи»). Тѣ доводы, которые связывали старый японскій штаб, Танака отводил

*) См., напр., разсказ Frederick Moor: "With Japan. Leaders"; N. Y., 1942, стр., 19—24.

соображеніями двух категорій. Прежде всего он отрицал военно-техническую невозможность успѣшной борьбы одновременно и на сушѣ, и на морѣ. По его мнѣнію, в случаѣ необходимости существует возможность для начальных этапов борьбы успѣшную оборону на морѣ соединить с успѣшным же наступленіем на сушѣ: флот должен запереть всѣ входы в Японское море, превратив его во внутреннее, закрытое море, недоступное даже для вражеских подлодок; сообщенія между Японскими островами и континентом станут вполнѣ безопасными и переброска армій пойдет полным темпом, — в размѣрах, достаточных для разгрома Россіи. Но соображенія военно-техническія для Танаки играли все же лишь второстепенную роль. Основными для него являлись надежды на дипломатическую игру: он увѣрен, что Японія сможет раз'единить своих возможных противников, — и тогда армія будет их бить порознь, сначала одного, затѣм другого.

Так как на первой очереди для Танаки стояло укрѣпленіе позицій в Манчжуріи и Монголіи, то естественно, что именно на этих вопросах он и останавливался болѣе подробно. Вбиваніе клиньев между дѣйствующими здѣсь противниками Японіи для Танаки представлялось наиболѣе важным.

Его очень удручали успѣхи Чжан Цзо-лина, который с помощью англичан и американцев успѣшно вел постройку дорог, вредных с японской точки зрѣнія. В дальнѣйшем это ни в коем случаѣ не должно быть допущено. Японія должна добиться, чтобы все желѣзнодорожное строительство в этих областях шло по ея планам, в желательных для нея направленіях. Но привлеченію иностранных капиталов, — в особенности американских, — препятствій ставить ни в коем случаѣ не слѣдует. Наоборот, такое привлеченіе слѣдует всѣми средствами поощрять, ибо эти мѣры, с одной стороны, усыпляют подозрительность американцев, а, с другой, создают капитал страны, который в конечном счетѣ пойдет на пользу Японіи, — когда послѣдняя страной овладѣет.

Эта игра в отношеніи Америки дополнялась игрой в отношеніи Россіи. Возможность сближенія Россіи с Китаем пугала Танаку больше всего, и потому задача обостренія отношеній между ними для него — дѣло первоочередного значенія:

> «Если мы, — пишет Танака, — хотим получить богатства Сѣв. Манчжуріи и построить новый континент, сообразно завѣщанію императора Меджи, мы должны постараться разстроить дружественныя отношенія между Россіей и Китаем».

С этим критеріем Танака подходит к рѣшенію всѣх частных проблем, неизмѣнно преслѣдуя одну задачу, очень ясно им самим сформулированную:

> «В борьбѣ против политическаго и экономическаго вліянія Россіи мы должны воспользоваться китайцами, подталкивая их вперед и руководя событіями сзади. В то же время, с цѣлью помѣшать росту вліянія Китая, мы должны вступить в тайную связь с Россіей».

По существу, именно к этому сводилась основная идея всей политики Танаки: натравить Россію на возрождающійся національный Китай.

«Политика» меморандума Танаки тѣсно связана с его «экономикой».

Сам Танака принадлежал к старому поколѣнію японских милитаристов и никакой симпатіи к «государственному соціализму», — даже в редакціи военно-фашистской японской молодежи, — у него никогда не было. Но вся его программа складывалась в процессѣ отталкиванія от «торгашеской» политики правительства Кенсейкай, которая, с его точки зрѣнія, разлагала Японію, была политикой національнаго самоубійства. Поэтому, для него было невозможно довѣрить частной иниціативѣ построеніе экономики вновь захватываемых стран: «торгаши» погубят побѣду. По его плану, эта экономика должна быть организована государством. А так как государство он видѣл глазами военнаго, то именно арміи он отводил руководящую роль и в этом дѣлѣ: именно военные, — дѣйствительной службы или в отставкѣ, — должны были управлять желѣзными дорогами, проникать в самые отдаленные углы страны, руководить переселеніем колонистов, организаціей промышленных предпріятій и т. д.... Меморандум требовал немедленнаго созданія особаго Колоніальнаго Департамента в Токіо с весьма широкими правами... Это была не вполнѣ еще законченная, но уже достаточно опредѣленная схема построенія «госхозяйства» сверху, методами военно-бюрократическаго аппарата.

Таковы были пути, которыми элементы госхозяйственной идеологіи проникали в программу старых вождей японской военной партіи, создавая точки соприкосновенія ея с программами военно-фашистской молодежи. Готовя агрессію и все подчиняя ея интересам, они необходимо упирались в «госхозяйство», так как только послѣднее в нашу эпоху могло стать достаточно прочной базой для агрессивной войны.

11.

В Москвѣ тѣм временем спор о «большой» стратегіи міровой революціи со страниц коминтерновских изданій перекочевал и в печать Наркоминдѣла. Конечно, фразеологія была соотвѣтственно подправлена; кое в чем были введены частныя поправки и в постановку вопроса, но по существу рѣчь шла о том же: кого слѣдует считать «врагом № 1» — Англію или Америку? Было ясно, что вопрос начинает становиться актуальным и для той стороны внѣшней политики Москвы, которая проводилась по каналам совѣтской дипломатіи. Свою частичную побѣду по линіи Коминтерна Сталин торопился перенести и в область, подлежавшую компетенціи Наркоминдѣла.

В литературѣ послѣдняго явственно намѣтилось двѣ основных линіи, — не только отличных друг от друга по выводам, но и антагонистичных по самому подходу.

Одну защищал Чичерин, тогда наркоминдѣл, в «Международной Жизни», за подписью «Постскрипт». Руководитель внѣшней политики с 1918 года, он имѣл свою линію, которую все время вел с большой настойчивостью. Основным ея стержнем была борьба против Англіи, — и притом на тѣх самых позиціях, на которых она велась в теченіи всего XIX вѣка: Балканы, Турція, Малая и Средняя Азія... Хорошій знаток исторіи русской дипломатіи, Чичерин сознательно перенял по существу ту самую антианглійскую нить старой русской внѣшней политики, которую с разной степенью таланта пытались проводить Николай I, граф Алексѣй Орлов, Н. П. Игнатьев и Гирс с Ламсдорфом. Конечно, он по иному ее мотивировал; существенно иными были и ф о р м ы ея проведенія, но это не мѣшало ему искренне торжествовать, когда он получил возможность возвѣстить міру, что русскіе штыки на высотах Памира снова начали предостерегающе поблескивать в направленіи британской Индіи!

В проведеніи этой линіи он одержал ряд значительных дипломатических побѣд, предѣлом взлета которых было созданіе в Передней Азіи дружественнаго Сов. Россіи «треугольника» из Турціи, Персіи и Афганистана... Но если мы внимательно приглядимся к этим побѣдам, мы не сможем не замѣтить, что во всѣх этих случаях Сов. Россія только перенимала тѣ позиціи, которыя были отобраны у англичан нѣмцами еще в предшествующій період. Заглянув, напр., в книгу О. фон

Нидермайера об его приключеніях в Персіи и Афганистанѣ за годы первой міровой войны, мы легко убѣдимся, что временами даже дѣйствующія лица оставались тѣми же самыми. Конечно, это было не случайностью, как не случайностью были и частые тогда визиты в Москву крупнѣйших дѣятелей старой нѣмецкой развѣдки во главѣ с Максом Бауером, с только что упомянутым бароном Оскаром фон Нидермайером и др. Москвѣ тѣх лѣт неустанно ворожила благожелательная «бабушка» из реваншистской Германіи, и настоящая — по существу, рѣшающая — побѣда над англійской дипломатіей была одержана дипломатіей совѣтской в тот момент, когда она заключила договор дружбы и сотрудничества с нѣмецким рейхсвером. Всѣ остальныя побѣды были только слѣдствіем, своего рода приданным, которое рейхсвер принес в общее хозяйство.

Но к 1927 году положеніе измѣнилось: именно эта рѣшающая побѣда оказалась под ударом. «Дух Локарно», казалось, разлагал непримиримую англофобію націоналистической Германіи. «Крестовая Газета» поддерживала «западную оріентацію». Граф Вестарп голосовал за политику Локарно. Вильгельмштрассе—еще вчера неприступная крѣпость Брокдорф-Ранцау и Мальцана — выступала в роли англійскаго маклера, пытаясь уговорить турок пойти в Лигу Націй. Колебанія проникли даже в среду руководителей рейхсвера, гдѣ начали внимательно прислушиваться к проектам ген. Гофмана, на котораго еше недавно смотрѣли, как на опаснаго больного...

На этом фонѣ быстро развертывалось наступленіе консервативной Англіи, — Англіи Бальфура-Черчиля-Остина Чемберлена. Зима 1926-1927 годов была періодом особенно значительных успѣхов англійской дипломатіи. Она не только сильно продвинула вперед работу построенія «санитарнаго кордона» вдоль западной границы Россіи, но и перешла в контр-наступленіе на югѣ, в Передней Азіи, ведя систематическую работу в Турціи, захватывая позиціи в Ираке, плетя сѣти в Афганистанѣ... Весьма активной она была и в Западной Европѣ. Сговариваясь с Италіей (свиданіе Черчиля с Муссолини), вбивая клинья в Малую Антанту, она вела подкоп и под Францію, ставя ее перед выбором: или войти в орбиту англійской политики, или оказаться совершенно изолированной. Основной цѣлью всей этой европейской вѣрнѣе, евро-азіатской — игры Англіи было наступленіе на Сов. Россію. Нота Остина Чемберлена от 23 февраля 1927 гола означала конец подготовительнаго періода этой игры и переход к открытому дѣйствію. Набѣг полиціи на Аркос 12 мая был увертюрой к разрыву

дипломатическихъ сношеній, который послѣдовал 24 мая. Из записей Штреземана мы знаем, что во всяком случаѣ для Остин Чемберлена эта компанія не была компаніей подготовки войны: он просил Штреземана выступить посредником и воздѣйствовать на вождей совѣтской политики, чтобы они отказались от своей революціонной агрессивности. Поэтому вполнѣ прав был Отто Бауэр, когда он в іюлѣ 1927 году, т. е. в самый разгар алармистской шумихи, поднятой, с одной стороны, коммунистами, а, с другой, реакціонной прессой, выступил в парижском «Попюлэр» с призывом к хладнокровію, доказывая, что опасность войны чрезмѣрно преувеличена. Но с внѣшней стороны вся эта кампанія, конечно, не могла не производить весьма тревожащаго впечатлѣнія.

В этой обстановкѣ анти-англійское остріе основной концепціи Чичерина выступало особенно четко. Он не только защищал ту политику, которая была дѣлом его жизни; несомнѣнно, он был искренне убѣжден, что зашищает и жизненные интересы Россіи. Его статьи этих мѣсяцев написаны с большой силой. В них нѣт ни гео-политических обобщеній, ни того «вульгарнаго соціологизированія», над которым так смѣются сталинцы наших дней, но которое было обязательно для сталинцев того времени; он не тратит времени на наклейку примитивных классовых ярлычков. Разбираясь в работѣ англійской дипломатіи, он сосредоточивает свое вниманіе на выясненіи сил, которыя оказывают непосредственное вліяніе на линію этой дипломатіи, которыя непосредственно содѣйствуют ея успѣхам. Но в этой области он выказывает исключительную освѣдомленность и исключительное же умѣніе распутывать нити закулисных интриг. Он знает все, что должен был знать хорошій дипломат старой школы: не только содержаніе договоров и соглашеній, но и личныя особенности тѣх, кто ставит подписи под этими договорами, характер вліянія англійских принцесс и рыночную цѣну на албанских бандитов. И каждая строка каждой его статьи звучит, как старое напоминаніе «консулам» о необходимости быть бдительными:

> «Противника надо знать, — пишет он, это — первая необходимость как политиков, так и военных. Больше всего необходимо избѣгать иллюзій и не поддаваться обману. Вот почему нужно изучить историческую практику такого противника, как Англія. Кто эту практику знает, тот не будет обманываться видимостями, а будет держаться насторожѣ и примет необходимыя мѣры предосторожности» («Междунар. Жизнь», август 1927 г., стр. 60).

Чичерину казалось, что он хорошо знает «историческую практику» Англіи и что поэтому он хорошо разбирается в ея практикѣ современной, — и в обстановкѣ лѣта 1927 года он настойчиво призывал внѣшнюю политику Сов. Россіи строить с оглядкой прежде и больше всего на Англію. Для него теперь, больше, чѣм когда-либо, — именно она была «врагом № 1».

Двѣ особенности необходимо имѣть в виду, чтобы правильно понять значеніе этой политики Чичерина для тѣх дней. Прежде всего: его концепція, — во всяком случаѣ для ближайшаго періода, — являлась опредѣленно о б о р о н и т е л ь н о й и обязывала к отказу от авантюр, к относительной умѣренности политической линіи. Он исходит из факта уже идущаго дипломатическаго наступленія Англіи, предвидит переход этого наступленія в иную, болѣе агрессивную стадію, и задачу отраженія такого наступленія считает центральной, именно ей подчиняет всю политику страны. Его концепція, затѣм, в ея основѣ е в р о п е й с к а я концепція: группировки, возникающія в Европѣ, для него являются основными; их развитіе составляет предмет его главных забот; остальное ему кажется дополненіями, болѣе или менѣе второстепенными.

В частности, о положеніи в Китаѣ и на Тихом Океанѣ вообще он совсѣм не говорит. В извѣстной мѣрѣ на это должен был вліять тот факт, что Китай уже с 1925 года был из'ят из вѣдѣнія Чичерина.

> «Китайскія дѣла, — «кисло» говорил он Бесѣдовскому еще весной 1926 года, — играют теперь такую роль, что Наркоминдѣл не может позволить себѣ роскоши давать вам непосредственныя директивы».

Но есть цѣлый ряд данных, заставляющих считать, что само из'ятіе Китая из сферы компетенціи Чичерина было результатом его нежеланія признать доминирующую роль тихоокеанских проблем над проблемами европейскими. Еще в мартѣ 1921 года он напечатал серію статей: «Против тезисов тов. Сталина», из которых видно, что он расходился с послѣдним как раз по тѣм группам вопросов, которые позднѣе составили отличительную особенность всей внѣшней политики Сталина: о значеніи національнаго самоопредѣленія народов, о характерѣ использованія противорѣчій между странами-побѣдительницами и т. д. Он был, конечно, за поддержку національно-освободительных движеній всевозможных колоніальных и

полу-колоніальных народов, но стремился проводить строгую линію водораздѣла между ними и движеніями пролетарскими. Находившійся в какой-то мѣрѣ под вліяніем тѣх общих концепцій путей развитія к соціализму, которыя связаны с именем Розы Люксембург, Чичерин раздѣлял характерное для многих люксембургіанцев недовѣріе к стихіи національно-освободительных движеній и опасеніе, что эта отсталая стихія может захлестнуть болѣе высокое по культурѣ движеніе западно-европейскаго пролетаріата. Отсюда его борьба против заполненія Коминтерна представителями всевозможных ультра-лѣвых организацій «народов Востока» и план выдѣленія послѣдних в особую «Лигу угнетенных народов Востока» (об этом планѣ разсказано в воспоминаніях Бармина). Отсюда же и его систематическая борьба против попыток «совѣтизировать» китайскую революцію и, в особенности, против сталинской идеи перерастанія національных революцій в революціи соціалистическія. В плоскости концепцій внѣшне-политических эти общіе взгляды Чичерина находили свое выраженіе в извѣстном отталкиваніи от оріентаціи на Азію, на событія, развертывающіяся на тихо-океанском пространствѣ, а тяжба между Азіей и Европой сыграла огромную роль и в общих судьбах большевизма, и в судьбах внѣшней политики Сов. Россіи, в особенности.

В этих условіях молчаніе Чичерина о Тихом Океанѣ вполнѣ понятно, но достаточно понятны и тѣ выводы, которые он должен был дѣлать для Дальняго Востока из своих посылок. Если Англія дѣйствительно «врагъ № 1», то необходимо и тихо-океанскія группировки разсматривать под углом их отношенія к Англіи: кто с Англіей, тот является болѣе или менѣе опасным врагом; кто против нея, тот становится болѣе или менѣе желательным попутчиком. А это обязывало к желанію не только избѣгать разрыва с національно-демократическим движеніем Китая, но и искать возможностей сближенія с Америкой...

12.

Этой европейски-оборонительной анти-англійской концепціи Чичерина противостояла другая концепція, которая «врагом № 1» об'являла Америку. В литературѣ эта концепція была представлена рядом авторов, которые нерѣдко расходились в деталях. Было между ними расхожденіе и болѣе глубокое: одни на первый план выдвигали роль Америки в Европѣ и

англо-американскій конфликт брали в его, так сказать, атлантическом разрѣзѣ; другіе, наоборот, во главу угла ставили роль Америки на Дальнем Востокѣ и тот же конфликт разсматривали в разрѣзѣ тихо-океанском. Я не имѣю возможности с нужной полнотой прослѣживать эти в высшей степени интересныя группировки, хотя они и оказали большое вліяніе на формированіе новой внѣшне-политической линіи*). В наиболѣе заостренной формѣ доводы «азіатских» сторонников этой концепціи развил А. А. Іоффе. Ближайшій политическій единомышленник и личный друг Троцкаго, в описываемое время (зимой 1926-1927 г.) Іоффе по партійной линіи уже находился в опалѣ, но в НКИД он еще пользовался большим вліяніем: его считали одним из наиболѣе удачливых и талантливых совѣтских дипломатов**). В его активѣ стояли такія дѣйствительно крупныя дипломатическія побѣды, как первое рѣшающее соглашеніе с Сунь Ят-сеном и установленіе первых же дружественных сношеній с Японіей. На этом основаніи его считали большим спеціалистом по дальне-восточным дѣлам. Не журналист, он писал очень рѣдко, но когда писал, то брал большіе вопросы и намѣчал далекія перспективы. Мы уже знаем, что еще с 1922-

*) Необходимо только отмѣтить, что среди этих авторов особо замѣтное мѣсто занял нѣкто, подписывавшій свои статьи псевдонимом М. Танин. Это был, несомнѣнно, кто то из видных работников Наркоминдѣла: к 10-лѣтію октябрьской революціи им была составлена офиціальная исторія внѣшней политики Сов. Россіи, изданная НКИД, а такую работу не поручили бы случайному человѣку. Сопоставленіе ряда косвенных данных позволяет со значительной долей обоснованности считать, что под этим псевдонимом скрывался И. М. Майскій, в тѣ годы руководитель информаціоннаго отдѣла НКИД. В своих статьях и брошюрах он очень сдержан в обобщающих выводах, но весьма послѣдователен в подборѣ посылок для вывода: этот вывод цѣликом анти-американскій и близок к тому, на котором позднѣе остановился Сталин.

**) В некрологѣ: «Адольф Абрамович Іоффе», напечатанном без подписи в ноябрьском номерѣ «Междунар. Жизни» за 1927 год, говорится: «его большія знанія, богатая эрудиція, знаніе европейских языков, удивительное спокойствіе и выдержка в дипломатических переговорах, проницательность и такт создали ему популярность лучшаго совѣтскаго дипломата» (стр. 6). — Из этого же некролога видно, что на собраніи в НКИД, посвященном памяти Іоффе, Чичерин произнес большую «загробную» (?) рѣчь, — к сожалѣнію, в печати она неизвѣстна.

1923 годов он был сторонником большого пан-азіатскаго блока с участіем Россіи. Из его статьи «Американская политика в Китаѣ» (напечатана передовой в февральской книгѣ «Международной Жизни» за 1927 год) мы узнаем, что остріе этого блока должно быть заострено против Америки. Его статья носит совсѣм иной характер, чѣм статьи Чичерина — «Постскрипта». В ней нѣт и намека на тонкій анализ сложной дипломатической игры. Автора интересуют только «большія линіи» развитія, только на них он и дѣлает ставку. Но эти линіи — не линіи «вульгарнаго соціологизированія»: эта область остается почти совершенно в сторонѣ. Большіе историческіе процессы автор берет совсѣм так, как их брали нѣмецкіе гео-политики. В качествѣ отправной посылки для своих построеній он берет большой «историческій закон»:

> «Исторія государственных взаимоотношеній показывает, — декретирует он, — что какое-либо особливое выпячиваніе одного государства из среды всѣх других настолько нетерпимо, что современная историческая наука даже пытается установить так наз. теорію «политическаго равновѣсія», как об'ективную тенденцію всегда, постоянно сохранять в соотношеніях государств нѣкую опредѣленную равнодѣйствующую. Согласно этой теоріи, если по каким-либо причинам одно государство становится особенно могущественным, то обстоятельства внутренняго порядка приводят его к разложенію, либо же другія государства об'единяются против него и низвергают его с той высоты, на которую оно поднялось».

Эта отправная посылка, по существу, предопредѣляет все содержаніе статьи. Соед. Штаты достигли такого «несоизмѣримаго преобладанія» над всѣми остальными странами міра в области экономики, что вопрос стоит не о том, начнут или не начнут дѣйствовать указанные законы исторіи, а о том, к о г д а и к а к они начнут дѣйствовать. Діалектик по выучкѣ, Іоффе знает, что развитіе выростает из противорѣчія; но, гео-политик больше, чѣм марксист, это противорѣчіе он находит не в области внутренних соціальных отношеній, а в отношеніях международных:

> «Американскій доллар уже царит над міром, — утверждает он, — но американских штыков еще слишком мало и точно так же еще недостаточны кадры американских чиновников-администраторов».

По линіи этого противорѣчія бьют страны, которыя имѣют «штыки», но не имѣют «долларов». Защищаясь от них, Соед. Штаты («современная война, — поясняет Іоффе, — посложнѣе ростовщичества») выступают в роли «пацифистов»:

> «Совершенно естественно, что Соед. Штаты, не имѣя еще возможности побѣдить всѣх в войнѣ, выступают вообще против войн, являются застрѣльщиками пацифизма, а не имѣя еще возможности управлять величайшей имперіалистической державой, повсюду, гдѣ им приходится вести имперіалистическую политику, неизмѣнно проводят ее через посредство других государств, и сплошь да рядом, гдѣ и когда это возможно, внѣшне, по крайней мѣрѣ, демонстративно изображают из себя анти-имперіалистическую силу».

Чаще всего в предыдущій період Америка вмѣсто себя дѣйствовать заставляла Англію. Теперь положеніе мѣняется. Англо-американскій конфликт вокруг Китая принимает все болѣе и болѣе острыя формы. Политика Америки там наиболѣе опасна...

Прямого вывода из своих посылок Іоффе не дѣлает, но они по существу вполнѣ ясны: нельзя позволить «ростовщикам» господствовать над міром. Низверженіе их с «той высоты, на которую они поднялись», будет только соотвѣтствовать законам исторіи. Іоффе не принадлежит к числу тѣх, кто «вообще против войн». В конфликтѣ между Англіей и Америкой Іоффе, конечно, становится не на сторону Англіи: симпатіи к послѣдней у него, вообще говоря, нѣт и в намекѣ. Но он на сторонѣ всѣх противников Америки и потому признает прогрессивную роль Англіи в этом спорѣ. Он вообще на сторонѣ «штыков», которые поднимаются против «доллара».

Едва ли нужно пояснять, что эта концепція в ея основѣ тождественна с внѣшне-политическими концепціями фашистских движеній всѣх так называемых «бѣдных стран». «Азіатская» концепція, заостренная против Америки, была не просто наступательной, — она была м и л и т а р и с т с к и наступательной.

13.

Спор между сторонниками этих двух концепцій начался, когда в Японіи у власти было правительство Вакатсуки, которое, как мы знаем, поиски соглашенія с Америкой соединяло с отсутствіем агрессивности против Сов. Россіи. Под углом

тихо-океанским вопрос тогда имѣл почти «академическое» значеніе: никакой непосредственной опасностью для Россіи тяжба Англіи с Америкой там не грозила; при нейтралитетѣ Японіи, столкновеніе между Америкой и Англіей было бы тяжело лишь для этих двух стран; Сов. Россія имѣла всѣ основанія думать, что она будет тѣм «третьим», который в подобных случаях «радуется».

Приход к власти Танаки коренным образом измѣнил всю обстановку.

Политика, к которой обязывала анти-американская концепція, — особенно в ея «азіатском» варіантѣ, — теперь становилась связанной с огромным риском для Сов. Россіи: «штыки», поднявшіеся против «доллара», могли ударить и по Россіи.

В Москвѣ смѣна японскаго правительства произвела сильное впечатлѣніе: Танаку здѣсь хорошо знали, как руководителя японской интервенціи в Сибири... Газетные отклики были полны тревоги. Всѣ сходились, что новое правительство означает «извѣстную активизацію японской политики на Дальнем Востокѣ», — и расходились в вопросѣ лишь о том, какова будет степень этой активности и насколько прямо она будет заострена против Сов. Россіи. «Оптимисты» надѣялись, что «японская буржуазія достаточно сильна, чтобы не позволить Танакѣ ввязаться в политику активной враждебности по отношенію к Сов. Союзу» (Яворскій в «Правдѣ» от 23 апр.).

На фонѣ ударов, которые совѣтская внѣшняя политика получила за предшествующіе мѣсяцы (разрыв с Чан Кай-ши, начавшійся кризис в отношеніях с Англіей), удар японскій был особенно чувствителен. Под их вліяніем побѣждали сторонники умѣренной политики. Под знаком умѣренности прошел апрѣльскій пленум ЦК (13—16 апр.). В умѣренных тонах была выдержана внѣшне-политическая рѣчь Рыкова на С'ѣздѣ Совѣтов (19 апр.). В первые же дни по полученіи извѣстій о правительствѣ Танаки было принято весьма важное рѣшеніе: об участіи совѣтских делегатов в экономической конференціи, которую созывала Лига Націй. Приглашеніе на эту конференцію было послано в Москву уже давно, — и давно же на него было отвѣчено пренебрежительными насмѣшками. Теперь положеніе измѣнилось. Через посредничество Пауля Шеффера, — тогда московскій корреспондент «Берлинер Тагесблатт», — Москва обратилась в Лигу с просьбой о присылкѣ новаго приглашенія. Эта просьба была отклонена, — тѣм не менѣе в срочном порядкѣ, почти наканунѣ открытія конференціи, совѣтскіе делегаты прибыли. «Н. Іорк

Таймс» совершенно правильно подчеркивал принципіальное значеніе этой делегаціи: «Совѣтскій Союз возвращается на Запад» (3 мая). Это была дѣйствительно попытка вернуться на Запад, — и опереться на тѣ силы, которыя заинтересованы в сохраненіи мира, — хотя бы то были силы «пацифизма доллара». К ним аппелировал на этой конференціи Сокольников, — сторонник далеко идущих уступок крестьянству, — когда доказывал, что «сотрудничество между совѣтской и капиталистической экономикой вполнѣ возможно» («Правда» от 8 мая). В то время настойчиво говорили, что при обсужденіи наказа Сокольников поставил вопрос о монополіи внѣшней торговли и получил от Политбюро обѣщаніе пойти на очень гибкое толкованіе этого декрета.

Но эта побѣда «умѣренных» была только временной. В Политбюро разгоралась борьба по новым линіям. Бесѣдовскій имѣл свѣдѣнія, что там спор шел о тактикѣ в Китаѣ и что рѣшать его должны были «в зависимости от перспективы совѣто-японских отношеній». На дѣлѣ спор шел о большем, — происходила рѣшающая схватка между «европейской» и «азіатской» концепціями, — спор, в который вопрос о Китаѣ входил, как часть. Но он прав: от «перспективы совѣто-японских отношеній» дѣйствительно зависѣло очень многое.

К этому времени относится весьма интересный эпизод переговоров с правительством Танаки относительно договора о ненападеніи. О нем мы знаем из воспоминаній Бесѣдовскаго. В послѣднем явно борются два чувства: с одной стороны, он хорошо понимает важность этих переговоров, которые сыграли большую роль в его карьерѣ, до сих пор доволен ловкостью, с которой он их провел, а потому он хочет о них разсказать в печати; но, с другой стороны, он не может отступить от своего правила не разсказывать вещей, которыя могут быть непріятны Японіи или Германіи. Поэтому его разсказ все время идет на какой-то грани, всей правды он не разсказывает, а потому поведеніе Сталина сводит чуть ли не к одной только внутрипартійной интригѣ. Большое значеніе переговоров остается совершенно неясным. Но если мы вставим разсказ Бесѣдовскаго в рамки наших общих свѣдѣній о тѣх днях, нам будет ясна дѣйствительная картина.

Послѣ прихода к власти правительства Танаки и послѣ обыска в Аркосѣ обстановка в Политбюро стала такой, что проводить свою «азіатскую» политику Сталин не мог, не представив

гарантій, что Японія не пойдет на соглашеніе с Англіей против Россіи.

На Бесѣдовскаго была возложена задача получить от правительства Танаки согласіе подписать договор о ненападеніи или какой либо другой документ в этом направленіи, причем ему была предоставлена широкая свобода «маневрированія» и право предлагать Японіи далеко идущія «хозяйственныя уступки» в Приморьѣ и на Камчаткѣ, концессіи и т. п. Всѣ указанія по этому дѣлу Бесѣдовскій получал непосредственно от Сталина, минуя Наркоминдѣл. Причины ясны: главным врагом был Чичерин, который, естественно, не должен был имѣть возможности заглядывать в карты Сталина...

Очень характерно: свою работу по выполненію этой миссіи Бесѣдовскій начал бесѣдой с Зольфом, нѣмецким послом, который вообще относился к Бесѣдовскому с «теплым вниманіем» и «не раз» оказывал ему «дружескую помощь» в «трудной и незнакомой обстановкѣ». Свою признательность за эту помощь Бесѣдовскій выражает в другом мѣстѣ воспоминаній, но конкретно о своих обращеніях к Зольфу за «совѣтами и указаніями» он разсказывает только в связи с переговорами весны 1927 года. Уже это говорит об их важности. Опять таки, и в данной части разсказа явственно чувствуется та же двойственность настроеній, которыя руководили пером Бесѣдовскаго: ему очень хочется разсказать об очень пикантных вещах, но он знает, что этот разсказ будет непріятен и нѣмцам, и японцам, — а потому ходит все время «у послѣдней черты»... Но понять значеніе его разсказа мы все же можем.

Мы знаем, что Зольф был не только старожилом в Японіи (он был назначен в нее послом немедленно же по окончаніи войны), но и вообще одним из лучших нѣмецких спеціалистов по Японіи, все время сидѣвшим на дѣлах Дальняго Востока. В качествѣ такового, он несомнѣнно был в курсѣ старых (1916-1917 годов) переговоров о японо-германском сепаратном мирѣ, к которым с японской стороны имѣл отношеніе ген. Танака (см., напр., «Правду» от 22 ноября 1918 г.), а потому имѣл с послѣдним очень много общих точек соприкосновенія. Политически он был сторонником гео-политической концепціи К. Хаусхофера, в статьях котораго разсыпан ряд комплиментов по адресу Зольфа, — и потому, несомнѣнно, принимал активное участіе в работѣ по сближенію Японіи с Сов. Россіей. Все это создавало ему в Японіи совершенно исключительное положеніе, — особенно послѣ того, как к власти пришел Танака, — и к его «дружеским» «совѣтам и указаніям» прислушивался

не только Бесѣдовскій, но и правительственные японскіе круги. Бесѣдовскому, конечно, были и самому полезны совѣты Зольфа, но в еще большей мѣрѣ он хотѣл, чтобы Зольф соотвѣтствующіе совѣты давал и своим японским друзьям... Эти просьбы Бесѣдовскаго полностью совпадали с совѣтами, которые шли из Берлина от К. Хаусхофера; послѣдній как раз в это время писал:

> «Ни Японія, ни Совѣты, — во всяком случаѣ в лицѣ их наиболѣе дальнозорких руководителей, — не хотят ссоры друг с другом; они ясно видят возможность согласованной работы без каких-либо треній, — при нуждѣ, с созданіем особой буферной зоны. Они умѣют личныя тренія и всевозможныя случайности отодвигать на задній план перед большими геополитическими цѣлями. И если они не сразу бьют в набат по поводу пекинских событій (нападеніе Чжан Цзо-лина на совѣтское посольство. **Б. Н.**) или бывают вынуждены отзывать назад черезчур далеко зарвавшихся агентов в Ханькоу, азіатская политика Совѣтов все же не перестает быть полезной для друзей и жуткой и страшной для врагов» («Цайтшрифт фюр Политик», іюнь 1927 г., стр. 487).

Что именно сдѣлал тогда Зольф, мы не знаем: шансы на удачу переговоров он расцѣнивал очень низко. Но тот факт, что позднѣе, достигнув успѣха, Бесѣдовскій заѣхал разсказать Зольфу о результатѣ, создает увѣренность, что в какой-то мѣрѣ Зольф и теперь оказал свою «дружескую помощь».

Переговоры затягивались, и Сталин проявлял все большую нервность. От тона требованій он перешел к тону почти просьб: «это свидѣтельствовало, — вполнѣ правильно оцѣнивает положеніе Бесѣдовскій, — о тяжелом положеніи Сталина в Политбюро». Именно в эти дни Бесѣдовскій «рискнул сдѣлать прозрачный намек» на то, что, по его свѣдѣніям, японское правительство проявляло бы больше готовности итти на встрѣчу, если б из Китая был убран Бородин. Японскіе дипломаты дѣйствительно придавали этому вопросу большое значеніе, считая, что отзыв Бородина будет означать отказ от совѣтизаціи Китая. Они, повидимому, еще не понимали, что в новой концепціи Сталина для Бородина с его планами союза с лѣвым Гоминданом уже не было мѣста. Но пойти им навстрѣчу в этом вопросѣ Сталин еще не мог: для этого было нужно еще подготовить почву и в Политбюро, и в Китаѣ.

Дѣло закончилось небольшим дипломатическим трюком, в котором в какой то мѣрѣ участіе приняла и Японія. Пойти на подписаніе нужнаго договора Японія не могла, — и по международной обстановкѣ, и по внутреннему положенію в самой Японіи. Но японскіе дипломаты, с которыми имѣл дѣло Бесѣдовскій, явно были склонны «войти в положеніе» Сталина: из меморандума Танаки, который составлялся как раз в это время, мы знаем, что они и сами уже приходили к выводу о желательности

> «с цѣлью помѣшать росту вліянія Китая... вступить в тайную связь с Россіей».

Именно поэтому они предлагали компромиссы, которые создали бы видимость улучшенія совѣто-японских отношеній, как, напримѣр, начало больших хозяйственных переговоров и т. д. Сталина это ни в какой мѣрѣ не устраивало: в Политбюро значеніе этих переговоров было бы понято правильно. Выход был найден: в устной бесѣдѣ японскій дипломат Дебучи завѣрил Бесѣдовскаго, что у Японіи нѣт намѣренія нападать на Сов. Россію. Бесѣдовскій ухватился и сдѣлал аналогичное заявленіе от имени совѣтскаго правительства...

Об этой бесѣдѣ Бесѣдовскій сообщил Сталину, прибавив, что большаго никак нельзя получить. За отсутствіем лучшаго, Сталин примирился с этим, и через нѣсколько дней по наиболѣе важным совѣтским полпредствам была разослана секретная циркулярная депеша о том, что

> «нашему повѣренному в дѣлах в Токіо, послѣ длительных переговоров, удалось добиться заключенія с японским правительством устнаго соглашенія о ненападеніи и арбитражѣ. Это соглашеніе, которым мы обязаны искусству и ловкости тов. Бесѣдовскаго, будет имѣть большое значеніе для нашей дѣятельности в Китаѣ».

Бесѣдовскій излагает все это дѣло, как ловкій трюк Сталина, продиктованный исключительно соображеніями внутрипартійной борьбы. Эти соображенія, конечно, играли огромную роль, но было бы ошибкой весь вывод сводить к этому подлогу. И Дебучи лично, и японская дипломатія в цѣлом, слишком опытны, чтобы попасться в такую элементарную ловушку. Дебучи понимал, какой вывод может быть сдѣлан из его слов. Произнося их, он со своей стороны начинал новую фазу игры для установленія «тайной связи с Россіей» против Китая.

14.

Трудно судить, было ли бы достаточно одного этого заявленія о «соглашеніи» с Японіей для побѣды Сталина в Политбюро. Его позиціи во всяком случаѣ были замѣтно укрѣплены выступленіями нѣкоторых вліятельных финансовых групп Америки. Стремленіе привлечь американскій капитал в японскую промышленность, характерное, как мы видѣли, для политики правительства Вакатсуки, широкій отвѣтный отклик в Соед. Штатах встрѣтило, — как это часто бывает в демократических странах, — только позднѣе, когда самого Вакатсуки уже не было у власти. Мѣсяцы, слѣдовавшіе за приходом к власти Танаки, были мѣсяцами расцвѣта всевозможных проектов большого финансово-экономическаго сотрудничества с Японіей: этим путем надѣялись оторвать Японію от Англіи. Много нашумѣл проект судьи Гари, главы Американскаго Стального Треста, который предлагал передать Японіи всѣ неоплаченные американскіе долги в Китаѣ. Еще большее впечатлѣніе произвели выступленія Ламонта, директора банка Дж. П. Моргана, который настаивал на предоставленіи Японіи крупнаго займа спеціально для развитія Южно-Манчжурской жел. дороги. В совѣтской прессѣ об этих планах много писалось, их значеніе старательно раздували. Даже позднѣе, когда от проектов уже отказались, серьезный обозрѣватель, каким был А. Канторович, писал:

> «Имя Ламонта тѣсно связано с тенденціями американскаго капитализма к гегемоніи в Китаѣ, а тѣм самым и с антияпонским уклоном американской политики. Тѣм болѣе знаменательно, что именно Ламонт является одним из авторов и участников соглашенія, которое, если оно будет реализовано, означало бы рѣзкое измѣненіе всей существующей конфигураціи политических сил на Дальнем Востокѣ».

Он обстоятельно доказывал, что такое соглашеніе будет имѣть не экономическое, а высоко-политическое значеніе, и рисовал перспективы:

> «Америка становится партнером японскаго имперіализма в Манчжуріи, оказывается прямо заинтересованной в расширеніи и укрѣпленіи японскаго господства в этом краѣ...

Во всѣх этих неизбѣжных будущих конфликтах Америка должна будет, по логикѣ вещей, бросить на японскую чашу вѣсов всю мощь своего огромнаго политическаго, хозяйственнаго и военнаго вліянія... Все это не фантазія, а реальныя перспективы»*).

Это писалось уже послѣ того, как Государственный Департамент офиціально отмежевался от планов Ламонта, и когда стало уже вполнѣ ясно, что дѣло идет о выступленіи, правда, весьма мощной финансовой группы, но во всяком случаѣ не руководящих кругов правительства. Легко себѣ представить, что писалось о проектѣ и о поѣздкѣ Ламонта в Японію в тѣ дни, когда отношеніе правительства к ним еще не было извѣстно. Именно эти проекты дали возможность изображать Америку, как страну, которая готовит активное выступленіе против Сов. Россіи. Не только для Китая, но и для самой Сов. Россіи именно Соед. Штаты становились «самым страшным, самым хитрым, самым сильным врагом».

15.

К сожалѣнію, Бесѣдовскій не дает дат тѣх интересных событій, о которых он разсказывает, — а другіе источники о них вообще молчат. Несомнѣнно, что начало его переговоров относится к началу мая 1927 года и что затянулись они мѣсяца на полтора-два. Установить точныя даты было бы весьма важно, так как едва ли можно сомнѣваться, что тогдашнее соглашеніе оказало свое вліяніе и на ряд других важных событій дальне-восточной политики. За это говорит сама хронологія этих событій.

20 іюня в Женевѣ открылась конференція о разоруженіях на морѣ. Участіе в ней приняли только Америка, Англія и Японія. В первый же день выяснилось непримиримое расхожденіе Америки и Англіи; Японія заняла позицію «третьяго радующагося», но в первые дни «по большинству спорных вопросов поддерживала американцев». Однако, вскорѣ ея

*) А. Канторович: «Новыя формы борьбы за Манчжурію», («Междунар. Жизнь» от марта 1928 г., стр. 13). — Ламонта, о котором идет рѣчь, не слѣдует смѣшивать с его сыном, Корлиссом Ламонтом, который состоит нынѣ предсѣдателем общества совѣто-американскаго сближенія.

позиція измѣнилась, — и она взяла курс на сговор с Англіей. Американскіе журналисты имѣли свѣдѣнія, что это измѣненіе было вызвано новыми инструкціями, которыя были получены из Токіо около 28 іюня (информація «Чикаго Трубюн»). Около середины іюля сговор Японіи с Англіей уже состоялся**).

«Из всѣх неожиданностей, которыя нам могли принести женевскіе переговоры, — писал парижскій «Тан» (21 іюля), — самая большая, это — намѣчающееся сближеніе между Японіей и Англіей». В теченіи трех послѣдних мѣсяцев об этом сближеніи писали так много и так мало ожиданій оправдалось, что начавшееся теперь дѣйствительное сближеніе казалось неожиданным. Но оно и по существу было совершенно не тѣм, какого ждала англійская консервативная пресса: теперь своим остріем оно было направлено против Америки, — а не против Россіи...

Для руководителей совѣтской политики женевскія событія, наоборот, казались совсѣм не неожиданными. Их развертываніе точно совпадает с развертываніем «нового курса» совѣтской политики в Китаѣ. Как отмѣчено выше, в період своих переговоров с Дебучи, Бесѣдовскій «рискнул сдѣлать прозрачный намек» Сталину на то, что Японія хочет удаленія из Китая Бородина. Послѣдній был той ниточкой, на которой держались остатки совѣтской оріентаціи на поддержку національной китайской революціи, как цѣлаго. Намек Бесѣдовскаго Сталиным был понят, — ниточка была оборвана.

Луи Фишер разсказывает цѣлый ряд интересных деталей о послѣдних недѣлях пребыванія Бородина в Китаѣ. До конца іюня Бородин был в Ханькоу и принимал руководящее участіе в работах лѣво-гоминданскаго правительства. Дѣла послѣдняго были отнюдь не безнадежны, — хотя, конечно, конфликт с Чан Кай-шеком его сильно ослабил. Если б было желаніе, борьба была бы вполнѣ возможна, — но Москва этой борьбы уже не хотѣла: в началѣ іюля Бородин неожиданно уѣхал на отдых; недѣли через двѣ он так же неожиданно вернулся и с 20 іюля перестал принимать какое-либо участіе в дѣлах правительства. В теченіи нѣскольких дней вожди лѣваго Гоминдана убѣждали его перемѣнить рѣшеніе. Бородин был непреклонен и вскорѣ уѣхал в Москву*).

**) Л. Иванов: «Итоги конференціи трех держав» («Междунар. Жизнь», сентябрь 1927 г., стр. 12—16).

*) L. Fischer: "The Soviets in Worlds Affairs; том II, стр. 675—677.

Л. Фишер дѣлает вполнѣ правильный вывод, что Бородин пал, дезавуированный не китайцами, а Москвой; но он только наполовину прав, когда думает, что это было сдѣлано под давленіем «троцкистов». Дѣйствительной причиной был «новый курс» сталинской политики в Китаѣ, — курс, для котораго лѣвая, «троцкистская» (по внѣшности) фраза была только прикрытіем.

16.

В октябрѣ 1927 года Бесѣдовскій вернулся в Москву и был принят Сталиным, который передал ему благодарность Политбюро за «умѣлое маневрированіе»;

> «Мы поручили Вам маневрировать так, чтобы Японія не пошла на совмѣстную интервенцію с Англіей в Китаѣ, — и Вы блестяще справились с этой задачей. Политбюро поручило мнѣ благодарить Вас за эту работу».

Во время продолжительной бесѣды Сталин развил цѣлый ряд интересных мыслей о китайской революціи, — мыслей, которыя в его публичных выступленіях встрѣчаются только в формѣ намеков. Он отвергал для Китая «кемалистский путь развитія», т. е. путь превращенія Китая в независимую буржуазную республику: в этом случаѣ во главѣ Китая неизбѣжно окажутся люди, связанные с его внѣшней торговлей, а они будут склонны свою политику подчинять интересам больших капиталистических стран. «В таком видѣ китайская революція нам не нужна». Совѣтской Россіи, по мнѣнію Сталина, нужно только «такое китайское правительство, которое согласилось бы стать рычагом всей нашей революціонной политики в Азіи и, особенно, в Индіи и Индокитаѣ».

Прямого отвѣта на вопрос, что дѣлать, если такого правительства нѣт и шансов на его созданіе не предвидится, бесѣда не давала, — но косвенный отвѣт в ней имѣется. По дорогѣ из Японіи Бесѣдовскій подробно ознакомился с положеніем дѣл на Китайско-Восточной желѣзной дорогѣ и носился с идеей созданія частнаго акціонернаго общества, которое «коммерціализировало» бы это предпріятіе. Сталин эту идею рѣшительно отвел: в этом случаѣ будет создана общность интересов Сов. Союза с третьей стороной, которая будет привлечена к участію в акціонерном обществѣ, а такая общ-

ность интересов абсолютно непріемлема, т. к. она «искривляет политику» Сов. Союза. Сталин предпочитал другой выход:

> «Продать дороги, — и продать ее так, чтобы сохранить лицо и заострить антагонизмы между отдѣльными державами на Дальнем Востокѣ»... «Если мы уйдем, сохранив лицо, и, кстати, заострим японо-американскіе антагонизмы, то это будет наилучшим выходом из положенія... Надо только рѣшить, кому выгоднѣе всего можно продать КВжд. Я думаю, что дорогу продать надо японцам. Впрочем, поговорите еще на эту тему с Чичериным».

Это был критерій для подхода к событіям в Китаѣ: если нельзя имѣть в нем «такое правительство, которое согласилось бы стать рычагом всей нашей политики в Азіи», то необходимо связанныя с Китаем возможности использовать для обостроенія антагонизмов между капиталистическими странами.

Бесѣдовскій выполнил порученіе Сталина и имѣл разговор на эту тему с Чичериным. Он правильно понял смысл отвѣтов послѣдняго: Чичерин не хотѣл возражать в принципѣ против мысли, высказанной Сталиным, но он назвал такую сумму, которая была «явным саботажем сталинскаго проекта». Он был, конечно, противником игры вмѣстѣ с Японіей против Америки...

Таков был эпилог переговоров Бесѣдовскаго с Дебучи, но отнюдь не эпилог соглашенія, ими заключеннаго...

Б. Николаевскій.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРІОД ВОЙНЫ

1.

Эти строки пишутся в момент, когда война вступила в свою послѣднюю рѣшительную фазу. Чуть ли не каждый день приносит извѣстія о новых блестящих успѣхах союзнаго оружія, и ко времени выхода этой книги журнала возможны новыя радикальныя перемѣны в положеніи на европейских фронтах и на западѣ и на востокѣ. Но уже сейчас можно говорить с увѣренностью об основном смыслѣ происходящаго. Быть может впервые за все время с начала войны можно утверждать несомнѣнность полной и сокрушительной побѣды Об'единенных Націй. Теперь это уже больше не выраженіе страстнаго желанія этой побѣды, не акт вѣры с нашей стороны, а утвержденіе, подкрѣпленное совершившимися на наших глазах событіями, которых — что бы ни случилось в дальнѣйшем — уже ничто отмѣнить не может.

На первом мѣстѣ в ряду этих событій стоит — освобожденіе Россіи. Не нужно много слов для того, чтобы опредѣлить историческое значеніе этого факта и выразить тѣ чувства, которыя он в нас вызывает. Есть вещи настолько очевидныя, что онѣ не требуют доказательств. И есть чувства настолько безспорныя, что распространяться о них кажется излишним. Втеченіе трех лѣт мы мучились мыслью о судьбѣ нашей родины, и за эти три года были моменты,когда могло казаться, что Россія стояла на краю гибели. Теперь мы знаем, что Россія спасена. Цѣною величайшаго напряженія всѣх своих сил и цѣною огромных жертв, страданій и потерь, истинные размѣры которых мы сейчас еще полностью учесть не можем, Россія освободила себя от вражескаго нашествія. Основной смысл этого событія доминирует для нас над всѣми остальными соображеніями. Как бы мы ни расходились в наших оцѣнках происходящаго внутри Россіи, какіе бы прогнозы мы ни дѣлали насчет дальнѣйшей судьбы русскаго народа и чего бы мы для него ни желали, всѣ мы не можем не сойтись в признаніи независимости и цѣлости Россіи как перваго и необходимаго условія для ея свободнаго и здороваго развитія.

Эта цѣлость и эта независимость теперь обезпечены, и в этом источник — для всѣх нас одинаково — глубокой и вдохновляющей радости.

Когда-нибудь историки установят, с возможной для них точностью, сравнительный удѣльный вѣс различных факторов, давших Россіи побѣду над ея могущественным и жестоким врагом. Будет выяснена роль военно-технической подготовленности страны, стратегическаго искусства военноначальников и организаціонных усилій власти, географических условій борьбы на русских просторах и союзной помощи, оказанной либо непосредственно — снабженіем, либо косвенно — военными дѣйствіями на других фронтах міровой войны. Но уже сейчас, не дожидаясь этого историческаго анализа, можно утверждать, что основным и главным фактором побѣды была воля русскаго народа к независимому національному существованію. Русскій народ поднялся на защиту своей земли и своего будущаго, и с в о и м и усиліями, с в о и м героизмом и с в о и м и жертвами отстоял их в титанической борьбѣ с непріятелем.

Нѣт ли у нас основанія и права видѣть в этом могучем проявленіи народной самодѣятельности, обезпечившей Россіи освобожденіе внѣшнее, залог ея грядущаго освобожденія внутренняго? Нам не дано знать ни сроков, когда русскій народ обрѣтет наконец свою внутреннюю свободу, ни тѣх путей, которыми он к ней придет. Не будем обольщать себя надеждой на скорое и легкое достиженіе этой завѣтной цѣли. Нѣт основаній разсчитывать ни на добровольное самоупраздненіе диктатуры — примѣр в исторіи небывалый, ни на сверженіе ея в революціонном порядкѣ, в момент необычайнаго увеличенія ея престижа, на другой день послѣ побѣдоносной войны, во время которой она возглавляла страну и несла отвѣтственность за ея оборону. Но рано или поздно народная воля к самоопредѣленію, тоже войной в огромной мѣрѣ усиленная, а по настоящему может быть даже впервые войной разбуженная, должна будет сказаться и в конечном итогѣ — восторжествовать. Путь к русской свободѣ будет вѣроятно и долгим и трудным. Может быть, и сейчас еще можно сказать словами Ключевскаго, что «правовое народное государство» в Россіи остается «впереди и не близко». Но что оно придет — в это и можно, и нужно вѣрить.

2.

За освобожденіем Россіи — освобожденіе Европы. «Европа нам второе отечество», сказал когда-то Достоевскій, и может быть никогда еще это ощущеніе духовной связи с Европой не переживалось столь многими русскими людьми и в такой сильной степени, как за послѣдніе годы европейской катастрофы. Вот почему и занявшаяся сейчас заря европейскаго освобожденія встрѣчает в наших сердцах такой сильный и такой горячій отклик.

Россія уже освобождена, а освобожденіе Европы только еще начинается. Но это начало произошло с такой чудесной быстротой, и успѣхи союзных войск во Франціи настолько превзошли то, на что мы смѣли надѣяться, что и о европейском освобожденіи мы уже можем думать, как об осуществляющейся реальности. Сейчас, когда пишутся эти строки, освобожденіе Парижа — сердца Франціи, а для многих из нас все еще и сердца Европы, и уже конечно самого нам дорогого из всѣх европейских городов — стало совершившимся фактом. И как четыре года тому назад, в страшные іюньскіе дни 1940 года, паденіе Франціи было для нас знаком наступленія безпросвѣтной «европейской ночи», так теперь освобожденіе Парижа, а за ним освобожденіе Франціи, является символом и залогом начинающагося европейскаго возрожденія.

И здѣсь, как и в Россіи, одного акта внѣшняго освобожденія для возрожденія еще недостаточно. И здѣсь, как и в Россіи, скораго и легкаго завершенія возстановительных процессов ожидать не приходится. Как и путь к русской свободѣ, путь к европейскому возрожденію будет долог и труден. Но в отличіе от Россіи освобожденіе Европы будет осуществлено главным образом не силами самих европейских народов, как бы героично ни было в отдѣльных случаях их участіе в общей борьбѣ, а силами внѣ-европейских великих держав, разрушающих гитлеровское господство над Европой одновременно с запада и с востока. Отсюда неизбѣжность, уже сейчас, в самом процессѣ освободительной борьбы, постановки вопроса об отношеніях между освободителями и освобождаемыми. На эту тему мы уже писали в прошлом номерѣ нашего журнала, и здѣсь достаточно только подчеркнуть, как все болѣе настойчиво и болѣе опредѣленно ставится этот вопрос на очередь самым ходом событій. К счастью, за истекшіе с прошлой весны мѣсяцы, в примѣненіи к Франціи

вопрос этот потерял значительную долю своей остроты: рост престижа и вліянія французскаго освободительнаго движенія является быть может самым выдающимся фактом на политическом фронтѣ за послѣднее время. Положеніе остается менѣе удовлетворительным в Италіи и еще менѣе удовлетворительным в Польшѣ. Но французскій опыт, казалось бы, явно указывает на тот путь, по которому слѣдовало бы итти политикѣ союзных держав — и в Италіи, и в Польшѣ, и повсюду — в попытках возстановленія освобождаемой Европы. Возможный максимум самодѣятельности самих европейских народов и лишь самый необходимый минимум властнаго вмѣшательства со стороны — иного пути к подлинному и прочному европейскому возрожденію нѣт и быть не может.

3.

По сравненію с грандіозными событіями на европейском театрѣ военных дѣйствій, явленія внутренне-американской политической жизни могут показаться мало значительными, а нѣкоторыя из них, по будничному своему характеру, даже и раздражающими. Мы имѣем в виду главным образом начало избирательной кампаніи, ознаменовавшееся недавними сессіями партійных конвентов — республиканскаго и демократическаго. В самом дѣлѣ, в самый разгар небывалой по своему размаху войны, когда казалось бы вся національная энергія без остатка должна быть сосредоточена на разрѣшеніи связанных с нею задач, вниманіе страны отвлекается в сторону президентских выборов, а перспектива возможной смѣны администраціи ставит под угрозу послѣдовательное и непрерывное вліяніе Америки на ход международных событій. Болѣе того, в момент, когда на полях сраженій рѣшаются судьбы міра, засѣданія обоих партійных конвентов происходят в атмосферѣ традиціоннаго «политиканства», с соблюденіем всѣх установленных форм и всѣх правил политической игры, в духѣ принципа "politics as usual." Какая удобная мишень для всѣх критиков демократическаго строя и всѣх поклонников авторитарнаго образа правленія!

И все же, как ни понятна с психологической точки зрѣнія подобная реакція, и как ни соблазнительна — даже и в глазах тѣх, кто не является врагом демократіи — эта специфически американская картина, критика эта остается поверхностной и бьющей мимо цѣли. Только политическая **близорукость** может помѣшать разглядѣть за шумихой партійных

конвентов и за будничной прозой «политической кухни» основной смысл и огромное положительное значеніе происходящей на наших глазах избирательной кампаніи: даже в момент величайшаго кризиса американская демократія не отказывается от вѣрности лежащему в ея основѣ конституціонному принципу. Не слабость, а сила демократіи сказывается в том, что она может позволить себѣ роскошь избирательной кампаніи и связанной с нею политической борьбы — в самый разгар войны. Если нужно было доказательство живучести американской демократіи, то оно дается нам этим, в нѣкоторых своих чертах может быть и не очень привлекательным, зрѣлищем.

В разгарѣ политической борьбы противники теперешней администраціи находили возможным нападать на «диктатуру Рузвельта». То, что происходит сейчас, есть наглядное опроверженіе этого продиктованнаго полемическим пылом утвержденія. Кажется, людям нашего времени слѣдовало бы знать, что такое диктатор и диктатура. Хорош «диктатор», который каждые четыре года должен подвергать свою «диктатуру» суду свободнаго всенароднаго голосованія; «диктатор», который даже своей партіи не рѣшается продиктовать выбор кандидата на должность вице-президента! И как страшна «диктатура», не имѣющая в своем арсеналѣ ни однопартійной системы, ни концентраціонных лагерей, ни періодических чисток для истребленія оппозиціи, ни подавленія свободы слова и свободы печати! Право же, за возможность жить под такой «диктатурой» можно заплатить и болѣе дорогой цѣной, чѣм необходимость мириться с суетой партійных конвентов, с игрой личных честолюбій и групповых интересов, с махинаціями политических «боссов» и с двусмысленностью избирательных платформ! И достаточно вдуматься в подлинный смысл этой «несвоевременной и неумѣстной» избирательной кампаніи, чтобы сквозь неприглядную мишуру партійной борьбы проступил благородный облик вѣрной своему существу демократіи.

Ровно восемьдесят лѣт тому назад, послѣ выборов 1864 года, Линкольн с гордостью и удовлетвореніем говорил о том, как «народное правительство может выдержать національные выборы» даже в період гражданской войны. Уже сейчас можно сказать, что предстоящіе президентскіе выборы в Америкѣ снова дадут міру тот же урок — и в момент, когда он особенно в нем нуждается.

М. К.

ВЛАСТЬ И ВОЙНА

1.

В своей статьѣ о совѣтской цивилизаціи М. В. Вишняк, говоря о тенденціи нѣкоторых эмигрантов «простить» Сталина в виду успѣхов русскаго оружія, замѣчает, что не говоря уже о неправильности перенесенія подвигов цѣлаго народа и арміи на одного человѣка — кто может уполномочить на такое прощеніе? М. В. Вишняк прав по отношенію к политической эмиграціи. Ея оправданіе и смысл в вѣрности своим убѣжденіям.

В политической борьбѣ абсолютная об'ективность встрѣчается рѣдко и в этом есть правда.

Пусть Боги смотрят безучастно
На род людской: их вѣчен вѣк,
Но только страстное прекрасно
В тебѣ, мгновенный человѣк.

(В. Брюсов).

Если при неудачѣ мы возлагаем всю тяжесть отвѣтственности на власть, то и при удачѣ какую-то долю успѣха мы должны приписать той же власти. Но это не всегда так бывает. В Америкѣ, напримѣр, республиканцы, признавая удачным выбор военных вождей, отнюдь не ставят это в заслугу президенту, — но как критиковали бы они его, если бы этот выбор был неудачен!

Если для политических дѣятелей правильно и логично нежеланіе «прощать» вины власти за ея заслуги, то в жизни масс, в исторіи народов такое «прощеніе» играет большую роль и является одним из важных соціально психологических факторов. Это относится даже к наиболѣе свободным и культурным странам, гдѣ выборы послѣ успѣшной войны обыкновенно дают большинство правительству. В исторіи Россіи успѣшныя войны задерживали ея движеніе в сторону свободы. Массы «прощали» правительству крѣпостное право за побѣду над Наполеоном, прощали Петру построенный на костях Петербуг, религіозныя гоненія, безконечныя тяготы за Полтаву. Терпѣли сотни лѣт московскаго и петербургскаго

самодержавія за охрану и расширеніе россійскаго государства.

Но оставим прошлое. В настоящем вопрос о взаимоотношеніи власти и народа во время войны принял новыя формы и стал сложнѣе.

II.

В странах современной диктатуры власть стала играть в жизни народов еще небывалую роль. Диктатура сознательно и тщательно уничтожает и размалывает естественныя и свободныя связи в народном организмѣ. Если у человѣка вырѣзаны позвонки, его жизнь зависит от того, крѣпок ли искусственный корсет, их замѣняющій, т. е. аппарат партиной диктатуры. Этот «корсет» оказался слабым в Италіи, и дѣйствительно стальным в Германіи и Россіи. В послѣдних двух странах сравненіе с корсетом, впрочем, не вполнѣ вѣрно. Партійный аппарат — это какой то новый, искусственный и вмѣстѣ с тѣм органическій позвоночник. В том страшном испытаніи, которым является для власти и для народа война, этот партійный стальной позвоночник выдерживает большія тяжести. Война требует такого напряженія народных сил, такой дисциплины, такой «тоталитарности», что есть искушеніе в мысли, будто война вообще требует диктатуры. Во время войны значительная часть народа, армія, во всѣх воюющих странах живет в режимѣ военной дисциплины, Экономическая жизнь повсюду перестраивается по принципу автархіи и управляемаго хозяйства. Политическія партіи, если и сохраняются, то об'единяются, приближаясь к режиму единой партіи. Свободы урѣзываются. Такое приближеніе к тоталитарному строю представлялось бы неизбѣжным, если бы перед нами не было примѣра Соединенных Штатов и отчасти Англіи, оказавшихся способными на огромное военное напряженіе при сохраненіи очень большой доли свободы.

Но если во время войны демократіи умѣют приспособиться к ея требованіям, — предвоенные годы — и очень наглядно — показали слабость демократій в подготовкѣ к войнѣ. Онѣ или вовсе к ней не готовились (Англія и Соед. Штаты) или готовились плохо (Франція). Печальная картина слѣпоты, слабости, страусовой политики демократій у всѣх в памяти.

Мы не знаем точно, к какой войнѣ готовилась Россія. Повидимому, она опасалась окруженія, союза всѣх капиталистических стран против себя, «предательства» всей міровой

буржуазіи. В этом ея вожди совершенно ошиблись. Но они знали, что в мірѣ пахнет порохом, что дѣло кончится войной, и готовились к войнѣ энергичнѣе, чѣм демократическія правительства. В подготовкѣ к войнѣ Россія проявила также много весьма элементарнаго реализма, который оказался однако спасительным. Отказ от интернаціонализма, поворот к патріотизму, перенесеніе тяжелой промышленности на Восток — все это дѣло власти.

III.

Можно думать, что коммунистическая партія вложилась в дѣло войны со своей обычной энергіей. Свойственныя ей формы воздѣйствія на массы — пропаганда и насиліе, убѣжденіе и террор остались прежними, хотя и приспособились к новой обстановкѣ и задачам. Мы, однако, знаем мало конкретнаго об этих новых формах партійной работы. Мы знаем напримѣр, что был преобразован институт комиссаров. Но о сущности реформы мы можем только догадываться.

Еще сложнѣе вопрос о роли партійнаго террора и насилія во время войны. Совѣтскій «хорошій тон» вообще требует умолчанія об этой сторонѣ дѣйствительности. Оба главных источника нашей информаціи страдают коренными недостатками. Совѣтскіе беллетристы и «очеркисты» слишком связаны цензурой, чтобы даже отдаленно намекать на что либо подобное. Иностранные корреспонденты свободнѣе, хотя тоже должны оглядываться на интересы войны и союзников. Главное же, отсутствіе в писаніях иностранцев фона, того, что по англійски называется "background", лишает их наблюденія всякой глубины и правильной перспективы. И тѣ и другіе настаивают на одушевленіи, патріотизмѣ и энтузіазмѣ войска и населенія. Не очень отличаются от них и эмигрантскія оцѣнки положенія. Одни эмигранты говорят, что героизм и энтузіазм вызваны чистым и простым патріотизмом, как в 1812 году; другіе, как Ф. И. Дан, считают, что патріотизм — не достаточное об'ясненіе для героических подвигов, что здѣсь дѣйствует особый, революціонный, небывалый еще энтузіазм: русская армія и народ — носители міровой революціи.

Когда то Лермонтов, Стендаль и с особою силой Лев Толстой открыли за условным, красивым и искусственным ликом войны ея подлинное лицо. Но вскрытіе Толстым условностей и фикцій войны было политически безразлично, никого не задѣвало и не оскорбляло. Другое дѣло такое вскрытіе в

то время, когда еще идет борьба, и когда «условности» и «ложь» являются оружіем в этой борьбѣ.

Нам кажется, что когда нибудь новый Толстой покажет, что истинный героизм в настоящей войнѣ принимает формы не энтузіазма, а терпѣнія. Война эта столь ужасна, тяжесть ея так невыносима, что гдѣ уж тут переживать душевный под'ем и энтузіазм, дай Бог терпѣніе все вынести. Тотальная война заставляет рабочаго холодать на полуголодном пайкѣ, работать по 12 часов в сутки, — гдѣ уж ему думать о міровой революціи, когда всѣ мысли сосредоточены на теплѣ, кускѣ хлѣба и отдыхѣ.

Не только для гражданскаго населенія, но и для арміи современная война гораздо страшнѣе того, что было в толстовскія времена или в 12-м году. Если армія выдерживает эти испытанія, то благодаря дисциплинѣ и безконечному терпѣнію. Но что такое воинская дисциплина, как не изумительный аппарат, соединяющій убѣжденіе и насиліе? Солдат знает, что он должен исполнить боевой приказ и что иначе его ждет смерть. Это относится и к арміям демократических стран и к арміям стран тоталитарных.

У нас пока нѣт данных предполагать, что террор, поддерживающій партійную диктатуру в Россіи, измѣнился или смягчился. Но доля насилія, охраняющая военное напряженіе арміи и народа, количественно, вѣроятно, много большая, чѣм та, которая неизбѣжна во время войны и в свободных странах — качественно начинает к ней приближаться. В этом иные публицисты (П. Сорокин) увидѣли доказательство сходства режимов Совѣтской Россіи и Соединенных Штатов, забывая, что сходство это — явленіе чисто временное. Если во время операціи больного лишают свободы, то это не может служить оправданіем лишенія свободы здороваго человѣка. Война для народа такое же тяжкое испытаніе, как операція для больного. Во время войны насиліе неизбѣжно. Но больной выздоравливает, война кончается и тогда снова становится очевидной разница между режимами насилія и свободы.

М. Ц.

ПАМЯТИ С. О. ПОРТУГЕЙСА (СТ. ИВАНОВИЧА)

В ночь на 27 февраля с. г. в Нью Іоркѣ скончался Семен Осиповичъ Португейс, болѣе извѣстный подъ своимъ литературно-политическимъ псевдонимомъ «Ст. Ивановичъ». В его лицѣ в могилу ушел одинъ изъ наиболѣе вдумчивых публицистов соціалистическаго лагеря современной русской эмиграціи.

Он родился в 1880 году в Кишиневѣ. Отрывки из воспоминаній о дѣтствѣ, напечатанные имъ лѣт 15 тому назад в «Послѣдних Новостях», рисуют картину безпросвѣтной нужды в многодѣтной и многобѣдной семьѣ еврея-ремесленника. «Снизу вверх» он выбился тѣм путем, который едва-ли не одинъ оставался открытым для талантливой молодежи этого слоя: через участіе в революціонном движеніи. Совсѣм юным он познакомился с соціалистами, жившими в Кишиневѣ в качествѣ поднадзорных, — и попал в руководимые ими кружки. В тѣ годы такіе кружки были маленькими центрами не только революціонной пропаганды, но и общепросвѣтительной работы, — своего рода вечернимъ классами для взрослых. Эту двуединую роль они сыграли и в жизни С. О.: в них он впервые познакомился с азбукой соціалистической культуры и в то же время впервые началъ пріобщаться к общей культурѣ русской. И только естественно, что в его сознаніи с тѣх дней и на всю жизнь представленіе об этих двух культурах срослось в одно нераздѣльное цѣлое.

С помощью новых друзей, которых он пріобрѣл через эти кружки, и при их поддержкѣ С. О. вошел в с.-д. движеніе. Годы кануна первой революціи застали его уже активным работникомъ в рядах этого движенія. Он пробовал свои силы на разных поприщах, — в качествѣ и организатора, и агитатора, и пропагандиста. Особый успѣх он имѣл в качествѣ литератора. С. О., несомнѣнно, был прирожденным писателем, — принадлежал к числу тѣх людей, которые, говоря словами Михайловскаго, лучше всего думают, если в рукахъ имѣется перо для занесенія этих дум на бумагу. Его первыми литературными дебютами (работу в подцензурной провинціальной прессѣ он в счет не брал) были письма об Одессѣ и одна статья на тему о тактикѣ с.-д., напечатанныя за подписью «Соломонов» в «Искрѣ» зимы 1904-1905 г.г. Шире развернуться он смог в бурные дни 1905 года, когда ему с группою друзей удалось

захватить в свои руки маленькую одесскую газету и превратить ее в популярную с.-д. газету для рабочих. Названіе этой газеты («Коммерческая Россія») плохо вязалось с партійным девизом («Пролетаріи всѣх стран, соединяйтесь!»), который на ней появился послѣ октябрьских дней. Но по своему содержанію газета стояла на высотѣ поставленной задачи и нашла дорогу к рабочему читателю. Она была первой газетой этого типа в Россіи (петербургская «Русская Газета» Парвуса и Троцкаго возникла позднѣе, только в ноябрѣ, — да и характер ея был существенно иным, в соотвѣтствіи с особенностями тогдашней позиціи ея редакторов) и, как документ эпохи, представляет большой интерес для историка. С. О. был самым активным и плодовитым ея сотрудником, — и сильнѣе, чѣм кто-либо другой, вліял на ея содержаніе. Кстати сказать, именно в ней С. О. впервые начинает пользоваться псевдонимом «Степан Ивановичъ».

Успѣх этих литературных дебютов опредѣлил судьбу С. О.: он понял, что может быть писателем, — и цѣлью его жизни стало пробить себѣ дорогу в большую литературу. В 1906 году он перебрался в Петербург и, наряду с работой в партійной меньшевистской печати, начал сотрудничать в «толстых» ежемѣсячниках и в сборниках. Его статьи появляются в «Совр. Мірѣ», «Образованіи», в сборниках «Литературный Распад», «Вершины» и др. Нѣсколько позднѣе он становится постоянным сотрудником «лѣвой внѣ-партійной» печати, — сначала «Современнаго Слова», затѣм «Дня».

В теченіи всѣх этих лѣт С. О. ни на минуту не порывал самых близких связей с руководящим кружком петербургских меньшевиков, — «литераторов» и «практиков», — группировавшихся вокруг А. Н. Потресова. Он принимал самое активное участіе не только во всѣх их литературных выступленіях, но и в выступленіях партійно-политических: так его подпись стоит в 1909 году под письмом 16 питерских меньшевиков, в котором было сформулировано отношеніе к начавшимся тогда разговорам о «ликвидаторствѣ»; нѣсколько позднѣе, лѣтом 1912 года, С. О. вмѣстѣ с Ежовым-Цедербаумом пріѣзжает в Финляндію в качествѣ представителя петербургских меньшевиков для веденія переговоров с Даном (он пріѣхал туда из Парижа, в качествѣ представителя руководящей группы меньшевиков парижских) о проведеніи предстоявшей тогда кампаніи выборов в IV Гос. Думу, — а когда в связи с этими выборами питерскіе меньшевики начинают выпуск ежедневной газеты («Луч»), то именно С. О. приходится в теченіи ряда мѣсяцев нести на себѣ основную тяжесть редакціонно-технической работы...

Работа в повседневной печати, обязывавшая откликаться на текущія «темы дня», по самому своему характеру мало способствовала сосредоточенію вниманія на опредѣленных проблемах. Писать

приходилось почти обо всем. Тѣм не менѣе, пересмотр тогдашних статей С. О. позволяет увидѣть и основную линію его интересов, и основной источник вліяній, под которыми он тогда находился. Главная тема его больших статей 1907-1910 г.г. это — старая тема русской марксистской публицистики: судьбы демократической интеллигенціи в эпоху побѣдно шествующаго капитализма. О разложеніи старой психологіи писателя-демократа, вынужденнаго теперь работать в газетах, становящихся крупно-капиталистическими предпріятіями, пишет С. О. в «Литературном Распадѣ»; эту тему он развертывает в проблему «ликвидаціи разночинца» под ударами «новых вѣяній», утверждающих «примат матеріальной культуры», — в статьѣ, напечатанной в «Вершинах»; во всем об'емѣ вопрос о «судьбах русской интеллигенціи» на том новом этапѣ развитія, в который вступила Россія послѣ 1905 года, он ставит в статьѣ, напечатанной в «Нашей Зарѣ». Во всѣх этих статьях основная идея автора развертывается, — быть может, с нѣкоторым упрощеніем, но вполнѣ послѣдовательно. В них цѣлый ряд мѣст с несомнѣнностью показывает, что их автор сознательно стремится перенять ту линію разсужденій по вопросу о роли русской революціонной интеллигенціи, которая проходит через знаменитую серію статей Потресова в «Началѣ» — «Зарѣ» — «Искрѣ» и которая, в свою очередь, генетически связана с мыслями, развитыми еще в 1890-1891 г.г. В. И. Засулич, — в ея статьях, напечатанных в женевском «трех-мѣсячникѣ» «Соціал-Демократ». И по разсказам самого С. О., и из переписки тѣх лѣт мы знаем, что Потресов не раздѣлял тѣх выводов, к которым тогда приходил С. О., — был рѣшительно несогласен с мыслью послѣдняго о быстро идущем процессѣ исчезновенія революціонно-демократическаго интеллигента-разночинца. Существа дѣла это не мѣняет: и споря с Потресовым, С. О. все же оставался учеником послѣдняго. Факты послѣдних лѣт он пересматривал под углом тѣх же идей, которыя за 5—10 лѣт перед тѣм были высказаны Потресовым.

Этот спор 1908—1910 г.г. о «судьбах русской интеллигенціи» интересен не только для личной біографіи С. О.: он весьма важен для пониманія того этапа в исторіи русской соціал-демократіи, который извѣстен под названіем «ликвидаторство». Если брать это теченіе, как цѣлое, то *осознанно* общим для всѣх «ликвидаторов» было, несомнѣнно, *только* стремленіе к измѣненію организаціонных форм построенія партіи. Но «ликвидаторство» совсѣм не было внутренне-единым теченіем. Внутри него существовало не мало оттѣнков, — частью только начинавших намѣчаться. Разныя группы по разному понимали задачи «ликвидаторства». С. О. стоял на самом крайнем флангѣ. Он рѣшительно отвергал «дефензивные»

настроенія внутри «ликвидаторства», которыя все сводили к вопросам форм построенія партіи; он был за самое рѣшительное наступленіе на всю старую концепцію путей развитія русской революціи. Для него «ликвидаторство» было осознаніем соціально-политических выводов из далеко зашедшаго процесса «ликвидаціи демократическаго разночинца», — упиралось в признаніе закончившейся всей эпохи буржуазно-демократической революціи.

Близость С. О. к Потресову в самых основных посылках міровоззрѣнія с полной ясностью выступила в годы войны: С. О. одним из первых полностью примкнул к «оборонческой» концепціи Потресова и до конца оставался вѣрным сторонником послѣдняго. Особенно сблизились они в 1917 году, — в мѣсяцы совмѣстной работы в редакціи газеты «День». Для С. О. воспоминанія об этих мѣсяцах принадлежали к числу и самых тяжелых, и самых дорогих: тяжелы они были из-за тяжести общих испытаній, обрушившихся на страну; дорогими — как память о тѣх людях, рука об руку с которыми он вел тогда борьбу. Газета «День» этих мѣсяцев была безспорно очень крупным явленіем, — и как политическій фактор развитія страны, и как блестящій литературный орган. И будущіе историки русской революціи, которые захотят внимательно изучить процессы развертыванія послѣдней, должны будут удѣлить ей не мало вниманія. Ея редакція сплошь состояла из с.-д., меньшевиков — «оборонцев», — людей с большими литературными талантами и с большими знаніями: Потресов, П. П. Маслов, Загорскій, А. Кантерович и др. По существу, их орган был единственным большим органом печати, который твердо защищал старый, ортодоксальный взгляд русской соціал-демократіи на характер и задачи революціи, как он был закрѣплен в оффиціальной программѣ партіи 1903 года, т. е., как на революцію, которая по своему соціал-экономическому содержанію не выходит за предѣлы капиталистическаго строя. Было злой ироніей судьбы, что концепцію этой программы, формально остававшейся программой и большевиков, и меньшевиков, — теперь защищал внѣ-партійный «орган соціалистической мысли». Но защищал ее он с большой силой и блеском. Безнадежность этой борьбы «против теченія» в глазах об'ективнаго историка, навѣрное, только подчеркнет ея красочность...

На отвѣтственном посту в редакціи газеты С. О. оставался и послѣ октября, — когда на газету обрушился град репрессій: конфискаціи, закрытій, арестов сотрудников и редакторов. Питер он покинул только тогда, когда изданіе газеты стало окончательно невозможным и на «Сѣверную Пальмиру» обрушился «красный террор», — тѣм болѣе жестокій, что его проводил «панический трус» Зиновьев. С. О., котораго в Питерѣ искала Чека, пробрался

на юг, — сначала в Кіев, затѣм в Одессу, гдѣ и провел годы гражданской войны, проявляя сравнительно мало политической активности (но членом партійной организаціи он состоял и в это время, — в Одессѣ). В 1920 году, послѣ окончательнаго занятія большевиками Одессы, он покинул Россію, перебравшись нелегально в Бессарабію, а оттуда, в 1921 году, в Париж. Так начались годы его эмигрантскаго скитанія, — закончившіеся на кладбищѣ в Нью-Іоркѣ.

Заграницу он попал полным горечи и даже озлобленія против оффиціальных руководителей русской меньшевистской соціал-демократіи. Человѣк боевого политическаго темперамента, он тотчас же дал выход этим своим настроеніям в печати; в 1921 году появилась его брошюра-памфлет: «Сумерки русской соціал-демократіи»; нѣсколько позднѣе, с весны 1922 года, он приступил к изданію ежемѣсячнаго журнала «Заря» («орган соціал-демократической мысли», — стояло в подзаголовкѣ). Брошюра была полна острой критики; в журналѣ критики было меньше и тон был сдержаннѣе; но в основѣ позиція была, конечно, той же самой. С. О. ее выводил из позиціи, занятой Плехановым и Потресовым в 1917-1918 г.г., прямо ссылаясь на них, как на идейных вдохновителей. Опредѣленной, точно сформулированной программы журнал не дал, — статей на программныя темы в нем вообще было мало. Центральными вопросами, на которых журнал сосредоточил свое вниманіе, было подчеркиваніе роли демократіи и ея цѣнности с точки зрѣнія интересов пролетарскаго движенія, — с одной стороны, — и критика идеи соглашенія с большевиками, с другой. Автор этих строк в свое время был рѣшительным противником этого журнала; с тѣх пор много воды утекло, много старых оцѣнок не выдержало критики времени, — но и теперь статьи «Зари» ему не кажутся болѣе убѣдительными: С. О., несомнѣнно, был прав в цѣлом рядѣ своих критическихъ замѣчаній; в частности, он был прав в указаніях на наивную утопичность надежд на эволюцію власти к демократіи. Но характер дѣйствительной эволюціи большевизма он тогда так же плохо понимал, как плохо его понимали и его противники из лагеря оффиціальнаго меньшевизма. К пониманію того, что пришло в дѣйствительности, своих читателей и этот журнал не готовил...

В февралѣ 1925 года, — на 34 номерѣ, — «Заря» покончила свое существованіе: в это время заграницу пріѣхал Потресов, между которым и вождями оффиціальнаго меньшевизма начались переговоры о сомѣстной работѣ. Прекращая «Зарю», С. О. хотѣл устранить возможные предлоги для добавочных треній; в какой-либо мѣрѣ осложнить положеніе Потресова, котораго он признал вождем своей группировки, С. О. ни в коем случаѣ не хотѣл. Вопрос о С. О. и о кружкѣ, который группировался вокруг него, в перегово-

рах тѣх лѣт извѣстную роль все же сыграл, — хотя в исторической перспективѣ ясно, что тогдашній срыв соглашенія в основѣ об'яснялся совсѣм другим: в Россіи побѣждал курс на «сплошную коллективизацію», бывшій частью оріентаціи на приближеніе «второго тура войн и революцій», — и русскій меньшевизм входил в період не собиранія сил русскаго демократическаго соціализма, а в період новаго, еще болѣе рѣзкаго внутренняго размежеванія.

Годы, слѣдовавшіе за прекращеніем «Зари», были годами наиболѣе продуктивной литературной работы С. О. Двѣ группы тем привлекают его вниманіе: с одной стороны, это процессы внутренняго развитія Сов. Россіи; с другой, это идейная и политическая жизнь европейскаго соціализма. И в той, и в другой области им оставлено обширное и очень цѣнное литературное наслѣдіе: его книги о «ВКП» и о «Красной Арміи» принадлежат к числу лучших работ на эти темы; его статьи об идейно политических исканіях западно-европейскаго соціализма, если б онѣ были собраны, составили бы, навѣрное, наиболѣе полный и вдумчивый обзор соотвѣтствующих сторон жизни старой Европы — кануна ея крушенія. Эти свои статьи он печатает не только по-русски: в эти годы он становится постоянным сотрудником еврейско-американской печати, — главным образом, нью-іоркскаго «Форвертса».

В 1930-1931 г.г. С. О. дѣлает вторую, — и послѣднюю, — попытку созданія русскаго соціал-демократическаго органа, — на этот раз для того, чтобы создать трибуну для Потресова, который к этому времени окончательно простился с надеждами сговориться не только с оффиціальными руководителями «Соц. Вѣстн.», но и с так называемой «партійной оппозиціей». В февралѣ 1931 года вышел № 1 «Записок соціал-демократа» (всего вышло 23 номера). Этот орган стоит несравненно выше «Зари», — как в литературном, так и в теоретически-политическом отношеніи. Руководящую роль в нем играет, конечно, Потресов, который на его страницах проводит, между прочим, поистинѣ блестящую кампанію борьбы против капитулянтских настроеній, охвативших тогда нѣкоторыя группы европейскаго соціализма в связи с так называемыми успѣхами первой пятилѣтки. Роль С. О. в этом органѣ, конечно, вторая, — хотя и наиболѣе трудная: в отношеніи технико-литературном он выносит его цѣликом на своих плечах. Но и его статьи несравненно выше статей «Зари»: и в смыслѣ насыщенности фактическим матеріалом, и в смыслѣ оріентировки в политических и теоретических проблемах современности. Эти послѣднія проблемы «Записки соціал-демократа» вообще освѣщают болѣе полно, — и болѣе квалифицированно!, — чѣм «Соц. Вѣстник» соотвѣтствующих лѣт: их сопоставленіе дѣлает особенно очевидным тот колоссальный ущерб, который

понесла русская соціал-демократія, не проведя об'единенія с Потресовым и его друзьями...

«Записки соціал-демократа» умерли лѣтом 1933 года, — на год опередив физическую смерть своего редактора. Для С. О. их конец был концом попыток активнаго вмѣшательства в идейную жизнь русской соціал-демократической эмиграціи. Он продолжает свою литературно-политическую работу, теперь почти исключительно сосредотачивая свое вниманіе на проблемах западно-европейскаго рабочаго движенія и почти цѣликом уйдя в работу для еврейско-американской соціалистической печати...

Катастрофа войны выбросила его в Нью-Іорк. Сюда он пріѣхал тяжело больным, — и почти все время своего пребыванія здѣсь провел или в больницах, или в санаторіях. Литературно работать здѣсь ему пришлось мало, — но сотрудником «Новаго Журнала» он стал с самаго начала. Здѣсь он стал и сотрудником «Соц. Вѣстника»: «кризис соціалистическаго сознанія», — проблема, над которой он так много думал и которой он посвятил свою статью в т. 1 «Новаго Журнала», — сломавшій много старых организаціонных рамок, сдѣлал возможным возвращеніе С. О. в ряды официальной меньшевистской организаціи...

Б. Николаевскій.

П. А. ГАРВИ-БРОНШТЕЙН
(1881-1944 г.г.)

Петр Абрамович Гарви-Бронштейн, скончавшійся в Нью-Іоркѣ 28 февраля с. г., был одним из послѣдних доживших до наших дней представителей той руководящей группы меньшевиков-практиков, которая несла на себѣ внутри Россіи бремя центральной партійной работы с самых первых лѣт возникновенія меньшевизма. Соціал-демократ с 1899 года, он с тѣх пор непрерывно находился на отвѣтственных постах в партіи, — конечно, за из'ятіем тѣх лѣт, когда аресты вырывали его из строя. Писать его біографію, это значит писать исторію центральных учрежденій русскаго меньшевизма, — его организаціоннаго стоительства и политических исканій. За истекшіе мѣсяцы об этом в партійной печати написано уже не мало, — еще больше, навѣрное, будет написано в будущем; предстоит и выход воспоминаній самого П. А., — к сожалѣнію, они доведены только до 1905 года. Здѣсь нам хочется разсказать только один эпизод из политической біографіи П. А., который должен сохраниться и в общей исторіи революціонных лѣт.

Это было в началѣ 1918 года, в родном городѣ П. А., — в Одессѣ, — гдѣ П. А. застрял в виду начавшейся на югѣ гражданской войны. Вмѣстѣ со своим другом, П. Л. Тучапским, П. А. взял на себя редактированіе мѣстнаго с.-д. органа, — «Южный Рабочій». Одесса того времени была во власти жестокаго террора, который проводился не столько офиціальными большевистскими властями. сколько матросами крейсера «Алмаз», который стоял в порту. Об'явившіе себя большевиками, матросы создали свой революціонный комитет и производили массовые аресты в городѣ. О судьбѣ арестованных шли самыя тревожныя свѣдѣнія, — именно в эти дни складывалась «популярная» пѣсенка:

Эх, яблочко, куды котишься?
На «Алмаз» попадешь, не воротишься...

Тѣ немногія газеты, которыя еще существовали, писать об этом терроръ не рисковали. В это время в редакцію «Южн. Раб.» поступили точныя свѣдѣнія о судьбѣ ряда арестованных: с привязанными к ногам ядрами, их бросали в море... Ознакомившись с этими матеріалами, П. А. вмѣстѣ с Тучапским рѣшили выступить в печати с требованіем разслѣдованія дѣятельности «Алмаза», — несмотря на весь риск, который с таким выступленіем был связан. Надо сказать, что положеніе с.-д. газеты в Одессѣ тогда было относительно благопріятное: вліяніе с.-д. на фабриках и заводах города было весьма значительно. С другой стороны, даже большевистски настроенные рабочіе еще не были развращены властью, — и требовали прѐдоставленія свободы слова во всяком случаѣ другим рабочим организаціям. По мнѣнію П. А. и Тучапскаго именно это благопріятное положеніе с.-д. обязывало их взять на себя тяжесть опаснаго выступленія.

Номер «Южнаго Рабочаго», в котором начали публиковаться разоблаченія, произвел в городѣ настоящую сенсацію. В редакцію являлись матросы, — но против такого набѣга были приняты мѣры предосторожности. По требованію «Алмаза», большевистскія власти города привлекли П. А. и Тучапскаго к суду революціоннаго трибунала. Суд был назначен на один из ближайших дней. По иниціативѣ П. А., партійная организація рѣшила принять бой. По призыву ея в день суда была об'явлена всеобщая политическая забастовка, которая прошла с огромным успѣхом. Повсюду бастующіе выбирали делегаціи в трибунал с протестом против расправ, чинимых на «Алмазѣ», и с заявленіями о своей солидарности с подсудимыми. Это создало соотвѣтствующую атмосферу и в залѣ суда. Рабочіе-судьи при оглашеніи матеріалов о дѣятельности «Алмаза» не скры-

вали своего возмущенія. Рѣчи П. А. и Тучапскаго закончились настоящими овапіями в их честь. Представители «Алмаза», присутствовавшіе на судѣ, сидѣли, как побитые. Приговор, конечно, был оправдательный, — и рабочіе — члены трибунала помогли П. А. и Тучапскому скрыться от матросов, которые ждали их у выхода из зала суда, чтобы расправиться с ними... Под давленіем большевистских рабочих власти приняли мѣры против «Алмаза». Конечно, в своих позднѣйших гоненіях на П. А. большевики учитывали и эти его выступленія, — но для 1918 года он был побѣдителем.

В эмиграціи П. А. очень много работал литературно, — но исключительно в рабочей и соціалистической прессѣ (нѣмецкой, французской, американо-еврейской). На русском языкѣ им была выпущена брошюра: «Закат большевизма (Десять лѣт диктатуры)». (Рига, 1928 г.). Кромѣ того под псевдонимом Ю. Карелин им был выпущен небольшой сборник стихов: «Горькій цвѣт» (Берлин, изд. Петрополис, 1932 г.): юрист, политик и экономист, спеціалист по рабочему страхованію и по профессіональному движенію, П. А. в глубинѣ души был поэтом-лириком и с юных лѣт писал стихи. Печатал их он очень рѣдко: кажется, до эмиграціи были напечатаны всего только 2-3 стихотворенія на революціонныя темы (в № 1 «Рабочаго Слова», Одесса, 1902 г. и др.). В своих воспоминаніях П. А. записал, что он долго стыдился признаваться в своей склонности к стиху, — считал это слабостью для революціонера и соціалиста. Но не писать не мог, — для него это был как бы дневник в стихах, в которых он регистрировал свои переживанія. По поводу сборника 1932 года, — это был первый и единственный изданный им сборник, — Г. Адамович в «Посл. Нов.» отмѣтил старомодность формы, но искреннюю лирику переживаній...

Б. Н-скій.

«УНРА»

В связи с быстрым освобожденьем занятых нѣмцами земель, пріобрѣтает особый интерес дѣятельность UNRRA (The United ations Relief and Rehabilitation Administration). Г. М. Соловейчик, автор ряда исторических и экономических трудов, недавно посѣтившій Соед. Штаты, написал работу об этой организаціи («After the Army — UNRRA»). С его разрѣшенія, мы извлекаем из нея нѣкоторые факты.

«Унра» была формально образована в ноябрѣ 1943 года на конференціи в Атлантик Сити. Ея задача заключается в том, чтобы,

в теченіе первых 2-3 лѣт послѣ окончанія войны, оказывать помощь населенію союзных и нѣкоторых нейтральных стран. По приблизительным подсчетам, в помощи будет нуждаться около милліарда людей: половина населенія земного шара!

В этой международной организаціи представлены 44 государства. Ея главой избран бывшій губернатор штата Нью Іорк — Герберт Лиман, а его ближайшим помощником и замѣстителем состоит англичанин сэр Артур Солтэр. В основу работы положен слѣдующій принцип: штаты отдѣльных миссій, направляемых во всѣ концы міра, будут очень невелики. Работу должны вести представители мѣстнаго населенія, так как большой наплыв иностранных администраторов мог бы вызвать недоброжелательство и тренія. В нем могли бы даже усмотрѣть посягательство на суверенитет государств, которым оказывается помощь. Разумѣется, оказывается она всѣм без различія расы, вѣры или политических взглядов.

Задачи организаціи велики и разнообразны. Одной из первых и труднѣйших задач будет содѣйствіе возвращенію на родину изгнанных, выселенных или бѣжавших во время войны людей. Общее их число опредѣляется в 20-25 милліонов. Одних иностранных рабочих, насильно согнанных в Германію, насчитывается до 12 милліонов. Возможно, что половина из них вернется на родину тотчас, на собственныя средства, не дожидаясь регистраціи. Но десяти милліонам людей во всяком случаѣ надо будет оказать в этом помощь.

Чрезвычайно остра нужда в одеждѣ, в съѣстных припасах, в лекарствах. Они будут раздаваться организаціей Лимана в тѣсном сотрудничествѣ с союзным командованіем. Генерал Айзенгауэр уже назначил для осуществленія такого сотрудничества своего представителя полковника Дрекселя Биддля, имѣющаго большой административный опыт и хорошо знакомаго, в частности, с европейскими странами.

Работа потребует очень больших средств. Американскій Конгресс разрѣшил истратить на нее до 1350 милліонов долларов. Однако, средства будут даны не только Соединенными Штатами. Тѣ государства, которыя располагают достаточными запасами иностранной валюты, будут платить за съѣстные припасы, сѣмена, лекарства, одежду в той мѣрѣ, в какой это окажется возможным. Другим странам помощь будет оказываться безплатно, при чем онѣ, конечно, не будут поставлены в менѣе благопріятныя условія, чѣм «платящія». Англія, нѣкоторыя малыя государства уже внесли значительныя суммы в фонд «Унра». Из американских денег 69 милліонов долларов ассигнованы на медицинскую помощь, 100 милліонов на доставку орудій труда и простых инструментов, 214 милліонов на одежду и т. д.

В Мэрилэндском университетѣ образована школа для подготовки штатов «Унра». В ней преподаются языки, географія, исторія стран, нуждающихся в помощи, и нѣкоторые другіе предметы. Будущим администраторам внушается основное положеніе: они предназначаются никак не на роли «гаулейтеров». Их единственная задача — помощь обездоленным людям в возможно болѣе деликатной и скромной формѣ.

Z.

СОЧИНЕНІЯ ПУШКИНА В ОДНОМ ТОМѢ. Изд. International University Press. Нью-Іорк, 1944 год. Цѣна в переплетѣ 6 долл.

Русскій книжный рынок в Америкѣ, чрезвычайно узкій для книг современных авторов и значительно болѣе широкій для журналов, повидимому, испытывает настоящій «голод» по отношенію к классикам. Нельзя не привѣтствовать попытку удовлетворить эту назрѣвшую потребность.

Три основных требованія, обычно пред'являемыя читателем к изданію классиков — это внѣшность книги, (шрифт, бумага и т. д.), полнота текста и качество его (отсутствіе опечаток, правильная редакція).

В дореволюціонное время в Россіи появилось нѣсколько полных собраній сочиненій Пушкина в одном томѣ. Но, к сожалѣнію, всѣ заграничные «однотомники» Пушкина не полны: ни изящное изданіе «Петрополиса», ни изданіе, выпущенное по случаю столѣтія смерти поэта парижским Комитетом Дня Русской Культуры под редакціей Мод. Гофмана. В послѣднем изданіи редактором был примѣнен принцип перепечатки только того, что появилось уже при жизни автора, так что в книгѣ не оказалось, напримѣр, «Дубровскаго». Руководящим принципом отбора в настоящем изданіи было — дать цѣликом всѣ художественныя произведенія Пушкина в стихах и прозѣ. Одно это, самое цѣнное наслѣдіе Пушкина, заняло 600 страниц текста в два столбца. Т. о. в книгѣ нѣт ни писем, ни литературной критики, ни «Исторіи Пугачевскаго Бунта». Особенно жалѣешь об отсутствіи лучшаго, может быть, образца пушкинской прозы — «Путешествія в Арзрум».

Гораздо болѣе удовлетворительно рецензируемое изданіе со стороны внѣшности, четкости шрифта, изящества переплета. Еще безукоризненнѣе качество текста. Он дается по прижизненным изданіям Пушкина, с исправленіем опечаток этих изданій и возстановленіем цензурных пропусков и искаженій. Там, гдѣ не существует

прижизненных изданій, текст дан по оригинальным рукописям. Изданіе сохраняет нѣкоторыя, ставшія архаическими, транскрицпи слов, напримѣр, именительный падеж прилагательных с окончаніем на «ой», что с непривычки иногда кажется опечаткой. В странном противорѣчіи с этими транскрипціями пушкинскаго времени слово «бог» всюду печатается с маленькой буквы.

М. Цетлин.

МИХ. ЦЕТЛИН. **Пятеро и другіе.** Изд. «Новаго Журнала», Нью-Іорк, 1944 г.

Существует мнѣніе, будто настоящее искусство біографіи создалось лишь в послѣднія десятилѣтія. Это, конечно, невѣрно в отношеніи западных литератур. На французском и на англійском языках в теченіе 18-го и 19-го столѣтій часто выходили прекрасные біографическіе труды. Нѣкоторые из них остаются непревзойденными и по сей день. Правда, Литтон Стрэчи, «отец современной біографіи», не имѣл соперников в области к о р о т к и х портретов (из них самый блестящій — доктор Арнольд). Но едва ли можно называть «Королеву Викторію» «лучшим из всѣх когда-либо написанных біографических трудов», как это утверждал один англійскій критик. Что до безчисленных книг Эмиля Людвига, то из них дѣйствительно возвышаются над средним уровнем лишь немногія, преимущественно раннія. Нѣкоторые же его труды, как, напримѣр, восторженную книгу о Муссолини, просто стыдно читать.

Однако в отношеніи Россіи указанное выше мнѣніе можно признать болѣе или менѣе справедливым. Русская біографическая литература непостижимо бѣдна; она стала развиваться лишь в двадцатом столѣтіи. Среди писателей, живущих в СССР, было — и, повидимому, продолжается — увлеченіе либо biographie romancee, либо чисто-беллетристической біографіей. Книги покойнаго Тынянова были чрезвычайно интересны; особенно приходится пожалѣть о том, что ему так и не удалось кончить «Пушкина». В послѣднія два десятилѣтія русскими біографами продѣлана огромная работа и по подготовкѣ матеріалов. В этом отношеніи верхом совершенства надо считать Долининское изданіе писем Достоевскаго — по ученности, по добросовѣстности, по точности я не знаю сходных изданій ни на одном иностранном языкѣ.

Зарубежные русскіе писатели т а к о й работой не занимались, не имѣя в своем распоряженіи россійских архивов. Новых ф а к т о в они почти ни о ком дать не могли бы. Тѣм не менѣе и в эмиграціи выходили в высшей степени цѣнныя біографіи русских писателей.

Из них отмѣчу книги Б. К. Зайцева о Тургеневѣ и В. Ф. Ходасевича о Державинѣ. Теперь к ним надо прибавить работу М. О. Цетлина о так называемой «Могучей кучкѣ» (незаслуженно повезло странному обозначенію, случайно брошенному Стасовым).

Главный недостаток этой превосходной книги заключается в том, что автор, поставив себѣ очень широкую задачу, мог удѣлить ей всего 400 страниц. Между тѣм и о Мусоргском, и о Бородинѣ, и о Римском-Корсаковѣ, и о Стасовѣ можно было бы и слѣдовало бы написать отдѣльныя книги. Когда М. О. Цетлин обрывает, напримѣр, главу «Глинка», чтобы перейти к Балакиреву, читатель испытывает чувство досады: ему хотѣлось бы еще услышать о Глинкѣ — и в самом дѣлѣ жаль, что послѣдним дням создателя русской музыки удѣлено лишь нѣсколько строк. Такую же легкую досаду читатель чувствует при переходѣ от Балакирева к Бородину или от Бородина к Римскому-Корсакову. В сущности, это высшая похвала для автора, — свидѣтельство о том, как увлекательно и хорошо написана его книга.

М. О. Цетлин никак не принадлежит к так называемой "debunking school." Он любит всѣх своих героев (кромѣ Цезаря Кюи) и снисходителен к их небольшим слабостям. Его любимец — Мусоргскій. И геній, и трагическая судьба, и посмертная міровая слава Мусоргскаго выдѣляют его из той группы выдающихся композиторов, с которой его связала судьба. Но именно жизнь Мусоргскаго наше поколѣніе лучше всего знало: вокруг нея сложились легенды; о ней был написан роман. Меньше всего, вѣроятно, извѣстна жизнь Балакирева. Его образ особенно удался автору. Главы о Балакиревѣ, в чисто-художественном отношеніи, быть может, лучшія в книгѣ.

Всего в ней девять героев: Мусоргскій, Балакирев, Римскій-Корсаков, Бородин, Стасов, Глинка, Даргомыжскій, Сѣров, Кюи. И по размѣру таланта, и по культурѣ, и по умственным и моральным качествам они очень отличались друг от друга. Самый привлекательный человѣк из них был Стасов. Его заслуги в исторіи русскаго искусства не были оцѣнены при жизни: в Петербургѣ хорошій тон требовал ироническаго отношенія к Стасову. Остаются онѣ недостаточно оцѣненными и по сей день (точно так же, как в исторіи русской критики остаются неоцѣненными заслуги Страхова, а в исторіи русскаго языка — заслуги Сперанскаго, создавшаго превосходный русскій «казенный слог», над которым тоже принято было издѣваться).

Не знаю, выиграл ли в книгѣ Бородин. Если не выиграл, то вина в этом никак не М. О. Цетлина: послѣ Мусоргскаго, Бородин главный его любимец. Виноваты скорѣе письма самого Бородина. Этот человѣк огромных и разносторонних дарованій, по своей скромности,

никак не предполагал, что его частныя письма могут быть когда-либо напечатаны. Еслибы предполагал, быть может убрал бы неостроумныя шутки, странные словесные выкрутасы и многое другое.

С большой любовью, как с большим искусством, показан в книгѣ Римскій-Корсаков. Он выиграл во всем — кромѣ одного: исторіи с «Борисом» Мусоргскаго. М. О. Цетлин здѣсь не берет на себя роль судьи, и это понятно. О достоинствах и недостатках «исправленій», сдѣланных Римским-Корсаковым в «Борисѣ», могут судить только музыканты. Возможно, что от «исправленій» Дюси очень выиграл Шекспир—и кое-что он дѣйствительно выиграл: благодаря сокращеніям и передѣлкам Дюси Шекспира узнала Франція. Разумѣется, было бы в высшей степени странно сравнивать Римского-Корсакова с Дюси, у котораго таланта было на грош. Однако самая мысль о том, что м о ж н о передѣлать, сократить, «исправить» геніальное произведеніе умершаго художника, законченное и изданное самим автором, кажется нам чрезвычайно странной. Вѣрно, что сам Мусоргскій иногда обращался к друзьям за музыкальными совѣтами и помощью, но тут аналогіи нѣт: живой автор оставался послѣдним судьей совѣтов; он мог их принять или отвергнуть. Римскій-Корсаков вдобавок не мог не знать, что создатель «Бориса» был д о в о л е н этим своим произведеніем. («В концѣ 1878 года Мусоргскій в послѣдній раз слушал на сценѣ своего «Бориса». Он побывал на репетиціи и вел себя странно: то многозначительно прислушивался к играемому, то опускал голову на грудь, то горделиво поднимал ее, встряхивая волосами, и даже театрально подымал вверх руку», — стр. 304). У Римскаго-Корсакова было к «Борису» двойственное отношеніе. «Я эту оперу одновременно боготворю и ненавижу», — говорил он. Он находил в ней «мѣстами полную музыкальную несуразность». Не только Дюси, но и Вольтер находил несуразность и в Шекспирѣ. Однако несуразности геніальных художников могут быть и новым словом в искусствѣ. М. О. Цетлин кстати отмѣчает (стр. 366), что Римскій-Корсаков, сокращавшій «Бориса», рѣшительно протестовал против каких бы то ни было сокращеній в его собственных операх и французским театрам предлагал ставить поэтому «Садко» в два вечера!

Отрывки из книги М. О. Цетлина печатались в «Новом Журналѣ» с начала его существованія. Читатели навѣрное оцѣнили и талант автора, и значительность его сюжета. В книгѣ есть спорныя утвержденія, — плоха книга, в которой спорных утвержденій нѣт. Немногіе согласятся, напримѣр, с тѣм, что «Слово о Полку Игоревѣ» — «самая прекрасная в русской литературѣ поэма об эпохѣ самой прекрасной в русской исторіи» (стр. 203). Кое-кто признает слишком рѣзким сужденіе о русской живописи эпохи «Могучей

кучки» (стр. 234). Нѣкоторые портреты Рѣпина очень высокія созданія искусства. Еслиб Рѣпин долго прожил в Парижѣ, он (вопреки часто повторяемым словам об «оторванности от національной стихіи») стал бы знаменит на весь мір. Но это свое рѣзкое сужденіе М. О. Цетлин высказывает при сопоставленіи русской живописи с русской музыкой того періода, и нельзя не признать, что он во всяком случаѣ о т ч а с т и прав. Вслѣд за высшими созданьями русской литературы, драгоцѣннѣйшим вкладом Россіи в міровое искусство была именно русская музыка. Жизни ея творцов стоило посвятить нѣсколько лѣт труда, как сдѣлал М. О. Цетлин. Надо надѣяться, что его книга скоро будет переведена на иностранные языки; она вполнѣ этого заслуживает.

М. Алданов.

Sorokin, Pitirim A. **Russia and the United States,** N. Y., Dutton, 1944. Dulles, Foster Rhea. **The Road to Teheran: The Story of Russia and America, 1781-1943.** Princeton University Press, 1944. Strakhovsky, Leonid I. **Intervention at Archangel: The Story of Allied Intervention and Russian Counter-Revolution in North Russia,** 1917-1920. Princeton University Press. 1944.

Общее между этими тремя книгами то, что всѣ онѣ касаются проблемы русско-американских отношеній. Но и по своему характеру, и по об'ему содержанія онѣ сильно разнятся друг от друга.

Книга П. А. Сорокина наиболѣе из них широкая по охвату. На протяженіи сравнительно небольшого числа страниц автор дает и обзор основных тенденцій русскаго историческаго процесса, и характеристику эволюціи совѣтскаго режима, и исторію русско-американских отношеній, и прогноз будущаго их развитія. Картину свою автор пишет широкими мазками, и многія частности им только намѣчены.

Книга эта вызывает в русском читателѣ смѣшанныя чувства. Нельзя не сочувствовать основной цѣли автора — доказать желательность и возможность тѣсных и дружеских взаимоотношеній между Америкой и Россіей. Нельзя не раздѣлять и руководящаго им чувства протеста против того огульно отрицательнаго отношенія к русскому прошлому, которое все еще часто встрѣчается в иностранной литературѣ о Россіи. Но способы, избранные П. А. Сорокиным для выполненія его задачи, вызывают серьезныя сомнѣнія. Наряду с положеніями безспорно правильными и фактами неоспоримыми, в книгѣ его зачастую встрѣчаются положенія спорныя и фактически необоснованныя.

Спорным представляется мнѣ, прежде всего, его исходное положеніе, а именно, что для длительнаго и прочнаго политическаго союза, или даже для сохраненія мира между двумя странами, нужно, чтобы у них была не только общность интересов, но и общность «основных цѣнностей», и чтобы между ними существовала извѣстная «конгеніальность». Мнѣ кажется, что историческій опыт этого положенія не подтверждает. Равным образом, при всем моем сочувствіи к стремленію автора подчеркнуть положительныя явленія в историческом прошлом Россіи, я все-таки затруднился бы подписаться под его утвержденіем, что «взятое в цѣлом, политическое устройство Россіи, от 9-го до 20-го столѣтія, было фактически столь же демократическим, как правительственный режим большинства европейских стран» (стр. 89). Прежде всего в столь общем видѣ, и в примѣненіи к историческому процессу, занявшему цѣлое тысячелѣтіе, такое утвержденіе лишено всякаго конкретнаго содержанія. Что означает здѣсь слово «демократическій»? П. А. Сорокин воздерживается от опредѣленія демократіи, предоставляя своим читателям сдѣлать это самим. Но тѣ примѣры, которые он приводит в доказательство своего утвержденія, во многих случаях могут только увеличить их недоумѣніе. Я не могу входить в подробности, но укажу лишь нѣсколько примѣров явнаго, на мой взгляд, преувеличенія. На протяженіи своей исторіи Россія, конечно, не была «тюрьмой народов», как это утверждают враждебные ей писатели, но все же, вопреки П. А. Сорокину, евреи не имѣли свободнаго доступа в «правящій класс» Россіи и направленныя против них ограниченія до конца не стали «в значительной мѣрѣ мертвой буквой», равно как и поляки в Россіи не были в болѣе привилегированном положеніи, чѣм в Австріи. Точно также, каковы бы ни были успѣхи женской эмансипаціи в Россіи — строго говоря, только в новѣйшее время и преимущественно среди образованнаго класса, — в 15—17 в.в. «затворничество» русских женщин не было «сравнительно болѣе мягким чѣм в Западной Европѣ того же времени», и даже наканунѣ революціи я не могу припомнить в Россіи «многочисленных имен» женщин-профессоров, адвокатов и директоров банков. И наконец, нисколько не отрицая огромнаго прогресса, имѣвшаго мѣсто в конституціонный період, все же позволительно усомниться в правильности утвержденія, что послѣ 1906 года гражданскія свободы в Россіи были «столь же широки, как в большинствѣ демократических стран».

Та же тенденція к преувеличенію наблюдается и в той части книги, в которой говорится о совѣтской Россіи. Исходя из безспорнаго факта эволюціи совѣтскаго режима, автор приходит к выводам, неожиданным по своей категоричности. Конечно, положеніе церкви сейчас много лучше, чѣм в эпоху гоненій, но можно ли всетаки

сказать, что «в настоящее время религія и церковь в Россіи свободны и из'яты из под государственнаго контроля» (стр. 114)? Правда, в другом мѣстѣ автор оговаривается, что процесс освобожденія церкви закончен только «на двѣ трети», но и в таком видѣ его утвержденіе кажется мнѣ излишне оптимистическим. Такое же сомнѣніе вызывает во мнѣ и заявленіе П. А. Сорокина относительно «демократическаго управленія» в колхозах, ставших будто бы «всего на всего модернизированной формой стараго національнаго учрежденія — крестьянскаго міра и общины». Я не знаю вообще, на чем основано убѣжденіе автора, что за время, истекшее с начала революціи, «правительственное руководство и контроль над экономической дѣятельностью имѣли тенденцію к ослабленію». Как извѣстно, своего апогея этот контроль достиг как раз в эпоху пятилѣток, т. е. наканунѣ войны. Столь же необоснованным кажется мнѣ и утвержденіе, что в политической области Россія перешла наканунѣ войны «от коммунистической диктатуры к національной демократіи». Ссылка на конституцію 1936 года — без упоминанія о том, что эта конституція впервые дала формальное выраженіе политической монополіи коммунистической партіи — признаюсь, кажется мнѣ мало убѣдительной.

Наконец, и в той части книги, которая посвящена исторіи русско-американских отношеній, мы встрѣчаемся все с той же смѣсью правильнаго и фактически невѣрнаго, безспорнаго и весьма спорнаго. И уже во всяком случаѣ вся совокупность данных, подобранных П. А. Сорокиным для доказательства особаго взаимнаго притяженія между Россіей и Америкой, не может упразднить того неоспоримаго историческаго факта, что с 18-го до начала 20-го вѣка вліянія англійское, французское, нѣмецкое в Россіи были много сильнѣе американскаго, а в Америкѣ тѣ же вліянія в такой же мѣрѣ сильнѣе вліянія русскаго.

Книга профессора Даллеса ставит себѣ гораздо болѣе ограниченную задачу, чѣм книга П. А. Сорокина. Это в сущности очерк исторіи дипломатических отношеній между Соединенными Штатами и Россіей. Автор, повидимому не знающій русскаго языка, явно не ставил себѣ изслѣдовательских задач, а стремился лишь дать сводку доступнаго на западных языках печатнаго матеріала. В этих предѣлах проф. Даллес справился со своей задачей вполнѣ удачно. Книга его написана живо и интересно, и в большинствѣ случаев автор обнаруживает надлежащее чувство мѣры и критическое чутье. Горячій сторонник прочнаго американо-русскаго сотрудничества, проф. Даллес видит основу для этого сотрудничества в общности международных интересов обѣих стран. Этой же общностью интересов он об'ясняет и отсутствіе серьезных столкновеній между Россіей и Америкой в прошлом. Он подчеркивает, однако, контраст между параллелизмом

внѣшней политики и конфликтом в области политических идей, как одну из характерных черт русско-американских отношеній.

В послѣдней (большей по размѣрам) части книги, посвященной періоду с 1917 года, автор, мнѣ кажется, нѣсколько односторонне распредѣляет отвѣтственность за отсутствіе добрых отношеній между Америкой и Россіей, преувеличивая плохую освѣдомленность и предвзятую недоброжелательность со стороны американцев и недооцѣнивая роль тѣх специфических черт совѣтской политики, которыя дѣлали эту недоброжелательность неизбѣжной. В связи с этой установкой и выводы его страдают избытком оптимизма. У читателя может получиться впечатлѣніе, что, по мнѣнію автора, стоит только американцам отказаться от своих «предразсудков» и все будет хорошо. Как на примѣр излишне и преждевременно оптимистических заключеній автора, укажу на его заявленіе, что «Совѣтскій Союз согласился отложить какія-либо дѣйствія относительно будущей судьбы территорій, расположенных на его западной границѣ, до окончанія войны» (стр. 247).

Книга Л. И. Страховскаго, с одной стороны, выходит за предѣлы русско-американских отношеній, так как в ней рѣчь идет о союзной, а не только американской, интервенціи в сѣверной Россіи. С другой стороны, она посвящена событіям, происходившим на ограниченной территоріи и втеченіе краткаго — менѣе чѣм двухлѣтняго — періода времени. Этим опредѣлился ея характер. В отличіе от книг П. А. Сорокина и проф. Даллеса, это научная монографія основанная не только на печатном — русском и иноязычном — матеріалѣ, но и на американских архивных документах, с большим количеством фактических деталей и с многочисленными примѣчаніями. Работа эта, примыкающая к предыдущей книгѣ об американской интервенціи в Мурманскѣ, должна быть признана цѣнным вкладом в литературу, посвященную эпохѣ гражданской войны и интервенціи в Россіи. В особую заслугу слѣдует поставить автору убѣдительное выясненіе военных мотивов в интервенціонистской политикѣ союзных держав — элемент обычно замалчиваемый или прямо отрицаемый в писаніях критиков этой политики. Правильно, по моему, заключеніе автора, что с точки зрѣнія военных интересов союзных держав интервенція на сѣверѣ Россіи не была безплодной.

При всѣх достоинствах книги, нѣкоторыя сомнѣнія вызывает во мнѣ подход автора к внутренне-политическим отношеніям в русском анти-большевистском лагерѣ. Л. И. Страховскій не скрывает своих личных симпатій, явно предпочитая «лѣвым» группам круги болѣе консервативные. К правительству Чайковскаго он относится сурово критически. Это, конечно, его право, и сам по себѣ такой подход столь же законен, как и противоположная оцѣнка. Но, боюсь, что

автор отступает от правил исторической об'ективности, когда он, без достаточных к тому основаній, приписывает покойному Н. В. Чайковскому мотивы узкой партійности или даже личнаго честолюбія. И мало убѣдительным представляется мнѣ его вывод, что конечный крах интервенціи был обусловлен, помимо прочих причин, тѣм, что союзныя правительства поддерживали «лѣвых» против «монархически настроеннаго офицерства». Достаточно вспомнить, что, когда, и в самом Архангельскѣ и в Омскѣ, болѣе «правые» элементы смѣнили у власти «лѣвых» (к слову сказать, не без поддержки союзников), это не предотвратило конечной катастрофы — а может быть ее и ускорило.

М. Карпович.

STEEL FLEA, adopted from the Russian of Nicholas Leskov by Babette Deutsch and Avrahm Yarmolinsky, pictures by Mstislav Dobujinski. — Harper and Brothers. New York, 1944.

Очаровательная повѣсть Лѣскова «Лѣвша» — о стальной блохѣ, об англичанах-мудрецах и о русском мужичкѣ-простачкѣ, выковавшем гвозди для блошиных подковок, появилась недавно на англійском языкѣ, сокращенная и отчасти передѣланная г-ном Ярмолинским и г-жей Дэйч. От передѣлки повѣсть стала, пожалуй, болѣе понятной тѣм, для кого она издана, т. е. для юных американских читателей. Большая ея прелесть — двадцать иллюстрацій в три краски и около десятка одноцвѣтных концовок М. В. Добужинскаго, украшающих изданіе.

«Лѣвша» первая книга в Америкѣ этого блестящаго художника и графика.

Голлербах говорит, что «русская графика имѣет свою родину, и родина ея — С. Петербург». Неоспоримым, всѣми признанным поэтом-графиком русской столицы был и остается М. В. Добужинскій. Петербург писали и Лансере и Феодор Алексѣев, и М. Воробьева и Остроумова. Александр Бенуа изобразил старый Петербург в иллюстраціях к «Мѣдному всаднику», Кардовскій — в иллюстраціях к «Невскому проспекту». Но они передавали, так сказать, оффиціальный и парадный Петербург. «Петербург Добужинскаго», как называет его Грабарь, гораздо болѣе живой, углубленный, интимный.

Добужинскій начал рисовать Петербург с 1902 года карандашем и пастелью. Петербург это его стихія, и в «Лѣвшѣ» дана в три краски картина Зимняго Дворца, с адмиралтейской иглой в глубинѣ и стройно марширующим по площади взводом солдат. На фонѣ

этого великолѣпія... Лѣвша, котораго Платов пинками гонит во дворец. Рисунок исполнен с большой скупостью пріемов, четко, просто и необычайно увлекательно.

Большого лирическаго напряженія полны и нѣсколько других иллюстрацій к «Лѣвшѣ». Глубоким молитвенным настроеніем проникнут рисунок во всю страницу, на котором изображены три тульских мастера, колѣнопреклоненных перед иконой Николая Чудотворца, уходящей ввысь, в небеса, и перед которой они чувствуют себя такими маленькими... Чудесны взметнувшіяся лошади, в бѣшенном движеніи «пролетающія» через всю страницу среди столбов поднятой пыли.

Эклектизм «Міра Искусства», который так хорошо подходит к артистическому темпераменту Добужинскаго, так часто «не похожаго на самого себя», сказывается и в этих рисунках. Часть из них, как, напримѣр, Петербург или зала во Дворцѣ болѣе «графичны», т. е., болѣе лаконичны, просты, линеарны; другіе болѣе «иллюстраціонны», как, напримѣр, моленіе перед иконой или работа в избѣ.

Вѣра К.

ЮБИЛЕИ И ВЫСТАВКИ

РѢПИН (1844—1930). Когда мы слышим это имя — в памяти встают его «Бурлаки на Волгѣ» (1872), «Крестный ход в Курской губерніи» (1883), «Запорожцы» (1891) и столько других незабываемых картин.

Илья Ефимович Рѣпин, сын военнаго поселенца города Чугуева, девятнадцати лѣт пріѣхал в Петербург. Ему еще предстоял длинный путь ученья и борьбы, но он уже знал, что «без идеи нѣт великаго художественнаго созданія» и что «самозабвенье есть необходимое условіе творчества» («Мысли об искусствѣ»).

В 1865 году Рѣпин подал прошеніе в Совѣт Академіи о субсидіи: «для выполненія «Ангела Смерти» прошу ссудить меня хоть малым пособіем на холст и краски», — писал он. За этого «Ангела Смерти» ученик Рѣпин был награжден первой серебряной медалью.

Появленіе «Бурлаков» раздѣлило русское общественное мнѣніе на два лагеря. «Это произведеніе — величайшая профанація искусства», негодовал академик Брунн. «Моя «Тайная Вечеря» перед этим ничто!» восклицал Ге. «Не знаю, что Вы сдѣлаете послѣ «Бурлаков»: назад идти нельзя, а вперед — сомнительно», говорил Крамской. Стасов бурно привѣтствовал художника: «Праздник, праздник, Рѣпин

явился с картиною, с которою едва ли в состояніи помѣриться многое из всего, что до сих пор создано русским искусством!»

Рѣпин стал навсегда любимцем широкой публики. Но художественная критика послѣ «Правительницы Софьи» и «Запорожцев» начала относиться к художнику болѣе сдержанно. Грабарь, напримѣр, упрекает его в надуманности и даже порой в фальшивости. Другіе говорят о его «литературщинѣ», о недостаточности его культуры. Кое-что в этом, может быть, и вѣрно, если брать Рѣпина внѣ исторической перспективы. Но если вспомнить, что он был одним из первых русских реалистов, вспомнить о всѣх новшествах, введенных им в обиход русской живописи (он едва ли не первый из русских художников стал писать под открытым небом); если вспомнить о его громадном темпераментѣ и работоспособности, не ослабѣвавшей чуть ли не три четверти вѣка; если вспомнить все это, то нельзя не согласиться со словами А. Бенуа: «Рѣпин сумѣл силою своего таланта указать дальнѣйшій путь к живописной красотѣ». И вспоминаются также слова художника о самом себѣ (в письмѣ к Стасову): «искусство я люблю больше добродѣтели, больше, чѣм людей, чѣм близких, чѣм друзей, больше, чѣм всякое счастье».

С. Т. КОНЕНКОВ. В іюнѣ текущаго года исполнилось 70 лѣт со дня рожденія скульптора С. Т. Коненкова, одного из самобытнѣйших русских ваятелей, находящагося сейчас в Нью-Іоркѣ. Коненков родился в 1874 году, в Смоленской губерніи, издавна славившейся своими рѣзчиками по дереву; от них он унаслѣдовал любовь к скульптурѣ из дерева и здѣсь истоки его глубинно-русских мотивов. (Старичек-полевичек, 1910 г.; Лѣсовик, 1909 г.; Стрибог, 1911 г.; Жар-птица, 1915 г.). В них он воплотил народный быт, русскую душу, русскую былину. Отсюда нарочитая примитивность этих скульптур, их массивность. В их прямолинейности есть вліяніе Византіи. Кромѣ этих скульптур Коненков создал цѣлую галлерею портретов из камня и мрамора, изумительных по психологической углубленности: «Паганини (1906 г.) правильно названнаго «звучащим мрамором», «Баха» (1911 г.), «убаюканнаго силой звуков» по выраженію А. Бенуа, вдохновенных «Пушкина (1940 г.) и «Достоевскаго» (1943 г.). Всѣ созданія Коненкова являются произведеніями мыслителя, обладающаго цѣльным міросозерцаніем.

ВЫСТАВКИ. В истекшем сезонѣ Музей Метрополитэн устроил в Нью-Іоркѣ двѣ выставки русскаго искусства. Одна была посвящена современным плакатам, другая — русским иконам 13-18 вѣков.

Тема всѣх плакатов — война, и хотя большинство их не высокаго качества, все же они дают картину войны в Россіи.

Большая коллекція икон, принадлежащая американцу Георгу Ганну, умѣло подобранная, дает представленіе об эволюціи русской иконы на протяженіи нѣсколькихъ вѣковъ. Многія из этих икон принадлежали раньше Третьяковской галлереѣ.

Русская икона стала развиваться и крѣпнуть в XIV вѣкѣ. В XV вѣкѣ ея стиль окончательно «канонизируется», и к этому времени и относятся лучшія русскія иконы и мастера (Феофан Грек — Рублев — Діонисій).

Вліяніе Византіи, Греціи и Сиріи на русскую икону неоспоримо. Но до сих пор остается мало изслѣдованным вопрос о вліяніи на нее Италіи, и в частности сіенской школы XIII-XIV вѣков. На выставкѣ есть икона «Благовѣщеніе» начала XV вѣка (Третьяковская галлерея, собраніе Морозова), на которой архангел приближается к Богоматери. Жест испуга Пречистой Дѣвы совершенно тождественен на этой иконѣ с Сіенским жестом XIII вѣка. Кондаков и Лихачев не признают итальянскаго вліянія на Россію. Но вполнѣ возможно, что дальнѣйшее изученіе сіенской живописи и русских икон приведет к обратному выводу. На иконѣ «Рожденіе Христа» XV вѣка из Третьяковской галлереи полулежащая Богоматерь окружена шестью томными ангелами. В этих ангелах есть элементы нѣкоторой чувственности, которой отличалась Сіена. В 1937 году, А. И. Некрасов, выдающійся знаток русской иконы, писал по этому поводу: «Попытка найти общее между средним ангелом и живописью сіенской школы находит свое оправданіе в изученіи многих икон. Андрей Рублев знал такія иконы». Любопытна икона «Пророка Ильи», гдѣ святой, подобно эллинистическому Апполону, несется по небу в великолѣпной колесницѣ, вписанной в оранжевый круг. — Очень красочна группа застывших в своих движеніях святых (Новгородской иконы конца XV вѣка), написанных на чудесном свѣтло-голубом фонѣ, одѣтых в свѣтлыя облаченія, разукрашенныя черными крестами.

Было на этой выставкѣ много небольших, чуть ли не натѣльных, икон XVII вѣка, из которых особенно прелестна иконка, изображающая «жен мироносиц» у Гроба Господня. Довольно необычно движеніе на этой иконѣ, справа налѣво, и чудесен пейзаж, выдержанный в блѣдных тонах.

Галлерея Вильденштейн устроила вторую выставку произведеній Манэ-Каца. Со времени первой выставки в 1942 году Манэ-Кац довольно рѣзко измѣнил свой стиль и подход к живописи. У него появились голубыя и розовыя лошадки, напоминающія шагаловских. Появились новые, цирковые сюжеты. Конечно, нельзя требовать от художника неподвижности. Но невольно жалѣешь об отсутствіи тѣх картин на еврейскіе сюжеты, в которых Манэ-Кац достиг такого мастерства и экспрессивности.

Г-жа Крыленко привезла из Гватемалы, словно букет тропических цвѣтов, серію красочных акварелей. Многочисленными неровными пятнами краски, разбросанными на цвѣтной бумагѣ, оттѣнок которой и дает главную тональность каждой акварели, г-жа Крыленко достигает большого живописнаго эффекта. Она любит уходящія вдаль улицы, дороги и рѣчки, лѣнивых людей и осликов, замечтавшихся в жаркій день у розовой церковки, женщин в цвѣтах и пышный багрянец цвѣтущей пуансэттіи.

Вѣра Коварская.

В ИЗДАНІИ «НОВАГО ЖУРНАЛА»

вышла в свѣт новая книга

М. О. ЦЕТЛИНА

«ПЯТЕРО И ДРУГІЕ»

посвященная жизни русских композиторов

Цѣна книги без переплета $ 2.25

в переплетѣ $ 2.75

Адрес издательства: Mrs. M. E. ZETLIN

112 W. 72nd Str., New York 23, N. Y.

Тел.: EN 2-9893

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ

Выходящее раз в 3 мѣсяца

Первая и третья книги распроданы и даются для чтенія на 2 недѣли **безвозмездно.**

Подписка на одну книгу 1.75 долл., на двѣ книги — 3.50 долл., на любыя три книги — 4.50 долл. В отдѣльной продажѣ каждая книга стоит два долл. 40 экземпляров каждой книги на особой бумагѣ, нумерованных и парафированных редакціей, продаются по пяти долларов.

Подписка принимается до десятой книги включительно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ :

Mrs. M. E. Zetlin, 112 West 72nd Street, New York 23, N. Y.

Tel.: EN 2-9893.

Там же принимается подписка.